

1 2004
3285K

Роллан
Сейсенбаев

САМ
ХОЧЕШЬ
ЖИТЬ



Роллан
Сейсенбаев

ЕСЛИ
ХОЧЕШЬ
ЖИТЬ

Роман
Повести

Перевел с казахского автор

*Москва
Советский писатель
1983*



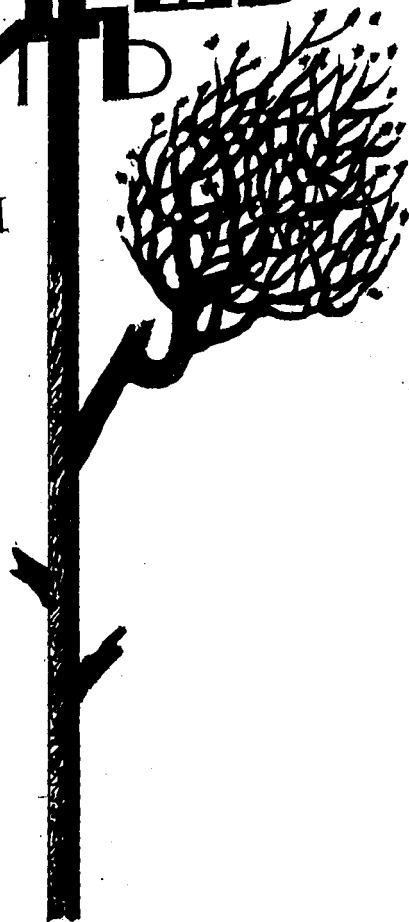
Имя талантливого казахского писателя Роллана Сейсенбаева хорошо известно всесоюзному читателю. Его произведения печатались в журналах «Дружба народов», «Наш современник», «Нева», «Простор». Роллан Сейсенбаев активно работает и как драматург. Пьесы «Возвращение Казбека», «Ночной диалог», «Риск» и другие с успехом идут на сцене театров.

В поле зрения Р. Сейсенбаева наша действительность. Ей посвящен роман «Если хочешь жить» и повести Герои этих произведений — рабочие, техническая интеллигенция и студенты.

Художник Александр БУРКАТОВСКИЙ

ЕСЛИ
ХОЧЕШЬ
ЖИТЬ

Роман



Он открыл глаза и только теперь понял, что спит один. Повернув голову, он увидел, что Галия, так и не раздевшись, прикорнула на диване и свет ночника падает на ее красивое, напряженное лицо. Когда она сердится или хмурится, ее черные густые брови сходятся на переносице. Даже сейчас, во сне, она упрямо закусила губу, но и это не смогло умалить ее красоты. Он усмехнулся, горько прошептал: «Лежащая забастовка...» — и отвернулся, до боли хрустнув пальцами. «Надо вставать,— сказал он.— Вставай, вставай,— уговаривал он себя.— Пора уже...»

Поднялся. Часы на кухне показывали половину шестого. Налил воды в кофейник и включил газ. Взял сигарету, размял ее, но прикуривать не стал...

— Так что теперь вам все более или менее понятно.

— Да, в общих чертах я все понял...

— Именно для этого мы вас и вызывали, чтоб вы все поняли «в общих чертах»,— сыронизировал Каженов, и Бекен тут же поспешил сказать ему:

— Но у меня есть вопросы.

— Потом, потом, Бекен Искакович,— властно прервал его Каженов и, тяжело поднявшись, принялся ходить по своему обширному кабинету.

Искаков смутился и тоже хотел встать, но Каженов положил ему руку на плечо:

— Вы сидите, сидите, не обращайтесь внимания на меня, старика. Я недавно из больницы, у меня поясницу ломит, а вы сидите, не смущайтесь... Я вот что вас хочу спросить, прежде чем отвечу на ваши вопросы. Ваша жена кто по специальности?

— Биолог,— ответил Искаков после недолгого молчания.

— А где она работает?..

— В Академии наук. В лаборатории академика Койшибаева.

— Она кандидат?

Искаков кивнул:

— Кандидат, докторскую сейчас пишет...

— Ага! — Каженов высоко поднял голову и снова заходил по кабинету — С минуты на минуту должен подойти начальник главка Симбирцев. Товарищ из Москвы сам хотел с вами поговорить,— вдруг сказал он.

— Начальник главка? — удивился Искаков, но массивная дверь кабинета раскрылась, и на пороге появился высокий, крепкий мужчина. Его густая шевелюра была обильно покрыта сединой, однако синие глаза, спрятанные за кустистыми бровями, глядели бодро и энергично.

— Здравствуйте, Николай Николаевич! — Каженов пошел к нему навстречу.

Искаков тоже поднялся.

— Здравствуйте, Газиз Каженович,— Симбирцев, мягко улыбаясь, подал Каженову руку, и глаза его на секунду вспыхнули озорством: — А это, как я понимаю, наш... как бы выразиться? Наш претендент, так сказать, на престол? — сказал он, кивком головы указывая на Искакова.

— Да, это он. Знакомьтесь. Бекен Искаков. Бекен Искакович Искаков.

— Рад с вами познакомиться. Симбирцев Николай Николаевич.

— Здравствуйте,— сказал Искаков.

— Пожалуйста, присаживайтесь,— Каженов указал на кресло.

Искаков сел, машинально поправляя воротник замшевой куртки и приглаживая ладонью волосы. Симбирцев внимательно оглядел его и после небольшой паузы сказал Каженову:

— Газиз Каженович, я с анкетой Искакова познакомился, и по этой линии у меня возражений нет. Но поймите меня правильно, Бекен Искакович,— он повернулся к Искакову,— прятки — детская игра, и надо правде смотреть в глаза: строительство наше очень сложное и напряженное, ведь никогда до этого мы не строили в Казахстане аккумуляторных заводов...

Он замолчал и посмотрел на Каженова, как бы призывая его в свидетели. Но тот сидел, подперев голову рукой, и взгляд его, обращенный в пространство, был загадочен.

— Никогда, никогда до этого мы не строили в Казахстане аккумуляторных заводов, вот в чем штука,— повторил Симбирцев.— Первое затруднение в том, что строительство будет вестись на территории нового областного центра. Второе препятствие — стройка расположена довольно далеко от железной дороги...

— И это только начало бесчисленных препятствий, ведь верно, Николай Николаевич? — перебил его Каженов.

— Верно,— подтвердил Симбирцев.— Пока есть только проект завода, но и здесь технологические линии всё еще не приведены в единую систему — проектанты нас подводят. А из-за этого задерживается и срок запуска в производство плана проекта. Со строителями... со строителями вот тоже неувязка. Пока еще не знаем, где взять детали формовочного и сборочного цехов. Видите, сколько серьезных препятствий? — Симбирцев испытующе глядел на Исакова, но лицо молодого человека выражало полное спокойствие.

Он внимательно слушал Симбирцева и не спешил с выводами. «Сложная стройка... Масса неразрешенных вопросов. Вот тут ты и попался, тут-то ты и погиб, товарищ Исаков,— думал он.— Видать, это будет ТО ЕЩЕ строительство, раз с самого начала все идет наперекосяк, и с проектами, и с деталями, видать, до самого пуска спорам и нерешенным проблемам не будет конца и покоя не будет. А с другой стороны, не это ли высшее счастье для инженера? А с третьей стороны, не правы ли ваши предки, товарищ Исаков, мрачно утверждавшие, что младенец, жаждущий смерти, сам к могиле бежит... А?..»

Выдержав паузу, он прокашлялся и обратился к Симбирцеву:

— Какова сметная стоимость строительства?

— Ну... пока около пятидесяти миллионов. Нравится цифра? — улыбнулся тот.

— Нравится,— сухо сказал Исаков.— А какова мощность завода?

— Пятьдесят миллионов аккумуляторов в год.

— Срок строительства?

— Четыре с половиной года. В конце пятилетки завод должен работать на полную мощность,— ответил Симбирцев.

— И знайте,— вмешался в разговор Каженов.— В области пока нет ни одного строительного треста, способного удовлетворить запросы такой громадины...

— Как же строить тогда? — невольно вырвалось у Исакова.

Симбирцев мягко улыбнулся.

— Пока нет,— уточнил он.

— В ближайшие дни в Жетысу открываётся трест «Промстрой». Он непосредственно будет вести строительство вашего завода,— Каженов, спохватившись, что вырвалось-таки у него это преждевременное словечко «вашего», нахмурился, покраснел, но тут же принял прежний спокойный вид.

«Моего завода? Вот так дела»,— лихорадочно подумал Исаков. Симбирцев тоже заметил оговорку Каженова, но виду не подал.

— Газиз Каженович, простите, в десять ноль-ноль должен быть на совещании в Совмине,— сказал он, поднимаясь.

— Хорошо,— Каженов кивнул и обратился к Исакову: — Бекен Исакович, прошу вас — подождите в приемной, я вас вызову.

Исаков легко поднялся и сделал движение по направлению к Симбирцеву, чтобы попрощаться, но тот поднял руку и добродушно пробасил:

— Успеется, успеется...

Из окна приемной Исаков долго глядел на улицу — и все-таки удивительна эта пора, пора перехода весны в лето: сквер с памятником Ленину утопает в молодой зелени, парочки прогуливаются под ручку, старики на солнце греются, школьники, размахивая портфелями, не спеша с мороженым идут... «Золотая пора, моя пора,— пробормотал Исаков и задумался: — Большое самостоятельное дело — все это прекрасно, но стоит ли игра свеч, не сломать бы шею на этом большом деле. И что скажет Галия? И как можно оставить этот шумный город? Поменять его на глушь, где строительство едва-едва на планах значится?.. Что даст эта самостоятельность мне, инженеру?..» Он ослабил туго затянутый узел галстука и расстегнул верхнюю пуговку рубашки...

А Каженов, лишь они остались одни, тут же повернулся к Симбирцеву:

— Ну что скажете, Николай Николаевич? Каковы ваши, так сказать, визуальные впечатления?..

Симбирцев помолчал, задумавшись.

— Толковый парень. Я не против,— наконец отозвался он.

— По-моему, самая подходящая кандидатура из всех нами представленных,— просиял Каженов.— Вот только... молодость его меня беспокоит... нас беспокоит,— поправился он.

— А ты вспомни, сколько тебе было лет, когда ты стал начальником треста! — прищурился Симбирцев.

— Ну, тогда времена были, сам знаешь, специалистов не хватало,— смутился Каженов.

— И сейчас не хватает... Таких, как Бекен этот, не хватает,— громко сказал Симбирцев, и не понять было, шутит он или сердится.— Мне, Газиз Каженович, знаешь, что понравилось в твоём Искакове? — наклонился он к Каженову.— То, что в нём рвения особого нет стать директором, а вопросы он задает уместные, деловые и ждет от нас точных ответов. Нет в нём ни лести, ни подобиострастия. Чувствуется за всем этим сильный характер, человечность... А что молод он — ну и хорошо, что молод. Значит, вытянет стройку. И я считаю,— он задумался.— Я считаю, что тем требованиям, которые мы с вами ставим, этот парень вполне удовлетворяет. Вот мое мнение, Газиз Каженович, можете на него официально ссылаться...

— Спасибо, Николай Николаевич.

— Здесь другое дело,— Симбирцев задумался.— Он сам может отказаться, и это конечно же его право...

— Да, у него жена докторскую пишет, и сам он, по-моему, в аспирантуру поступать хотел...— сказал Каженов.

— Но мне почему-то кажется, что он согласится, вот помяни мое слово, я таких ребят за свою жизнь много повидал,— улыбнулся Симбирцев.— Согласится, я тебе точно говорю,— уже твердо сказал он и поднялся:— Ну все, до свидания, Газиз, сейчас на совещание, а вечером возвращаюсь в Москву. До встречи.

— До встречи.

— Думаю, что мы с тобой не ошибаемся, Газиз,— сказал Симбирцев, открывая дверь в приемную.— А теперь прощайте, товарищ Искаков,— обратился он к Бекену.—

Вернее, до свидания, пройдите в кабинет. Там вас, как говорится, ждут интересные новости.

И, весело помахав рукой, удалился.

А Бекен предстал перед Каженовым.

— Вот. Наше мнение вы знаете, и теперь все зависит от вас,— сказал Каженов в конце их разговора.— Но это, естественно, в случае вашего положительного решения. Так что посоветуйтесь с семьей, сами обмозгуйте, по плечу ли вам это. И еще раз говорю: наше мнение вы знаете...

«...Наше мнение вы знаете... Куда же девался твой сон, товарищ Искаков?» — Он налил в чашку кофе и, обжигаясь, сделал несколько глотков. Щелкнул зажигалкой, прислонился к стене и стал смотреть на улицу, едва освещенную ранним рассветом... Скоро утро...

— Галия, я хочу заехать за тобой.

— Я уже выхожу, Бекен.

— Вот и прекрасно. Жди меня во дворе, а то вечно я тебя ищу по всей академии,— пошутил он.

— Захочешь — найдешь,— лукаво сказала Галия.— Бекен, ой, я же забыла тебе сказать! У меня большая новость.

— Потом. Как вам не стыдно, товарищ кандидат наук, занимать служебный телефон для личных разговоров,— урезонил он жену.

— Ну, потом так потом...

Искаков повернул на улицу Фурманова. Он еще никому не рассказал о том, что его сегодня вызывали в Центральный Комитет. Даже от Курала Сеитова, институтского товарища, друга, утаил важную новость — ему скажи, через десять минут все министерство знать будет! Бекен усмехнулся и вспомнил, как Курал полчаса торчал у него в кабинете, ругательски ругая молодого начальника электрообъединения из одной дальней области. «Безынициативный, высокомерный, работы не знает, а спеси в нем — хоть отбавляй!» — сердился Курал, а Искаков, вполуха слушая своего заместителя, рассеянно думал о том, что Сеитов все чаще и чаще стал ошибаться в оценке людей. Он знал парня, которого бранил Сеитов, — был он и деловым руководителем, и грамотным инженером, но по многим вопросам имел свое, независимое мнение, а

это — острый нож Сеитову, издавна не нравятся ему руководители, которые не лебезят перед ним, сотрудниками министерства, не подлаживаются под него, не спешат тут же согласиться с любым его высказыванием. Плохо это...

Заметив, что главный энергетик слушает его не очень внимательно, Сеитов забеспокоился:

— Что с тобой? Уж не заболел ли ты, часом? Может, в командировке простыл? Вы там не купались? Рано еще купаться...

— Нет, не купались, не до этого было...

— Может, перебрал вчера? Бывает...— Курал шутливо толкнул его в бок.

— Бывает, но не перебрал,— скупое ответил ему Бекен, занятый собственными мыслями.

Курал почувствовал неловкость.

— Ну, я пошел. Потом как-нибудь время выберу, по-толкуем, а сейчас у меня что-то голова болит,— нашелся он и, застегнув пуговицы пиджака на своем объемистом животе, сделав важный и неприступный вид, вышел из кабинета Искакова.

...Сначала показался памятник Чокану Валиханову, потом — здание академии... «Эх, академия, академия... Значит, не суждено этой осенью поступить в аспирантуру, а ведь так хотелось!.. Но — каким большим бывает у простых смертных расстояние между помыслом и делом, и выполнить все, что задумано, могут, наверное, только боги... Жаль аспирантуру? Конечно, жаль, зачем лгать...»

Притормозив, он увидел сбегавшую по лестнице Галию. Цветастое платье красиво облегало ее стройную, чуть-чуть начинающую полнеть фигуру. Она села в машину, дверцу которой предупредительно распахнул Бекен, и шутливо осведомилась:

— Товарищ водитель, не возражаете?

— Не смущайтесь, гражданочка, усаживайтесь поудобнее...— Бекен тут же включился в придуманную Галией игру, и они оба рассмеялись.

— Я скучала без тебя! — Галия поцеловала мужа и на секунду прижалась щекой к его груди. Бекен устало улыбнулся.

«Куда бы нам поехать? — соображал он.— За город? Может быть, за город? Там нам никто не помешает. Черт, ведь знаю, чувствую, против будет моя царица... Но что делать? Даже о смерти сообщают... А тут как-никак нечто иное... Ох и трудно мне сейчас придется...»

— Едем за город,— коротко объявил он.

— В честь чего такая прогулка? — Галия округлила глаза в притворном изумлении.

— А почему это вас удивляет, мадам? — Бекен плавно тронулся с места.— Разве мы не делаем это каждый день? Пообедаем где?.. Э-э... в «Пале-Рояле». Вечером едем на бал... в Лувр. Слуги уже приготовили твое волшебное платье. И обязательно надень свои золотые туфельки — говорят, там будет сам король,— таинственно шепнул он.

— Хватит дурачиться, лучше на дорогу смотри,— засмеялась Галия.

— Двойной обгон запрещен. Мадам, разве вы не знаете правил уличного движения? Где вы работаете? Я слышал, что вы — знаменитый казахский ученый с мировым именем. Не так ли?..

— Что с тобой сегодня? — улыбнулась Галия.

Ветер разметал ее густые черные волосы, и они, ниспадая, закрывали ее лицо. Ах, как любил ее Исаков — полюбил еще тогда, в студенческие годы, когда они ходили вместе в кино, театры, допоздна бродили по улицам, танцевали на праздничных вечерах...

— Бекен, ну правда, куда мы едем? — протянула Галия. Город остался позади, дорога круто забирала в гору, и там, вдаль, виднелись высокие сумрачные ели, белые маленькие домики на обрывистых склонах.

— Считаю, что я тебя выкрал! — лихо заявил Бекен.

— Как ребенок! — Галия улыбнулась, покачала головой и стала крутить ручку приемника, пытаясь поймать какую-нибудь музыку.

— Резюмирую: вы отнюдь не против, чтобы вас выкрали? — подмигнул ей Бекен.

— До каких пор мне, замужней женщине, этого бояться? — отпарировала Галия и тотчас приложила палец к губам.— Тихо,— сказала она.— Шопен. Ноктюрн Шопена.

— Ноктюрн... — прошептал он.

Они молча слушали музыку.

А вскоре уже сидели на открытой террасе маленького загородного рестораника.

— За что прикажете пить, мой господин? — спросила Галия, поднимая бокал с шампанским.

— Вы всерьез спрашиваете, моя госпожа?..

— О да, повелитель...

— Тогда — за мое благополучное возвращение из командировки...

— Дай-ка я тебя поцелую...

Искаков огляделся по сторонам и неуверенно сказал:

— Может, потом поцелуешь, когда мы останемся одни?

— Вы, наверно, скромный казах! — засмеялась Галия.

— Да, вы угадали.

— Я чувствовала, что не ошибаюсь. Так вот, мой друг, или вы немедленно поцелуете меня, или...

— Что «или»?

— Или я немедленно разобью этот бокал!

Искаков наклонился и поцеловал жену в щеку.

— Не так, — заупрямилась она. — Вот как нужно... — и крепко прижалась к нему.

Глотая холодное шампанское, Искаков в отчаянии подумал: «Нет, не сейчас. Сейчас я ей ничего не могу сказать. Вечером поговорим. И как-то неправильно я себя держу. Болтаю, грубо льщу. Я льстец? Раньше этого за мной не водилось, но ничего, ничего... Галия поймет меня...»

— Бекен, серьезно, что у тебя случилось? Ты такой сегодня веселый... — опять спросила Галия.

— Скучал без тебя, потому и веселый, — ответил Бекен.

Галия внимательно посмотрела ему в глаза, точно чуяла какую-то фальшь, и покачала головой.

— Хорошо, что мы сюда приехали. Я так давно не была с тобой в ресторане, спасибо тебе, — она положила свою мягкую теплую ладонь на руку мужа.

— Ты ешь, ешь, Галия, — Искаков снова наполнил бокалы. — Ну, а теперь можешь сообщить мне свои «большие новости».

— После, дома скажу, — заупрямилась Галия.

— Если это действительно приятные новости, то давай выкладывай, а если плохие — вообще мне ничего не говори. Идет?

Галия засмеялась и отставила бокал.

— Меня приглашают на десять дней в Вену, на симпозиум химиков. Вчера из Москвы телеграмма пришла, так что можешь меня поздравить.

— Поздравляю, — быстро сказал Искаков. — Это большой успех.

И спросил, выдержав паузу:

— Когда начинается симпозиум?

— Через месяц. Времени еще много! — счастливая, раскрасневшаяся, Галия была не в силах скрыть своей радости.

А он, внезапно поскучевший, сидел молча, и по лицу его невозможно было понять, как он отнесся к столь важной для жены вести.

— Что с тобой? Ты чем-то огорчен? — Галия перестала улыбаться.

— Что ты, что ты! — Искаков, защищаясь, поднял руки. — Я просто немного устал. И потом, — засмеялся он, — любую радостную весть нужно встречать хладнокровно. Я очень рад за тебя! Очень! Очень! — Он обнял ее за плечи и коснулся губами ее волос.

Они сели в машину.

— А теперь куда поедем?

— Поехали дальше в горы. Погуляем, побродим...

— А кто Маржан из садика заберет?..

— Успеем, времени еще много...

Искаков, внимательно глядя на дорогу, обдумывал неожиданную новость, которую сообщила ему жена. А Галия, слегка захмелевшая от шампанского, положила голову ему на плечо и тоже замолчала в сладкой полудреме. По радио передавали концерт Бибигуль. Чистый плавный звук ее голоса — хотелось, чтоб не было ему конца, чтоб не кончалась дорога, чтоб не кончалась песня. Вот так бы ехать и ехать, вперед и вперед, в тишине и спокойствии, вместе с любящей женой, под звуки любимой песни...

Они миновали каток Медео и свернули в ущелье Алатау: склоны, покрытые красными и желтыми тюльпанами, стройные ели, гордые тополя в богатом уборе зелени — дух захватывало от их яркой, броской красоты.

Искаков остановил машину у горной речушки, и они не спеша поднялись на вершину горы. Алма-Ата была укрыта белым туманом, лишь кое-где проглядывали крыши домов. Казалось, что весна с небывалой щедростью наделила землю своими дарами, и мир вокруг замер в радости, довольстве и покое, и время остановилось.

— Воздух чистый какой! — тихо сказала Галия, точно боясь кого-то спугнуть.

— Красота... — вздохнул Бекен.

Они возвратились к шумливой речке. Исаков швырнул на траву рубашку, джинсы и полез в холодную воду.

— Ты куда? Ты куда, Бекен! — испугалась Галия.

— Раздевайся, тут никого нету! — крикнул он.

— Ты есть, — сказала Галия. — И потом, я не знала, что сегодня поедем на реку, я бы купальник прихватила...

Исаков по пояс вошел в воду, и сильное течение чуть не сбilo его с ног, он покачнулся, с трудом восстановив равновесие.

— Осторожней, Бекен, тебя унесет, что буду делать? — крикнула Галия.

— Ключ от машины в левом кармане! — весело отозвался Бекен.

Он, фыркая от наслаждения, плескался в ледяной воде и чувствовал, как его мускулы ошутимо наливаются силой. Легко и вольно было ему — хоть снова выходи на ринг, как в те далекие годы, когда он занимался боксом.

— Хватит, простынешь... — Галия приблизилась к самой кромке воды и с любовью глядела на мужа.

— Ах-хха.. Ну, держись, королева! — Исаков ладонью взбил сноп брызг, и на солнце заискрилась маленькая радуга. — Королева бежит! Королева боится водных процедур! — дурачился он.

— Простудишься, Бекен! — беспокоилась Галия, отряхивая с платья серебристые капельки.

— Ну, иди, иди сюда, — подзадоривал ее Исаков, вновь набирая пригоршнями воду.

А она все улыбалась и все качала головой, а потом они долго сидели на берегу и лениво грелись на солнце. Убежавшие от городского гама и суеты, спрятавшиеся в ущелье, они радовались этой тишине, где самым громким звуком было цоканье быстрой воды об острые камни. Исаков зажмурился, подставив лицо солнцу, а Галия загляделась на муравья, который упрямо полз по траве и ее вдруг охватило умиление, что и у такого малыша нашлись какие-то важные дела, заставившие его пуститься в дорогу.

— Жарко, — сказала она.

— Хорошо, — отозвался Исаков.

И Галия подумала: «Жизнь... Жизнь прекрасна. И не беда, что иногда устаешь, приходишь в уныние и чувствуешь себя как рыба на сковородке. Все проходит, и на смену печали идут минуты успокоения, когда снова ведет тебя вперед твоя мечта. А ведь мечта не покидает человека

даже тогда, когда гаснет надежда, и он думает, что одинок, что он — чужое этому миру существо. И может ли хороший человек сохранить в чистоте свою душу, если не умеет мечтать? Ведь это трагедия, если человек не знает, что такое мечта...» Она прислонилась к тополи и сама была удивлена неожиданно нахлынувшим мыслям и сравнениям. Там, в стенах лаборатории, между пробирками и колбами, вся с головой ушедшая в заботы о новой диссертации, она была далека от размышлений фактически НИ О ЧЕМ, но здесь, встретившись с природой, она как будто вновь ухватила за давно забытую мысль о том, что такое счастье и что такое мечта, и ей вдруг стало тревожно: не забывает ли она в суете будней о чем-то самом главном?

Бекен лежал на траве, широко раскинув руки, и Галия, подняв голову, засмотрелась в синее безоблачное небо. Снежная вершина Алатау блестела вдаль, и солнце слепило до рези в глазах. Ели на склонах, зеленые тополя — богатая, дивная красота родного края. И — тишина вокруг...

Искаков не спал. «Только теперь началась для меня настоящая жизнь, теперь, когда мне поручена самостоятельная работа невероятных масштабов. Что ж, значит, пришло время испытать себя, товарищ Искаков. Я-то все вынесу, все выдержу, но вот Галия... Неужели безвозвратно канули в прошлое те времена, когда мы, оставив детей у ее родителей, кочевали по стройкам?.. Выдержит ли она? Да и что там «выдержит»? Согласится ли она?»

Галия опустила голову на согретую солнцем грудь мужа, и ее мягкие прохладные ладони ласкали его.

— Я люблю тебя, — шептала она. — Люблю, люблю. Я могу умереть ради тебя, айналайын, любимый, родной...

И тишина, и покой, и солнце, и горы, и речка, бьющаяся о камни ущелья, и горячее дыхание, тихий шепот двух влюбленных...

— Милый, милый мой...

— Айналайын...

И запах ее волос, и трава, и тополь, и синее-синее небо там, в вышине...

— Милый...

— Айналайын...

И муравей сисва полз по тропинке, волоча соломинку,

и шепот, и горы, и речка, и ощущение счастья, счастья, слепящего, как солнечная снежная вершина, бурного, как этот поток, вечного, как все вокруг...

Уложив детей спать, они немного посидели на кухне и перешли в комнату. Галия рассеянно открыла крышку пианино и взяла несколько аккордов ноктюрна Шопена, мелодия которого не оставляла ее весь этот счастливый день.

— Галия, я должен с тобой поговорить...

Галия, не убирая пальцев с клавишей, повернулась к Искакову, и что-то в его напряженном лице, напряженной позе больно кольнуло ее.

— Говори, я слушаю тебя... Что-то случилось?

— Случилось... Сегодня утром я был в ЦК..

— Тебя вызывали?

— Да. Дело в том, что в Жетысу строится большой аккумуляторный завод и меня назначают его директором. Для этого я и в командировку ездил, знакомился со стройкой...

— Понятно,— сказала Галия, и лицо ее потемнело.— И ваша щедрость, ваша ласка были подготовкой к столь приятному известию?

— Как хочешь, так и понимай,— виновато улыбнулся Искаков.

— Ты должен дать им свое согласие?..

— В принципе — да,— запнулся Искаков, не поднимая глаз на жену.

— Но ты, надеюсь, знаешь, что сейчас нам ни в коем случае нельзя уезжать из Алма-Аты? Это ты, я надеюсь, понимаешь? Мы только-только пришли в себя от всех этих переездов, дети подрастают, ты — главный специалист министерства, у меня докторская на носу, я работаю у Койшибаева,— разве все это для тебя ничего не значит?

— И что же я, по-твоему, должен был ответить Центральному Комитету?

— Рассказать обо всех наших обстоятельствах...— Галия подошла к мужу и прислонилась к его плечу.— Я понимаю, понимаю твою бесхитростную душу, но неужели на тебе свет клином сошелся, Бекен? Неужели у них нет другого человека?

— Галия! — твердо сказал Искаков, и у него пересохло в горле.— Я сегодня дал согласие. Мне доверяют, и я

должен построить этот завод. Я, может быть, всю жизнь мечтал о таком деле...

Галия опустила голову. Бекен рванулся к ней, но что-то остановило его.

— А со мной разве не нужно было посоветоваться, Бекен? — устало спросила она.

— Пойми, до сегодняшнего дня еще многое оставалось неясным... — начал Бекен, но Галия резко перебила его:

— Разве кто-нибудь осудил тебя, если бы ты сначала посоветовался с женой? И потом, — какое мне дело до других? Я — твоя жена, а ты — мой муж.

— Галия, меня вызывали в ЦК не в качестве твоего мужа, — сказал Бекен.

Они замолчали, и казалось, что этой томительной паузе не будет конца.

— Бекен, ты закончил школу с медалью. Я — тоже. Ты получил диплом с отличием. Я — тоже. Ты — главный энергетик министерства. Я заканчиваю докторскую... — Галия каждое свое слово произносила с нажимом. — Я всю жизнь следую за тобой. Красноярск, Токтагульская ГЭС, Семипалатинск... Ты ведешь, и я иду за тобой, ведь так?

— Так, — вынужден был сказать он.

— А если так, то скажи мне, почему все всегда должно быть, как ТЫ этого хочешь? Почему ты один решаешь судьбу нашей семьи? Да, ты мужчина, хозяин дома, но почему ты всегда думаешь только о себе?

— Послушай, разве я о себе думаю? Ты пойми, расуди и пойми — мне поручена одна из важнейших строек. Ты понимаешь это?

— Не могу понять. И никогда не пойму, — отрезала Галия.

— Что?.. Значит, когда я уйду к девяти и прихожу после шести, возвращаюсь домой, к этому телевизору, к этому хрусталу, к этим полированным деревяшкам — я тебе понятен; ты понимаешь, когда меня назначают главным энергетиком, когда я хорошо одеваюсь и хожу с гордо поднятой головой, когда я смеюсь, острою и скандалы в семье отношу за счет шума холодильника, — тогда ты меня понимаешь... — Искаков старался говорить спокойно, но все же не выдержал и дал волю своему внутреннему гневу. — А когда мне поручается дело, дело с большой буквы, тогда ты отказываешься меня понимать?

— Перестань! Уж не в мешанки ли ты меня собрался записать? Ты прекрасная женщина, я делила с тобой

трудности. Но всему есть предел. Предел терпения, если хочешь...— Галия тоже повысила голос.

«Чтобы узнать истину, нужно хорошо присмотреться к тому, кто говорит об истине,— думал Искаков.— Ведь тот, кто не знал поражений, никогда не сможет определить истинную цену победы. Вечный счастливец подобен Дон-Жуану, пресытившемуся развлечениями, или алкоголику, уже не чувствующему вкуса вина. Проиграв однажды, он никогда уже не сможет подняться, а потерпев поражение, никогда больше не оседлает коня. Навсегда замкнется в своем поражении и проведет дальнейшую жизнь в унынии...»

— Галия, мне отступить некуда. Еще раз говорю — я все хорошо взвесил и дал согласие...

— А я говорю, что ты ломаешь не только свою, но и мою судьбу. Будущее наших детей, мои мечты — все это для тебя пустой звук.

— Галия, я не хочу употреблять высокие слова, но ты пойми — меня зовет мой гражданский долг. Неужели ты хочешь, чтобы львиное сердце стало заячьим и вечным уделом моим было спокойствие? Ты меня понимаешь?

Галия поднялась и остановилась в дверях:

— Я понимаю тебя. Но и ты меня пойми — у меня свои представления о долге и обязанностях. Не сердись, но запомни — я из Алма-Аты никуда не поеду. И прошу тебя, не будем больше возвращаться к этому разговору...

Она хлопнула дверью.

...Совсем рассвело, и на улицах уже полным-полно прохожих. Он встал под холодный душ, потом оделся и вышел из дома.

К концу рабочего дня он получил в бухгалтерии билет до Москвы и командировочные. Еще днем он провел совещание со специалистами своего отдела, дал им краткие ясные указания по текущим делам и пожелал успеха в работе. Сейчас он одиноко сидел в своем кабинете и курил, глядя в окно.

В дверь постучали, и на пороге появился Курал Сеитов. Не спрашивая разрешения, он плюхнулся в кресло.

— Хочу с тобой поговорить,— сказал он.

— Говори,— Искаков протянул ему сигареты.

— Спасибо,— Сеитов размял сигарету и прикурил.— Звонила Галия,— начал он, выпустив изо рта красивое голубое колечко.

«Утопающий хватается за соломинку»,

— И что? — любезно осведомился Искаков. — В кино тебя пригласила?

Сеитов, не обращая внимания на иронию, скорбно смотрел на Искакова с видом человека, исполняющего волю самого всевышнего, напыщенный и сосредоточенный от сознания своей высокой миссии.

— Говори, о покровитель мой, — не удержался Искаков.

— Бекен, — начал он. — Пока не поздно, не делай необдуманного шага. Вспомни пословицу: чем за тридевять земель на арбе ехать, лучше в мешке унести то, что рядом лежит... Галия пишет докторскую... — Заметив пристальный и твердый взгляд Искакова, Сеитов осекся и умолк.

Искаков рассердился на Галию. «Ну, допустим, мы не сошлись во мнениях, но зачем же посвящать в наши дела посторонних? Ох, эти женщины, женщины, пусть они теперь ходят в брюках, красиво курят, играют в преферанс, толкуют об эмансипации — все равно они остаются женщинами и в достижении своих целей используют самые старые уловки...»

Он неожиданно улыбнулся и сказал Сеитову, стараясь, чтобы его слова не прозвучали грубо:

— Курал, ты знаешь, как я ценю нашу дружбу, но свои дела я буду решать сам...

— С твоей головой, с твоей деловой хваткой... — Сеитов помолчал и вытер вспотевший нос. — Да ты бы через два-три года мог стать заместителем министра.

— Валяй дальше, что еще скажешь о моей блестящей карьере?

— Точно я тебе говорю... Таких парней, как ты, бог создал для полета! — довольный своими словами Сеитов заерзал на стуле, в надежде, что Искаков согласился с ним, но тот, вертя в пальцах карандаш, сидел с безучастным видом. — Незачем, незачем тебе брать этот завод, Бекен... Поверь, там в два счета можно шею сломать, и не такие умники, как ты, на таких делах горели...

— Курал, шутки в сторону! — Бекен хлопнул по столу ладонью и засмеялся. — Считаю, что ты выполнил поручение Галии на все сто процентов и совесть у тебя чиста. А я прощаю тебе твою вину, даже если бог тебя не простит...

— Какие тут шутки, Бекен. Я здраво говорю. Ты мне не только начальник, но и друг.

— С сегодняшнего дня придется тебе довольствоваться только дружбой.

— Что, что, что? — не понял Сеитов.

— Я говорю, что с сегодняшнего дня я уже не твой начальник.

— Так вот, если ты хоть сколько-нибудь дорожишь словом друга, ты не бросишь Алма-Ату...

— Курал, тысячу лет никто из нас не проживет. И перед смертью человек должен вспомнить не только свою жену и детей. Он еще что-то должен вспомнить — дело свое, главное дело своей жизни, лишь тогда он сможет спокойно закрыть глаза.

Сеитов вяло слушал его.

— Ты какой-то чудной стал, — сказал он. — Если помирать собрался, так рано тебе помирать — погляди на себя в зеркало, здоровый как бык, тьфу, тьфу, чтоб не сглазить.

— Да я жить хочу, не помирать! — рассердился Искаков. — И жить хочу осознанно, а старые люди говорили, что благополучие мешает мыслить. У Мука есть хорошие стихи:

Тот обманет себя. Непременно.
Кто совсем не стыдится себя.

— Чего только не напишут эти поэты. И что же будет, если каждый начнет себя стыдиться? — Сеитову стихи не понравились, да он и далек был от искусства, поэзии. Он и его друзья еще в институте гордо именовали себя «технической интеллигенцией», весьма односторонне понимая это словосочетание.

— Бесценный Мука! — вздохнул Искаков. — Ты и живым не был понят, и после смерти твой земляк, «технический интеллигент», не может по достоинству оценить тебя.

Сеитов открыл рот, чтобы что-то сказать, но Искаков снова перебил его:

— И еще говорили старые люди: птица, вскормленная в клетке, не знает, что такое небесный простор.

— Знаешь что, не темни! — Сеитов, рассердившись, наконец-то употребил свой излюбленный термин, означавший, что он принимает слова собеседника за подковырку. — Ты лучше скажи, кто это такой, твой Мука?

— А ты как думаешь?

— Я же сказал тебе — не вуалируй! — покраснел Сеитов.

— Мукагали Макатаев¹. Поэт. Как ты думаешь, когда он жил?

— Когда?

— В тринадцатом веке...

— Боже мой, неужели столько веков поэты об одном и том же толкуют?..

Искаков громко рассмеялся.

— Ты что? — изумился Сеитов. — Эй, Бекен!..

Искаков, сотрясаясь от хохота, замахал на него руками.

— Ну хватит, — недовольно сказал Сеитов. — Казаху только дай посмеяться над оплошностью другого. Что-что, а здесь мы мастера. Хихикаем друг над другом, пока в могилу человека не сведем, а потом ноём над гробом: «Ах, бесценный ты наш, незаменимый ты наш...»

— Не сердись, я не хотел тебя обидеть, — Искаков оборвал смех. — Но уж раз ты снова о смерти заговорил, то вспомни пословицу: если хочешь, чтоб тебя ценили, постарайся вовремя умереть. Времени — шесть часов, друг мой. А мне еще нужно в дорогу собираться.

— Ко мне зайдешь? — спросил Сеитов.

— Спасибо. Приеду — зайду обязательно.

— Галия с детьми у нас. Жаннат их уже и чаем напоила. Хочешь, я сейчас позвоню?

— Не надо, — Искаков положил руку на трубку. — Скажешь ей, что я — дома. И... не сердись на меня...

— Да я и не сержусь, — пробормотал Сеитов.

Пока он заходил в соседний кабинет за плащом, Искаков уже успел спуститься вниз на лифте. Запыхавшийся Курал догнал его на улице, и они пошли рядом.

«Попросить или нет? — лихорадочно соображал Сеитов. — Бекен в Москву летит и явно может замолвить за меня словечко. Пусть имеют меня в виду... А может, стыдно об этом разговор затевать? Ну, если ему это будет не по душе, то он мне прямо в лицо скажет. Да и какой может быть стыд в таком деле? Все-таки он мне друг...»

И на перекрестке Сеитов дернул Искакова за рукав.

— Слушай, Бекен, — заискивающе обратился он. — А они твоего мнения не спрашивали?

— Какого мнения?

— Насчет кандидатуры на освободившееся место.

¹ Современный казахский поэт, преждевременно ушедший из жизни в сорок пять лет.

— Нет...— Искаков внимательно разглядывал Сеитова.

— Ну вот я и говорю — если ТАМ будут спрашивать, скажи обо мне, мы ведь друзья с тобой, в крайнем случае и настоять можешь...

— Что сказать?

— Ну скажи, что знаешь только одного человека, достойного твоей должности. Это, мол, товарищ Сеитов...

— Ох и пробивной ты, товарищ Сеитов,— насмешливо сказал Искаков.— Пусть сначала спросят, а там видно будет. Ну, добро... До свидания, до встречи...

— Эй, Бекен,— Сеитов опять остановил его.— Ты ведь знаешь, я здесь восьмой год работаю...

— Знаю...

— Так что если спрашивать не будут, можешь и сам как-нибудь... намекнуть. Ну, не держу тебя, не держу, счастливого пути,— заторопился он.— О Галии не беспокойся, я с ней поговорю! — крикнул он вдогонку Искакову.

Подойдя к дому, Искаков посмотрел на свои темные скна и присел на скамейку. Дети бегали по двору, о чем-то судачили старухи, мужчины в майках азартно стучали костяшками домино. Только теперь Искаков понял, как вымотался за эти дни. Он еще немного посидел с усталым, отрешенным видом, а потом поднялся в свою квартиру. Не включая света в прихожей, разделся, прошел в гостиную и, включив телевизор, лег на диван. Последние известия — в мире голод, кровопролитие, забастовки, разногласия и споры в палате депутатов, требования мира, свободы чилийским патриотам... «Идеализм — красивая невеста, влюбленная девушка; материализм — мать», — вспомнил он слова своего институтского преподавателя на семинаре, где он, Искаков, с юной горячностью вдруг заявил, что он на стороне идеалистов — поэтов, мечтателей.

Он усмехнулся и включил свет. Положил в портфель две чистые рубашки, джинсы, бритву. Закурил сигарету и вышел на балкон. Зазвонил телефон, но Искаков не двинулся с места...

...Утренний воздух был чист и прохладен. Солнце только что поднялось и еще не успело высушить росу на газоне. Искаков щелкнул зажигалкой.

— Баталия началась. Но мы будем сражаться до конца,— прошептал он.

Объявили посадку в самолет.

Он бросил сигарету в урну и, широко ступая, зашагал по летному полю. Его высокая статная фигура не затерялась в толпе пассажиров, шел он гордый, смелый и сильный.

А небо опять было чистое, синее, без единого облачка.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ВЕСНА

1

Вот и миновала зима, третья зима стройки...

Искаков успел с утра посетить площадку нового микрорайона, где закладывались дома для рабочих, и теперь возвращался к себе на завод. Было еще по-утреннему свежо, и здесь, на окраине Жетысу, особенно чувствовалась близость громадной степи, лишь по обе стороны ровной дороги убегали вперед зеленеющие посадки — тополя и березы.

Он посмотрел на часы и, переехав арык, остановил машину. Не спеша сделал утреннюю зарядку, разделся и стал мыться холодной водой. В ежедневную привычку вошло у него это — объезжать с утра все объекты, а затем останавливаться у арыка, и привычке своей он не изменял с ранней весны до поздней осени. Заводские остряки называли все это «системой Искакова».

Он снова сел за руль, но поехал медленно — стрелка спидометра приближалась всего лишь к сорока. Искаков решил на сегодняшней планерке ознакомить руководящих работников завода со своей давнишней мыслью, которая теперь уже оформилась во вполне созревшую идею. «Наши-то люди с полуслова меня поймут,— размышлял он,— но что скажут другие?.. Хорошо, если обком поддержит, министерство, а вдруг нет? Вдруг скажут, что моя партизанская выходка только повредит большой индустрии? — Искаков рывком переключил скорость.— И все же... и все же или мы выиграем, или замечательный точный план придется похоронить. Навсегда...»

Главный инженер завода Сергей Владимирович Рожков зашел в приемную директора. Секретарь Наташа причесывалась у зеркала.

— Нету, нету еще,— сказала она, предупреждая вопрос Рожкова.

— А Кожаклова не видела?

— Только что звонил. Бекена Исаковича спрашивал.

— Спасибо...

Рожков вышел из маленького домика, в котором размещалась дирекция, и нос к носу столкнулся с Кожакковым, начальником строительного треста. Был Кожакков высоким, здоровенным, крепким парнем. Рожков же хоть и ростом удался, но был тощий, в очках — «верста коломенская», так его и в институте звали, да и на стройке иногда.

Главный инженер и начальник стройтреста недолюбливали друг друга и не очень-то это скрывали: Кожакков считал Рожкова слишком молодым и не придавал ему значения как специалисту, подчеркивая это при каждом удобном случае, а Рожкову претили грубый характер Кожаккова, его самоуверенность, нахрапистость и то, что он привык ни с кем и ни с чем не считаться... Вот уже почти полтора года длилась эта скрытая, а временами и явная вражда, которая возникла при первом же их знакомстве.

— С утра пораньше шустришь, главный инженер? — пробасил Кожакков, протягивая Рожкову руку.

— Пример беру со славного старшего поколения,— ответил Рожков.

— С каких это пор ты научился уважать старших? — притворно удивился Кожакков.— Ладно, скажи, шеф твой у себя?

— Еще не приехал. В микрорайоне, наверное, застрял...

— Ага! Хозяева прохлаждаются, степными красотами любятяся — злорадно начал Кожакков,— а строители должны пахать до посинения и все вопросы самостоятельно решать! И за все отдуваться! Интересно, когда это ваше барство прекратится?

Рожков молчал.

— Чего молчишь, крыть нечем? — подзуживал его Кожакков.

— Если вы закончили утреннюю языковую гимнастику, то я начну прямо с дела. Если вы позволите, конечно...

— Экие церемонии...— пробормотал Кожиков.— Прямо английский парламент, а не стройка... Да начинай ты, начинай, не тяни kota за хвост...

— Ерлан Смаилович,— Рожков подчеркнуто не замечал грубости Кожикова.— Я хочу сказать вам, что настало время поставить точку в нашем споре. Как у вас насчет полов в первом цехе?

— Прекрасно у меня насчет полов в первом цехе. И в споре этом я уже давно поставил точку. Довольно жирную. Ты разве забыл?..— Кожиков поискал в кармане сигареты и, не обнаружив, попросил:— У тебя закурить не найдется?..

— Я не курю,— отмахнулся Рожков.— Значит, вы все-таки решили заливать полы асфальтом. Я вас правильно понял?

— Совершенно правильно. А я вот тебя хочу, в свою очередь, спросить — ты вообще-то понимаешь, что такое проект?.. Или у вас в институте этого не проходили? А может, ты ту лекцию прогулял, где вам рассказывали, что такое проект? Ты понимаешь или нет?

— Понимаю.

— А раз понимаешь, то заруби себе на носу,— жестко закончил Кожиков,— проект для всех нас — закон. И если в проекте предусмотрены асфальтовые полы, то я паркет вам стелить не собираюсь...

— Ерлан Смаилович, вы же знаете, что проект морально устарел и нам нельзя множить его ошибки. Полы этого цеха должны быть покрыты полимербетоном, этой технология требует и... и время, наконец, в котором мы с вами живем.

Кожиков присвистнул:

— Ну, это, знаешь ли, аргумент для детского сада, а мы здесь не в песочек играем, завод строим...

Рожков был спокоен.

— Ерлан Смаилович,— сказал он,— я знаю, что вы из тех упрямец, которые не любят отступать. Но, извините, в этот раз вам придется все сделать так, как нужно нам, заказчикам, а не так, как это вам удобно...

Кожиков побледнел и хотел ответить очередной резкостью, но в это время к управлению подъехала машина Исакова, и внимание начальника треста переключилось на директора завода.

— Настоящий ковбой... Джинсы, куртка кожаная... Па-ры кольтов на поясе не хватает, а? — съязвил он, повернувшись к Рожкову.

Рожков промолчал, но всем своим видом дал понять, что устал от шуточек Қожакова. Оба они пошли навстречу Исакову.

— Сергей Владимирович, привет. Приветствую товарища Қожакова, нашего мецената,— заулыбался Исаков.

— Привет,— хмуро буркнул Қожаков.

— Что-то не в настроении? Не с той ноги встал или сон страшный привиделся?

— Хохмачки свои оставь при себе! — вспыхнул Қожаков.— Где оборудование для второго цеха? Сейчас ты нас держишь, а потом мы тебя прижмем. Учти, я не могу две ноги в один сапог засунуть...

— Ладно, успокойся. Что ты все прыгаешь, как молодой петушок,— добродушно засмеялся Исаков.— И поговорки у тебя какие-то устаревшие. Подумаешь, две ноги в один сапог! Ты вот попробуй одну ногу в два сапога поместить!..

Қожаков невольно улыбнулся.

— Козьма Прутков с аккумулятора завода,— хмыкнул он.

Эти утренние подковырки к вечеру иногда переходили в ругань до хрипоты.

— Бекен Исакович, полы в первом цехе все же собираются покрывать асфальтом,— сказал Рожков.

Исаков сразу же отбросил шутливый тон.

— Ерлан Смаилович, мы ведь уже говорили об этом...

— Да вы что, друзья! Я, что ли, проект утверждал? Вы запомните, я — хозяин того, что есть, а не того, чего нет и быть не может...

— Мудрено ты загнул. Ну а если бы в проекте вообще полы не были указаны, так бы и сдал цех без полов? — спросил Исаков.

— Не бери на себя много, Бекен Исакович. Не надо из меня дурака делать...

— Если проектировщикам безразлично, по какому полу будут ходить наши рабочие, неужели и нам с тобой на это наплевать?

— Закурить мне даст кто-нибудь сегодня или нет? — вдруг рявкнул Қожаков.

Исаков достал из кармана мятую пачку сигарет и протянул ее сердитому строителю.

— Кури, может, подобрее станешь...

Кожакон взял сигарету, щелкнул зажигалкой и жадно затянулся.

— Ну, скажем, я тебя понял,— он, прищурившись, посмотрел на директора завода.— А что мне прикажешь делать? И где я возьму деньги для строителей? Тебе нужно, чтобы все было так, как ты хочешь. А кто о моих трудностях подумает?

— Что, невозможно достать полимербетон? — спросил Исаков.

— Достать возможно, ждать невозможно. Пока два министерства договорятся, пока разрешение получим, знаешь, сколько воды утечет? Мы к этому времени в бумажках по уши увязнем, а толку будет ноль целых ноль десятых... плюс удорожание.

Исаков тоже прикурил и невольно загляделся на мощные строительные краны, разворачивающие свои длинные стрелы навстречу солнцу.

— Гарантирую, что бумажную бюрократию мы нейтрализуем телефонной дипломатией. И удорожание мы компенсируем,— решительно сказал он Кожакону.— Сколько дней вы можете подождать с полами?

— Неделю,— сказал Кожакон.

— Хм... Неделю?..— протянул Исаков и обратился к Рожкову: — Сергей Владимирович, ты свободен. Планерка в двенадцать. Зайдешь ко мне в десять тридцать...

— Иду... Но нам нужно недели две, не меньше,— сказал Рожков.

— Неделю. Ни часу больше,— упрямо повторил Кожакон и посмотрел на часы.

— Строгий ты стал, Ерлан Смаилович,— улыбнулся Исаков.

— А пусть твой щенок не тявкает на меня! — Кожакон кивнул в сторону ушедшего Рожкова.

— Его зовут Сергей Владимирович. Он — главный инженер завода,— тихо сказал Исаков.

— Салага он, а не главный инженер. Пусть сначала научится со старшими разговаривать.

— Ерлан, торговать своей сединой — признак слабости,— упрекнул его Исаков.

— Ладно уж, опять пошел пословицами сыпать...— Кожакону вдруг стало стыдно своей грубости: — Бекен, почему мы, старые друзья, перестали понимать друг друга? Из-за чего? Из-за этой чертовой стройки?

— Ну, я думаю, что «чертова», как ты выражаешься, стройка в этом мало виновата.

— А кто виноват?

— Сами, наверное. Мы здорово изменились за это время, и ты, и я...

— Может быть,— буркнул Кожakov, садясь в машину.— Пока...— он хлопнул дверцей и приказал шоферу:— Жми в четвертую бригаду, Вася... По дороге куратора Семенченко прихватим. Надоел мне — звонит, значит, то ему не так, это не так...

И задумался, держа во рту тлеющую сигарету: «Прав ты или не прав, но если начнешь упрямиться, я тоже в долгу не останусь. Посмотрим еще, чья возьмет... Смотри, Искаков, ох смотри... ковбой. Я не враг тебе, но уж если стану врагом, не остановлюсь, пока не сотру тебя в порошок. Я своего всегда добиваюсь, ты должен помнить, браток, и я тебе об этом живо напомню, если забудешь! Ишь ты — «изменились»! Я-то, по крайней мере, не изменился, а вот тебя, кажется, на славу потянуло, героя... Орденок хочешь получить! «Изменились»!..»

— Что вы говорите, Ерлан Смаилович? — спросил шофер

— Ничего не говорю..— ворчливо сказал Кожakov.

3

Искаков быстро просмотрел ночные телеграммы, скопившиеся у него на столе и тяжело вздохнул.

— Никто не скажет: «Приди, о Искаков, возьми и владей»,— уныло сказал он.— Заладили все: «нет да нет, не имеем, откладываем, перенесли на следующий квартал...»

Он переговорил по селектору с начальниками цехов, потянулся и вынул из сейфа чертежи...

А в его приемной между тем разгорелась нешуточная борьба между секретаршей Наташей и инженером Какеном Мукашевым. Этот обычно неразговорчивый стеснительный парень упорно требовал пустить его к Искакову и не поддавался ни на какие уговоры.

— Ты понимаешь, что он никого, НИКОГО до планерки не велел к себе пускать,— сердилась Наташа.— Он ждет звонка из Москвы.

— Я по делу пришел. Я по важному делу пришел, — рассердился и Мукашев. — Что вы тут — «понимаешь, понимаешь», а сами бюрократию развели.

Удивленная его гневом, Наташа пристально посмотрела на него и чуть не прыснула от смеха. Тоже... нашелся герой! Плечи опущены, пиджак висит на сутулой спине... Да он и вообще всегда такой — никогда не понять, на каком небе находится. Спросишь его что-нибудь — молчит. Или не слышит, или не хочет слышать. В цехе, говорят, ведет себя совсем по-другому, говорят, что он внимательный, знающий свое дело инженер. Кто-то дал ему прозвище «рацпредком», и следует признать, что оно соответствует действительности — десятки его рационализаторских предложений были внедрены в производство при монтаже...

— Гнев вам не к лицу, молодой человек. Вы как разговариваете с дамой? — сказала Наташа улыбаясь.

Мукашев покраснел и смешался, ибо самое его уязвимое место заключалось в том, что он совершенно не умел вести с девушками легкого разговора. Стоило им лишь глянуть на него, он опускал глаза, мямлил что-то невразумительное и старался побыстрее ретироваться. Девушки и женщины на заводе, знавшие, что он развелся с женой, не упускали случая подшутить над ним.

— Какен, вы почему на танцы никогда не приходите? — лукаво спросила Наташа. — Кое-кто вас там ждет... Сильно ждет...

Какен еще больше покраснел и насупился, ожидая подвоха.

— Учтите, что этот «кое-кто» пока еще ни с кем не танцует, утверждает, что мечтает танцевать только с вами.

— Долго тогда этому «кое-кому» ждать придется! — застенчиво брякнул Какен.

— Такого парня можно и подождать! — засмеялась Наташа.

Но тут зазвонил телефон, и она взяла трубку. Мукашев потоптался на месте и рывком распахнул дверь директорского кабинета.

— Куда вы, вы куда? — рванулась Наташа, но дверь уже захлопнулась.

— Хитрый какой! — Она покачала головой.

— Разрешите, Бекен Искакович? — спросил Мукашев.

— Ввалился, а теперь разрешения спрашиваешь, — недовольно сказал Искаков. — Ну, быстро говори, что случилось?.. Пожар? Наводнение?..

— Бекен Искакович, у меня к вам важное дело...

— Какен, некогда мне сейчас... Зайди в конце дня, если можешь...

— Я всего на одну минуточку...

— Я же тебе сказал...

Искаков опять склонился над чертежами, но Мукашев решительно уселся на стул, всем своим видом давая понять, что он не уйдет, пока не добьется своего. Искаков спросил, не поднимая головы от чертежей:

— Ты еще здесь?..

— Здесь. Мне нужно...

Искаков начал искать в ящике стола какую-то бумагу.

— Какен, я тебе серьезно говорю... У меня ни минуты времени... После, Какен...

— Я уже три минуты сижу в вашем кабинете, могли бы уже поговорить...

Искаков громко рассмеялся.

— Ну ладно, выкладывай свое важное дело...

— Я о монтаже первого и второго цехов.

— Так, интересно... О проблемах технологических линий?

— И это есть...

— Интересно... Оставь, я сегодня к вечеру просмотрю. Договорились? — Искаков вновь уткнулся в чертежи.

— Бекен Искакович, а что оставлять-то?

— Как что? Расчеты. Ты выдвигаешь идею или я?

— Расчеты?.. — Мукашев смутился. — Бекен Искакович, понимаете, я на бумагу еще ничего не перенес. Все в голове... Хотел сначала с вами поговорить...

Искаков улыбнулся.

— Брат мой, и у меня в голове много всяких идей, самых разнообразных... Да вот знаешь ли, как один мой знакомый говорит, чего нет, того и быть не может...

— Главное, чтобы идея была, — радостно заулыбался Мукашев. — А оформить — это я в два счета оформлю.

— Шутки шутками, но ведь ты инженер, Какен, и если у тебя есть важное предложение, а я верю, что оно у тебя есть, обдумай его основательно, сделай расчеты,

подтверди их чертежами, таблицами...— Искаков говорил медленно и даже равнодушно, хотя прекрасно понимал, что этому странному парню позарез нужно тут же высказать осенившую его мысль и что не было бы на земле счастливее человека, чем этот Мукашев, если бы директор, оставив все свои дела, принялся беседовать с ним и в конце беседы воскликнул: «Молодец, Мукашев!» «Нет, так нельзя: если парень хочет быть стоящим инженером, ему нужно научиться проявлять выдержку... И еще — почему он так неряшливо одевается? Причесался бы, приоделся — парень-то ведь хоть куда! Надо сказать кому-нибудь из его друзей, а то он, оказывается, и с женой разошелся... Бросить такого хорошего парня — что за бабья дурь! Хотя с другой стороны, как говорится, «если хочешь рано умереть, женись на глупой женщине»... Тьфу, черт, привязались сегодня пословицы...»

— Бекен Искакович, может, все-таки выслушаете, я поделю...

Искаков отрицательно мотнул головой.

И на секунду ему вспомнилась Токтагульская ГЭС. Они, молодые выпускники вузов, хотели все перевернуть с ног на голову — все производство, всю технологию, и больших «знатоков», больших патриотов стройки трудно было где-либо сыскать. Говорили, спорили, ругались до хрипоты, и все эти споры сводились в общем-то к одному:

— Так больше работать нельзя...

— Этот способ давно себя изжил...

— Легко найти начальника ГЭС, а ты вот попробуй найти хорошего рабочего...

— Сейчас двадцатый век, а мы до сих пор мыслим категориями девятнадцатого...

И единственным человеком, с которым они тогда находили общий язык, был семидесятилетний Евгений Михайлович Кранц, начальник их участка. Седобородый крижистый инженер, он перевидал за свою жизнь многое и к любому делу подходил обстоятельно, степенно, за что и ценили его на стройке.

Горячий Искаков иногда вспыхивал:

— Евгений Михайлович, я категорически против такого решения вопроса!..

А Евгений Михайлович лишь посмеивался да поглаживал свою красивую бороду. Отвечал не спеша, с ленцой даже:

— Сударь, я вынужден напомнить вам старинную казахскую поговорку: «Кто не спешит, тот и на арбе зайца догонит», а также хочу обратить ваше внимание на тот факт, что непременно придет и ваше время командовать. А пока советую поостыть и поразмыслить. Это еще никому в жизни не мешало. Фестина ленте, как говорили древние, спешите медленнее, сударь...

И все как-то невольно слушались его, считались с ним. Потому что он никогда не подчеркивал, что знает во много раз больше, чем они, двадцатитрехлетние юнцы, потому что он не видел разницы между истиной и справедливостью и одно его веское слово всегда гасило страсти...

...Мукашев хотел еще что-то сказать, но Исаков опередил его:

— Собери все свои мысли, которые пока витают в облаках, изложи их на бумаге и тогда приходи ко мне. Договорились?..

— Договорились.

— Сколько тебе для этого нужно времени?

— Достаточно трех дней, Бекен Исакович...

— Спешите медленнее, сударь,— процитировал Исаков.— Даю вам неделю... Сделаешь раньше — тоже хорошо.

— Годится, Бекен Исакович! — Мукашев встал и быстро направился к дверям, точно боясь, что директор передумает.

— Стало быть, через неделю,— Исаков сделал пометку в настольном календаре.— В конце дня...

— Во сколько? — Мукашев задержался в дверях.

— Мне будет удобно в... в восемь, например. А тебе?

— Мне в любое время удобно. До свидания...

— Будь здоров...— Исаков посидел немного и, улыбаясь, подошел к окну. Какен, размахивая руками, поспешно шагал через лужи, не обращая на них ровным счетом никакого внимания.— Прямо хоть трактат пиши: о влиянии холостого состояния мужчины на производительность труда,— усмехнулся Исаков.

Зазвонил телефон.

— Бекен Исакович, Москва,— услышал он в трубку голос Наташи.

Исаков решительно придвинул к себе чертежи и расчеты.

— Алло,— сказал он.— Здравствуйте. Да, я хотел с вами посоветоваться, Николай Николаевич.

Внимание Кожаклова привлекли оживленные голоса, доносившиеся из укромного местечка в тени высокого забора. Он подошел ближе и с удивлением обнаружил, что вся славная четвертая бригада преспокойно играет в карты, невзирая на то что рабочий день в разгаре.

— Мне хватит. Себе бери,— бригадир Бояубаев важно, как принц, восседал на кирпичках. Усатый монтажник — Кожаклов забыл его фамилию — снял карту.

— Восьмерка... семерка...— Он задумался.

— Была не была, бери еще одну,— зашумели болельщики.

— Черт с ним, рискну,— сказал усатый.— Девятнадцать...

— А у меня двадцать, осел. Будешь знать, как за карты браться, клади трешку на кон,— Бояубаев, потирая руки, громко откашлялся, а усатый, ворча, полез за деньгами.

— Иду на все,— Бояубаев протянул колоду молодому быстрому пареньку.

Парнишка подул на карты и дал одну бригадиру.

— Еще?

Бояубаев взял вторую карту и нахмурился:

— Еще давай...

— Смотри, перебор сделаешь,— сказал кто-то, и тут же не замедлили последовать реплики рабочих:

— Ничего, он за бригадирство получит. Не трусь, Бояубаев...

— Пока наряды за простой закрывают, у этого батыра карман не опустеет...

— Если и обнищаю, у тебя просить не стану,— Бояубаев шлепнул картами о фанерку, заменявшую игрокам стол.— Считайте! Очко! Как из пушки! Плакали ваши денежки...

— Не троны! — властно сказал Кожаклов.— Немедленно взврати ребятам деньги.

Бояубаев вскочил и замигал маленькими красноватыми глазами. От неожиданности он понес какую-то совершенную чушь:

— Извините, мы это просто так, отдыхаем, как говорится...

Парни из бригады быстро разобрали проигранные деньги. Бояубаев зло оглядел их, но никто не обратил внимания.

мания на грозные взгляды попавшегося на глаза начальству бригадира. Они хорошо знали крутой нрав Кожякова и поэтому предпочли удалиться в сторонку.

— Отдыхаешь, говоришь? В карты играешь? Везет тебе, я вижу, все люди работают, а ты колоду тасуешь...

Бояубаев дернул плечом.

— А что делать, если кирпича нету? Только и осталось вон — извините за выражение — под заднее место подложить.

— А голова у тебя есть или одно только заднее место имеется?

Бояубаев, человек несдержанный и грубый, никогда не подчинялся ни одному прорабу, и ни один прораб не мог подчинить его себе. Опытный бригадир, он все делал по своему и к чужому мнению не прислушивался. На всей стройке он уважал лишь одного Кожякова, да и то, пожалуй, согласно половице «рыбак рыбака видит издалика», знал, что Кожякова «на понял» не возьмешь, не пройдут с ним такие номера. Но сейчас, крайне обозлившись, не боялся и его. «Стоит им, этим начальничкам, один раз спустить, они с тебя не слезут», — подумал он про себя, а вслух громко сказал:

— Если считаете, что у меня головы нет, выгоните меня, что я себе работу не найду? Рабочие везде нужны, работать — это не кричать, работать уметь надо...

— Я тебя посажу, а не выгоню! Где кирпичи? — Кожяков приблизился к бригадиру, но тот не намерен был отступать и стоял набычившись.

— Машинны нет. А кирпичи еще вчера кончились. Вы что думаете, я кирпичи со станции на себе таскать буду?..

— И это называется бри-га-дир,— медленно, с издевкой сказал Кожяков, стараясь не обращать внимания на наглый тон Бояубаева.— Ты что же, не видел вчера, что кирпич кончается?..

— А мне что, больше всех надо? Пускай прораб за этим смотрит, он за это деньги получает...

— Кто смотрит?

— Прораб.

Кожяков от нетерпения и злости повел плечами. Он сам был прорабом и знал, как тяжело молодому парню сразу же после институтской скамьи работать с такими вот заматерелыми «работягами», исколесившими за свою жизнь чуть ли не всю страну. Еле сдерживая себя, он сказал с расстановкой:

— А ты знаешь, сколько у прораба таких бездельников, как ты?

— Не знаю и знать не желаю,— Бояубаев не замедлил с ответом.— Счеты-подсчеты, арифметика-математика — это его дело, прорабское. Вот пусть и считает, сколько у него бездельников...

«У каждого — свой враг. Этот, значит, пакостит прорабу. Пользуется его нерасторопностью, тем, что парень слишком доверчив, слишком боится всяких мелочных скандалов...»

— И что же, может, ты скажешь, чтобы прораб подсчитал деньги, которые вы получите в кассе за сегодняшнее безделье?

Бояубаев усмехнулся.

— Это я и сам подсчитаю. Он нам иной раз так наряды закрывает, что выгоднее в простое быть, чем работать... Так пусть сообразит, что дороже обходится — простой или работа.

— Слушай, ты за бригадирство дополнительно сколько получаешь?

— Ну, двадцать рублей...— Бояубаев уже не скрывал своего недружелюбия.

— За что?

— А я откуда знаю? Мне дают, я беру.

— Так чем же ты лучше остальных членов бригады?

— Тем, что мне платят лишних двадцать рублей,— огрызнулся Бояубаев.— И вы меня деньгами не корите. Я могу и отказаться от бригадирства, на кой оно мне...

— Не прыгай! Будешь ты бригадиром или нет; мы решим. А сегодняшний простой ты оплатишь, ты! Из своего кармана!

Бояубаев, не ожидавший от начальника такого поворота, растерялся.

— Мы потом нагоним,— промямлил он,— и все гладко будет. Уж очень вы круто, Ерлан Смаилович.

— Я уже слышал, как у тебя все гладко идет. Я вот возьмусь за тебя. Ты давно у нас работаешь?

— С самого начала стройки,— решительность окончательно покинула Бояубаева, он заговорил вполголоса и сам разозлился на себя за этот шепот: Кожаков конечно же заметил перемену в его тоне... «Сам я, дурак, во всем виноват. И зачем нужно было тягаться с начальством? Теперь он мне устроит сладкую жизнь. Правильно сказано: кто говорит не подумавши, умирает не поболевши...»

— Вот я просмотрю все твои наряды за ближайшие три года...

— Смотрите, смотрите...— Бояубаев вдруг снова решился.— А только хорошо бы, чтоб и вас кто-нибудь «просмотрел», а то можно подумать, что я один приписываю. Будто вы не знаете, что все приписывают. Вы ж сами и толкуете на планерках: план, план давайте, кровь из носу. А как его выполнишь, если порядка на стройке нету?

— Что? Что ты сказал?— в бешенстве крикнул Кожак.

— Да ничего я не сказал, что вы на меня кричите,— снова притих бригадир.

Они помолчали, и Кожак распорядился:

— Вызовешь с карьера три машины. Скажешь, что от меня. Возьмешь своих людей, доставите кирпич со станции и не уйдете со стройки до тех пор, пока не выполните дневную норму. Ты меня понял?

— Понял, понял, Ерлан Смаилович...

— А если и впредь будешь путаться в подсчетах, я тебя быстро грамоте научу. Со мной эти твои «вынужденные простои» не пройдут. Я тебе не прораб. Понял?

Бояубаев только кивал головой.

— А о сегодняшнем своем поведении, о картежной игре в рабочее время напишешь объяснительную на мое имя. И не зыркай, не зыркай на меня глазами. Я ж тебе говорю — со мной эти штуки не пройдут, не на того нарвался. Понял?

— Понял.

И Бояубаев, радуясь, что так легко отделался от грозившей беды, наутек пустился к бригаде.

— Вот жук! — Кожак повернулся к сопровождавшему его заводскому куратору инженеру Семенченко.— Видишь, что выделявает? Пользуется тем, что прораб лопух, материал вовремя не завез. Шантажировать его собрался, сукин сын!

— Ерлан Смаилович,— спросил Семенченко, терпеливо дождавшись конца гневной кожаковской тирады,— вы были в цехе готового оборудования?

— Был,— сказал Кожак, закуривая сигарету.

— Там, на ваш взгляд, все нормально?

— Ты что, ребусы-кроссворды составляешь? Говори, в чем дело...

— Швы на стыках покрытий неправильно заделывают, это недопустимое отклонение от проекта, брак...

Кожакон долго смотрел на него, а потом вдруг спросил:

— Слушай, ты по специальности строитель?

— Да, строитель.

— Давно работаешь?

Молодой инженер опешил от этих вопросов и на миг растерялся. Он почувствовал, что ему вряд ли удастся разгромить напористого Кожакон в пух и прах, как он только что собирался сделать, но, повстречавшись с презрительным взглядом Кожакон, собрался с духом и заявил, краснея:

— Дело не в том, сколько лет я проработал. А в том, что вы должны перекрыть эту крышу. Иначе завтра может быть беда...

Он запнулся, смешался и стал поправлять галстук.

— «Завтра, завтра!» — ворчливо сказал Кожакон. — Не завтрашним, а сегодняшним днем нужно жить, товарищ Семенченко... Тебя, кстати, как зовут-то? Мы ведь толком и познакомиться не успели...

А сам с ненавистью подумал: «Мы тут по колено в грязи вкалываем, а этот тип прикатил в галстучке! Буквонед, крыса конторская!..»

— Виктор Николаевич, — сказал Семенченко.

Кожакон обнял его за плечи и повел к машине.

— Дорогой Виктор Николаевич, я на стройках пятнадцатый год. И на Красноярской ГЭС работал, и на Токтагульской. А ты слышал, чтоб хотя бы на одной из них провалилась крыша?

Семенченко стало как-то не по себе оттого, что самоуверенный, грубоватый Кожакон по-свойски обнял его за плечи. Но он не сделал ничего, чтобы освободиться из этих объятий.

— Сегодня все в порядке, а завтра, вы понимаете, завтра может случиться беда. А вдруг рухнет перекрытие, кто тогда будет отвечать?

Кожакон вновь ощутил прилив злости. Он не любил слабых, необязательных людей и нутром чуял, что Семенченко именно такой, что рано или поздно он сдастся.

— Виктор Николаевич, мораль о завтрашнем дне ты мне уже прочитал. В цехе готового оборудования машин нет. Так? (Семенченко кивнул.) Людей тоже нет. Так что если стены завода не рухнут, как говорится, то и крыша нас не подведет. Вот так-то, брат... — И он широкой ладонью похлопал по спине Семенченко. — А если случится

чудо и крыша все-таки провалится, что конечно же полностью исключено, то с меня и спрос, с кого же еще? Я ведь ее строил, с меня и спрос. Ты, главное, сам не волнуйся, не беспокойся, а Кожакон ничего не боится, Кожакон еще и не то приходилось в жизни видеть,— подмигнул он.

— Ерлан Смаилович, я обязан написать рапорт директору,— сухо сказал Семенченко.

— Слушай, ты что такое говоришь? Я ж тебе все на пальцах объяснил. Ты что, маленький?

— Это опасно...— Семенченко покачал головой.— И так, как вы говорите, я поступать не стану. Я напишу рапорт.

— Ну и дурак! — вырвалось у Кожакон.

— Выбирайте, пожалуйста, выражения,— рассердился Семенченко.

Кожакон опять подавил вспышку гнева.

— Прямо детский сад, а не стройка,— пожаловался он.— Слова никому не скажи, черт...— он на секунду замешкался, а потом широко шагнул к машине.— Садись. Дорогой поговорим. Я в трест спешу...

5

Перед планеркой Рожков и Искаков еще раз обошли все цеха.

Настроение у директора было бодрое, и эта его уверенность передавалась Рожкову. Год с небольшим работал он на заводе и заметно повеселел с того дня, когда строители сдали корпус последнего цеха и можно было беспрепятственно заканчивать монтаж оборудования. Искакову нравились его работоспособность, упорство, хотя бывали моменты, когда Рожков шел на поводу своей молодости, горячности, нетерпимости.

И Рожкову по душе был его новый директор. Он ценил в Искакове эрудицию, организаторский талант, хозяйственную дальновзоркость и за глаза даже прозвал его «мэтром». «Опять мэтр накачку сделал», «мэтр один из сильнейших директоров Союза», «на планерке мэтр всех нас покаутировал, и твой красавец во втором раунде пал ниц»,— шутил он в письмах к Лене, своей невесте...

— Сергей Владимирович, спешить надо. Монтаж полностью закончим к следующему году. Мельницу сдадим в срок. Ну, а все остальное, можно сказать, уже готово,—

деловито заметил Исаков.— Так что переговорите завтра с министерством, пусть торопят поставщиков.

Они вышли во двор и одновременно, как по команде, заслонились ладонями от ярких солнечных лучей.

— Лето наступает,— сказал Рожков.

— Прекрасно! — Исаков расстегнул пуговицы на кожаной куртке.

— Бекен Исакович, придет ли день, когда мы сбросим сапоги и наденем лакированные туфли? — смеясь, обратился Рожков к директору.

— Погодите, я еще спляшу в этих, как вы говорите, лакированных туфлях на вашей свадьбе, которую мы устроим прямо на заводе,— в тон ему ответил Исаков.— У вас невеста есть? — Директор с любопытством посмотрел на главного инженера.

— Есть.

— Любите?

— Конечно,— смущенно улыбнулся Рожков.

— Понятно... Только знайте, что не простая эта штука — любовь... — Исаков хотел еще что-то добавить, но вдруг замолчал. А после недолгой паузы вновь вернулся к прежней теме: — Так вот, монтаж технологических линий мы полностью закончим в этом году. Потом должны выдержать первый период существования завода. Самое главное — провести первый период, вы понимаете — ПЕРВЫЙ, а после этого можно и свадьбу вашу справлять,— снова пошутил он.

Рожков растерялся.

— Бекен Исакович, какой еще первый период?

Исаков подмигнул ему.

— Сергей Владимирович, бывают мысли, которые созрели в голове, но на бумаге их пока еще нет. А бывает и наоборот. Поняли меня?

— Понял,— неуверенно пробормотал Рожков, а сам подумал: «Ну, держитесь все — у мэтра новая идея...»

6

В машине Кожиков немного помолчал и снова начал говорить:

— Виктор Николаевич, ты где живешь? У тебя квартира есть?

— Нету пока,— Семенченко смешался,— Снимаем пока квартиру,— пояснил он.

— А почему ты мне об этом не сказал?

— Я ведь не в вашем тресте работаю,— Семенченко расслабил галстук.— Припекает...

— Какая у тебя зарплата? — спросил Кожиков как бы между прочим.

— Сто пятьдесят.

— Сто пятьдесят? Слушай, и ты за эту зарплату работаешь? Слабак! Скоро завод вступит в строй, и мастера будут зарабатывать по двести — триста. А ты как нищий живешь на этой стройке.— Кожиков осторожно посмотрел на Семенченко, а потом и совсем к нему повернулся.— Назначу тебя начальником отдела техники безопасности. Оклад двести двадцать. Плюс прогрессивка. И работа чистая, как раз для тебя, интеллигента в галстук,— шутливо, но со смыслом добавил он.

Семенченко задумался:

— А с жильем у вас как?

— В этом же квартале обеспечу. У тебя семья сколько человек?

— Двое детей, жена, мать...

— Трехкомнатной хватит?

— Да,— сказал Семенченко и, сглотнув, растерянно посмотрел на Кожикова, не понимая, шутит он или нет.

— Дам трехкомнатную квартиру. Ну что, договорились, переходишь ко мне?

— Нужно подумать...— Семенченко закурил.

— Думай, думай,— посмеивался Кожиков.— Да только с ответом не задерживайся, а то знаешь как бывает — девка думала-думала, да навек вековой осталась.

«Надоело с квартиры на квартиру переезжать. И если Кожиков не хвастает, то все складывается как нельзя более удачно. В отделе техники безопасности работа и в самом деле... непыльная. Зарплата приличная.... Двести двадцать. Прогрессивка. У, да это совсем будет хорошо...» — лихорадочно соображал Семенченко.

— Ерлан Смаилович, а вы свое слово сдержите? — осторожно спросил он.

— Казахи говорят: «Мужчине лучше умереть, чем не сдержать данного слова».

«Этот, кажется, готов,— подумал Кожиков.— Дипломатия — самый верный метод в отношениях между людьми, вы правильно считаете, товарищ Исаков, но к сожалению, в вашем стане появились предатели. Для нас это

лишнее очко, товарищ Бекен. А вы лучше поучитесь, как нужно работать с людьми».

Высадив Семенченко у ворот заводууправления, он поехал в трест.

7

— Вы вчера взяли к себе на работу несколько человек. То есть фактически переманили их, я правильно формулирую? — Искаков пронизательно глядел на Турсына Байзакова, начальника первого цеха.

— Бекен Исакович, они сами ко мне попросились, — смуглое лицо Байзакова покраснело. Он убрал со стола руки, распрямил плечи — сильная, ладно скроенная фигура, густые черные усы, острый взгляд карих глаз... — Не переманивал я их. Просто они не нашли общего языка с Кимом...

— Вы, я вижу, деловой человек, — засмеялся Исаков. — Я — тоже. Так вот я вам и хочу сказать по секрету... как деловой человек деловому: рабочую силу нужно искать вне завода. Оттого, что девушки будут переходить из одного цеха в другой, их количество не изменится. Я надеюсь, вы не забыли простое правило арифметики, товарищ начальник цеха.

— Бекен Исакович, но ведь это их желание, кто им может запретить работать в нашем цехе, если им у нас больше нравится? — лукавил Байзаков.

Открылась дверь кабинета, и появился Ким, начальник второго цеха.

— Разрешите?

— Садись.

Усаживаясь на стул, Ким сразу же набросился на Байзакова:

— Вот он, тут как тут, полюбуйте на него!.. Агитатор сладкоголосый! Я из-за тебя восьми лучших работников лишился...

— Подожди, не горячись. Ты всегда вместо мыши слона видишь, — Турсын пошел в атаку на Кима. — Разве я их агитировал? Ты видел? А? Нет? Тогда не надо зря наговаривать. Иди, забирай своих работников, если, конечно, они к тебе возвратятся. А я их не звал и прогонять тоже не буду.

— Не хитри. Мне девчата сами все рассказали.

— Что рассказали?

— То, что ты им златые горы наобещал.

— А ты почему не наобещал? Да потому, что не умеешь с кадрами работать. Вот и расхлебывай это сам. Я — что? Они меня спросили, я и ответил. Да, нужны рабочие руки. Вот такой-то у меня оклад, путевки на курорт — да, обещал передовикам, детский сад обещал. Я правду говорил — в чем моя вина?

— Слушайте, ребята, прекратите этот бесполезный спор. Турсын, ты сегодня же вернешь людей Кима. А ты, — Искаков повернулся к Киму, — ты не хлопай ушами. Турсын в одном прав — к девушкам подход нужен, а мы это не всегда умеем делать.

— Бекен Искакович, до того ли мне, чтоб к каждой подходу иметь? И так целый день кручусь как белка в колесе, — взмолился Ким.

— Ну и разбегутся у тебя рабочие, помяни мое слово, к нему вот и уйдут, — Искаков указал на Байзакова, — потому что он с ними говорит и слушает их, а это великое искусство — говорить и слушать.

Ким молчал.

— Ну ладно, вопрос решен. Пора начинать планерку, — Искаков нажал на кнопку, и в кабинет вошли начальники участков, инженеры отделов, мастера. Процессию замыкали седовласый заместитель директора Потапов и главный инженер Рожков.

— Здравствуйте. Рассаживайтесь. Начинаем, — сказал Искаков, кивая присутствующим.

Рожков вынул из папки небольшой листок бумаги, откашлялся и надел очки.

— Сергей Владимирович, говорите только о самом неотложном — времени у нас в обрез. — Искаков отодвинул блокнот, спрятал ручку в пластмассовый футляр: во время планерки он никогда ничего не записывал, но вся информация прочно усваивалась им, и самые сложные проблемы зачастую находили мгновенное решение. Вначале инженеры и рабочие относились к этой, как им казалось, странной привычке директора с недоверием и насмешкой, раз не записал, значит, это ему не интересно, считали они, однако со временем убедились, что директор до мелочей помнит все сказанное ими, и стали уважать эту черту его характера.

— Монтаж разливочного автомата идет по графику. Технический отдел дал первый отчет первого цикла. Достигнута договоренность со строителями о покрытии по-

лов первого цеха мозаичным полимербетоном,— сухо перечислял Рожков, но за этой сухостью люди, собравшиеся в комнате, уже успевшей наполниться табачным дымом, чувствовали биение пульса огромной стройки, её ритм и дыхание.

Никто не перебивал выступавшего. Такую традицию тоже привил Искаков — обмен мнениями, вопросы, замечания начинались только после общей информации. Это стало на заводских совещаниях и планерках неукоснительным правилом.

— И последнее,— сказал Рожков.— На склад поступила мельница. Из Англии. Фирма «Хлорайдт». Я кончил, Бекен Искакович.

Вот тут-то и разгорелись страсти, с этого для непосвященных совершенно прозаического сообщения главного инженера.

Искаков. Когда поступила?

Рожков. Сегодня.

Искаков. Надо немедленно приступать к монтажу.

Потапов. Бекен Искакович, сейчас монтаж начинать мы не в состоянии.

Искаков. Почему?

Потапов. Дуги, с помощью которых крепится мельница, рассчитаны на отечественную, подольскую машину, а у нас мельница импортная. Сергей Владимирович, кстати, еще месяц назад ставил этот вопрос.

Рожков. Да, но мельница должна была поступить к нам в конце третьего квартала.

Искаков. Это не ответ, Сергей Владимирович. Мы сами просили министерство ускорить отправку.

Потапов. Бекен Искакович, а мне кажется, с мельницей пока можно не спешить.

Искаков. Пантелей Матвеевич, к сожалению, я так не думаю.

Он бросил сигарету в пепельницу, встал и зашагал из угла в угол, не скрывая своего волнения.

Искаков. Я еще раз хочу подчеркнуть, что наше строительство находится сейчас в самой ответственной, самой тяжелой стадии. И одновременно мы должны глядеть далеко вперед, на много лет вперед, думать не только о сиюминутном состоянии нашего дела, но и о завтрашнем дне завода. Мы полностью получили детали сборочного конвейера?

Потапов. Нет, но они уже в пути.

Искаков. Пантелей Матвеевич, мы — заказчики. И если вам не жаль своего потерянного времени, то пожалейте хотя бы государственное время. Говорить на каждой планерке давно известные истины — надоело. Мы права такого не имеем.

Потапов промолчал. Ему больно было слушать резкие слова директора, но он бессилён был что-либо возразить, хотя все понимали: обеспечить всем сразу такое гигантское строительство — непосильная задача.

Потапов. У нас нет завода, который бы выпускал оборудование специально для аккумуляторных заводов.

Искаков. Пантелей Матвеевич, я вас понимаю, но такова наша специфика — мы должны сделать все возможное и невозможное.

В разговор вмешался Рожков.

Рожков. Бекен Искакович, мы вынуждены переделывать вентиляцию во втором цехе...

Ким. Да, по вине строителей, строители вентиляцию запорили, это их работа.

Искаков. Ошибки, допущенные при строительстве НАШЕГО завода, — это наши общие ошибки...

Ким. Ну уж, это, как говорится, с больной головы на здоровую.

Искаков. Ты — начальник второго цеха. Так? — Ким согласно кивнул головой. — Завтра в этом цехе будешь работать ты, Ким, а не Кожаков. Значит, именно тебе надо контролировать качество строительства.

Ким. Бекен Искакович, из меня такой же строитель, как из Кожакова — солист балета... — Ким захохотал, и к нему присоединились остальные, лишь Искаков сидел с тем же суровым выражением лица.

Искаков. Я — энергетик, Рожков — металлург, ты — специалист по автоматизированным системам. Но на сегодняшний день все мы — строители. — Искаков сделал акцент на последнем слове. — С сегодняшнего дня каждый специалист контролирует строительство своего участка работ и вместе со строителями отвечает за качество.

Поднялся легкий шум — все задвигались, зашептались, но, хорошо усвоив, что директор своих распоряжений дважды не повторяет, быстро успокоились, и планерка продолжилась.

Рожков. Бекен Искакович, из Курска возвратились пятьдесят формовщиков, закончили специальные курсы. Литейщики приедут на неделе — из Подольска.

Искаков. Нужно послать в Курск и Подольск еще человек сорок.

Рожков. Зачем? Мне кажется, пока не время.

Искаков. Зачем? Это я вам сегодня же скажу.

Мукашев. Бекен Искакович, технологический процесс разливочного автомата надо пересмотреть заново.

Рожков. Рано! Я считаю — рано!

Мукашев. Нет, не рано...

Началась обычная их схватка на планерке. Искакову нравились они оба. Мукашев — мечтатель, мыслит широко, думает о будущем, обожает всякие новшества... Рожков — человек более трезвого ума, легко уязвимый, упорный, но быстро сходится с людьми и всегда добивается своего... «Слепить бы из них одного человека, — усмехнулся Искаков, — уникальный бы получился инженер...»

— Прошу прощения, но у нас нет времени на словесные дуэли, — сказал он.

Спорщики умолкли.

— Необходимо оставить эмоции, — сказал Искаков. — Все вы — инженеры, и мне нечего от вас скрывать: положение наше далеко не блестящее. Побед мало, а проигрышей не счесть. Пантелей Матвеевич, срочно отправьте телеграмму в Саратов о моноблоках. Мукашев, документацию об организации дополнительного цеха возьмете в свои руки. Сергей Владимирович, инструкцию «Хлорайдта» к концу рабочего дня занесете ко мне. Я просмотрю. Вопросы есть?

Все промолчали.

— Тогда планерка закончена.

В кабинете остались Рожков, Потапов, Байзаков, Ким, Мукашев и другие ведущие специалисты. Искаков задержал их специально, ибо именно сегодня он хотел поделиться с ними мыслями, которые вынашивал не один месяц. Мыслями, которые клокотали в нем, просились наружу, настоятельно требовали своего воплощения... Искаков закурил и стал ходить по кабинету. Затем вынул из ящика пухлую красную папку.

— Я хочу поставить перед вами одну важную проблему, — сказал он. — Кричать об этом громко или спорить о ней сегодня, я подчеркиваю — СЕГОДНЯ, не нужно. Хорошенько подумайте, внимательно просмотрите мои расчеты, и каждый из вас потом обязательно выскажет свое мнение. Суть в том, что я предлагаю сдать первую очередь завода до пуска в эксплуатацию всего прел-

приятия...— Он помолчал.— То есть в конце этого года. Понятно в общих чертах? Чем раньше проектируемого срока мы введем в действие одну из очередей завода, тем больше выгоды мы получим от этого в дальнейшем.... Во-первых, мы раньше сколотим то, что называется коллективом завода. Во-вторых, пока все предприятие начнет действовать на полную мощность, рабочие и инженеры наберутся опыта, и к окончательной сдаче завода у нас уже будут свои передовики, свои рационализаторы, люди, до тонкости изучившие производство. Из четырех технологических линий я планирую ввести пока две. Вот почему нужно незамедлительно увеличить количество наладчиков, литейщиков, формовщиков, направляемых на курсы, опередив, таким образом, план-график технической учебы. Знаю, это нелегкая работа. Но считаю, что мое предложение необходимо, жизненно необходимо для нас...

Искаков снова закурил и сел, глядя на инженеров и заранее пытаясь угадать их мысли.

Все молча смотрели на директора. Эта небольшая группа руководящих работников завода привыкла за три с небольшим года ко многим его неожиданным мыслям, но такого дерзкого, такого смелого предложения они, по-видимому, не ожидали. Искаков понимал это и чувствовал, что его слова прозвучали как гром с ясного неба... Первым заговорил Потапов.

— Бекен Искакович,— осторожно начал он.— А ведь в проекте не предусмотрена поэтапная сдача завода, и никаких конкретных указаний на сей счет мы не имеем.

— Да, вы правы,— сказал Искаков.— Но были бы указания, мы не стали бы сейчас совещаться. Выполняли бы инструкцию — и точка.

— А я, по совести сказать, так и считаю,— отозвался Потапов.— Такие эксперименты могут, мягко говоря, далековато нас завести...

— А что думают остальные? — помолчав, спросил Искаков.

— Бекен Искакович, как вы считаете, в министерстве нас поддержат? — спросил Турсын Байзаков.

— Я уже вступил с министерством в переговоры,— начал было Искаков, но Мукашев внезапно перебил.

Нескладный, размахивающий руками, он вскочил, взъерошив волосы:

— А я считаю, что это прекрасное начинание, товарищи! Нам предлагается широкое поле для поисков, исканий...

— Погоди, погоди, не горячись, Какен,— остановил его Потапов.— Ты хотя бы с расчетами ознакомился, прежде чем свое мнение высказывать?

— И вечно ты первым встречаешь,— поддержал Потапова Ким.

Мукашев отмахнулся от него. Искаков весело наблюдал за ними: что поделаешь, если средний возраст строителей и рабочих завода — двадцать два года и правила хорошего тона не всегда соблюдаются этими горячими, болеющими за свое дело ребятами.

— Да, Бекен Искакович, а как же с инструкцией? Ведь у нас есть график, сроки. Байзаков прав, кто разрешит нам все это, кто поддержит нас?

— Не мне вам говорить, — возразил Искаков, — что Токтагульскую ГЭС начали строить точно так же, как и наш завод, то есть практически без окончательного проекта. Группа инженеров-практиков обнаружила грубые ошибки проектировщиков, и по ходу строительства пришлось многое корректировать, уточнять и даже переделывать то, что было заложено в проекте. Были, например, пересмотрены линии ГЭС. И это неудивительно — ведь самые передовые, самые прогрессивные планы со временем стареют, начинают отставать от быстро текущей жизни. Не мне повторять вам азбучную истину, что проект — это проект, а осуществление его в натуре — это совсем другое дело. И этим инженерам с Токтагула правительство дало высокую оценку, они были поняты...

— А я считаю, что на большой стройке любая партизанщина может привести к неконтролируемым последствиям. На Токтагуле все хорошо обошлось, а у нас может оказаться совсем по-другому,— не соглашался Потапов, и его поддержал Ким:

— Да, в словах Пантелея Матвеевича есть рациональное зерно... А вдруг бы эти инженеры допустили еще более грубые ошибки, чем проектировщики, что тогда?

— Скверная сложилась бы обстановка...— вслух размышлял Байзаков.

— А я считаю, что надо вообще запретить строительство промышленных сооружений по устаревшим проектам,— снова вмешался Мукашев.— Возьмем, к примеру, наш завод. В проекте были маломощные подольские мель-

ницы, а мы будем работать на английском оборудовании. Проекты нужно составлять еще с большим опережением.

— А не слишком ли тогда оторвутся от земли проектировщики? — возразил Рожков:

Снова разгорелся спор. Лишь один Потапов сидел задумавшись и не обращал внимания на энергичные реплики молодежи. «Было время, и мы горы сворачивали, и у нас было огромное желание совместить возможное с невозможным... Но любое пламя гаснет, поутих и наш пыл. Может, мы тогда не умели бороться, а эти умеют? Может быть. Но как ни верти, а мне сейчас, в пору моей зрелости, даже старения, если честно говорить, не пристало мне сейчас поддерживать этот шум из-за ничего и первым лезть в пекло. Мне пора искать твердого берега в жизни. Исаков может ошибаться, потому что у него есть сила, способная выдержать любой удар, эта сила называется молодостью, а я... я не имею права ошибаться. Хотя, Потапов, признайся честно: ведь ты чаще наносил удары, чем принимал их сам, ты почти никогда не попадал впросак в этой жизни. Ты подумай. А? Подумай. В том ли счастье человека, чтоб никогда не ошибаться?» — боролся он со своими мыслями, но все же решился наконец.

— Бекен Исакович,— сказал он, не глядя на Исакова.— Вы знаете, как я ценю вас. Вы смотрите далеко вперед, естественно, что и планируете все соответственно вашим представлениям,— все мы в молодости были такими. Но ваши теперешние планы, на мой взгляд, недопустимая вольность или, я ставлю точки над «и», волюнтаризм. Так ведь? А есть ли у вас основания для такого волевого решения, вы думали об этом? То, что вы предлагаете, требует огромной государственной ответственности! Огромной, я подчеркиваю!.. А кто же, позвольте спросить, возьмет на себя такую ответственность, если, как мы все поняли, у вас пока нет договоренности с министерством?

— Я возьму,— помолчав, просто сказал Исаков.

— И я возьму, мы все возьмем,— вспыхнул Мукашев.— Бекен Исакович большое дело предлагает, это и без знакомства с расчетами понятно.

Остальные промолчали, и наступила пауза. Одни все-таки думали о создавшейся обстановке, другие прикидывали, как быть, к кому примкнуть в этой круговерти.

— Хорошо, допустим, что мы поддержим ваше предложение,— сказал Потапов.— А нас все равно прижмут инструкцией, вот помяните мое слово.

Искаков не выдержал.

— Пантелей Матвеевич,— резко сказал он.— Я не знаю пока, правы вы или нет, я пока ничего не знаю, но я не могу закрывать глаза на то, чего требует общественная необходимость, на действительность, на сегодняшнее состояние технического прогресса. И всех вас призываю к этому.

Мукашев вскочил.

— Правильно, Бекен Искакович! — крикнул он.— Надо голосовать!

— Точно, я согласен,— поддержал его Байзаков.

— Да, пожалуй, что и так,— вставил свое слово Рожков.

— Голосовать не нужно,— остановил их Искаков.— Такие вопросы голосованием не решаются. И я возвращаюсь к тому, с чего начал,— посмотрите докладную записку и расчеты, а потом мы еще потолкуем. Я верю, что вы правильно поймете меня...

И он протянул инженерам красную папку.

8

Черная «Волга» остановилась на берегу степного озера, там, где было побольше зелени. Кожиков вышел из машины, сладко потянулся и приказал:

— Ставьте палатку, готовьте закуску, а я, пожалуй, рискну, искупаюсь...

— Смотри, какой шустрый, сам готовь,— сказал небольшого роста полноватый мужчина приятной наружности — заведующий промышленным отделом обкома партии Карим Айткалиев.

Раушан, сотрудница Кожикова, хоть и не была знакома ни с Айткалиевым, ни с Искаковым, за время, проведенное в дороге, быстро освоилась с ними обоими и лукаво заметила:

— Вы не сердитесь на него — наш начальник привык командовать... Видно, правду говорят — болезнь проходит, привычка — никогда...

И звонко рассмеялась. Искакову понравилась шутка молодой женщины, он любовался ее чистым белым лицом, улыбкой и невольно гадал, что же связывает ее с Кожиковым помимо работы, почему именно Раушан взял с собой Кожиков на этот импровизированный пикник...

День выдался солнечный, почти по-летнему теплый, но вода была еще совсем холодная, и Кожаклов зябко вздрогнул, ступив в озеро.

— Эй, перестань, что ты делаешь?! — крикнул Айткалиев. — Простудишься!

— Ну, кто из вас не боится? Қарим, может, ты окажешься джигитом?

— Не будь ребенком... — Айткалиев ткнул носком ботинка в воду.

— Ерлан Сманлович, хватит дурачиться, выходите! — крикнула Раушан.

А Исаков немного постоял в раздумье и вдруг стал решительно стягивать свитер. Кожаклов заметил это и усмехнулся: «Иди, иди сюда, батыр. Хочешь победить меня? Молодец! Айткалиев на такое никогда не решится. Да мне и не нужен такой соперник. Мне нужен ты!..»

Бекен с разбегу бросился в ледяную обжигающую воду, и в первую секунду она стиснула его ребра, как обручем. Вынырнув, он увидел, что Кожаклов уже отплыл от берега и лег на спину, как бы поджидая его. Он несколькими рывками догнал Кожаклова, и они поплыли рядышком.

— Они что, совсем с ума спятили? — нетерпеливо ходил по берегу Айткалиев. — Не дай аллах, что-нибудь случится. Только этого еще нам не хватало.

— А может, вы до них докричитесь, — неприязненно ответила Раушан. Ей вдруг разонравился Айткалиев, еще недавно веселый и остроумный. «Коли родился джигитом, должен хотя бы камень сдвинуть, если не можешь горы свернуть. Стоишь тут, животик гладишь да покрикиваешь, мужчина называется...» — подумала она, а вслух сказала: — Вернутся они, никуда не денутся... Поплавают и вернутся. Идемте обед готовить...

Она достала из сумки клеенку, расстелила ее на земле и стала нарезать хлеб и колбасу.

— Открыли б консервы лучше, чем без дела стоять, — сказала она, но Айткалиев ничего ей не ответил. Заслонившись ладонями от солнца, он глядел на озеро.

А пловцы уже скрылись в белесом тумане, курящемся над водой. Кожаклов, выросший на Волге, думал, что Бекен еще у берега отстанет от него, но Исаков не уступал, хоть и держался на расстоянии. «Смотри какой гордый, — подумал Кожаклов, — Даже здесь уступать не хочет...»

«Плыви, плыви,— думал Исаков,— а я от тебя не отстану. Только не забывай, что еще назад придется возвращаться...»

«Ну, а я перехожу на баттерфляй. Попробуй теперь догнать меня...»

«Геройствовать на воде смешно, но ты захотел показать себя и вызвал меня на поединок. Что ж, я принял вызов. Теперь держись...— Исаков перевернулся на спину, чтобы немного отдохнуть. Первый раз в жизни он заплыл так далеко.— Я и не думал, что это мне по силам. Вот что значит гордость — все заставит сделать. Гордость или гордыня?..»

Подул ветер, и на озере поднялись волны. Кожакон двигался гораздо медленнее, он тоже начал выдыхаться и теперь плыл на спине. Синее безоблачное небо повисло над ними, горланили какие-то птицы. «Не надо браться за то, что не умеешь, Исаков. Куда тебе со мной тягаться? На ринге ты, может быть, и врезал бы мне, но уж на воде-то я тебе не спущу...» — Кожакон, чуть приподняв над водой голову, поискал глазами Исакова и внезапно почувствовал, что у него слабеют руки и немеют ноги. «Надо возвращаться, а то беда будет. Что ж это получается? Получается, что я и здесь ни в чем не превзошел Исакова».

— Эй, безголовые! — крикнул с берега Айткалиев.

— Откройте консервы,— повторила Раушан.

— Не приставайте! — рассердился Айткалиев.— Назад, назад, плывите назад,— махал он.

Раушан села в машину и включила радиоприемник. Послышались звуки домбры, и она до предела увеличила громкость.

Озеро все в блестках солнца, мягкий ковер зелени под ногами, утки в небе, печальная простая мелодия.

«Не испытывай дважды того, кто не выдержал и первого испытания»,— пел певец.

Карим Айткалиев

Мы с Ерланом учились в одной группе и диплом защищали в один и тот же день. Он еще в институте был зазнашкой, никогда ни с чьим мнением не считался. И сейчас такой же. А только учился он хорошо, ничего не скажешь. И диплом защитил на «отлично». Да и на младших курсах, в то время когда мы «сдували» готовые про-

екты у старшекурсников, он до всего своим умом доходил, днями и ночами корпел над чертежной доской.

— Эй, взял бы готовую тему, зачем мучаешься,— советовал ему кто-нибудь.

— Ты взял, так и сиди тихо. Не лезь в чужие дела.

— Дурак, мне просто жалко тебя, твое время жалко...

— На первый раз я тебя прощаю, но если еще раз что-нибудь такое услышу, разрисую физиономию так, что тебя и Айша твоя не узнает...

Разве можно шутить с чемпионом области по боксу? Мы затихали, а он брал свои листы и шел в чертежный зал. Да, он был трудолюбив и вынослив, но повторяю еще раз — избытком скромности никогда не страдал. Вечно хотел быть на виду, старался всех переспорить, переговорить, даже — преподавателей. Короче говоря, любил главенствовать во всем.

Я хорошо помню тот день, когда он привел в нашу комнату Бекена. С ними была еще какая-то девушка. Тихая, нежная, как лань, она сидела молча и не вмешивалась в наш разговор. Бекена мы тоже все хорошо знали: отличник, ленинский стипендиат, спортсмен — фотография его не покидала доску Почета. Несколько раз они встречались с Ерланом на ринге в полутяжелом весе, и победа была переменной, тем более что Ерлан на последнем курсе перестал ходить в спортзал, а Бекен в это время был уже чемпионом республики.

— Знакомьтесь,— сказал Ерлан.— Бекен Искаков, великий боксер Казахстана.

Бекен, улыбаясь, поздоровался с нами.

— Я передал свои перчатки в надежные руки,— сказал Ерлан.— Он учится на третьем курсе и может драться за институт еще два года.

Мы поняли, что он уже немного выпил.

— Саня, доставай то, что я положил в сумку,— командовал Бекен.

Девушка вынула из портфеля две бутылки красного вина, а я пошел ставить чай.

Потом, когда мы уже сидели за столом, Ерлан обнял Бекена и сказал:

— Этого парня я люблю больше всех. Я очень много говорил с ним. Это толковый парень. Если он пойдет в аспирантуру, то станет выдающимся энергетиком, будет богом, проводящим электричество без проводов...— Бекен хотел что-то возразить, но Ерлан жестом остановил его: —

А это — Саня... Я ведь вас так и не познакомил... Знакомьтесь все — это моя Саня...

Я опять посмотрел на тоненькую тихую девушку. Может, ей не понравилось, что я так пристально смотрел, может, она смущалась незнакомых людей, но она как опустила глаза, так их больше и не поднимала.

— Воин, уставший от долгого и тяжелого пути, останавливается у первого попавшегося родника и утоляет жажду,— изрек Ерлан.

Я почувствовал себя неловко. Мне показался неуместным этот его «лирико-философский трактат», но он продолжал как ни в чем не бывало:

— ...и смотрит воин на этот родник, на березку, склонившуюся над водой, и говорит такие слова: «Я остаюсь здесь, о мой родник, и я забуду все странствия, все печали, все битвы...» — бросает все свои доспехи и падает ниц. Так вот, мой родник — это Саня. Карим, сколько дней нам осталось до защиты диплома? — Он посмотрел на меня.

— Пять дней...

— В этот день будет наша свадьба,— он взял бутылку и сразу же из двух горлышек стал тихо разливать вино в стаканы и кружки.

Мы все удивленно посмотрели на Ерлана. Бекен даже положил руку ему на плечо: спокойно.

— Ерлан,— с упреком обратилась к нему Саня, прошепав его имя едва слышно.

— Я все сказал,— остановил ее Ерлан.— Через пять дней будет наша свадьба. Поднимем бокалы.

Мы взялись за алюминиевые кружки и граненые стаканы. Мы не могли его послушаться. Я протянул стакан Бекену, но Ерлан остановил меня:

— Бекен не пьет. У него скоро соревнования,— он забрал стакан и перелил вино себе.— Так выпьем же,— снова завелся он.— Горько! Почему никто не кричит «горько»? Эй, Сарсен, ты почему молчишь? — напал он на моего товарища.

Сарсен, самый хитрый и ловкий на язык среди нас, не растерялся.

— Горько! Г-о-рь-ко!..— завопил он.

Ерлан повернулся к Сании и, несмотря на ее протесты, обнял ее и поцеловал прямо в губы.

— Горько! Горько! — зашумели мы.

И в день защиты диплома мы действительно гуляли на свадьбе Сании и Ерлана, которую они устроили в институтской столовой. Мать Сании не успела приехать — уж больно стремительно выходила замуж ее дочка, у Ерлана родных не было, он воспитывался в детдоме.

По распределению я остался работать в Алма-Ате, а Ерлан взял Санию, и они отправились на Токтагульскую ГЭС. И вот сейчас мы все вновь встретились здесь, в Жетысу...

Раушан взяла два полотенца и побежала к озеру.

— Вы что, совсем рехнулись? — набросился Карим на Ерлана и Бекена, когда они, пошатываясь от усталости, выбрались на берег.

Кожиков отмахнулся от него и стал растираться полотенцем, то же сделал и Искаков.

— Если б я знал, что вы приметесь дурака валять, я бы ни за что с вами не поехал...

— Карим, ты бы лучше нам коньячку поднес, а то раскудахтался как курица, — напал на Айткалиева Кожиков.

Карим суетливо побежал к машине.

— Ну, как ты? — повернулся Ерлан к Бекену.

— Как видишь, — улыбнулся Искаков, натягивая рубашку.

— А ты силен! Не отстал. Молодец!

Они взяли стаканы и выпили до дна.

— Ух... — отдышался Искаков.

— Прекрасно! А себе почему не налил? — Кожиков повернулся к Айткалиеву и вдруг вспомнил: — А уха где? Уха готова?

— Какая тебе еще уха? Ты у нас сам как рыба плаваешь, — съязвил Айткалиев. — Впору тебя самого в котел бросать.

— Из меня навару мало. Уж если кого в котел бросать, так это тебя — вон сколько жиру накопил! — Кожиков ткнул старого приятеля в бок.

— Идемте к столу. Я закуску приготовила, — пригласила их Раушан.

— Умница! — Кожиков обнял ее за талию, и компания направилась к машине.

Айткалиев разливал коньяк.

— Эй, ты где такие маленькие рюмки взял, скупер-
дьяй? — засмеялся Кожак.

— Он прав. Опьянеете, что я с вами буду делать, —
заступилась за Айткалиева Раушан.

— Вот эту чашу... — Айткалиев повернулся к Раушан,
лицо его порозовело, и он снова приобрел вид уверенного,
довольного собой человека. — Эту чашу я предлагаю под-
нять в честь сестрицы, которая носит имя цветка, в честь
нашей Раушан.

— Спасибо, но я предлагаю сначала выпить за джи-
гитов, которые благополучно вернулись на берег, — мягко
улыбнулась Раушан.

— А я буду пить за победу Искакова, — сказал Ер-
лан. — За его мужество я стоя выпью. Братцы, дайте же
кто-нибудь гитару...

Искаков, который был ближе всех к машине, протянул
руку за гитарой и подал ее Кожак.

— Узнаешь? — улыбаясь, спросил Кожак.

Бекен Искаков

Ерлан относился ко мне с большой симпатией. Сразу
же после зачисления в институт я стал ходить в секцию
бокса. На соревнованиях я никогда раньше не выступал,
но бокс обожал с детства — мы еще в ауле, как могли,
пытались тренироваться. В первый день занятий тренер
собрал нас у ринга.

— Сейчас будет спарринг, знаете, что это такое? —
спросил он.

Члены институтской сборной поочередно выходили на
ринг и показывали свое искусство ведения боя. Мне осо-
бенно понравился смуглый парень в последней паре. Тре-
нер с трудом сдерживал его напор.

— Ерлан, Ерлан, спокойнее, тише бей, — подсказы-
вал он.

Как я потом узнал, он берег его, скоро намечались
городские соревнования. Смуглый парень гонял своего про-
тивника по всем четырем углам ринга.

В этот вечер я вернулся домой, лег в постель и взял
в руки конспект. Но наука никак не лезла мне в голову —
перед глазами у меня все время стоял тот смуглый здо-
ровый парень, с его точными, мощными ударами и белозу-
бой улыбкой.

— Я тоже стану классным боксером,— сказал я себе тогда.

И к концу первого курса действительно выиграл первенство города в среднем весе. На подготовке к областным соревнованиям тренер поставил меня в одну пару с Ерланом. И хотя Ерлан был в другой весовой категории, хотя я во всем чувствовал его превосходство над собой, но все же не унывал и не сдавался — как мог уклонялся от ударов, сам переходил в наступление.

После тренировки он похлопал меня по спине.

— Из тебя получится отличный боксер. Ты водку пьешь?

— Нет.

— А как насчет курения?

— Не курю.

— И с девочками не водись, парень,— засмеялся он.

И если раньше знакомство у нас было, как говорится, шапочное и мы только здоровались друг с другом, то теперь стали довольно часто встречаться, беседовать, обсуждать разные вопросы.

— Помню, я был в Латвии,— как-то сказал он мне, когда мы шли из кинотеатра «Мир»,— и там я слушал орган в Домском соборе. Ты когда-нибудь слышал, как играет орган?

Я покачал головой:

— Нет.

— Жалко, я очень люблю музыку. Понимаешь, если бы у меня были родители, то вполне возможно, что я не учился бы на строительном факультете Политехнического института, а поступил в консерваторию. Но музыке с детства нужно учиться, а я вырос в детдоме. У тебя, кстати, родители есть, я что-то никогда тебя о них не спрашивал?

— Есть,— сказал я.

— Ты счастливый,— вздохнул Ерлан.— Я очень люблю свою специальность, но знаешь, иногда думаю о том, что музыка — ну как бы тебе объяснить? — что музыка — это более великое дело, чем даже строительство, и если есть в мире бог, то это — музыка. Ведь ты понимаешь, даже если весь мир перевернется, музыка останется. И разве этот воздух, эта природа — не музыка? Музыка! Ты вот возьми какое-нибудь произведение, ну, Рахманинова, например. Мне кажется, почти в любом из них есть дуновение казахского кюя... Да это и у Баха есть. В музыке часто встречаются такие совпадения, и это становится по-

что что закономерностью. Бах не знал казаха, казах не знал Баха, а вот взяли они и подумали однажды одной и той же мелодией... Смотри, даже в рифму у меня получилось,— рассмеялся он.

— Я видел объявление, завтра в филармонии играют музыку Верди. Пойдем вместе сходим? — предложил я. (А я, надо сказать, в те времена не очень-то разбирался в музыке и заинтересовался ею тоже под влиянием Ерлана.)

— Конечно, пойдем,— обрадовался он.— Верди? Я обожаю его «Реквием». Знаешь, я даже ему другое название придумал. Я называю его кюем обездоленных...

И Ерлан тихонько засмеялся.

Потом он пригласил меня на свадьбу. У меня тогда не было девушки, и я пришел один. В руках я держал гитару — это было моим подарком старшему товарищу.

А за день до этого он навестил меня и вдруг попросил одолжить ему мой темно-серый костюм.

— Послушай, давай что-нибудь придумаем,— сказал я.— У меня есть деньги, так что пойдем и просто-напросто купим тебе костюм, я знаю одного человека, он для свадьбы достанет костюм что надо...

— И много у тебя денег?

— На костюм хватит.

— Откуда у тебя деньги? Из аула прислали?

— Я же член республиканской сборной, и потом, мне выдали талоны на месяц.

— Так,— задумался он,— значит, ты предлагаешь мне свои трудовые, так сказать, доходы. Нет, и все-таки спасибо...— Он положил мне руки на плечи.— Спасибо, но все-таки я не стану у тебя брать деньги. Дай мне лучше напрокат этот свой... фрак. И не обижайся на меня...

Он завернул костюм в газету и молча вышел.

В окно я видел, как рядом с высоким сильным Ерланом шла маленькая хрупкая Саня. Сверток с костюмом перекачывал в ее сумку, и я все смотрел им вслед и все думал — о чем это они так весело говорят?

«Костюм я нашел, теперь будем искать тебе белое платье, любимая...» — говорит, например, Ерлан.

«Платье я возьму напрокат у своей подружки, дорогой...» — отвечает ему Саня.

(«Нет,— возразил я сам себе.— Девушки на сей счет предусмотрительнее парней. Наверняка у Саньи уже сшито белое платье. Ведь девушка чаще всего заранее знает,

когда парень наконец-то решится сделать ей предложение».)

«Вся семья у нас будет из проката, любимая. Образцовая прокатная семья...» — говорит Ерлан.

«С милым рай и в шалаше, солнце мое...» — отвечает Саня.

«Умные мысли тоже стареют, дорогая...»

«Стареют вещи, рвутся костюмы, мысли не стареют, и любовь не стареет, милый...»

«А ты у меня, оказывается, очень умная, дорогая моя...»

«Ты мудрее меня, дорогой. Но тебе нужно научиться управлять своим характером, и тогда среди казахов не найдется равного тебе...»

«Мой характер, как и мое сиротство, вошли в кровь и плоть мою. Я думаю, что вовек не избавлюсь от своего характера...»

«Смотри, как бы он не навредил тебе, солнце мое...»

Они скрылись за углом, а я еще долго не отходил от окошка.

Помню еще, что на свадьбе, когда все гости принялись танцевать, мы остались за столом одни. Ерлан был уже под хмельком, а Саня улыбалась своей милой робкой улыбкой, и глаза ее сияли как звездочки.

— Бекен, давай выпьем с тобой. Ничего страшного не произойдет, если ты и выпьешь разок. Налей себе шампанского, — сказал Ерлан.

— Шампанское кончилось, — шепнула Саня мужу.

— А... Вот незадача-то... Ну тогда налей себе лимонаду... Сегодня мы бедны, но настанет тот день, когда стол наш будет ломиться от яств, ведь так, Саня? — обнял он невесту.

Саня засмеялась:

— Никто не верит, как мы познакомились. Девушки говорят, что мы уже давно встречались, да только никому об этом не рассказывали...

— Пусть себе говорят. Бекен, где твой стакан?

— Я уже все выпил, — сказал я.

Ерлан глянул на меня.

— Боксерская реакция. Мгновение! Залп! Гонг! — он опрокинул свою рюмку.

— Поешь чего-нибудь. — Саня пододвинула ему тарелку, но он отмахнулся.

— Бекен, ты знаешь, какая у меня есть заветная мечта, — возбужденно сказал он, — Я построю по своему про-

екту детский дом. Прекрасный детский дом — с верандами, террасами, парком, бассейном, спортивными площадками... Меня оставляли учиться в аспирантуре, но я не согласился. Ты знаешь мой характер, я не смог бы работать в институте. Это для меня, как бы тебе сказать, это для меня не тот ринг. Там бы я никогда не смог построить детский дом.

— Зачем они сейчас нужны, детские дома? Это тогда нужно было, после войны. И... Ерлан, не пей больше,— Саня опустила голову ему на плечо.

Ерлан присвистнул:

— Саня, ты еще ребенок. Помнишь, я сказал тебе тогда, когда мы стояли под часами, что ты совсем еще ребенок...

Они заговорили о чем-то своем, и я пошел к танцующим. Ко мне подошел Карим Айткалиев и по-своему положил мне руку на плечо, хотя мы были тогда едва знакомы. Он был слегка пьян.

— Бекен, видишь ту девушку?

— Какую? Здесь их много.

— Ту, которая около двери стоит. В красном платье, с золотым кулоном...

— Ну, вижу...

— Ты понимаешь, я заметил, что она ни с кем не танцует, ни разу еще не танцевала... Всем отказывает...

— Быть не может,— иронически сказал я, не понимая, чего это так засуетился Карим.

— Не веришь, пойдй пригласи. Я хочу проверить, откажет она тебе или нет...

— Я сегодня вообще танцевать не хочу,— сказал я, чтобы отвязаться от Карима, но все же невольно принял ся разглядывать девушку: ярко напозаженные пухлые губы, длинные ресницы... Почувствовав, что мы смотрим на нее, она, демонстративно отвернувшись, стала следить за танцующими парами.

— Ничего девочка, а? — толкнул меня локтем в бок Карим.

— Да откуда я знаю, тебе виднее,— начал сердиться я.

— Ты понимаешь,— горячо зашептал Карим,— мне сказали, что она — дочка министра. Хочу ее пригласить, да боюсь, что она и говорить со мной не станет, а в неудобное положение неохота попадать.

— Не робей! Это же не сам министр, а всего лишь его дочка,— рассмеялся я.— Подойди, разговор заведи, у тебя же язык хорошо подвешен.

Но пока Карим терзался раздумьями, танец уже кончился. В зале стало душно, и я вышел на улицу глотнуть свежего воздуха, а когда вернулся, то увидел, что Карим все же решился покорить сердце «знатной» девушки. Они весело кружились в вальсе, и она заливисто хохотала в ответ на его незамысловатые шутки... «Да будь ты хоть дочерью всевышнего, но вкус у тебя явно хромает, барышня...» — подумал я, а Карим, заметив меня, подмигнул и сделал большие глаза.

Меня остановил Ерлан:

— Где Карим, мне он нужен.

— К сожалению, наш Карим сейчас занят важным делом — танцует с дочерью министра.

— Ну и ловкач! Так и тянет его поближе к начальству. А у меня десятки не хватает на буфет, хотел у него занять...

— Я заплачú. Не отрывай его от танца. А вдруг это будет великая любовь, перед которой померкнет весь свет...— сказал я, и мы направились к буфету.

— Спасибо тебе,— Ерлан последовал за мной.— Вот же человек,— сокрушенно пробормотал он.— Никогда о делах не забывает. Старые люди говорили, сироты да бедняки во всем свою выгоду ищут...

— Разве, глядя на тебя, это скажешь? — возразил я.

— И то правда,— засмеялся Ерлан.

Ерлан Кожиков

После того вечера в консерватории, где мы слушали музыку Верди, Бекен пригласил меня в кафе. Я отказывался, но он настоял. Народу в кафе было мало, и мы заняли столик у окна.

— Что будешь пить? — спросил Бекен.

— Мне все равно.

— Давай возьмем бутылку шампанского. В честь Верди, а?

— Ты же не пьешь вино...

— Ты выпьешь. А себе я возьму бутылку лимонада.

— Как хочешь,— кивнул я.

Некоторое время мы сидели молча. Он, по-видимому, не хотел нарушать моего внутреннего уединения, а я вспоми-

нал лицо той девушки, которую встретил у выхода из консерватории. Она на ходу застегивала пуговицы своего легкого желтого плаща и, заметив, что я во все глаза смотрю на нее, чуть было не споткнулась, затем гордо вскинула голову и быстро прошла мимо. А я... я остался стоять как оглушенный. Мальчишество, но мне хотелось побежать за ней, догнать ее и никогда больше с ней не расставаться. Я вдруг почувствовал, что это — она! ОНА! Та, которую я искал, которую ждал всю свою жизнь. Мне нужна была именно она! ОНА! Какие глаза у нее — глубокие, добрые, лицо какое — светлое, одухотворенное... Лицо моей, МОЕЙ девушки!..

— Ну что, приступим? — сказал Бекен.

— А... Что? — я только теперь увидел, что официантка уже принесла еду, лимонад и шампанское.

— Бекен, я хочу тебе сказать, я встретил одну девушку. Понимаешь, сегодня встретил. Только что... После концерта...

— Ну и что? — спросил Бекен. — Я сегодня тоже многих девушек видел.

— Я женюсь на ней! — выпалил я.

Бекен засмеялся, но, внимательно посмотрев на меня, осекся.

— Что с тобой? Ты это серьезно?

— Да, я должен, должен найти эту девушку...

— А может, она замужем, откуда ты знаешь?

— Нет, она не замужем...

— Ты успел с нею познакомиться?

— Нет. Я видел только ее лицо, но я все понял. Я найду ее и женюсь на ней.

— А вдруг она не согласится?

— Тогда я умру...

(И я действительно был готов тогда умереть ради этой девушки...)

— И ты будешь умирать каждый раз, когда мы с тобой будем ходить на концерты?

— Бекен, я сказал тебе правду. Я должен найти эту девушку на земле или под землей.

— Тогда и я вместе с тобой буду искать ее, — сказал Бекен. — И мы отыщем ее, не отчаивайся, выше голову...

Всю ночь мне снилась та девушка. Утром я встал рано и по памяти нарисовал ее лицо на куске ватмана. Портрет удался. Я назвал его «Незнакомка в желтом плаще» и

пошел искать Бекена. По расписанию я узнал, в какой аудитории он занимается, дождался звонка и показал ему портрет.

— Вот. Это — она.

Он долго всматривался в лицо «Незнакомки».

— Хорошая девушка, — наконец сказал он.

— Возьми портрет, может, где-нибудь встретишь ее...

— А я запомнил ее лицо, ты не бойся. Я теперь это лицо никогда не забуду и, если встречу ее, тут же скажу тебе...

— Возьми, вдруг позабудешь, — настаивал я.

— Ты оскорбляешь меня, — притворно рассердился Бекен. — Ты разве не знаешь, какая у меня память? Назови два трехзначных числа, я их перемножу в уме и через двадцать секунд скажу тебе результат.

Я удивился.

— Давай, давай, — подбадривал он меня.

— Ну, например, двести сорок три умножить на... на четыреста сорок восемь.

Он пошевелил губами и сказал:

— Сто восемь тысяч восемьсот шестьдесят четыре...

— Гениально! Верю, — сказал я. — И все-таки возьми на всякий случай портрет...

Миновал месяц. Я зашел в зал бокса на центральном стадионе, где тренировался Бекен, и мы вместе вышли оттуда. Заглянули в кафе «Спорт» — я выпил пива, он поел. Я уже закончил писать диплом и теперь ждал защиты, до которой оставалось всего пять дней. Подходя к студгородку, я вдруг увидел девушку в желтом плаще и, оставив Бекена, пустился вслед за ней. Я догнал ее и даже перегнал, но обернуться боялся. «Боже, сделай так, чтобы в этот раз я действительно встретил ЕЕ...» — чуть ли не молился я.

Я со страхом оглянулся, и — она! Это была ОНА! Это была она, а я стоял олух олухом, не зная, что делать дальше. Бекен уже догонял нас, и девушка оказалась между нами. Она робко глянула на меня и вдруг сердито сказала:

— Почему вы меня преследуете?

Это была Сания.

...Диплом был у меня в кармане, мы сыграли свадьбу и вместе с Санией, которая, как выяснилось, защитилась месяцем раньше, уезжали на строительство Токтагульской ГЭС. Бекен провожал нас. Он стоял у вагона, и ветер

разметал его кудри. Незаметно для Сании он сунул мне в карман хрустящую пятидесятирублевку.

— Вернешь с полочки. Ты же теперь инженер,— сказал он, предупреждая мой отказ.

— Мы еще вместе с тобой будем строить ГЭС и заводы,— сказал я, обнимая его.

— Построим, погоди, дай сначала институт закончить,— серьезно ответил он.

Я распрощался с ребятами и обнял Карима — все-таки как-никак пять лет в одной комнате прожили... Рядом с ним стояла та самая «дочка министра».

— Женишься? — шепнул я ему.

— Скоро на свадьбу приглашу,— бойко ответил он и вдруг тоже перешел на шепот: — Ты понимаешь, она оказалась не совсем чтоб дочь министра, но у нее отец солидный пост занимает — начальник главка. Но ты не подумай, что я из-за этого... Я ее люблю, и она меня любит. Вот смотри...— и он притянул к себе девушку, но таловко выскользнула из его объятий.

— Какой ты быстрый, Карим!

Айткалиев пытался замаять неловкость шуткой.

— Ничего, пусть покапризничает до свадьбы, а потом посмотрим, кто будет капризничать,— сказал он.

Девушка хоть и не говорила по-казахски, но слова Карима поняла и шутливо показала ему язык.

Когда поезд тронулся, на перроне оставался один Бекен. Я высунулся из тамбура и крикнул ему:

— Хороший ты парень, Бекен! Спасибо тебе!..

* * *

Ближе к сумеркам с озера вернулись мужчины, почистили рыбу, которую наловили за день, разожгли костер. С озера потянуло холодком, и Раушан надела теплую куртку.

— Вам помочь? — спросила она.

— Спой нам. Бекен, дай ей гитару,— сказал Кожак. — Она знает как поет?...— обратился он к своим спутникам.

— Я вам лучше коньяка налью. Хотите выпить? — предложила Раушан.

— Гениальное предложение!..— первым отозвался Айткалиев.

— За что будем пить? — спросил Искаков.

— Выпейте за меня,— вдруг сказала Раушан.

— Умница! А ты нашел что спрашивать,— упрекнул Бекена Кожакоев.— Настоящий мужчина на закате пьет только за женщину.

Искаков, перебирая струны, тихо запел, и Ерлан, включив автомобильные фары, пригласил Раушан потанцевать.

— Ты, Бекен, подольше пой,— веселился он.— Если эта девушка уйдет из моих объятий, я пропал.

— Бекен Искакович, хватит. Этот медведь оттопчет мне все ноги.

— От танцующей поступила жалоба. Следовательно, дамы меняют кавалеров,— Айткалиев почтительно поклонился Раушан.

— Смотри, какой пряткий. Ну, танцуй, танцуй. Подвыпивший кавалер страсть как любит потанцевать...— Кожакоев сделал несколько комических движений, показывая, как танцует такой «кавалер», и Раушан засмеялась.

— Смейтесь, смейтесь, а когда-то и меня называли королем танцплощадки,— не растерялся Айткалиев и с преувеличенной серьезностью взял Раушан за талию.

Кожакоев покрутил ручку транзистора и выловил из треска и радиощорохов какую-то джазовую мелодию.

— Им и такой музыки достаточно,— он придавил ладонью струны гитары.— А у меня к тебе один разговор есть. Пройдемся немного?

— Давай,— согласился Искаков.— Хорошо-то как! — Запрокинув голову, он смотрел на небо, сверкающее мириадами чистых крупных звезд, на полную луну, которая белым своим сияньем освещала все вокруг.

— Хорошо, что мы выбрались за город. Устанешь за неделю — сил нет...— Он встал, поднял с земли плоский камешек и пустил его вдоль лунной озерной поверхности.

— Да, я тоже что-то притомился за последнее время,— признался Кожакоев.

— А где Саня?

— В командировке, на следующей неделе ее жду,— сказал Кожакоев, а Искаков вздохнул: — Славно здесь... Прожить бы хоть пару дней в такой благодати. Без ругани, споров, без этого — знаешь, как у нас? — «давай, давай, скорей, быстрей»...

«И чего это они вдруг уединились? Воркуют как два голубка,— озабоченно думал Айткалиев, поглядывая в сторону озера.— Еще вчера готовы были сожрать друг друга... Ерлан, по крайней мере,— уж больно любит он гла-

венствовать: Искакова открыто ненавидит, а мне завидует... Ну, а мне-то что? Я стою над ними обоими. Видали, видели мы таких «деятелей», ой, сколько видели. Грызетесь? Ну и грызьтесь на здоровье. Мне хуже не станет, если вы сожрете друг друга и уберетесь наконец из этого города...»

— Ух, уморилась,— сказала Раушан, обмахиваясь платком...— А что это с вами? Что это вы все бормочете?

— Я? Разве я бормочу? — растерялся Айткалиев.— Давайте выпьем, пока они там наговорятся...

И он наполнил рюмки.

— ...Да ты уже не на пенсию ли собрался? — грубовато засмеялся Кожак в ответ на реплику Бекена, но Искаков молчал. Он впитывал окружающую тишину, глядел на луну, слушал ленивый и размеренный плеск озера. На миг встала перед ним Галия. «Была бы ты сейчас рядом, Галия, я ничего, ничего на свете не боялся... И шли бы мы рядом, долго-долго шли рядом, и наши сердца стучали бы вместе, живя одной мечтой, одним общим делом... Вот Ерлан... Он был мне другом, но теперь наши сердца бьются порознь, совсем не так, как тогда, в золотые студенческие годы. Откуда это отчуждение и чего не хватает нам? Кто довел или, точнее, что довело нас, неразлучных друзей, до такой враждебности? Я уважаю Ерлана. Он знающий, толковый инженер. А он ненавидит меня. За что?»

А Кожак все дымил сигаретой и все никак не мог приступить к нужному разговору.

«Ты не любишь меня, Искаков,— думал он.— Но что плохого сделал я тебе? Сейчас ты хочешь срочно сдать первую очередь своего завода и нуждаешься в моей помощи и поддержке. Что ж, я помогу тебе, я всегда помогаю тебе, и ты сдашь эту свою первую очередь. За это тебе и слава, и почет. Ты станешь членом бюро горкома, о тебе напишут все газеты и журналы. А я? Я, как всегда, останусь в стороне! Так ведь? Так! И ты прекрасно знаешь это, потому что на самом деле ты эгоист, Искаков! Какие бы пышные фразы ты ни произносил, единственное, что ведет тебя вперед; это твое честолюбие... Ну в самом деле, кто, кроме честолюбца, оставит в столице жену, детей, место в министерстве и приедет сюда, в глушь?.. Честолюбец, честолюбец...»

Наконец он решился.

— Бекен, я вот о чем хотел тебя попросить,— начал он.— Мы на днях должны были отправить в министерство отчет по объекту «А»...

— Да, я знаю. И что? — насторожился Искаков.

— Так ты уж, пожалуйста, не задерживай его, подпиши. Твой главный, ну, ты знаешь, как я к нему отношусь, хоть и не в этом дело... Но поверь, он совсем осатанел, этот твой мальчишка! Слова мне не дает сказать, грубит, понимать меня отказывается...

— Послушай, но ведь уже три месяца, как ваша нога не ступала на этот объект...

— Формальности, формальности все это,— скривился Кожакков.— Ты подпиши, и все будет в порядке. Не впервой ведь, все так делают...

— Я не подпишу отчет,— тихо, но твердо сказал Искаков.

— Что? — Кожакков остановился.— Слушай, ты кончай мне тут крутить...— Он задышался от ярости.— Ты не хуже меня знаешь, что все, все так делают, если хотят жить в мире с подрядчиками.

— Кручу не я, а ты сам. Сколько выполнил, столько я и подпишу. Хватит очковтирательством заниматься.

— Слушай, чистюля. А почему ты раньше закрывал глаза на это наше, как ты выражаешься, «очковтирательство»? Уж не счеты ли ты сводишь со мной? Смотри, у меня тоже зубы острые...

— Никаких счетов я не свожу,— поморщился Искаков.— Раньше действительно подписывал, а теперь не могу. Всему есть предел.

— Хочешь и завод построить, и чистеньким остаться? Да кому, спрашивается, нужна такая чистота? Кому?

— Мне,— просто ответил Искаков.

— Вы, сэр, я чувствую, совсем потеряли вкус и уже не отличаете реализма от натурализма.

— Зато ты, я вижу, все больше и больше входишь во вкус — несуществующее выдаешь за действительное и весьма этим доволен, все у тебя идет гладко...

— Оставим глупый спор,— Кожакков старался говорить как можно мягче, ибо ему непременно нужно было добиться своего.— Ну, считай, что я прошу тебя об этом в последний раз. Подпишешь, и я даю тебе слово, что в следующем месяце мы все сделаем.— Он похлопал Искокова по плечу и заглянул ему в глаза: — Договорились?

— Нет...

— Бекен... Ты ведь знаешь, что я работаю только на твой завод...— Кожиков уже еле сдерживался.

— Не мой... Государственный... Так что — извини...

— А ты хорошо научился говорить,— зло усмехнулся Кожиков.— Жалко, трибуны здесь нету...

— Ты почему такой злой? — с укором спросил Исаков.

— Злыми не рождаются, злыми становятся,— отрезал Кожиков.

Они напряженно глядели друг на друга.

— Я в последний раз спрашиваю, ты подпишешь наш отчет? — спросил Кожиков.

— Я уже сказал, что нет,— твердо ответил Бекен.

— Ну, так послушай тогда, что я тебе скажу. Работать ты будешь со мной, и я предсказываю тебе, что очень скоро ты пожалеешь об этих словах. А я в своих предсказаниях редко ошибаюсь...— Кожиков повернулся и быстро зашагал прочь.

Исаков же остался сидеть на большом валуне у озера. Он слышал голос Раушан, которая звала его ужинать, но не сдвинулся с места. Пусто и гадко было у него на душе от слов человека, которого он всегда считал своим другом. Молча, отрешенно сидел он у озера, и его неземная красота уже не радовала Исакова.

9

Исаков открыл окно — только что закончилась очередная планерка, и он решил проветрить кабинет от застоявшегося табачного дыма. На планерке они в последний раз обсудили все таблицы и расчеты о полезности и экономической эффективности поэтапной сдачи объектов завода, и вроде бы все было задумано верно. Он, по крайней мере, был теперь в этом полностью уверен. Одну из красных папок, что лежали у него на столе, он направил в Центральный Комитет республики, другую — в Москву, в министерство, третью должен был лично вручить секретарю обкома Байзакову, отцу начальника цеха Турсына Байзакова. «Настоящие испытания впереди,— думал Исаков.— Мы должны добиться своего, чего бы это нам ни стоило. И нет ничего предосудительного в том, что мы боремся и сражаемся. Ведь мы боремся за нашу идею...»

Он хотел было пройтись по цехам, но вдруг, что-то вспомнив, снял телефонную трубку.

— Сергей Владимирович,— сказал он Рожкову.— Я там на планерке забыл впопыхах — Какен Мукашев обратился ко мне с одним очень дельным предложением. При сдаче первой очереди оно нам особенно пригодится.

— Это о чем? — спросил Рожков.

— Ну, суть предложения в том, что он предлагает создать бригаду особого формирования. Ты сам потом посмотришь...

— А вам не кажется, что такое предложение слегка пахнет прожектёрством? — осведомился Рожков.

— А ты не горячись,— остановил его Исаков.— Хуже нет, когда человек заранее осуждает то, о чем даже не имеет представления. Ты согласен со мной? Ознакомься с его расчетами, чертежами, а тогда уж и суди его... по всей строгости, как говорится... Но я думаю, что тогда у тебя охота отпадет ругаться — предложение дельное. И вообще я считаю, что пора подумать о выдвижении Мукашева. Почему бы нам не назначить его начальником техотдела, например?

— Несобранный он какой-то, все смеются над ним.

— А на кой мне черт инженер модно одетый, с красивой поступью и пустой башкой! — рассердился Исаков.

— Да и молод он для такой должности,— не уступал Рожков.

— Что? Молод? А ты что — в старики записался? Ты тоже для главного инженера молод, однако мы тебя назначили, и никто об этом не жалеет, я, например, не жалею. Нам как раз такие ребята и нужны, как Мукашев,— дерзкие, увлекающиеся, из тех, что в огне не горят и в воде не тонут.

На другом конце провода замолчали.

— Бекен Исакович, я уважаю вас, но считаю, что уж если продвигать Мукашева, то на должность главного конструктора. Начальник техотдела должен уметь работать с людьми, а ему это не очень дается. Это моя точка зрения,— сказал Рожков.

— Ну и молодец, если имеешь свою точку зрения,— вдруг расхохотался Исаков.— Ладно, карьера Какена Мукашева — дело будущего, а вот его расчеты — это настоящее, так что прошу тебя, не тяни. Просмотри и доложи мне...

— Хорошо,— сказал Рожков.

В кабинет вошли Кожakov и Семенченко.

— Приветствую Бекена Исаковича,— начал Кожakov преувеличенно любезным тоном.

— Привет, Ерлан. Здравствуйте, Виктор Николаевич. В последнее время на вас стали поступать жалобы — не видно вас на стройке,— сказал Исаков.

— Объектов много, Бекен Исакович,— потупился Семенченко.

— Знаю, но что делать — будет еще больше. Такая уж у нас с вами судьба, как говорится... Да, вас главный инженер искал, зайдете потом к нему,— вспомнил Исаков.

Кожakov, удобно расположившись в кресле, покуривал и неопределенно улыбался.

— Бекен Исакович, я пришел к вам с заявлением... об увольнении...— Семенченко, наконец решившись, достал из нагрудного кармана сложенный вчетверо листок бумаги и протянул его директору.

Исаков развернул бумагу.

— Куда уходите? — глухо спросил он.

— Пока не знаю. Вернее, не хочу говорить. Рано пока,— промямлил Семенченко.

— Вам работа надоела? Или не нравится у нас?

— Здесь написано — в связи с семейным положением, так что зачем задавать лишние вопросы,— осмелел Семенченко, перестав глядеть в сторону.

— Мы могли бы оказать вам материальную помощь. Скажите, что вам нужно, не стесняйтесь, из любого положения есть выход.

— Спасибо. Мне нужно, чтобы вы освободили меня от работы, вот что мне нужно,— сказал Семенченко.

Исаков вспыхнул, но сдержался.

— Может быть, вы пока поработаете, прежде чем подыщите себе другое место? Нам каждый день, каждый человек дорог, а возможно, за это время мы и проблемы ваши решим.

— Спасибо. Я сам решу свои проблемы,— процедил Семенченко, и Исаков понял, что уговаривать его бесполезно.

— Что ж, не смею вас удерживать...— Он подписал заявление и вернул его Семенченко.— Пройдите в отдел кадров. Согласно закону, вы должны отработать двенадцать дней.

— Хорошо, я отработаю,— снова смешался Семенченко.— Спасибо, до свидания.

— Нет уж, на этот раз — прощайте,— жестко сказал Искаков и, дождавшись, когда за Семенченко закрылась дверь, обратился к Кожякову: — Полюбуйся, у меня появились первые дезертиры...

Кожяков спокойно докурил сигарету, затушил ее в пепельнице и откинулся в кресле.

— Что ж тут удивительного? Парень молодой, хочет заработать. Или ты до сих пор считаешь, что деньги — это яд? А я думаю, что мужчина должен хорошо зарабатывать, он должен иметь много денег.

— Что-то не замечал я у тебя особой жадности к деньгам,— сказал Искаков.

— У меня нет жадности к деньгам? Я обожаю деньги! — расхохотался Кожяков.— Я ведь сирота, а сироты свою выгоду знают, помнишь, как я тогда говорил? И еще — помнишь, в каком-то рассказе Джека Лондона один сирота-золотонискатель умирал с голоду, а у него матрац был набит долларами и сухарями...

— Ладно, заканчивай представление. Ну и шуточки же у тебя,— улыбнулся Искаков.

— Да, шуточки,— неопределенно согласился Кожяков.— Ты вот что, ты вечером к нам на планерку приходишь?

— Нет, вечером у меня свои дела.

— Ну, как хочешь. Я, собственно, за этим только и зашел.— Кожяков встал и направился к выходу, но в дверях замешкался: — Кстати, ты зря считаешь Семенченко дезертиром. Он будет работать на строительстве завода, но только не у тебя, а у меня, в тресте. Так что учись, дружок, как нужно работать с кадрами...

Искаков смотрел на него, и в его взгляде не было удивления. «Неужели ты так изменился? Неужели эта мелочность, да-да, мелочность, и дело тут вовсе не в Семенченко. Эта мелочность, желание насолить, напакостить — неужели все это так глубоко въелось в тебя?»

Кожяков не выдержал его взгляда и быстро вышел.

— Бекен Искакович, принимать скоро начнете? — сказала по селектору Наташа.

— А что, много народу?

— Много...

— Хорошо. Минут через пять... Вызови пока Потапова.

Начался приемный час по личным вопросам...

...Старуха, маленькая, сгорбленная, в коричневом платке, плакала, не переставая...

— Пожалуйста, успокойтесь,— сказал ей Потапов.— Объясните, что случилось, и мы постараемся вас понять. Старуха вытерла глаза платком.

— Я мать Павлова Сергея. Бригадира. Он в прошлом году упал во время работы и повредил себе позвоночник...

— Знаю, знаю, матушка,— кивнул Искаков.

Старуха снова всхлипнула:

— Положение у нас — хуже не придумаешь. Сергей больше года с постели не встает, жена от него ушла...

— А дети есть у них?

— Двое внуков. У меня они... Вертихвостка, ушла, даже на детей не посмотрела... Старшему скоро шесть будет... А дом у нас старый, еще муж покойный строил после войны. Крыша протекает, стены сырые.— детей одних оставлять боязно, прости господи!. Как только дожди начинаются, покоя нету... Серега собирался перекрыть, да вот как у него получилось... А я боюсь, как бы эта крыша нас всех не прикрыла, вот и явилась к тебе. Помогите ты нам...— Старуха опять заплакала, не в силах сдерживаться.

— А с завода к вам кто-нибудь приходит? Из бригады его? — спросил Искаков.

— Когда б ходили, разве я стала у вас время отнимать? Вы б тогда наверняка знали о нашем положении...

— Пантелей Матвеевич, до сдачи микрорайона горсовет обещал выделить нам несколько квартир для специалистов. Как там с этим дела обстоят?

— Ждем. Все обещаньями нас кормят...

— Срочно займитесь этим вопросом. Одну квартиру нужно будет дать семье бригадира Павлова. Составьте акт обследования и решите это на месткоме...

— Спасибо, дорогой,— старуха от волнения вставала и снова садилась.

— Бекен Искакович, тут все не так просто, как вы думаете. Во-первых, квартиры будут, по-видимому, только к осени, а во-вторых...— Потапов посмотрел на старуху и замялся.

— Что — во-вторых? — спросил Искаков.

— Я бы не хотел при посторонних,— сказал Потапов.

— Говорите... Это мать нашего рабочего, и от нее у нас не должно быть секретов.

— Хорошо, я скажу, раз вы ставите вопрос подобным образом,— слегка рассердился Потапов.— Квартиры эти предназначены для приглашенных специалистов, для ведущих специалистов... Поэтому я предлагаю сделать в домике Павлова ремонт, а после сдачи микрорайона мы попытаемся окончательно решить их жилищную проблему.

Искаков задумался.

— Вы конечно же логично рассуждаете,— сказал он.— И все-таки в первую очередь мы должны позаботиться о нашем рабочем... Травму он у нас получил, на заводе. Ведь так?..

— Так,— был вынужден согласиться Потапов.

— Вот. А это значит, что мы должны,— Искаков сделал упор на последнем слове,— должны сделать все возможное и невозможное, чтобы помочь ему.

Старуха пыталась встать, но ослабевшие от волнения ноги не держали ее.

Искаков помог ей подняться, проводил до дверей.

— Успокойтесь, все ваши несчастья кончились,— мягко сказал он.— Ремонт вам сделаем в самое ближайшее время, летом или ближе к осени вы получите благоустроенную квартиру, а потом, глядишь, и ваш Сергей поправится. На курорт его отправим, в санаторий, если будет нужно...

— Спасибо, дорогие! Дай вам бог долгих лет жизни. Спасибо!..

Она ушла. Искаков снова сел на свое место и вдруг спросил Потапова, который молча барабанил пальцами по столу, по-видимому не очень-то одобряя поступок директора:

— Пантелей Матвеевич, кто теперь работает бригадиром на месте Павлова?

— Цой,— ответил Потапов.— Я понимаю ваше великодушие, Бекен Искакович, мне самому их до смерти жалко, но я думаю, что в интересах дела они могли бы и подождать. Крышу мы им подлатаем, а на следующий год и квартиру бы они получили...

— Ладно, что решено, то решено,— сказал, как отрубил Искаков.— В конце смены пришлете ко мне бригаду Цоя. Всех! У меня с ними будет особый разговор...

Потапов кивнул.

...Искаков возвращался домой пешком. Воздух был насыщен весенними свежими ароматами, и горизонт багряно окрасился лучами заходящего солнца. Тишина. До города еще далеко. «Может, присесть покурить?» — подумал он. И ему снова вспомнилась старуха, мать рабочего Сергея Павлова, одного из тех, чьими руками строился этот завод. Строился навсегда, на десятилетия, на века, и он понял, почему мысль о ней не дает ему покоя: глядя на нее, он видел перед собой и своих стариков, своего старого отца, старую мать, которые остались жить там, далеко, в маленьком горном ауле, стариков, с которыми вот уже четыре года его связывают только письма.

Он и не заметил, как свернул на зеленую лужайку. В эту минуту ему захотелось бросить все. Бросить все и снова вернуться к себе на родину, к своим старикам, в тот далекий горный аул. Двенадцать их было, и все они разбрелись по белу свету кто куда. Двенадцать, а старики живут одни — одни на старости лет... Ему стало больно от этой мысли, но он знал твердый, несговорчивый характер отца. «Я не из тех дураков, которые аул на город меняют. Мне и тут хорошо...» — сказал он еще тогда, много лет назад, когда Искаков безуспешно пытался перевезти их с матерью в Семипалатинск. Сейчас, может, он уже и по-другому думает? Да нет, отец — крепкий орешек и своих слов никогда назад не берет... Аул, овцы, горы, а здесь стройка, пыль, бетон... Как все это умещается в одну, одну жизнь, ту единственную жизнь, которую суждено прожить человеку на земле?..

ОТСТУПЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Горы

— Больно!.. Больно!..

Черныш, прикорнувший рядом с печкой, встрепенулся, услышав стон мальчика, и, приволакивая заднюю лапку, прыгнул к нему в постель. Но Жанату было не до него. Он раскачивался из стороны в сторону, побледнел, закусил губу. Боль становилась нестерпимой, и Жанат в отчаянии заколотил кулаками по гипсу, намертво сковавшему ногу.

А ведь говорил хирург!.. Что говорил хирург тогда, в городе, ласково глядя мальчика по непокорным жестким волосам? «Потерпи, и скоро мы снимем твой гипс. Мы

еще встретимся с тобой, озорник...» Однако вот уж и зимовка кончается. И прошли, давно прошли все сроки, назначенные врачом, но отцу, день-деньской пропадающему в отаре, как всегда, некогда, как всегда, не до Жаната.

И Черныш ничем не мог помочь своему хозяину!.. Вот он и тыкался сочувственно влажным носом, ластился: то бежал к окошку, заливаясь тонюсеньким лаем, то снова лез на постель. Тявкал, потявкивал, завывал, но далеко взрослые, и где уж им слышать слабый голос щенка.

В сумраке зимних гор домик их выглядел заброшенным. Да и то сказать, одно-единственное жилье на всю округу. Помощника отцу не выделили, старших детей он отправил в школу-интернат, поэтому единственной опорой ему была Раушан, мать Жаната.

Весна в Чингистау нынче выдалась ранняя, и люди давно уже сбросили зимние тулупы. Однако такие ранние весны всегда чреватые неожиданностями. Ночью вдруг так подморозит, что и носу не высунешь, а то вдруг середь бела дня как задует этот колючий промозглый ветер, и нету от него никакого спасения, а если еще и снег начнет сыпать, то такая затевается метель, что кажется, будто и не весна на дворе, а самый что ни на есть выюжный декабрь. Но последнюю неделю на зимовке потеплело. И опять же — коварное это тепло! Измучился отец: днем снег тает, а ночью мороз, вот тебе и гололед! И попробуй выгони по гололеду овец в степь...

С того дня, как начался в стаде окот, Жанат, можно сказать, круглые сутки оставался дома один. Порой он рассматривал через узенькое окошко степь, тянувшуюся далеко-далеко, так далеко, что нет ей ни конца ни краю. Горбатые белые перекаты, холмы, укрытые снегом, низины с черными проплешинами весенней земли; там и сяма торчат оставшиеся с зимы развороченные стога сена, виднеются и две заброшенные могилки с покосившимися оградками... Ничего нового, надоевшая глазу картина.

Иногда ему хотелось заплакать, но он тут же умолкал, стыдясь своей слабости и невольно думая об отце, который никаких таких «слабостей» не признавал, а для нытиков, соседей по аулу, всегда имел в запасе острое словцо, которое, впрочем, сообщал он вовсе не им, а своей жене Раушан.

Ногу Жанат сломал в самом начале зимних каникул. Он и букварь толком освоить не успел, а вот надо же...

Однако времени мальчик зря не терял, вникал как мог в грамоту. А когда и это надоедало, когда буквы странным образом начинали вдруг мельтешить перед глазами, он осторожно клал букварь под койку и звал к себе щенка. А тому и горя мало, глупенькому, лишь бы вдосталь наиграться! Жанат вязал его тряпками, что означало — Черныш в плену, потом мальчику становилось жалко щенка, и он угощал его пряником. Дети есть дети...

Но в последние дни нога стала заметно опухать, а потом и эта проклятая боль появилась.

Раушан, ввалившаяся в дом с фонарем в руке, так и замерла, услышав жалобный стон сына.

— Жеребенок ты мой! Что же нам теперь делать? Что-о? — ее плач смешался со стоном мальчика.

Жанат умолк.

— Потерпи, сынок, потерпи, солнышко, — причитала мать. — Сейчас что-нибудь придумаем.

Жанат уткнулся лицом в подушку.

Появился и отец, Сакен. Он стянул у двери вываленные в грязи сапоги, размотал портянки, записал их в огромные зияющие голенища сапог и лишь тогда прошел в комнату.

— Уф, поясница моя! — закричал он и крикнул сыну: — Эй, Жанат, брось хныкать, видишь, как мать напугал.

— Да ты что такое говоришь, ты погляди, погляди на мальчонку, — отозвалась плачущая женщина.

Отец присел перед сыном.

— Ну-ну, разве батыры плачут? А? Вот мы на войне... — Сакен не успел закончить фразу, потому что опять вмешалась Раушан:

— «На войне, на войне»... Сейчас войны, слава богу, уж сколько лет нету, а ты все — «на войне»...

— Войны нет, но джигит все равно должен оставаться джигитом. Все б тебе трепаться попусту! — Слово «трепаться» вырвалось у отца по-русски.

— Ладно, тебя не переговоришь. Чай пей...

— Вот другой разговор. — Отец с трудом поднялся с места, разминая ладонями поясницу. — Ох и ломит... К непогоде, видать...

Чай густо-коричневый, почти черный, в кружке аппетитно плавает молочная пенка. Сакен с наслаждением

выпил сразу две. На лбу обильно проступил пот. Он вытирал его большим махровым полотенцем, которое лежало у него на коленях.

— Жалко мальчишку! Свези ты его в город, сними проклятый гипус,— сказала женщина.

Сакен молчал.

«А мне не жалко? — думал он.— Но как мне оставить овец? На кого? По рукам и ногам эти овцы меня вяжут. Да и окот сейчас, отлучись попробуй...»

Вид у него виноватый, он и глаз не смеет поднять на жену. А та, в свою очередь, думает: «Что ж мне делать, как не кричать на тебя? И что ты можешь, когда только и знаешь что овец своих да «пропущу-ка я стаканчик с устатку». «Война, война»... При чем здесь война? Ну, а дети? До детей ему дела нет, лишь бы овцы в целостности-сохранности были. А детей шестеро, и все в интернате. Так и не собрались к ним за зиму, так и не повидали. И зарплату, как назло, не везут, хоть деньжонок им подослать. А младшенький, бедняга, который день с ногой мается...»

Она прислушалась, как он там за стеной. Спит ли? Плачет?

— Или хоть в район соседний, ведь рядом, свози, а?

— А с овцами кто? — отрывисто бросил Сакен, дергая себя за ус.— Из-за них, окаянных, здесь торчу, а то хоть завтра съездил бы. И то скажу,— хотел пошутить он,— два года прошло, как городского пива не пробовал, вах! — И он прицокнул языком.

— Провались ты со своим пивом! — не поддержала шутку женщина.— Я ему — про сына, он — про пиво!

— Семипалатинское пиво — напиток богов! — мечтательно развел руками Сакен.

— Ну, пошел...

— Семипалатинское пиво... Эх! Помню, с войны возвращались, там еще пивная была, на восьмом километре... Сложились, значит...

— Ну поехал...

— Чего это ты заладила — «пошел» да «поехал»?.. Ты чего это, а? — Сакен рассердился. Воспоминания тех далеких лет уже захватили его, да к тому же и в работе выдался короткий перерыв, и в доме тепло, и чай вон какой — пахучий, ароматный. «Ай да Раушан, золотые руки у моей Раушан!.. Впору бы расслабиться, отдохнуть, да вот же болтливая, нет от нее никакого спасу...» — Сло-

ва не даст сказать, понимаешь! И откуда тебе, женщине, знать, что пиво есть пиво. Пиво — это, понимаешь... — И Сакен вдруг пустился в пространные рассуждения по поводу того, что такое пиво, какая от него человеку польза, сколько его можно выпить и как, с кем, с чем, когда и где.

Жена уже не прерывала его, она его просто не слушала. Сакен наконец обнаружил это и закончил свой рассказ, в котором была соревновалась с небылью, такими словами:

— Вах, выпью, бывало, кружек тринадцать, а мне хоть бы хны! А вообще-то ничего нет на свете милее беленькой, а? — И он лукаво подмигнул жене.

— Э-эх, старик уже, а все б ему про бутылку. Иди лучше овец глянь, пока мясо варится...

Мальчик застонал. Раушан бросилась в соседнюю комнату:

— Чайку налить, солнышко мое?

— Не хочу, — всхлипнул Жанат.

Сакен взял винтовку.

— Овцы, ты сказала? Да, правильно, овцы... пойду погляжу...

...Овцы помещались в загоне, к трем столбам которого были прикреплены фонари. Сакен глянул в угол, отведенный для ягнят. Те, сбившись в кучу, мирно дремали, прильнув друг к дружке. Тишина... Но пройдет два-три дня, и настанет самый разгар окота. Вот тогда держись, Сакен!

Он присел на камень перед воротами и закурил. Горький дымок «Беломора» щипал язык. Кнутовищем камчи пастух сдвинул малахай к затылку — самое время малость поразмыслить в одиночестве.

«Эх, жизнь, жизнь, хватает человеку твоих забот. Так-то оно бы и ничего, можно жить, да худо, что все одному приходится делать. Колхоз осенью обещал помощника, а где тот помощник? Нету его и по сю пору. К этому времени сюда обычно сакманщики толпой наезжали, а нынче что-то и их не видать, сплошное невезение... Вот уж слушатели сакманщики, сколько им чего ни рассказывай, все им мало... За всю зиму наговоришься... А на закуску у него курт, желтый овечий курт. Да есть ли в мире лучшая закуска, чем этот курт? В тот раз, помнится, и начальство подсыпало: сам председатель, главный ветврач, зоотехник. Пять бутылок «уговорили», яловую овцу съели, обещали

и помощника, и сакманщиков обещали, чего только не обещали, а теперь вот... вах! Болтуны, понимаешь... Морочат людям голову. Ну погодите, наведаетесь еще, я вас угощу... Вот как спущу псов на вас, будет вам угощение... вах».

Плотно заперев ворота, он потоптался на скрипучем снегу и заглянул в окно. Раушан и Жанат сидели за столом. Оба в слезах. Муторно стало на душе у Сакена...

«Что же мне с пацаном делать? Может, и правда отправиться спозаранок в соседний аул? Всего пути-то — восемнадцать километров! До рассвета выехать, так к ночи и вернуться можно будет. А вдруг не вернусь? Управится с овцами эта женщина или нет? Ай, в крайнем случае, оставлю малого в больнице, если надо будет. А приедут сакманщики, съезжу и заберу его... Так ведь вроде все правильно?»

Кружил возле дома, не в силах принять решение. Рыжая гончая, скуля, льнула к его ногам. Два огромных пса рвались к нему, угодливо виляя хвостами...

«Что ж мне теперь, рехнуться из-за овец? Грех ведь мучить родное дитя. Надо снять гипус, надо! Да, повезу его. Может, в один день и обернусь. Решено. Иначе нельзя. Успею. Поймут меня, наверное, врачи, коли им все объяснить. Решено...»

И, прицелившись в морозное звездное небо, спустил курок винтовки. Ударил выстрел. Эхо далеко прокатилось по степи. Псы, захлебываясь лаем, ринулись в темноту...

Он смазал колеса старой арбы, которая еще с прошлого года стояла без дела во дворе. Набрosal в нее сена, сверху положил кошму. Взяв мальчика на руки, заботливо укутал его толстым стеганым одеялом.

— Ну как?

— Хорошо,— Жанат не мог сдержать довольной улыбки.

— За овцами в оба гляди, не давай им далеко от дома уходить...

— Да знаю я, знаю,— рассеянно отвечала Раушан, чье внимание целиком было сосредоточено на сыне. В торбе, которую она старательно укладывала под кошму, курт, масло, хлеб, вареное мясо.— Не замерзнешь, солнышко мое?

— Нет.

— Н-но! Чу! — ухнул Сакен и, взмахнув вожжами, прыгнул на ходу в арбу. И, уже отъехав на некоторое расстояние, крикнул жене: — Овец вечером пораньше запри.

Раушан ничего не ответила, только головой закивала. Черныш, ошалело твякая, пустился следом за арбой, но тут же отстал. И только рыжая гончая, что трусила по левой стороне дороги, выражала явное намерение сопровождать хозяев до места назначения.

Они въехали в горное ущелье, и Сакен вполголоса за-тянул какую-то протяжную песню. А Жанат, зарывшись в сено, вспоминал дни, проведенные им в городской больнице. Эх, сколько там было ребят! У кого с ногой что, у кого с рукой. Как завидовал Жанат счастливцам, которые лежали «с рукой». Ну да, лежали они! Одно только слово что больные... В палате их на аркане не удержишь... Бегают, скачут... Сколько хлопот было нянечкам. Считай, все новости они разносили, те, что «с рукой», «Вот оставил бы меня отец в больнице! — мечтал Жанат.— А то букварь да щенок, щенок да букварь...»

«Хорошо б, если гипус прямо сегодня сняли,— соображал между тем Сакен.— Тогда бы к ночи точно домой вернулись!»

Так думал чабан и пел, громко пел. Пел и сам удивлялся тому, как ладно у него это получается. И слова нашлись, и мелодия точно сама льется. И так ему тепло стало, что и не заметил Сакен, как одни и те же слова повторил раза три подряд. Чабан радовался своему голосу, он слушал себя и, кажется, забыл обо всем на свете. Он чувствовал, он, можно сказать, телесно осязал ту усталость, что медленно, но верно сползала с него. Он даже провел пальцами по плечам, будто снимал ее, эту усталость, будничную, въевшуюся. Странное и блаженное состояние раскованности испытывал он сейчас. Льется песня, и отступают все твои заботы и все твои тревоги! И нет ничего, и ты свободен, и ты счастлив, и все будет хорошо. Вот только бы малышу скорей помочь...

А Жанат давно уже сладко посапывал под ватным одеялом, убаюканный славной песней отца, которую он слышал, пожалуй, первый раз в жизни.

И мухортый, между тем, давно уже рысил вниз под горку.

— Запись окончена. Утром приходите,— заявила смуглая девушка, высунувшись из окошка регистратуры.

Визгливый казенный ее голос вызвал раздражение у Сакена, но он сдержался.

— Доченька, мы ведь с отгона, — умоляюще сказал он.

— А мне без разницы, кто откуда. Порядок есть порядок.

— Спозаранок мы, доченька, выехали, дорога тяжелая, только вот добрались. Ты запиши, чего уж там!

Ответа не последовало.

— Слышишь, вчера в промтоварном трикотинные платья давали...

— Айша купила, — отозвался другой голос. И Сакен углядел рядом со смуглянкой курносую девушку в коричневом плаще. — С цветочками...

— Ой, я бы с цветочками тоже взяла...

— Оно немножко мраченькое, с цветочками плоховато смотрится...

— Да, мне красное больше идет...

— Эх, достать бы джинсовый костюм...

Сакен откашлялся в кулак. Модницы не обращали на него ровным счетом никакого внимания.

— Вах, доченьки, я что-то вас не пойму.

— Вы разве не слышали, что запись окончена? Вы что, глухой? — смуглая бросила на него недовольный взгляд.

— Младшенькому бы моему... гипус с ноги снять, — как можно мягче сказал Сакен.

Но его уже опять не слышали.

— Значит, он так тебе и не написал после того, как уехал?

— Ни строчки...

— А ну кончайте болтать! Записывайте меня! Ну! — вдруг грозно крикнул Сакен.

— Нахал! — девушка резко захлопнула окошко перед самым его носом. — На жену свою ори!

— Я сам знаю, на кого мне орать! — он стукнул кулаком по фанере. — Расселись тут, понимаешь, в тепле, а мы там, понимаешь, на холоде... — Он неопределенно махнул рукой. — Куда только ваше начальство смотрит, вот что интересно?

— Что здесь такое происходит? — послышался вдруг чей-то строгий голос, и из противоположной комнаты вышел молодой человек в белом до голубизны халате и накрахмаленной шапочке.

Две женщины и подросток с перевязанной щекой, что видно, тоже ожидали приема, безмолвно указали на Сакена. Девушки, услышав голос врача, выскочили в коридор.

— Ибрай Исмаилович, он грубит здесь, он напился и грубит...

Ибрай Исмаилович не без удивления оглядел пожилого мужчину в лисьем малахае и с камчой в руке.

— Аксакал, вы почему себя так ведете? Вы разве не знаете, где находитесь? — Сакен открыл было рот, но врач продолжал внушительно: — Дайте нам, в конце концов, возможность нормально работать.

Сакен и не думал ему дерзить, он хотел объяснить, что и как, но тон, которым тот произнес «Дайте... возможность... работать!», окончательно вывел его из себя.

— Можно подумать, ты один на земле работаешь...

— Пьяный он, мы говорим, что он пьяный, милицию надо вызвать, — наперебой зашебетали девушки.

— А ну-ка, Гуля, позвони куда надо...

Смуглая юркнула в свою комнатку.

— Зови, зови милицию, забирайте меня вместе с арбой и конем!..

— Аксакал, спокойнее. Человек вы уже немолодой, — попытался урезонить Сакена врач, который вроде бы и сам начал понимать, что здесь делается нечто неладное, и этими словами своими хотел сгладить неловкость момента.

— Вах, живете вы тут припеваючи, понимаешь, и то психические, а мне с чего спокойным быть, если мой сын на морозе в арбе валяется, а?

— А что с вашим сыном?

— Гипус с ноги снять надо.

— А справка есть?

— Какая справка?

— Операцию у нас делали?

— Нет. В городе. И бумажек я никаких в глаза не видел.

— Вы из какого совхоза?

— С отгона мы. Актальского района.

— Эге, а наша больница, уважаемый, да будет вам известно, относится к Қаратальскому району.

— А то я сам не знаю, дохтыр! Твой район от моей зимовки в восемнадцати километрах, а до Актала мне все триста. Куда ближе?

— Нынче все грамотные стали,— сказал врач.

Сакен уловил насмешку в его голосе, и это опять за-дело его.

— Ты не думай, родной, что люди — это ишаки,— резко бросил он.

— Без справки мы гипс снять не можем.

— Вот те на! Зачем бумажка, если гипус снимать надо?

— Сейчас и покойнику справка нужна, аксакал. Иначе не похоронят — запрещается.

Сакен вздрогнул, «Как этот сопляк разговаривает? Над мертвыми смеяться вздумал? Аллаха оскверняет...»

— Ты знаешь... ты кончай болтать, вах! — рявкнул он.

Врач снова усмехнулся, понял, чем задел старика.

— Начальник у вас есть? Как к нему пройти? С тебя, я гляжу, толку мало.

Главного врача больницы Сакен знал, но не помнил ни имени его, ни фамилии. Как-то зимой был этот врач в горах, и Сакен, по обычаю степного гостеприимства, угощал его басбармаком, баранью голову на отдельном блюде преподнес...

— Ну, так мне долго ждать, нет?

Молодой человек глянул на него с невольным уважением. Видно было, что напористость старого чабана неожиданно пришлась ему по вкусу. «Ишь, раскомандовался старик!» — подумал он. И, подойдя к окну, указал тонким пальцем на административный флигель, где помещался кабинет главного врача.

Сакен, зажав в руке камчу, крупными шагами двинулся к выходу.

— Гуля!

— Да, Ибрай Исмаилович! — смуглянка с готовностью повернулась к врачу.

— Не надо милицию. Старик-то он ничего...

— Ибрай Исмаилович, так мы уже... Они уже едут, наверное...

— Ну, тогда не знаю,— неопределенно произнес врач и ушел в свою комнату, плотно притворив за собой дверь.

Сакен же замешкался у арбы. Концом кнутовища поскреб затылок.

— Отец, пить охота! — сказал Жанат.

— Сейчас.

Налил ему из бидона кружку айрана.

— Скоро, отец?

— Лежи пока, я к начальнику ихнему пойду...

Дверь в кабинет главного врача он распахнул, не постучавшись. За столом сидел симпатичный парень с копной вьющихся темных волос и с модным цветастым галстуком поверх белой сорочки. Сакен его не только сразу узнал, но и имя мгновенно вспомнил. Бисапа! Он самый, своей собственной персоной.

— Здравствуй, Бисапа, здравствуй, сынок! — раскланялся он.

Эх, знать бы этому Бисапе, чего стоила Сакену подобная учтивость...

Главный врач нахмурился. Не любил он, чтоб... вот так... Зачем, например, уселся старик без приглашения в своей грязной одежде на мягкий стул, обтянутый белоснежным чехлом? Почему головной убор не снял?

— Аксакал, при входе в кабинет люди обычно стучат в дверь.

Сакен оторопел, смутился. «И правда нехорошо получилось!»

— Ты прав, Бисапа. Что делать, до седых волос дожил, а порядка не знаю, не приучен, вах!

Главный врач задумался. Он явно где-то встречал этого старика. «Лезет в кабинет будто в свой дом...» Так ничего и не вспомнив, вежливо осведомился:

— Вы по какому делу ко мне, аксакал?

— А ты меня узнал, да?

— Конечно, аксакал, конечно...— «Где же я его видел, а?»

— Ну, коли узнал, так я сына к тебе привез. Ногу он зимой сломал. Гипус будем снимать.

— К сожалению, хирурга у нас сейчас нет. В отпуске. Придется мальчика направить в город.— «Надо же, совсем память дырявая стала...»— Вы из какого совхоза?

Сакен окончательно понял, что главный врач не узнал его. «Да и откуда? Мало ли с кем встречается в аулах большой человек, разве всех упомнишь?» Тем не менее было досадно, что именно его, Сакена, не помнит врач Бисапа. По простоте душевной Сакен полагал, что раз уж он, чабан, приветил его в доме, угостил обедом, то теперь и с его стороны имеет право рассчитывать на добрую услугу.

— Из какого совхоза, говоришь? Да с отгона я, в Карабасе.

— С отгона?

— Да-да. Чабан я из Карабаса, орденосец, который без ордена, Сакен...

Так он представлялся в шутку при знакомствах. Он вспомнил, как хохотал Бисапа, услышав: «Орденосец без ордена, чабан из Карабаса». «Ну и весельчак вы, Сакен-ага, всегда найдете что сказать!» — похвалил он тогда. Сейчас пастух нарочно повторил свои слова в надежде, что главный врач все же признает его.

— Меня ваши награды не интересуют, аксакал, — хмуро отрезал врач, решив, видно, что старик подсмеивается над ним. — Вы по существу, аксакал, по существу. Здесь люди работают, а не байки рассказывают.

«Ну, нашел я кого угощать бараньей головой!.. Дурак, что говорю с ним...» Старик расстроился, и на себя досада брала. Будь его воля, на куски бы разорвал главного врача. «Меня не хочет узнавать, меня, ветерана войны, знаменитого разведчика Сакена?! А кто лежал, развалясь, на подушках в моем доме? Кто острил благодушно: «Главному врачу главное угощение — баранью голову...» Сакен крепче сжал рукоять камчи.

— Значит, не помнишь? А меня, пусть будет тебе известно, вся округа «Сакеном без ордена» величает.

— Вас много, — уже менее сурово пояснил главный врач.

— Прошу, снимите гипс с сына. Ваш там один мне встретился, нельзя, говорит, без бумажки снимать. А уже почти два месяца прошло.

— Да, он прав. Без справки нельзя. Операцию где делали?

— В городе.

— Тогда в город и везите.

— Вах-вах-вах! — старик уже больше не владел собой. — Походи за моими овцами неделю, так я не только в Семипалатинск, а в самую Москву съезжу.

Теперь уже и главный врач не на шутку рассердился. Да что это за нахальство такое, в конце-то концов?

— Вы не шумите. Первое: ваш отгон не относится к нашему району. Второе: у вас даже справки нет на операцию. Третье: рентген у нас две недели как не работает. Четвертое: хирург в отпуске. Что мне прикажете делать? И, пожалуйста, без эмоций. Надо соображать, где вы ходите!

— Третье-четвертое, пятое-десятое! Как ты забыл, что у меня гостил, так и я плевать хотел на твое заведение! — закричал Сакен.

— Прошу вас, не тратьте понапрасну времени, товарищ. Возвращайтесь домой. Мальчика необходимо везти в город!

— Сакен вам сейчас покажет город! На твоём пороге лягу, а не уйду. Кончай болтать! — с этими словами он и вышел, сильно хлопнув дверью.

— Что этот пастух выделяет, а? Рехнулся, что ли?.. — не успел главный врач сказать это, как в комнату ввалился Сакен с мальчиком на руках. Уложил его на длинную скамейку.

— Вот он, мой сын. А это гипс ваш треклятый, — он стукнул рукоятью камчи по гипсу. — Видишь?

— Вижу.

— Ну, а коли видишь, так снимай. И немедленно снимай. А нет, погуляет моя худая плеточка по твоей жирной спине.

Главный врач опешил. От этого сумасшедшего всего ожидать можно!

Но тут распахнулась дверь, и в кабинет вошли два милиционера. Сакен и бровью в их сторону не повел.

— Не дам я издеваться над собой, понял? Не дам, вах!

— Это вы, значит, будете чабан? — спросил длинный милиционер, приближаясь к Сакену.

— Я и буду чабан, я и есть чабан. А вот ты кто такой, этого я не знаю.

— Смотрите, остряк нашелся! А ну, пройдемте, гражданин!

— Куда?

— В отделение — куда!

— Баранов ваших считать, да?

Главный врач засмеялся. Милиционер взял старика за плечо. Другой милиционер, молоденький, не выдержав, тоже прыснул в кулак.

— Убери руки!

— Я тебе покажу «убери»! — Милиционер крепко тряхнул Сакена.

Чабан ударил его по руке кнутовищем. От неожиданности тот затряс его еще сильнее.

— Отец! — крикнул со скамьи мальчик,

Сотрудник милиции отпустил старика и остановился, плохо соображая, что тут, собственно, происходит.

— Отец!

— Не бойся, лежи смирно. Пусть они только попробуют, б...— рванулся к ним Сакен.

— Не сквернословьте в общественном месте...

— Да ты объясни, папаша, в чем дело,— вступился за старика молоденький милиционер.

— Вах, найдешь здесь того, кто тебя выслушает. Эй, Бисапа, а в горах у меня отара, семьсот голов без присмотра остались во время окота. Та самая тетушка, что тебя, шакала, потчевала свежей баранинкой, сейчас одна-одинешенька с ними. Ну, сдохни хоть одна овца, я ее вместе с ягненком на вас запишу. Мой сын два месяца мучается с гипусом, я на два часа отлучиться не могу от овец, сам еле живой хожу. Целый день я на вас, паразитов, угробил! Так ты снимешь гипус или нет?

Милиционеры с жалостью смотрели на мальчика и молчали. Главный врач тоже утратил дар речи. Слова о семистах оставшихся без присмотра овцах магически подействовали на всех троих.

— Нет? Ну, я на тебя управу найду, Бисапа! — раскрутив камчу в воздухе, Сакен стеганул ее по полу и, снова взяв сына на руки, ушел.

— Аксакал, стой, аксакал! — кричал ему вслед Бисапа, но он даже и не оглянулся.

Главный врач и оба сотрудника милиции видели из окна: чабан уложил мальчика на арбу, закутал его в одеяло и поехал со двора. Только колеса загрохотали.

— Чокнутый какой-то! — заключил длинный милиционер.

— Почему? Боевой старичок! — возразил молоденький.

В кабинет вошел Ибрай Исмаилович и сказал хмуро:

— Главный, а ведь ты зря прогнал старика. Ты соображаешь, что делаешь?

Главный врач исподлобья посмотрел на него и произнес медленно:

— А что? Может, ты и прав...— Он обернулся к милиционерам.— Как бы старик в райком не потянул. Если туда, возвращайте немедленно. Примем... И ты,— главный врач перевел взгляд на Ибрая Исмаиловича,— вот именно ты и займешься стариком.

— Разве я возражаю? Но при чем здесь райком? — пожал плечами Ибрай Исмаилович.

Но Сакен в райком не «потянул». Не догадался, видно. Он купил в магазине сахару, чаю, две бутылки водки, конфет и пряников. В хозяйственном ларьке на окраине райцентра приобрел кусачки, молоток и перочинный нож, в промтоварной палатке — кусок белой ткани.

— Укройся хорошенько, домой поедем,— сказал он сыну, стараясь не глядеть на него.

Обида и злость все еще душили пастуха, и Жанат, видя состояние отца, притих и больше не лез к нему с расспросами.

А как ему хотелось остаться в больнице. Но он боялся, как бы и ему не досталось под горячую руку. Ну и конфеты с пряниками, надо сказать, тоже сделали свое дело.

Всю обратную дорогу Сакен молчал. А достигнув ущелья в горах, остановил арбу. Здесь было тихо и безветренно — не шелохнется ветка, не хрупнет сучок. Сакен выпряг лошадь, спутал ей ноги, хлебнул водки из горлышка, вытер рот кулаком.

Мальчик, наблюдавший за отцом, рассмеялся.

— Заешь хоть пряником,— сказал он, но пастух лишь махнул рукой и, усевшись на облучок, затаился «Беломором».

— Жанатжан, ты ведь у меня батыр, а?

Мальчик молчал.

— Батыр, я знаю. Я тебе сейчас сам опырацейа сделаю, вах!

— Отец! — в горле у мальчика пискнуло.

— Неужели трусишь? Да я на войне, бывало, всегда сам свой гипус разбивал. Одними щипцами, вах!

— Отец... не надо... отец...

Жанат натянул на себя одеяло. Сакен рывком отбросил его. Мальчик разрыдался.

— А ну, утри слезы и лежи спокойно... батыр!

Жанат перестал плакать. Сакен, проведя рукой по усам, взялся за дело. В ущелье, казалось, стало еще тише. На тающий снег, последний снег этой зимы, летели осколки гипса. Под щипцами что-то похрустывало, скрипел нож. Мухортый, чуя непонятные звуки, застриг ушами.

— Отец...— Жанат не в силах был унять слез.

— Вах, щенок, совсем мало осталось. Терпи, батыр!

— Ты б осторожней... Бо-ольно-о...

— Не бойся, солнышко. Я сейчас...— Пот струился по лбу Сакена. Он утирал его рукавом. Малахай валялся в стороне. Голова старика, казалось, исходила паром.

— Скоро, отец?

— Сейчас, сейчас. Лежи смирно. Совсем чуток осталось, вах!

При каждом стоне мальчика подавала голос и гончая. Она не отходила от арбы, лизала его свесившуюся руку.

— Вах, батыр, вот и все! — с этими словами Сакен отшвырнул прочь и молоток, и щипцы, и нож. Водкой из непечатой бутылки он протер ногу Жаната, а потом туго забинтовал ее. Набросил на сына одеяло, сверху тулуп.

— Все, отец?

— Все! Скоро поскачешь, жеребенок мой! Вах, а ты у меня герой! — он потрепал сына по щеке.

— Я правда буду бегать?

— Еще как, вах! — он взял ту, начатую еще до «операции» бутылку и залпом выпил ее до дна.— Чтобы не простыть.— Он подмигнул сыну.— Матери скажем, что в больнице тебе гипус сняли, хорошо?

Жанат улыбнулся.

— Она все равно не поверит, что вы сами опырацейа сделали.

— И хорошо, что не поверит! — отец громко расхохотался, но тут на дороге подвернулась особенно глубокая выбоина, и он чуть было не поперхнулся смехом.

Темнело, темнело, темнело, а потом и совсем стало темно.

Снова Сакен затянул свою древнюю песню. В протяжной мелодии звучали и радость и грусть.

Рыжая гончая трусила впереди. Мухортый, отдохнув, все веселее переставлял ноги. Ему тоже хотелось скорей добраться до зимовки.

Сакен замолчал. Он снова думал о жене, об овцах, как они там без него?

А Жанат лежал на спине. В темном небе то тут, то там вспыхивали яркие звезды, и он не отрывал от них глаз.

...Резкий, отрывистый телефонный звонок разорвал

дремотную ночную тишину. Исаков потянулся к трубке и с облегчением услышал родной веселый голос:

— Папа, это вы?.. Вы слышите меня, папа?

— Слышу, слышу, Абылай!.. А ты, ты слышишь меня?

— Слышу, папа...

— Говори громче...— Исаков чувствовал, как дрожит у него голос, и ничего не мог с собой поделывать. В единственный миг исчезли куда-то и многодневная усталость, и горькое чувство одиночества — всем своим существом он внимал словам сына, Абылая, маленького джигита, второклассника, отличника, его надежды и гордости.

— Как там у вас дела? — проглотив комок в горле, спросил он.

— Все хорошо... У нас все хорошо... А когда вы приедете, папа?..

— Приеду, приеду! — радостно пообещал Исаков.— А вы соскучились по мне?

— Конечно же... Мы все соскучились. Папа, а я хожу в кинокружок. Мама хочет, чтобы я стал кинорежиссером...

— А сам ты кем хочешь стать?

— Я? Я тоже хочу стать кинорежиссером...

— А у тебя есть кинокамера?.. Нету, ну, ничего, вот я приеду, мы с тобой пойдем в магазин и купим тебе отличную кинокамеру. Я в кино немного понимаю, я ведь и сам в студенческие годы этим делом занимался. Ну конечно же не так серьезно, как ты. Кинорежиссером, как видишь, не стал,— засмеялся Исаков.

— Я знаю, папа. Мне мама говорила, она мне часто про вас рассказывает.

— Вот это да!..— Исакову вновь стало тепло и радостно.— Значит, инженером ты уже не хочешь быть?

— Нет, папа! Мама говорит, если станешь инженером, то будешь бродягой, как отец, никогда тебя дома не будет!

— Как отец? — переспросил Исаков и воочию увидел красивое лицо Галии с широко раскрытыми, опухшими от слез глазами — тогда, тогда...

— А только она не знает, что киношники еще большие бродяги — они ведь по всей земле ездят...— продолжал Абылай.

— А где она, мама?..— осторожно спросил Исаков.

— Они с Маржан спят,— мальчик понизил голос.— Мама не знает, что я вам звоню... Папа, приезжайте скорее, а? Мы все так соскучились...— Голос мальчика слегка задрожал, и Исаков понял, что сын готов расплакаться.

— Абылай, ты уже взрослый парень и должен понять— у меня здесь очень важная работа, я пока не могу отлучиться. А вот ты ко мне приезжай сразу же после каникул. Договорились?.. Громче говори, я ничего не слышу.

— Я громче не могу, а к вам я обязательно приеду. Я думаю, что мама меня отпустит.

— Купим тебе кинокамеру, будешь снимать наш завод. Договорились?

— Договорились. А вдруг у меня ничего не получится?

— Получится, я тебе помогу...

— Ой, как здорово, папа! — восторженно закричал мальчик. И вдруг быстро прошептал: — Папа, все, кажется, мама проснулась. До свидания, спокойной ночи, папа...

И — отрывистые гудки. Отбой...

Исаков медленно опустил трубку и тяжело задумался.

Казалось, что поздний этот звонок тронул в его душе какую-то печальную струну, и с прежней силой зазвучала в ночной тиши тоскливая музыка одиночества.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ ЛЕТО

1

Секретарь областного комитета партии Сакен Утебаевич Байзаков вызвал директора строящегося аккумуляторного завода Бекена Исаковича Исакова на одиннадцать часов ноль-ноль минут. Исаков зашел в его приемную чуть-чуть раньше указанного времени.

— Подождите немного. Сакен Утебаевич пока еще занят,— улыбнулась ему миловидная девушка, секретарша Байзакова, и он подошел к окну, не в силах усидеть на месте. Он знал, как ценит скупой, немногословный Байзаков каждую минуту своего и чужого рабочего времени, и поэтому приготовился терпеливо ждать приглашения...

Большая яркая афиша, которую он видел из окна, говорила о том, что в город приехал московский цирк, и усиленно зазывала зрителей на представление, сулившее бездну удовольствия: дрессированных медведей, фокусников, канатоходцев; в чаше большого фонтана, расположенного перед областным театром, плескались ребятишки, и отсюда, сверху, особенно хорошо было видно, какие счастливые у них мордашки... «Надо будет Абылая в цирк сводить,— мельком подумал Искаков.— А то в самом деле — приехал парень к отцу, а получается, что целыми днями сидит дома один и, наверное, отчаянно скучает...»

Он конечно же понимал, зачем вызвал его Байзаков, и знал, что многое, если не все, будет зависеть от их сегодняшнего разговора. Ведь тогда, месяц назад, когда он принес свою объяснительную записку о необходимости поэтапной сдачи завода и возможности сдачи первой очереди уже в этом году, секретарь молча выслушал его, ни словом, ни жестом не выдав своего отношения к горячей, сбивчивой речи Искакова, и весьма сухо, как показалось Искакову, сказал:

— Хорошо. Я понял вас. Оставьте докладную, расчеты, я вас вызову...

Открылась дверь в кабинет Байзакова, и оттуда вышла группа оживленно переговаривающихся людей с папками, портфелями и чертежами. Искаков глянул на часы. Ровно одиннадцать!

Секретарь, сидевший за низким полированным столом в глубине кабинета, увидел Искакова и пошел к нему навстречу.

— Садитесь, Бекен Искакович,— протянул он руку, здороваясь.

— Спасибо.

Они расположились друг против друга, и Искаков украдкой посмотрел на седеющего серьезного секретаря. Но Байзаков снова встал и, заложив руки за спину, стал ходить по кабинету.

— Бекен Искакович, мы внимательно изучили вашу объяснительную записку. Не скрою, чем-то она мне симпатична... Дерзостью замысла, глубоким, заинтересованным подходом к проблеме... Возможно, что и выводы ваши правильны, но... На данном этапе я поддержать вас не могу...— Секретарь не любил долгих разговоров и всегда формулировал свои мысли прямо и точно, неукоснительно требуя того же и от своих подчиненных.— Если

честно, то, на мой взгляд, Бекен Исакович, пока что ваше предложение сильно попахивает авантюрой и даже может нанести определенный вред нашему строительству.

Исаков всегда уважал прямоту и принципиальность секретаря, но на этот раз слова Байзакова подействовали на него как ушат холодной воды.

— Сакен Утебаевич, я считаю, что в моем предложении нет даже и оттенка авантюризма,— возразил он.

— Это вы так считаете. А я, как видите, думаю по-другому,— остановил его секретарь.

— Суть нашего предложения очень простая и точная,— начал горячиться Исаков.— Мы хотим осуществить поэтапную сдачу объектов завода. Сдача первой очереди завода в этом году обеспечит полное функционирование всего нашего производства в будущем. Мы так ставим нашу проблему...

Зазвонил телефон.

— Одну минутку...— Байзаков поднял трубку и спокойно, тем же ровным голосом ответил на какие-то вопросы человека, говорившего с ним. Потом он снова повернулся к Исакову: — Вы совершенно зря горячитесь. Я понимаю, что вы печетесь о пользе завода, но мне кажется, вы упускаете из виду одну конкретную деталь: и над вами, и надо мной — над нами обоими стоит проект. И в таком важном, я бы даже сказал, глобальном вопросе, как перестройка технологии, спешить нельзя. И допустить ошибку нельзя. А вы как раз спешите, суетитесь, и это совсем не идет такому серьезному директору, каким мы вас считаем.

Исаков слушал его молча, понурившись. По выражению лица Байзакова, по его интонациям он понял, что секретарь хорошо подготовился к этому разговору, что решение его твердое, продуманное и он не изменит своего вывода.

Но и ему какая-то внутренняя сила не позволяла отступить. Он понимал, что отступление сейчас, сразу же, равносильно гибели всего дела, и мысль эта заставила его собрать всю свою волю с тем, чтобы еще раз объяснить, внушить секретарю суть своей идеи, попытаться привлечь его на свою сторону, увлечь идеей, получить от него столь необходимую поддержку. Рука его, лежавшая на столе, слабо задрожала.

— Сакен Утебаевич, доказать правоту изложенного нами решения проблемы — очень просто. Для этого всем нам

достаточно честно и непредвзято вникнуть в сущность вопроса. И я прошу вас еще раз подумать о том, что сдача первой очереди завода — дело огромной государственной важности... — В кабинет зашел Айткалиев с какими-то бумагами и после короткого приветствия сел неподалеку от Исакова.

— Бекен Исакович, мы, как вы выражаетесь, «честно и непредвзято» рассмотрели вашу идею, и я уполномочен сообщить вам, что мы ее не поддерживаем. И давайте на этом закончим разговор. Мне кажется, что все дальнейшее будет пустым сотрясением воздуха, — мягко, но непреклонно сказал Байзаков.

— Вот ведь как смешно получается, — вмешался в беседу Айткалиев. — Ведь если бы Исакову сверху приказали во что бы то ни стало сдать к зиме первую очередь завода, то он бы конечно же сказал нет, кучу доводов в свою пользу привел, упирался бы изо всех сил, а теперь, когда это его собственная задумка, он, видите ли, никого слушать не желает. Пляши все под его дудку — и никаких! Бекен Исакович, а может, хватит тебе создавать проблему из ничего и искать, как говорится, на свою голову приключений... — Айткалиев замолчал и глянул на секретаря, как бы ожидая его поддержки, но тот, глубоко задумавшись, не обратил на него никакого внимания. Исаков прямо и тяжело посмотрел на Айткалиева, и тот, не выдержав его взгляда, опустил глаза.

— Поймите, если вы, первая же инстанция, на которую мы вышли со своей инициативой, если даже вы не доверяете нашим планам, то что же нам остается делать и с каким настроением работать дальше? — Исаков начал спотыкаясь, но голос его вдруг окреп, и он увереннее стал развивать свои мысли: — Поймите, что у нас все новое. Наш завод — это новая отрасль промышленности Казахстана, и многие вопросы мы вынуждены, я подчеркиваю — вынуждены, обязаны, если хотите, решать по-новому. И я еще раз повторяю, и вам, Сакен Утебаевич, и вам, Карим Есенович, мы, инженеры, считаем, что судьба завода, его будущее целиком зависят от сдачи первой его очереди. Я думаю, что мы все сообща должны доказать эту необходимость и выйти с предложением о поэтапной сдаче в Госплан...

— Послушай, но нельзя же быть таким упрямым. Тебе же ведь уже ответили, — пытался перебить его Айткалиев, но Исаков не слушал его.

— Вот почему я прошу правильно понять нашу просьбу. Эта не наша прихоть или желание пооригинальничать, это веление времени, Сакен Утебаевич!..

Байзаков, только что присевший в кресло и, по-видимому, считавший, что проблема исчерпана, положил локти на стол, сосредоточиваясь и собираясь с мыслями. Густые брови его нахмурились, лицо стало суровым. Айткалиев хотел что-то возразить Искакову, но, заметив изменившееся выражение лица секретаря, проглотил свои слова.

— Я уже говорил вам в начале нашей беседы,— Байзаков холодно посмотрел на Искакова,— что во многом мне ваша позиция симпатична. Но я знаю одно и рекомендую запомнить это вам: завод должен быть сдан в срок. То есть к концу пятилетки он должен быть готов полностью. А что будет в результате ваших предложений, знаете, пожалуй, только вы, уверенности в том, что сроки не будут сорваны, у нас нет. Вы поняли меня? Или вам нужны еще какие-то объяснения?

— Я понял вас. Но, извините, я тоже буду откровенным, потому что скрывать мне нечего: я в корне не согласен с вашими выводами и буду говорить об этом в Алма-Ате и Москве. Я буду бороться за свою идею.

— Что ж, воля ваша. Но только не забывайте, что работать вам придется все-таки не в Москве или Алма-Ате, а здесь. И спрашивать за сделанное мы будем с вас, а не с Москвы или Алма-Аты,— сухо сказал секретарь, которому явно не понравились последние слова Искакова.

— Я ответственности не боюсь,— вспыхнул Искаков.

— Хорошо, хорошо. Давайте сегодня поставим на этом точку.— Секретарь повернулся к Айткалиеву: — Люди приглашены?

— Да, через полчаса,— Айткалиев посмотрел на часы.— Вернее, через сорок минут они будут.

Вошла секретарша Байзакова:

— Сакен Утебаевич, вас ждет Рахманов.

— Сейчас иду,— ответил Байзаков и велел Айткалиеву: — Карим Есенович, если я задержусь, начинайте совещание без меня. Я потом подойду.

— Хорошо, Сакен Утебаевич,— сказал Айткалиев.

Байзаков вышел из кабинета.

— Ладно, я тоже, пожалуй, пойду,— поднялся Искаков.

— Погоди, разговор есть,— остановил его Айткалиев.— Я сейчас, покури пока,— и он стал рыться в своих бумагах.

Искаков поднялся, закурил и направился к окну. Снова увидел он мальчишек, купающихся в фонтане, бабушек с колясками, старичков, изнывающих от зноя на лавочках. «Старые да малые, какая странная у них жизнь: дети еще не узнали тягот и забот, у них все в будущем, а для стариков годы их нелегкой, трудной судьбы постепенно уходят в прошлое, кажутся им сном, и на смену душевным переживаниям приходят старческие недуги, физическая боль...— Искаков вспомнил старика, описанного Джеком Лондоном. С сожалением и завистью глядел старик на восходящее солнце и чувствовал, что кровь, которая без устали текла в его жилах, скоро закончит свой бег, и маленькое, скрюченное тело его останется на снегу. Но снова взойдет солнце, и снова будет жизнь, чья-то другая жизнь. И вот так — всегда. День — ночь, ночь — день. Бесконечно и прекрасно это состязание времени...

Искаков конечно же не ожидал получить такого отпора в обкоме партии. Был уверен, что начнутся споры, дебаты и он сумеет настоять на своем. И вот теперь все было кончено, и оставался единственный выход — лететь в Москву и добиваться своего в министерстве. А вдруг и там не поймут, а? Вдруг и там скажут: товарищ Искаков, какое вы имеете право отнимать у нас время своими пустыми бреднями? «Тогда брошу все и уеду,— решил Искаков и тут же возразил себе: — Так что же, три с половиной года пропадут попусту? И чего ты добьешься тем, что уедешь? Три с половиной года жизни без семьи в дневной круговерти и ночной бессоннице... И теперь бросить все это? Уйти? А что ты скажешь Галии? Что она тебе скажет? Ведь ты объявил, что построить завод — главное дело всей твоей жизни, а теперь собрался нырнуть в кусты? Нет, ты никогда не сможешь бросить свой завод. Так что борись, борись до последнего дыхания...»

Он резко повернулся к Айткалиеву, который зорко следил за каждым его движением, и сказал срывающимся голосом:

— Карим, я никогда не поверю, что и ты меня не понимаешь...

— А что тут понимать-то? — Айткалиев уткнулся в бумаги.— На луну и лев не прыгнет, знаешь такую половицу?

— Я не космонавт и на Луну пока не собираюсь. Я хочу земные проблемы решить.

— Знаешь что! — вскипел Айткалиев. — Не ты один болеешь за завод, и нечего тебе делать вид, будто ты один тянешь на себе всю работу!.. — Он достал носовой платок и вытер губы. — Упрямство и высокомерие тебя до добра не доведут. Тебе сказали, так слушайся, а не ерепенся. Забыл, что приказ начальства — закон для подчиненных, так мы тебе это быстро напомним...

— А кто это «мы»? — побледнел Искаков. — Я вполне допускаю, что Сакен Утебаевич искренне заблуждается, но что у тебя своего мнения нет и быть не может, это ты получше меня знаешь! Ведь ты — робот. Тебя пусти прямо по одной досточке, и ты будешь идти, пока в лужу не бултыхнешься!.. — Искаков понял, что говорит лишнее, но остановиться уже не мог. — Ты ведь скользишь по жизни, а жизнь не каток, и тот, кто знает это, всегда готов упереться в землю ногами. А ты не упираешься, потому что ты — трус...

— А ну-ка немедленно прекратите оскорблять меня, Бекен Искакович, — вдруг, перейдя на «вы», вполне официальным тоном сказал Айткалиев.

— Надо тебя оскорблять, иначе ты никогда ничего не поймешь, — Искаков поднес к губам сигарету и только тут заметил, как дрожат у него пальцы.

— Прекратите, я вам говорю! Хватит! Довольно! Оглянитесь по сторонам и сообразите, где вы находитесь!.. Ты, товарищ Искаков, прежде чем прожектами заниматься, сначала объяснись по существу... — Айткалиев ткнул пальцем в бумаги, разложенные перед ним на столе. — На него, понимаешь, жалобы пишут, а он тут развоевался... Александр Македонский...

Гнев в глазах Искакова потух, и он вяло, безнадежно махнул рукой:

— Ладно, ты прав. Погорячились, и хватит. Говори, в чем там дело на этот раз, в этой твоей жалобе?

— А ты присядь, присядь, не спеши...

Искаков сел в кресло.

— Заявление в этот раз отнюдь не по производственным вопросам, а по морально-этическим. Оказывается, вы, товарищ Искаков, разошлись с женой, бросили двоих детей и ведете, мягко говоря, неправильный образ жизни?

— Что? — ошалел Искаков.

— То, что слышишь. Ну, что можешь сказать по существу вопроса? — Айткалиев, ухмыляясь, опять перешел на «ты».

— Да ты в своем уме или нет? — Искаков почувствовал, что бледнеет.

— Я-то в своем, товарищ Искаков, а вот ты в своем ли? Разойтись с женой, бросить детей... Ты знаешь, чем это может кончиться? И не моя это, как ты выразился, жалоба. Под ней двадцать подписей стоит...

— Да если б я даже и разошелся, тебе-то что за дело! Ты что, профессию переменил и начал сплетни теперь собирать?

— Это не сплетни, товарищ Искаков. Мы не позволим пятнать звание коммуниста и руководителя...

— Ты проверь сначала! Что это ты сразу же заладил — «пятнать, пятнать».

— А двадцать подписей, по-твоему, ни о чем не говорят? — прищурился Айткалиев.

— А мое слово, слово коммуниста, уже ничего теперь не значит?

— Ты один, товарищ Искаков, а жалобу на тебя послал коллектив. Понял?

— Да что это за коллектив? Дай, дай мне посмотреть подписи, — рванулся Искаков, но Айткалиев проворно убрал бумагу.

— Не полагается, — коротко объявил он, и на губах его появилась улыбка, потому что на миг ему почудилось — прижал-таки он к стене строптивного директора. — Не полагается! Пока мы вас, товарищ Искаков, ни в чем не обвиняем, а просто ставим в известность, что на вас поступила жалоба и мы будем ею заниматься.

— Ну и занимайся, черт с тобой, если тебе больше делать нечего! — в бешенстве крикнул Искаков. — Вся моя вина в том, что я — один. А когда много шакалов соберется, они и на льва могут лаять...

— Ты что себе позволяешь... — начал было Айткалиев, но Искаков большими шагами пересек кабинет и с силой хлопнул дверью.

Айткалиев смотрел из окна, как Искаков теми же быстрыми шагами подошел к своей «Волге», и невольно отпрянул, когда тот, открывая дверцу, посмотрел в его сторону. «Ишь распетушился, петух, — зло подумал Айткалиев. — Прижали его, а он все права качает. Ну, я тебе покажу, директор, запомнишь ты меня на всю жизнь... И не на «ты» — на «вы» со мной говорить будешь, посмотрим еще, чья возьмет...» — Искаков ушел? — услышал он голос

за спиной и, обернувшись, увидел возвратившегося в кабинет Сакена Утебаевича.

— Да, только что... Мы с ним говорили о той жалобе.

— Ну и как он?

— Увиливает... Но я думаю, что дыма без огня не бывает...

Байзаков задумчиво посмотрел на Айткалиева.

— Дыма, вы говорите?.. Но ведь мы Исакова знаем достаточно хорошо, и лично я не верю той клевете, что на него возводится.

— Все равно отреагировать как-то надо,— пробормотал Айткалиев.

— Қарим Есенович,— сказал Байзаков.— Строительство завода — важное дело, а судьба человеческая — еще важнее. Здесь нужен максимум тактичности и деликатности.

— Но ведь не зря же писали товарищи...— возразил Айткалиев.

— Товарищи? Да откуда вы знаете, что это — «товарищи»? Жалоба анонимная, содержится в ней заведомое вранье. Я считаю, что нужно немедленно закрыть это дело и перестать трепать человеку нервы. Вы поняли меня? — рассердился Байзаков.

— Понял, Сакен Утебаевич,— понурился Айткалиев.

— Рад, что наконец поняли,— сухо заметил Байзаков. Вошли приглашенные — Кожаков, Рожков, Потапов.

Байзаков указал вошедшим на места вокруг длинного стола, за которым он обычно проводил совещания, и пригнул сигарету в пепельнице.

— Товарищи, я вас долго не задержу. У меня к вам имеется вопрос. Мне нужно знать ваше мнение, мнение руководящих работников завода и строительства,— как вы считаете, будет польза от сдачи в этом году первой очереди завода и реально ли это? Все. Больше у меня к вам вопросов нет. Я слушаю вас.

Ему никто не ответил. Потапов сидел, низко опустив голову. Кожаков играл шариковой авторучкой. Рожков посмотрел на секретаря и тоже промолчал, внезапно почувствовав неловкость оттого, что он, самый молодой из присутствующих, вдруг заговорит первым.

— Почему молчите? Я слушаю вас.

— Будет польза. И большая,— не выдержал Рожков.— Конечно же реализация этой идеи потребует мобилизации всех наших ресурсов, но это вполне осуществимо.

— А разве в проекте была заложена поэтапная сдача завода? — спросил Байзаков.

— Нет, — вынужден был ответить Рожков.

— И кто же тогда прав? Государственная комиссия по планированию или горстка энтузиастов, возглавляемая вашим директором?

— Мне кажется, этот вопрос в компетенции нашего министерства, — сказал Рожков. — Как наше министерство решит, так и будет.

— Никто ничего не станет решать, — перебил Рожкова Айткалиев. — Сакен Утебаевич, я думаю, нам нужно сначала строителей выслушать...

— Что же поделывать, если строители воды в рот набрали, а сторонники нашего Бекена Искаковича не дремлют, — улыбнулся Байзаков.

Он посмотрел на Кожаква, и тот, смутившись, быстро поднялся с места.

— Сидите, сидите, Ерлан Смаилович, — успокоил его Байзаков.

Кожаква опустил на место.

— Сакен Утебаевич, — глухо начал он. — Об этом я уже спорил с Искаковым. Я не отрицаю, да и никто из присутствующих не станет, наверное, мне возражать — Искаков опытный, талантливый инженер, но, по-моему, сейчас он хочет превратить наше строительство в поле для своих экспериментов, причем, на мой взгляд, довольно рискованных. Сколько раз я ему говорил, что для этой цели существуют научно-исследовательские институты, но он не хочет или не может меня понять...

— Ясно... Товарищ Кожаква, а строительный трест способен обеспечить сдачу первой очереди завода в этом году?

— Нет, это пустые мечты. У нас свои планы, свои объемы, мы не можем действовать по прихоти Искакова.

— Позвольте, но ведь здесь строители большой роли не играют. Ведь монтаж оборудования осуществляем мы, — возразил Рожков. — И пускаем не четыре линии, как по проекту, а только две.

— Да, это существенное соображение, — сказал Байзаков, и было непонятно, на чьей стороне он теперь находится. — А что думает заместитель директора? — обратился он к Потапову.

Потапов, почувствовав обращенные на него взгляды, неожиданно смутился:

— Я думаю, э-э-э,— он неопределенно пошевелил в воздухе пальцами.— Я думаю, что, как решат вышестоящие инстанции, так мы и поступим.

— В том-то дело и заключается, Пантелей Матвеевич,— обратился к нему Рожков,— что мы должны помочь вышестоящим инстанциям принять правильное решение...

— Точно,— согласился Потапов, напряженно глядя на Байзакова.

— Видите ли, товарищи... Для вас не составляет секрета то, что инициативу Искакова мы не поддерживаем. Но я хочу, чтобы вы поняли наше решение. Вы все конечно же помните сказку о голом короле. Так вот, мы не хотим ставить ни себя, ни вас в смешное положение, которое создастся тогда, когда объявленная инициатива лопнет как мыльный пузырь. Вы понимаете это? У вас есть вопросы?

Все молчали.

Искаков сидел в полном одиночестве и не мог принять никакого конкретного решения. «Что делать? Ехать ли прямо в Москву или сделать перед этим попытку заручиться поддержкой Алма-Аты?» Он позвонил по междугородной в приемную Каженова.

— Здравствуйте, скажите, пожалуйста, Газиз Каженович у себя? Это Искаков его беспокоит.

— Пока его нет, но скоро будет,— ответила секретарша.

— Он в ближайшие дни ~~никуда~~ в командировку не собирается?

— Нет. Вроде бы нет...

— Спасибо...

Искаков положил трубку. «Ну, начинается... Завтра еду в Алма-Ату. Там не получится — лечу прямо в Москву...»

В кабинет вошли Рожков и Потапов. Рожков явно был чем-то удручен и не смотрел в глаза Искакову.

— Челуха какая-то вышла, Бекен Искакович,— сказал он.— Не смог я отстоять нашу идею перед Байзаковым. Много хотел ему сказать и не смог, не вышло...

— Байзаков фактически придавил нас своим авторитетом,— уныло подтвердил Потапов.— Да еще и Айткалиев этот — слова вымолвить не даст...

— Понял, я вас понял, друзья,— Искаков откинулся в кресле.— У вас закурить не найдется?..

— Вы же знаете, что я не курю,— сказал Рожков.

— А у меня «Беломор»,— сказал Потапов.

— Прекрасные папиросы...— Искаков, улыбаясь, потянулся к пачке.

— Бекен Искакович,— не выдержал Рожков,— что ж мы теперь делать будем?..

— Начнем с того, что перестанем суетиться. Договорились? Я вам хочу напомнить, Сергей Владимирович, что сейчас, пожалуй, мало быть талантливым инженером, надо еще и уметь отстаивать свои идеи. Я завтра еду в Алма-Ату, а потом лечу в Москву. Возьму с собой Какена Мукашева, он поможет мне с расчетами. Замещать меня на время отъезда будете вы, Сергей Владимирович, при поддержке нашего уважаемого Пантелея Матвеевича. Из Москвы я сразу же позвоню вам и введу в курс событий... А сейчас, простите меня, я еще поработаю...

Потапов и Рожков вышли.

Резко распахнулась дверь, и в кабинет вошел, а вернее, влетел Турсын Байзаков.

— Бекен Искакович,— с ходу начал он.— Мне нужно срочно с вами поговорить...

— Турсын, прости, но у меня нет ни секунды времени...

— Я знаю, но я прошу вас, я еще никогда не обращался к вам по пустякам...

— Хорошо. Говори, но только коротко.

— Вы завтра летите в Москву?

— Да. Но сначала заеду в Алма-Ату.

— По вопросу сдачи первой очереди, так ведь?

— Да. А что?

— Я пришел просить вас, чтоб вы взяли меня с собой. Вы наметили для поездки кандидатуру Мукашева, но я прошу вас пересмотреть решение. Я не хуже знаю завод, к тому же умею отстаивать свою точку зрения, а он может смешаться, растеряться...

Бекен посмотрел на взволнованное раздумавшееся лицо парня и вдруг вспомнил:

— Турсын, я слышал, у тебя в Москве невеста?

— Ну вот так я и знал,— сердито сказал Турсын.— При чем здесь невеста? Если хотите, я дам вам письменные гарантии, что еду по делу завода, а не к невесте...

— Ну, ну, не обижайся,— Искаков легонько похлопал его по руке.— Не обижайся, но я не люблю менять своих решений...

— Тогда я возьму отпуск за свой счет и все равно поеду с вами. Я знаю, что буду нужен там!.— Турсын сорвался с места и побежал к двери.

— Турсын, погоди, не горячись,— остановил его Искаков.

Турсын замер в дверях. Искаков затушил папиросу в пепельнице и еще раз внимательно оглядел его.

— Иди оформляй командировку,— коротко сказал он.

— Спасибо, Бекен Искакович,— просиял Байзаков.

Искаков видел в окно, как он быстрым шагом, почти вприпрыжку пересекает заводскую территорию, и думал: «Из страданья тоже можно высечь искорку счастья... Чьи же это слова? Кто так говорил? Галия? Да, по-моему, Галия... Так где же, спрашивается, моя «искорка»?.. Устал я, боже мой, как устал. Надо идти домой и постараться заснуть. Держись, держись, Искаков... Тебе нельзя сдаваться... Ведь завтра тебе — в дорогу...»

Девушка-секретарша узнала Турсына и улыбнулась ему, оторвавшись от бумаг:

— Здравствуйте, Турсын Сакенович. Проходите, проходите, у Сакена Утебаевича никого нет...

— Ты как здесь оказался? — удивился Байзаков, который запретил своим домашним появляться в обкоме.

— Пришел к вам, потому и оказался,— хмуро ответил Турсын.

— Вижу, что пришел,— хмыкнул Байзаков.— Ну, садись, раз пришел, выкладывай, что у тебя там.

— Папа, я хочу поговорить с вами об одном важном деле,— сказал Турсын, опускаясь в то кресло, где еще недавно сидел Искаков.

— Ну, тогда все понятно,— развеселился Байзаков.— Ты наконец-то внял мольбам матери и решил жениться. Верно, мой мальчик?

— Женитьба от меня никуда не убежит, и не стал бы я за этим приходить к вам сюда,— сказал Турсын.

— А что же у тебя случилось? — Байзаков рассеянно глянул на часы.— Скоро обед, поехали, дома поговорим.

— Нет, я хочу, чтоб меня выслушали в этом кабинете...

Байзаков нахмурился.

— Ты уж не натворил ли чего? Да говори же ты, в конце концов,— рассердился он.

— Я хочу, чтобы вы знали мое мнение о поэтапной сдаче завода,— начал было Турсын, но Байзаков решительно перебил сына:

— Вот тебе мой совет, а если хочешь — приказ: не вмешивайся в это дело. Такой вопрос не нам с тобой решать. Не тебе, по крайней мере...

— Папа, но вы забываете, что я уже давным-давно не мальчик. Я — начальник цеха, и это мой завод, мой вопрос, а значит, и мое дело.

— Ну и что же, что начальник. Это ты у себя в цехе начальник, а для меня ты только сын. И все. Разговор окончен. Поехали домой,— Байзаков встал и с нежностью похлопал сына по спине.

Турсын тоже поднялся. Ростом он был выше отца, но лицом, глазами, повадкой вышел в него. Старший Байзаков отступил и словно впервые увидел, как повзрослел его сын.

— Папа, вопрос этот слишком серьезен, чтобы так легко, походя решать его...

— Да что это такое! — вновь рассердился Байзаков. — Мало того, что Исаков сам упрямится как бык, так он еще и делегатов взялся ко мне подсылать. И нашел, надо сказать, подходящую для этого персону — моего же собственного сына!..

— Папа, меня никто не посылал. Я пришел сам. И если вы меня называете делегатом, то я делегат, можно сказать, лишь своей совестью. Папа, ну неужели вам не ясно, что нам во что бы то ни стало нужно сдать в этом году первую очередь завода?

— Сын мой, но ведь вы работаете по проекту. Правильно? А проект, — и это не мне тебе говорить, ты, слава богу, и сам дипломированный инженер, — проект не терпит вольного с собой обращения, — Байзаков хотел придать своему голосу строгие интонации, но у него это почему-то не вышло.

— Если мы сегодня не будем работать так, как это нужно будет завтра, то завтра мы будем локти себе кусать. Я так считаю, — запальчиво возразил Турсын.

— Ну да, — иронически сказал Байзаков. — Учи, учи старика азбуке. Можно подумать, что умнее вас с Исаковым во всем Казахстане никого нет...

— Папа, вы должны понять Искакова. Ведь он не о себе хлопочет. Он обо всех нас думает... Поймите это и поддержите его.

— Нечего мне тут понимать! — Байзаков рубанул ладонью воздух. — Я не могу с ним согласиться. И это, я замечу тебе, не только мое мнение. И кроме того, голова у меня, как видишь, всего одна, и я не могу все это дело взвалить на себя. Ты соображаешь, о чем я говорю?

— Папа, но ведь у Искакова тоже одна голова. И одни плечи. Не может же он в одиночестве тащить такую огромную ношу. Кто-то ведь должен помочь ему?

— Вот пусть этот «кто-то» и помогает. А я не могу и... и не хочу, по совести сказать. У меня своих дел хоть отбавляй.

— Папа, вы извините меня, но я скажу вам прямо в лицо. Я думал, что вы — смелый, понимающий руководитель, а теперь вижу, что напрасно пришел к вам.

— Турсын, ты что? Ты как смеешь таким тоном разговаривать со мной? — изумленно сказал Байзаков.

— Извините, если я был резок, но суть дела от моего тона не изменится. А суть такова, что я завтра лечу вместе с Искаковым в Москву, и мы вместе будем отстаивать наше предложение. До свидания...

И Турсын выбежал из кабинета.

Отпустив машину, Искаков свернул за угол и оказался во дворе своего дома, своего алма-атинского дома, где он не был уже более полугода. Он поискал среди играющих в песочнице ребят Маржан, но не нашел ее. Волнуясь, глянул на свой балкон. Балкон был закрыт.

— Здравствуйте, дядя Бекен! — услышал он звонкий детский голос.

— Салют, Владик. У, как ты вырос, совсем джигитом стал! — Искаков погладил по голове мальчишку, соседа по лестничной клетке.

— Вы только приехали? А тетя Галия в Москве, она в командировке, она сказала, что долго оттуда не вернется...

— А где Маржан?

— Это мама знает. Идемте к нам. Тетя Галия оставила ваш ключ у нас.

Искаков пошел за мальчиком, а тот все трещал без умолку.

— Дядя Бекен, а большой завод вы строите? Дядя Бекен, а правда, что Абылай будет работать на стройке? Дядя Бекен, а вы когда назад поедете, возьмете и меня с собой? Я тоже хочу работать.

— Взять-то я бы тебя взял,— задумался Искаков,— но что на это скажет твоя мама?

— Если вы ее хорошенько попросите, она обязательно разрешит... А мне очень хочется поработать. Нам с Абылаем деньги вот так нужны!..

— Это зачем еще вам «вот так» понадобились деньги?— Искаков даже остановился от удивления.

— Нам с Абылаем нужно кинокамеру купить и проектор. Мы будем фильмы снимать...

— Эге, вот вы, оказывается, какие серьезные люди с Абылаем, а я и не знал. Ладно, что-нибудь придумаем, положись на меня,— сказал Искаков.

— Это вы, Бекен? Проходите, проходите,— обрадовалась соседка Вера, когда он переступил порог ее квартиры.— Но знаете, жалость-то какая — Галия в Москве, а Маржан она увезла к родителям, в Караганду. Да вы проходите, садитесь, расскажите о себе...

— Спасибо,— рассеянно отозвался Искаков.— Но я устал с дороги. Пойду отдохну. А в Москве я и сам на днях буду, так что, может быть, хоть там с Галией встретимся, если ближе не получается,— через силу пошутил он.

— Ну вот и хорошо, а то она так по вас скучает...— Вера подала ему ключи и радушно пригласила: — Приходите вечером к нам ужинать, чего вам там одному торчать... Поговорим, телевизор посмотрим, Володя скоро с работы придет.

— Еще раз спасибо, но боюсь, что вряд ли это у меня получится,— замылся Искаков.— У меня вечером дела. А Володе привет передавайте. Как он там, на рыбалку ездит?

— Ай, пропади она пропадом, его рыбалка! — Вера махнула рукой, а Владик тихонько сказал Бекену:

— Дядя Бекен, вы же обещали...

— Да,— спохватился Бекен.— Вера, что вы скажете, если я вашего джигита заберу к себе на завод? Пускай там вместе с моим Абылаем, как говорится, жизни поучатся. Дам им лопаты, рукавицы, пускай поработают. А? Что вы на это скажете?..

— Ишь ты шустрый какой, успел уже и вас сагитировать,— сказала Вера и пригрозила сыну: — Я тебе покажу завод, надо же, чего придумал.

— А в самом деле — чего ему здесь баклуши бить? — заступился за мальчика Исаков.

— Ладно, посмотрим, надо с Володей посоветоваться,— подобрела Вера.

— Папка согласится, согласится,— сказал Владик, обвиняя мать.— И дядя Бекен согласен, теперь все от тебя зависит.

— Ладно, ладно, посмотрим,— сказала Вера, скрывая улыбку.

Исаков бродил по своей пустой квартире. На улице была жара, и в комнатах застоялась многодневная летняя духота. Он открыл дверь на балкон и пошел в ванную. Разделся. Принял холодный душ. Сварил себе кофе и опять стал бродить по комнатам. Комнаты как комнаты. Вещи как вещи. Все родное, знакомое. Все стоит на своих местах. Все аккуратно прибрано. Вот только покрытие все серым налетом пыли... И нет никого...

Во второй половине дня он отправился в Центральный Комитет на встречу с Газизом Каженовичем Каженовым. Разговор у них получился конструктивный, деловой, и Исаков остался доволен его результатами.

— Бекен Исакович, отдел ознакомился с вашей пояснительной запиской, и мы целиком поддерживаем вас, это наше общее мнение. А с Симбирцевым я сам переговорю, так что вы можете спокойно лететь в Москву. Вы билет взяли?..

— Спасибо, есть у меня билет, Газиз Каженович...— Лицо Исакова сияло от радости, и он не мог скрыть этого.

Каженов перебил его:

— Но прошу вас, будьте сдержанны. И без этого вашего, как же сказать...— Он покрутил в воздухе пальцами.— Без этого вашего... экстремиза. Говорите спокойно, без напряжения. Вы молодой директор, и мы этого не забываем. Но помните и вы, что, несмотря на возраст, вы все-таки директор. Ди-ректор! Мы вам многое прощаем, но еще больше будем с вас спрашивать. Договорились? — Каженов, улыбаясь, протянул Исакову руку.

— Договорились, Газиз Каженович...

— Счастливого вам пути...

Искаков, насвистывая, чуть ли не вприпрыжку сбежал по лестнице и зашел в телефонную будку.

— Привет, Курал,— сказал он Сеитову.

— Откуда ты звонишь? Заходи ко мне,— обрадовался, услышав его голос, Сеитов.

— Из автомата я звоню...

— Откуда?

— Из автомата! — кричал Искаков.— И я приглашаю тебя, угадай куда? Я приглашаю тебя в ресторан!..

— Куда?

— В ресторан.

— О-о батыр! У нас не принято ходить по ресторанам в рабочее время.

— А у нас, в Жетысу, это запросто. Мы только в ресторане и сидим,— съязвил Искаков.

— Вам все запросто,— заворчал Сеитов, не поняв шутки.— А меня здесь все знают.

— Тебя что, по программе «Время» показывали? — не удержался Искаков.

— Ладно, надоели мне твои шуточки! Хочешь гульнуть — приходи ко мне домой.

— Нет, в ресторан пойдем! Слушайся меня, сегодня мой день!

— Да я не знаю ресторанов...

— Послушайте, сэр, хватит демонстрировать мне свою порядочность,— осадил его Бекен.— Ровно через двадцать минут я жду вас у входа в прекрасно известную вам «Алма-Ату»...

— Ну уж если ради тебя...— пробормотал смутившийся Сеитов.

— Что будем пить? — спросил Бекен.

— Мне все равно.

— Ну и мне все равно. Давай возьмем бутылку «КВ»? Годится?

— У тебя что, денег куры не клюют? — прищурился Курал.

— Клюют иль не клюют, не твоя забота,— в тон ему ответил Искаков.— Я ж тебе говорю — сегодня мой день.

Когда принесли закуску и они выпили по первой, Курал наконец спохватился.

— Да, я ж тебя забыл спросить,— сказал он, жуя ломтик ветчины.— Что это за «день» у тебя? У тебя вообще-то как дела идут?

— Как говорится, с переменным успехом. Было плоховато, а сегодня получилось, что вроде бы налаживаются. Так что смело можешь за меня выпить. Но только плюнь перед этим три раза через левое плечо, чтобы не сглазить,— засмеялся Бекен.

— Ну никогда у него ничего узнать нельзя, вечно смеешься, несерьезный ты человек, Искаков,— уныло сказал Курал.

— Есть за мной такой грех,— сознался Бекен.

Заиграла шумная ресторанный музыка, и посетители принялись танцевать.

— Сели рядом с оркестром, ничего не слышно,— пожаловался Курал, отодвигаясь.

— А ты пойдн потанцуй,— подмигнул Искаков, указывая на женщин, сидящих за соседним столиком.— Видишь, ждут тебя не дождутся.

— А удобно ли? — засомневался Сентов, приняв его слова за чистую монету.— Вот если бы ты первый пригласил кого-нибудь из них.

— Куда мне! Я же степняк, а ты у нас, как говорится, столичная штучка, алмаатинец, тебе и карты в руки...

— Смейся, смейся...— обиделся Сентов.

— Смотри, эта рыженькая глаз с тебя не сводит. А как она сигарету держит, а? — подзуживал Бекен Сентова.

Курал, уже изрядно опьяневший, повернулся к соседнему столику.

— И вправду хорошенькая...— Он подмигнул Искакову и приподнялся: — Пойду, назло тебе приглашу ее. Такая девушка стоит того, чтобы я с ней потанцевал.

— Сиди уж,— Бекен усадил его, взяв за руку.— Обидно будет, если она тебе откажет. Тебя же весь город знает, как ты утверждаешь.

— Ты прав. Ну, наливай. Поднимем тост за новость, которую я тебе сейчас сообщу. То, что я работаю на твоём месте, это тебе известно. Да?

— Да,— сказал Искаков.

— Но то, что я защитился и стал кандидатом технических наук, это ты сегодня слышишь впервые. Я не ошибся?

— Не ошибся,— вынужден был ответить Искаков.

— Так что еще неизвестно, чей сегодня день. Выпьем за мою диссертацию! Ты что, не хочешь пить за мою диссертацию, а? — Сеитов снова налил себе. — Кандидат технических наук Курал Сеитович Сеитов! А? Звучит, как песня Розы Рымбаевой!

— Защитился и ничего сразу не сказал, — с укором заметил ему Искаков.

— А я потому что скромный! — расхохотался Сеитов. — И хитрый, — добавил он, показав Бекену большой палец.

— Ты, кандидат технических наук Курал Сеитович, больше не пей, а то тебя что-то это... несет уже, — предостерег его Искаков.

— Ты думаешь, я опьянею? — Сеитов снова налил себе и лишь потом Искакову. — Ну и опьянею. А ты не бойся. Ничего не бойся, когда ты со мной!

— Ты кофе будешь пить?

— Закажи... А я скажу тебе по секрету, — возбужденно зашептал Сеитов прямо на ухо другу. — Боронбаев-то скоро на пенсию уходит. Ты понял? Понял? И знаешь, кого собираются назначить на его место. А? Соображаешь? — Он, сощурившись, смотрел на Бекена. — Не соображаешь? Меня назначают. Вернее, прочат, так сказать...

Искаков уже начал жалеть, что позвонил Куралу. Безудержное хвастовство бывшего подчиненного стало ему изрядно надоедать.

— Разрешите предложить вам кофе, товарищ Сеитов, — сказал он. — Пока вы не унеслись в такие головокружительные сферы, что простому смертному и рукой до вас не дотянуться...

— Что, остришь? — пьяно рассмеялся Сеитов. — Остри, остри, так всю жизнь проостришь. Ты вроде бы много знаешь. Так запомни, что это тебя и погубит. Сегодня не нужно много знать. Сегодня нужно поменьше знать и побольше соображать. И ты еще не понял жизни и никогда не поймешь.

— Ладно. Может, я и не понял жизни, но ты-то понимаешь, что ресторан скоро закроют? Пошли домой, — встал Искаков.

— Обиделся? — заплетающимся языком спросил Сеитов. — Зря обиделся, я хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Но признайся, что ты сваял дурака три года назад. Говорил же я, на кой черт тебе этот завод...

Искаков промолчал. Они вышли из ресторана.

— Изх! Хорошо жить! — Сентов вдыхал свежий ночной воздух. — Осуществились все мои мечты. Почти все, — поправился он. — Теперь бы мне сесть на место Боронбаева, и больше мне ничего не надо. Поднимусь на одну ступеньку и — баста.

— Потом еще на одну подняться захочется, да? — спросил Искаков.

— А ты прав, понимаешь, — задумался Сентов. — Может, и захочется. Но это трудно будет, конкуренция, знаешь ли, — загрустил он.

Они остановились у пятиэтажного кирпичного дома, где жил Сентов.

— До свидания. Спасибо тебе... — Искаков собрался уходить, но Сентов тут же вцепился ему в рукав:

— Постой, а может, еще выпьем? Ты разве не зайдешь ко мне?

— Нет, завтра рано утром я улетаю.

— Опять к себе... Это... план... план перевыполнять? Молодец, и это верно, а то моя баба против ночных гостей, — Сентов, плетя нечто уже вовсе несуразное, направился к своему подъезду, а Искаков с горечью подумал: «Вот и все, что, оказывается, нужно для счастья человеку. Хорошая должность, титул кандидата наук, и человек на седьмом небе. Готов толковать об этом как о первой любви. Устроиться потеплее, а на остальное — наплевать... Неужели это приспособленчество и есть правда жизни?.. Да нет, ерунда, никогда не поверю...»

Он немного посидел на скамейке перед домом. Посмотрел на зияющие чернотой окна своей квартиры, и на душе у него снова стало пусто и печально. Он глянул на часы, вспомнил про самолет и поднялся в квартиру.

Принял холодный душ, лег в постель, плотно укутавшись одеялом, но сон все не шел и не шел к нему. Через некоторое время он встал, набросил халат, сварил кофе, включил пластинку и, присев на корточки, стал перебирать книги в шкафу, надеясь найти какой-нибудь неприятный детектив, чтоб побыстрее заснуть.

И вдруг обнаружил среди книг пухлую тетрадку. Бекен раскрыл ее.

«Красная тетрадь», — было выведено на первой странице ЕЕ рукой.

Он хотел было положить тетрадь на место, но не смог удержаться и, с трудом разбирая мелкий почерк Галии, прочитал несколько страниц...

«...для чего живут люди? Зачем?.. Живут... Любят... Плачут и утешаются... И каждый ищет в жизни свое место. Найти свое место в жизни — это, наверное, самое высшее счастье для человека. А я? А Бекен? Нашли ли мы свое место в жизни? Моя жизнь — это наука. Но построить завод в отдаленной местности — это ли предел человеческих мечтаний?..

И вот получается, что мало ПРОСТО найти свое место в жизни. Есть и еще что-то сверх этого. А что?..

Сегодня у меня день рождения. Из лаборатории я пришла поздно, но дети еще не спали. «Что с вами?» — спросила я. «Зайдите в зал и сами увидите», — сказал Абылай. «Это тайна?» — «Да». Я вошла в зал. Стол был накрыт. Виноград, яблоки, бутерброды. «Папа приехал? — не поняла я и стала звать: — Бекен! Бекен!», думая, что меня разыгрывают. «Мама, вы что? — надулась Маржан. — Ведь папа в командировке...» «Маржан, начинаем, — закричал Абылай. — Мама, мы поздравляем вас с днем рождения...» Я опешила и не знала, что делать, и лишь потом принялась целовать сначала Абылая, а потом и Маржан, которая специально для меня разучила на пианино новый вальс... За работой я, по совести сказать, и забыла о своем дне рождения, и если бы не дети, единственные мои, жеребятки мои, так бы и не вспомнила. Я нашла бутылку шампанского, дети пили лимонад, и тут принесли телеграмму от Бекена. «Мама, папа тоже поздравляет!» — в восторге закричали дети.

«Поздравляю тебя днем рождения. Ты всегда была доброй, ласковой матерью наших детей, моим другом в беде, радости. Обнимаю, целую тебя, детей. Твой Бек».

«Мама, давайте позвоним папе», — предложил Абылай. Я молча кивнула ему. Мы долго звонили, но телефон так и не ответил. «Его, наверное, дома нет», — сказала я понурившимся Абылаю. «Да ведь папа днями и ночами на заводе...» — он то ли успокаивал меня, то ли на самом деле так думал... Я уложила детей спать и села поработать. Еще раз прочитала телеграмму Бекена. «Моим другом в беде, радости...» Почему он так написал? Что это? Ехидная шутка или правда? Ночью я снова позвонила Бекену, но, услышав его голос, почему-то положила трубку. Вот так.

«Моим другом в беде, радости...» Бекен, я лишь сегодня поняла смысл этих твоих слов. Ты хотел сказать, что счастливы те женщины, которые умеют делить с муж-

чиной его горе и его радости. Ты — умница, и ты все всегда понимаешь. Но и у тебя есть предел, за которым ты теряешь меру справедливости, и, к сожалению, это особенно чувствуется тогда, когда дело касается нас с тобой. Ты считаешь, что строительство аккумуляторного завода — главное дело всей твоей жизни. И ты знаешь, что моя докторская диссертация близка к завершению, поэтому я не могу поехать за тобой в такую даль. Знаешь, но не ПОНИМАЕШЬ! Потому что это РАСХОДИТСЯ с ТВОИМИ ПЛАНАМИ, с твоими ЛИЧНЫМИ планами! Но ведь чем-то надо жертвовать во имя главной семейной цели, цели, которая принесет счастье ВСЕЙ семье, а не отдельному ее представителю. Ну кто, например, гнал тебя из министерства? Естественно, что никто, и ты сам это прекрасно знаешь. Ты бы смог, работая там, защитить диссертацию и заниматься наукой, да, наукой, а не производством, раз уж так сложилась судьба и после многолетних переездов мы наконец остановились в столичном городе. Вот Курал Сеитов, который остался работать на твоём месте. Сейчас он уже кандидат наук, а ведь ни для кого не секрет, что как специалист он стоит гораздо ниже тебя... Однако ты предпочел тому, что диктовала жизнь,— метания и неизвестность. Я не знаю, что ты выиграл, но семью ты уже фактически разрушил, потому что вот уже три года мы далеки друг от друга, и твои редкие визиты ничего не меняют. Когда это кончится — я не знаю. Что делать — тоже не знаю. И мне страшно, потому что я люблю тебя...

Я обратилась к книгам и сделала любопытное наблюдение. Мало, катастрофически мало пишется о женщинах. Нет, не о тех женщинах, что кружат мужчинам голову, не об Елене Прекрасной или Офелии, а о женщинах-творцах, революционерках, ученых. Мне попалась недавно книга «Этюды об ученых», мастерски написанная, незаурядная, она живо рассказывала о Менделееве, Галилее, Архимеде, Пифагоре, но тщетно искала я там биографии Гипатии, Софьи Ковалевской, Марии Кюри... Женщина — королева. Но она королева не только застолья и домашнего очага, она может стать королевой и в науке. Пошлая поговорка «курица не птица...», плоская мысль «из женщины не получится ученого» блестяще опровергаются жизнью, и говорят такие жалкие фразы «хозяева» — мужчины, которые или страшатся конкуренции, или просто не в состоянии широко и объемно мыслить.

А ведь Инесса Арманд писала дочери. Я специально приведу в своем дневнике эту обширную цитату:

«Я совершенно не сторонница философии Толстого, я скажу больше — я не очень люблю его философию, так как считаю ее реакционной, от нее плесенью пахнет, но он великий художник, который удивительно верно видел и умел изобличить все ее дурные и безобразные стороны, и этим всегда толкает мысль, заставляет задуматься над жизнью, искать выхода. Некоторые его фразы или характеристики как-то запечатлеваются на всю жизнь, иногда даже дают ей направление. Например, в «Войне и мире» есть одна фраза, которая имела громадное влияние на меня. Он там говорит, что Наташа, выйдя замуж, стала самкой. Я помню, эта фраза показалась мне ужасно обидной, она била по мне, как хлыстом, и она выковала во мне твердое решение никогда не стать самкой, а остаться человеком. (А сколько вокруг нас самок!) Но если Толстой видит зло в настоящем, он совершенно не видит путей, благодаря которым можно было бы от него избавиться. Пока он описывает и критикует настоящее, он великолепен, но когда он говорит о путях к будущему, его выводы висят в воздухе и мало ценны для жизни и для направления ее к будущему...»

Искаков закрыл тетрадь и стал ходить по комнате, глядя в окно на угасающие звезды. Нельзя сказать, что тайные мысли жены явились для него каким-то откровением. Он, скорее, еще раз с горечью убедился, как неоднозначна жизнь и как трудно найти в ней золотую середину. Да и существует ли она, эта середина? А если и существует, то золотая ли она? Ведь жизнь соткана из взлетов и падений, крайностей и противоречий, и в этом, лишь в этом залог ее будущего... Но как горько порой бывает на душе, как горько, тускло и одиноко. Пустой дом, ненужная обстановка, ночь, и он, Искаков, застывший у окна...

В Москву Искаков прилетел к полудню. Взяв такси, он уже через час с небольшим стоял перед стойкой администратора гостиницы «Мир», где ему был заказан номер, и пока дежурная оформляла нужные бумаги, успел по-

звонить Турсыну Байзакову, который остановился в этой же гостинице.

Они пообедали в ресторане на первом этаже гостиницы, и Искаков сказал Турсыну:

— Я решил так. Сегодня мы поработаем, как говорится, до упора, а завтра воскресенье, и ты можешь быть свободен. Походи по городу, девушку свою навести — в общем, что я тебе указываю, ты сам не хуже меня знаешь, как временем своим распорядиться. Но в понедельник, в восемь тридцать, мы с тобой как штык должны быть в министерстве. Договорились?

— Договорились.

Официант принес счет, и Турсын полез в карман за деньгами:

— Бекен Искакович, позвольте мне заплатить?

— Молод еще за старших платить. Погоди, и до этого еще доживешь, какие твои годы,— пошутил Искаков.

До позднего вечера разбирались они с бумагами, заново проверяли расчеты, чертежи, желая избежать даже микроскопических ошибок.

В половине одиннадцатого зазвонил телефон.

— Искаков слушает! А, Сергей Владимирович! — поднявший трубку Бекен расплылся в улыбке.— Сам меня нашел! Что-нибудь случилось? Нет... Ну и слава богу! Давай, давай, докладывай свою сводку, мы с Турсыном...— Он подмигнул Байзакову.— Тебя внимательно слушаем...

Он поговорил с Рожковым, дал ему необходимые указания, попросил заглянуть к Абылаю, который на несколько дней остался в Жетысу в полном одиночестве, и лишь потом положил трубку.

— Ну что, Турсын, вроде бы теперь у нас, как говорится, комар носу не подточит, ведь так?— он сильно потянулся, зевнул, потер усталые глаза.

— Я тоже так считаю...— Турсын, свертывая чертежи, повернулся к Искакову и внезапно предложил:— Бекен-Искакович, не хотите на сон грядущий свежего московского пива попробовать?..

— Это среди ночи-то? Буфет-то, поди, давным-давно закрыт, а в ресторан спускаться неохота.

— Бекен Искакович, пиво у меня в номере, в холодильнике. И рыбка к нему есть. Но рыба наша, степная, озерная, я с собой на всякий случай прихватил,

Искаков невольно улыбнулся.

— Ну что ж, считай, что этот случай выдался. Тащи сюда пиво.

— А может, ко мне пойдём? Что мы тут у вас будем дымить? И так уж весь номер за вечер прокурили.

— А вдруг ещё кто-нибудь позвонит?

— Да кому мы нужны тут, в Москве?..

— Ну, это ты так думаешь. Ладно, если собираешься угостить меня пивом, то — быстро, тащи его сюда, одна нога здесь, другая там.

Когда Турсын вышел, Искаков через справочную узнал телефон гостиницы Академии наук, где обычно останавливалась Галия. Дежурный администратор назвал ему номер комнаты и дал телефон.

Искаков записал на бумажке все эти цифры и в раздумье снова потянулся к телефону. Но тут возвратился Турсын с сумкой, набитой пивом. Искаков глянул на часы и махнул рукой. «Завтра», — решил он.

По своей застарелой привычке он поднялся рано, да еще и разница во времени сказывалась. Как обычно, сделал гимнастику, принял душ, побрился. И лишь тогда набрал номер Галии.

— Да, — услышал он сонный голос жены. Он плотнее прижал трубку к уху и молчал.

— Я слушаю вас, — повторила Галия.

Искаков положил трубку и, улыбаясь, закурил. Через несколько минут он снова позвонил ей.

— Доброе утро! Это я! — выпалил он.

— Боже мой! Это ты! Откуда? — неожиданная радость изменила голос Галии, и она не знала, что сказать. И он не знал. Они замолчали.

— Ну, как вы спали? Что вам снилось? — Искаков, сам не зная зачем, вдруг взял игривый, легкомысленный тон, будто они расстались с ней вчера, а не полгода назад, когда он последний раз видел ее в Алма-Ате. Может, он решил, что шуточный тон быстрее преодолееет временно́е их отчуждение, а может, управляла им какая-то неизвестная им обоим сила, сила, зачастую толкавшая их к бурным ссорам и объяснениям, которые заканчивались столь же бурным примирением.

— Мне снился ты, — сказала Галия. — Где ты?

— В гостинице «Мир».

— Ты придешь ко мне?

— А ты примешь непутевого директора?

— Приму. Я люблю тебя, родной ты мой...

Искаков замолчал.

— Ты почему молчишь? Ты разлюбил меня? — тревожно спросила Галия.

— Не знаю, что говорить и как говорить. Ведь я слышу слова, о существовании которых уже и забыл... Ты так ласково говоришь со мной, что я, как нынче выражается молодежь, — «кайфую».

— Нет, я вижу, ты все такой же, — развеселилась Галия. — Ох, попомни мои слова, с такими громадными способностями острить по любому поводу ты кончишь тем, что в цирке клоуном будешь работать... Когда мы встретимся?

— Я готов хоть сейчас. Не в цирк, естественно, а к тебе.

— У меня с утра лекции. Я бегу в университет, а с тобой мы давай встретимся в... в... — Галия задумалась. — Давай встретимся ровно в два часа на Кропоткинской. Годится?

Искаков молчал, неприятно пораженный ее предложением. «Боже мой! Какая занятость! Неужели какая-то там лекция важнее для нее, чем встреча с мужем, которого она не видел полгода...»

— Ты слышишь меня? — переспросила Галия.

— Слышу. Хорошо. В два так в два, — ответил Искаков, но голос его прозвучал вяло, невесело.

— Не обижайся, но сегодня читает знаменитый французский профессор. Это его единственная лекция, и мне обязательно надо ее послушать...

— Ну, надо так надо. Француза конечно же интересней послушать, чем казаха, — не удержался Искаков.

— Ладно, оставь свою иронию... Встречаемся в два часа у Пушкинского музея. Там сейчас выставка скифского искусства, и нам с тобой обязательно нужно ее посмотреть. Если сможешь, приди пораньше, займи очередь. Договорились!

— Чао! Договорились, айналайны! — И, положив трубку, даже развеселился слегка. Нет, не соскучится он с родной женой — не виделись полгода, а встретятся среди скифских каких-нибудь там стрел, наконечников или как там это у них называется?

Он спустился вниз, позавтракал и вышел на улицу. Яркий солнечный день встретил его, на небе даже облачка не было. Он шел по Калининскому проспекту, где

двигался нескончаемый поток пешеходов, и среди этой огромной массы людей вдруг почувствовал себя свободнее и увереннее. На Тверском бульваре дети возились в песочницах, женщины прогуливали собак, старики грелись на солнышке и сражались в шахматы прямо там же, на бульварных скамейках. «Прекрасно! Беззаботно фланирует по бульвару директор аккумуляторного завода Бекен Искакович Искаков, и нет ничего лучше этой беззаботной, вольной прогулки». Он вспомнил, что последние два года уходил в отпуск лишь на неделю, в крайнем случае на две, и что в этом году ему опять вряд ли удастся толком отдохнуть, но постарался не думать об этом. Прочь заботы, прочь тревоги! Забыть о завтрашнем разговоре в министерстве. Сегодня я отдыхаю, сегодня товарищ Искаков встретит наконец свою любимую жену Галию...»

Он увидел над кинотеатром «Россия» громадные рекламные буквы. Шел фильм Василия Шукшина «Калина красная». Искаков заторопился и сумел перед самым сеансом купить билет с рук. Он любил Шукшина, герои его рассказов казались Искакову давними знакомыми, настолько они были живые, узнаваемые. Правдивость, прямота, чистота, прекрасное знание Шукшиным народной жизни — все это пленило Искакова с первых же читанных им шукшинских рассказов, и он ни за что не простил бы себе, если бы упустил возможность посмотреть его новый фильм, о котором уже был наслышан.

И фильм не обманул его надежд. Искаков ехал на троллейбусе и не видел больше ничего вокруг. Перед глазами его стоял смертельно раненный бандитами русский мужик Егор Прокудин. Нескладный, безалаберный, щедро тратящий свою жизнь на пустяки человек, к которому лишь на исходе третьего десятка его жизни пришла любовь, а вместе с ней и вера, уважение, интерес к людям. Но он погиб. Погиб, фактически так и не успев стать другим. «И что же это, закономерность или нет? Смерть Прокудина, жизнь его, его несчастья? — думал Искаков. — Если смерть его кажется неизбежной, то несчастья — могли он их избежать, или был обречен так прожить свою короткую и бурную, как весенний паводок, жизнь?..»

Галию он заметил издалека, так как она уже ждала его, нетерпеливо постукивая по асфальту тупелькой. На ней было то легкое зеленое платье, которое он подарил

ей когда-то. Красивая прическа, стройная, чуть-чуть полноватая фигура,— да она совсем не изменилась!

Искаков подошел к ней сзади и закрыл ей глаза ладонями, затем обнял ее и прижал к себе.

— Бекен...— прошептала Галия. Она уткнулась головой ему в плечо и заплакала.

Они сидели на открытой веранде ресторана и обедали. Искаков бесшумно откупорил бутылку шампанского.

— Ну, за нашу встречу! — Галия улыбнулась сквозь слезы и подняла бокал.— Я так соскучилась по тебе, Бекен!..

— И я соскучился,— признался Искаков.

— Ты когда возвращаешься?

— Завтра будет известно. Я в министерство приехал..

— Вызвали? Что-нибудь на заводе случилось?

— Как тебе сказать...— замаялся Искаков.— Особенного ничего не случилось. Я сам хочу, чтоб кое-что там у нас случилось, вот и явился сюда — драться за свои идеи...

— Значит, ты и там тихо не живешь,— улыбнулась Галия.

— Где Искаков, там всегда шумно, разве ты забыла? — сказал Искаков.

— Ну, шуми, шуми сильнее, может, тебя наконец снимут да домой отправят...

Бекен засмеялся.

— А ты действительно была бы рада?

— Той бы устроила, всех знакомых позвала...

— Значит, время наконец-то изменило тебя. Раньше, насколько мне помнится, ты не очень-то любила приглашать в дом гостей.

— А ты все шутишь...

— Должно же у меня быть хоть что-то... Хоть шутки мои мне оставь.

— Бекен, боже мой, да ты поседел,— Галия провела тонким пальцем по его волосам.— В твоём возрасте,— и уже седина...

— В нашем роду все рано седеют— сказал Искаков.— Если на работе без конца ругают, а жена стала доктором наук, то чего уж тут удивляться, коли скоро муж твой станет седым как лунь...

— Ладно, хватит,— нахмурилась Галия.— Лучше поешь немного, а то все остынет.

— Не хочу. Я сыт и встречей с тобой...— Искаков достал сигареты, закурил сам и протянул пачку жене.— Хочешь?

Галия так посмотрела на мужа, что он тут же спрятал пачку в карман.

— Прости, дорогой,— язвительно сказала она,— но я за время твоего отсутствия пока еще не стала курящей дамой. Так что — извини.

— Неужели есть нечто, недоступное и для нас? — приторно изумился Бекен.

— Курение — не цель и не средство,— отпарировала Галия.

— Сдаюсь! — Искаков шутливо поднял руки.— И признаюсь, что ты — умна. Может быть, даже слишком умна. Мне в Алма-Ате один из наших друзей сказал недавно, что наличие у женщины ума — это первый признак ее безумия.

— Циник тот, кто сказал тебе это! — вспыхнула Галия.

— Не возражаю. Но этой репликой ты просто уничтожила нашего Сеитова...— Он снова наполнил фужеры.

— Между прочим, он-то защитился... в отличие от тебя,— Галия испытующе глянула на Искакова, но тот был невозмутим.

— Талантливый парень, умнейшая персона, звезды, можно сказать, прямо с неба хватает, что ж тут удивительного, если такой человек стал кандидатом...

— Тупица он, этот твой «талантливый парень»! — снова вспыхнула Галия.— Но он занял твое место, и поверь мне, что на этом не остановится. А ты вон — до седых волос дожил, а все у тебя лишь шуточки да прибауточки.

— Нет, Галия, ты ошибаешься,— мягко сказал Искаков.— У меня есть ты, завод...

— Ай, не смей меня! — Галия махнула рукой.— Или, по крайней мере, установи правильную последовательность: Сначала завод, потом снова завод, и уже где-то там подальше я...

— Что ж, может, тебе и виднее,— смиренно сказал Искаков.

— Ладно, пьем кофе и уходим,— хватит нам отношения выяснять,— сказала Галия.

— Еще рано,— возразил Искаков.— Всего лишь девять...

— Завтра тебе нужно быть в форме...

Они вышли из ресторана и пешком направились в гостиницу.

— Ты, наверное, устал? — шептала Галия, обнимая мужа.

— Нет. Что ты! Я люблю тебя, Галия, — шептал Исакаков.

— И я люблю тебя...

— Милая...

— Бекен, — вдруг сказала Галия, — не сердись, у меня есть одна идея. Скажи, если завтра утром твои разговоры в министерстве закончатся благополучно, можем мы съездить в Ленинград на три-четыре дня, а? Или хотя бы здесь, в Москве, вместе пожить?

— Прекрасная идея! — обрадовался Бекен. — Если завтра победа будет за мной, едем в Ленинград вечерним поездом. На три дня...

— Вот здорово-то! — сказала Галия. — Ну, завтра ты непременно победишь, потому что я безумно хочу этого.

— Все будет хорошо, Галия... — сказал Исакаков.

— А я и не сомневаюсь в этом, — рассмеялась Галия.

Николай Николаевич Симбирцев тепло принял Исакакова и Турсына.

— Каженов доложил мне всю обстановку, а твою объяснительную мы еще раньше прочли, — сказал он. — Ну что ж, прекрасное дело вы задумали, крайне необходимое для нас, но предупреждаю, решение этой проблемы будет нелегким, крайне нелегким...

— Мы тут привезли с собой дополнительные расчеты, — Исакаков положил на стол папку.

— Оставьте. Я просмотрю. Да, я забыл вам сказать, — в три часа нас ждет министр. И хочу вас предупредить — он крайне не любит пустых разглагольствований. Говорите точно, конкретно, убедительно. Поняли меня?

— Понял, Николай Николаевич!

Встреча с министром была короткой.

— Мы вас поддерживаем, Бекен Исакакович. С Госпланом мы сами все увяжем, а вам даем добро. Действуйте, работайте! Николай Николаевич, — повернулся он к Симбирцеву. — Я хочу, чтоб Подольск и Саратов увеличили количество обучающихся из Жетысу — формов-

щиков и сборщиков, еще примерно на сто пятьдесят человек.

— У вас найдется столько людей, чтоб послать их на учебу в пределах ну, скажем, месяца? — спросил Симбирцев.

— Найдется. У нас от молодежи отбоя нет. Мы обещаем интересную, хорошо оплачиваемую работу и строим жилье. У нас многие работать хотят, — ответил Исаков.

— Да? Вы, оказывается, и это наперед продумали? Правильно... — Министр, улыбаясь, протянул Исакову руку. — Ну, всего вам доброго, ждите наших сообщений.

2

Исаков и Галия, возвратившись в гостиницу, собирали вещи.

— Во сколько поезд, Бекен? В одиннадцать? Слушай, я что-то не могу вспомнить, сколько лет мы с тобой не путешествовали вместе? — спросила Галия.

— Да лет пять уже, наверное, — признался Исаков.

— Да, лет пять. И какое счастье, что мы снова едем вместе. В Ленинград, в Ленинград! Будем гулять, ходить в музей...

Она не могла скрыть своей радости и закружилась по комнате, Бекен, улыбаясь, смотрел на нее, она вдруг показалась ему ребенком, и он подумал, что в ее упрямстве, излишней прямоте тоже есть очень много детского.

В дверь постучали.

— Да, войдите, — сказала Бекен.

Появился Турсын. В руке у него была авоська с апельсинами, а карман пиджака оттопырился.

— Извините, я, может быть, не вовремя, — смутился он, увидев Галию, которая неизвестно отчего покраснела и отошла к окошку.

— Ничего, ничего, проходи, я познакомлю тебя с женгей, которую ты никогда не видел.

— А я, Бекен Исакович, хотел немножко нашу победу обмыть... — Турсын осторожно вынул из кармана бутылку и вопросительно посмотрел на Галию и Бекена.

— Ну и правильно, — сказала Галия. — Сейчас я вам все приготовлю.

Она накрыла стол газетой, нарезала колбасу, хлеб.

— За вас. За ваше дело,— сказала она, поднимая стакан.— Вы делаете большое дело, и я пью за вас.

Искаков с благодарностью посмотрел на нее и положил руку Турсыну на плечо:

— Галия, Турсын такой же шепутной парень, как и я. И прекрасный инженер, один из лучших на нашем заводе...

— Ну, уж вы скажете,— покраснев, пробурчал Турсын.

— Очень приятно,— улыбнулась Галия.— Оказывает-ся, ты воспитываешь свои кадры по своему образцу и подобию. Турсын, а у вас есть жена?

— Нет, я не женат,— выдавил Турсын, который еще больше смешался.

— Ладно, что ты вгоняешь парня в краску,— заступился за него Искаков.— Турсын, мы с женой собрались на три дня уехать в Ленинград. Я думаю, тебе есть смысл дожидаться меня, и мы вместе улетим в Алма-Ату. И ты пока за это время, может быть, столкнешься со своей невестой. Если она, конечно, не такая колючая на язык, как наша женой...

— Бедная девушка,— лукаво вздохнула Галия.— Неужели ей суждено стать женой инженера...

— Нет, Бекен Искакович,— решительно сказал Турсын.— Я говорил вам, что еду в Москву только лишь для того, чтобы помочь вам, и я сдержу свое слово. Мне надо возвращаться...

— Ну смотри, как знаешь,— засмеялся Искаков.— Смотри, Галия, видишь, какие честные парни работают у нас на заводе,— не удержавшись, похвастался он.

Зазвонил телефон. Искаков рассеянно поднял трубку.

— Бекен Искакович,— услышал он тревожный голос Симбирцева.— Только что звонили из Жетысу. У вас на заводе авария. Я уже заказал билеты, ночью вам нужно срочно вылететь на завод.

— А что случилось? — Искаков изменился в лице, и Галия, заметив это, подошла к мужу.

— Точно не знаю, с заводом говорила наша сотрудница. Но вам нужно быть там. Как прилетите, сразу же звоните мне, мы должны быть в курсе дела.

— Да, я обязательно позвоню,— сказал Искаков.

Короткие гудки. Искаков медленно положил трубку.

— Вот тебе и съездили в Ленинград,— горько вздохнул он.

На аварию были брошены все наличные силы: строители, рабочие завода, техники, инженеры работали в три смены. Оказалось, что в цехе готовых изделий обрушилась крыша, та самая крыша, в надежности которой был столь уверен Қожаков.

Искаков после окончания рабочего дня остался в своем кабинете. Он контролировал ход восстановительных работ и прекрасно понимал, что никакой его вины в случившемся нет. Но все же какой-то червь сомнения глодал его, и он в который раз прикидывал, все ли он сделал для того, чтобы застраховать стройку от повторения таких ЧП, или в один прекрасный день он снова может услышать грозное слово «авария»...

К нему зашел Рожков.

— Бекен Искакович, вы здесь? Хорошо, что я вас застал. Вот телеграмма. Курск отказывается отгружать кабель... То ли фонды исчерпаны, то ли документация неправильно составлена, я понять не могу...

— Да, и порядочки же у нас на заводе...— Искаков не в силах был скрыть раздражения.— Какие контрмеры приняли? — спросил он и, не ожидая ответа от взволнованного Рожкова, приказал: — Срочно командуйте в Курск снабженца Михалева, и чтоб без кабеля не возвращался.

— Хорошо, Бекен Искакович, завтра он вылетит... Да,— вспомнил Рожков,— тут недавно приходил Қожаков, вас искал...

— Что ему нужно? — хмуро спросил Искаков.

— Не знаю, он хотел с вами говорить...

— А вообще-то как у него дела? — поинтересовался Искаков.

— Плохи его дела. Судить, может, и не будут, но на бюро горкома его отстранили от работы, и теперь решается вопрос о его пребывании в партии...

— Да... Жалко Ерлана Смаиловича...— задумчиво протянул Искаков.

— А чего его жалеть? — запальчиво возразил Рожков.— Работал спустя рукава, да и сам... слишком самоуверен был, слушать не желал никого. Совсем никого! Так ему и надо!

— Самоуверен, говоришь? — задумался Искаков.— Но ты не забывай, что строительство наше — колоссаль-

ной трудности, и его положение, как человека непосредственно отвечающего за объекты, было намного тяжелее нашего. Ведь мы практически заказчики, а он — исполнитель. При такой напряженной работе, я думаю, он имел право на ошибки.

— Но уж не на такие, когда целиком разваливается крыша громадного цеха,— запальчиво возразил Рожков.

— Да, верно,— помолчав, согласился Исаков.— Ладно! Разберутся! — Он хлопнул ладонью по столу.— Скажи, ты на сколько дней командируешь Михалева?..

— Я думаю, дней на десять — двенадцать.

— Посылай его на полмесяца, и если нужно будет — еще ему командировку продлим. Пусть наш человек контролирует отгрузку. А сам ступай домой, отдохни. Толку все равно не будет, если мы все тут будем торчать...

— Так и сделаем,— Рожков направился к выходу.

— Ерлан... Ерлан,— пробормотал Исаков, когда остался один.— Ну и наломал же ты дров...

Он затушил сигарету, поднял трубку телефона и стал набирать номер, мельком глянув на часы. «Шесть тридцать, ушли уже все, наверное, из обкома...»

— Сакен Утебаевич, вы у себя, здравствуйте. Хорошо, что я вас застал. Мне надо с глазу на глаз поговорить с вами.

— А это очень срочно? — спросил Байзаков.

— Да, иначе я не стал бы отрывать вас.

— Ну хорошо, подъезжайте, если срочно,— сказал Байзаков.— Я вас дождусь...

...Они встретились в безмолвном, опустевшем после рабочего дня здании обкома и сразу же заговорили о Кожакове.

— Сакен Утебаевич, Ерлан очень способный инженер, и я не просто хлопочу за него, я считаю, что он необходим строительству.

— Знаю, знаю, что способный,— перебил его Байзаков.— Но с его характером, с его отношением к делу трудно ему будет и дальше работать.

— Характер у него конечно же не сахар,— усмехнулся Исаков,— но понимаете: я считаю, если мы реально хотим сдать первую очередь завода в этом году, нам без Кожакова не обойтись, и поэтому его нужно наказать, но оставить на месте.

— Все это вы хорошо говорите, Бекен Искакович, но мне кажется, вы забываете, что я один этот вопрос не решаю.

— Я знаю это, но уверен, что Кожакон из тех людей, которые умеют исправлять свои ошибки. Ему просто нужно помочь, поддержать его, не бросать на произвол судьбы...

— Да, интересная получается ситуация...— Байзаков побарабанил по столу пальцами.— Хлопчете за того, с кем еще недавно были, как говорится, на ножах. А мне сдается, вряд ли он бы стал так вас защищать, случись с вами что-нибудь подобное.

— Я не его защищаю, я дело наше защищаю.

— Хорошо. Я вас понял.— Байзаков встал.— Какие вести у вас из Москвы, что Госплан говорит?

— Госплан пока молчит, а в министерстве, вы знаете, нам пошли навстречу.

— Ну и молодцом — умеете бороться! — рассмеялся Байзаков.— Перетормошили, значит, всю столицу, добились-таки своего... Довольны?..

— Куда там,— вздохнул Искаков.— Сами видите, какие дела на заводе творятся. Правильно поэт говорил: «Покой нам только снится...»

— Ничего, я думаю, все образуется,— утешил его Байзаков.— Да, хотел вас поблагодарить,— спохватился он,— что вы моему сыну Москву показали. Он, надо заметить, от вас в восторге.

— Турсын хороший инженер,— сказал Искаков.

— Эх, все вы хорошие,— вздохнул Байзаков.— И все-таки мой вам совет, Бекен Искакович, не делайте такую ставку на Кожакон. Вряд ли теперь он сможет работать с полной отдачей после всего случившегося. Подумайте, не нарветесь ли вы на мину, которую сами и поставили...

— Ну, умирать, так с песней..— пошутил Искаков.

Они вышли на улицу.

— Вы машину отпустили? Садитесь, я вас до дому подвезу,— предложил Байзаков.

— Спасибо, но мне еще нужно заехать на завод.

— Эх, завод, завод! Вы когда жену сюда привезете? — вдруг набросился на Искакова секретарь.— Живет, понимаешь, бобыль бобылем! Какой пример молодежи показываешь?

— Вы же знаете, что такое докторская диссертация! Эта вещь для женщины нынче поважнее мужа,— засме-

ялся Исаков, чувствовавший, что Сакен Утебаевич находится сегодня в хорошем настроении.

— Да, диссертация дело нужное,— смягчился Байзаков.— Ну, давай садись в машину, я тоже решил на завод съездить. Хочу посмотреть, как ты там хозяйничаешь...

4

Наступил обеденный перерыв, и тихо стало в цехе.

— Вздремнуть бы сейчас минут эдак шестьсот,— вздохнул, потягиваясь, здоровенный бородатый парень в комбинезоне.— А? Что ты, Мишка, думаешь по этому поводу?

Миша, худой и нескладный парень, ничего не ответил. Он взял в руки гитару и тихонько провел по струнам.

— Миша, Андрей, вы почему в столовую не пришли? Я на вас очередь занимала,— окликнула их девушка в очках и цветастой косынке.

— Да у нас, знаешь ли, как это говорится, финансы неуют романсы, вот как наш Мишенька, так примерно неуют,— кивнул бородатый на гитариста.— Да ты садись, чего стоишь,— потянул он девушку за руку.

— Понятно. Тогда приходите вечером к нам ужинать,— девушка повернулась к гитаристу.— Обязательно приходите, тем более что будете иметь возможность кое с кем повидаться. Я имею в виду Валю...

— Если ты Валю пригласишь, наш Мишенька ни за что не пойдет. Он у нас маленький и стесняется. Правда, Миша? — пристал бородатый к другу, но тот опять смолчал.

— Великий мыслитель, поэт и философ! — громко засмеялся бородатый.— Смотри, даже бровью не шевельнет. Интересно, о чем он думает?

— О чем я думаю? — парень с гитарой всей пятерней надавил на струны и, все еще не поднимая глаз, сказал: — Я думаю, что все это пустое. Все равно никто не разрешит Исакову строить завод так, как это ему хочется. Вот я о чем думаю...

— Смотри-ка ты, заговорил! — изумился бородатый.— Чего это ты там бормочешь? Не разрешат? А ты поезжай в Москву и поддержи нашего директора. Встань перед Госпланом, возьми гитару и запой:

Хотели сдать мы очередь завода,
Но нам навстречу никто не идет.
Теперь мы спросим у всего народа:
— Где справедливость и кто поймет,
Что хочется нам очень потрудиться,
Сдать очередь завода в этот год.
Ах, помогите нам в Госплан пробиться,
Спасибо скажет вам народ.

— Прекрасная песня, а? А рифмы какие, а? — бородатый пихнул гитариста в бок и захохотал.

— Легко тебе живется, Андрей, — вздохнул гитарист, — никогда ты ни о чем...

— ...серьезно не задумываешься, — передразнил его бородатый. — Легкомысленно относишься к жизни, знаешь только шутки шутить. Да?

Гитарист ничего не ответил ему, но бородатый не оставлял его в покое.

— Мой тебе, Миша, совет. Вместо того чтоб целыми вечерами под ее окнами шататься, взял бы да, наконец, и сказал ей все прямо...

— А что он может ей прямо сказать? — с любопытством спросила девушка.

— Знаешь что, побереги свои советы для кого-нибудь другого, — покраснел Миша.

Его друг сделал серьезную мину, засунул одну руку в карман комбинезона, а другую поднял вверх.

— Михаил, я тебе дело говорю, — торжественно сказал он. — Хватит тебе бесцельно вздыхать о Вале. Подойди к ней на улице, нежно возьми за руку, прокашляйся, чтоб у тебя голос не сорвался, и начни ей говорить о своей любви...

— Но это еще не все, — девушка тоже включилась в игру. — А потом, как только Валя пойдет со смены, следуй за ней...

— Соблюдая определенный интервал, — поддержал бородатый.

— Правильно... Проводи до общежития, а утром встань пораньше и сторожи ее у дверей. Выйдет Валя однажды утром, увидит своего принца с гитарой, и лицо ее засияет от радости...

Михаилу уже изрядно надоела их пустая болтовня. Он глянул на часы и с досадой подумал: «И правда, до чего же я нерешительный. Никакого нет у меня подхода к девушкам. Вон есть у нас в общежитии донжуаны, как начнут рассказывать свои приключения, так заслушаешь-

ся. Больше привирают, конечно. Тот, кому удалось девушку проводить, утверждает, что весь вечер целовался с нею, а уж если кто с кем поцеловался, так и вовсе... петушится... А я так не хочу, я хочу по-другому...» Он представил себе сибирское лицо Вали, ее робкую улыбку, добрые глаза, и ему стало приятно от мысли, что она, красавица, ведет себя скромно, никогда не кокетничает с парнями, как будто бы сознает силу и могущество своей красоты... А может, только ему она кажется такой красавицей?..

— Вот так с недельку походишь за ней, и Валя будет твоя,— закончила свои наставления девушка в очках.

— Ты что же хочешь сказать? — бородатый Андрей иронически наморщил нос. — Что Валя тогда сама за ним бегать будет? Ошибаешься. Валя — это не ты, Жанночка, запомни это...

Девушка рассердилась:

— А Миша — это не ты. Он, если хочешь знать, особенный. Он, если хочешь знать, единственный серьезный человек среди вас...

— Может, ты за него хочешь замуж пойти, а не за меня? — рассердился и Андрей.

— Может, и хочу, да он меня не берет,— огрызнулась девушка.

— Ну, ладно, ладно, хватит,— бородатый, видимо, понял, что их шутки зашли слишком далеко, и обнял Жанну. Девушка попыталась вырваться из его объятий, но он держал ее крепко. — Хватит, вы что, шуток не понимаете? Я хочу сформулировать основную проблему, которая заключается в том, что, согласно вашему девичьему лексикону, наш Миша является, как ты выражаешься, «принцем». Но правда жизни такова, что ваш «принц» на самом деле не принц, а король — король электриков завода,— торжественно провозгласил Андрей и тут же добавил, немного подумав: — Хотя, может быть, все-таки и принц, потому что король — это я...

— Да, ты король,— язвительно сказала девушка. — Король хвастунов, вот ты чей король...

— А что,— серьезно стал перечислять бородатый. — Внешность у меня такая, что увлечет любую девушку, песни я пою, анекдотов знаю кучу. И вообще я реалист, то есть человек, необходимый для общества. Мирового значения не имею, зато в пределах завода меня ого-го как уважают!..

— Хватит. И не надоело тебе зубоскалить? — поднялся Миша.

— Что же нам делать, если мы такие плохие, — подмигнул Андрей Жанне.

— Постараться быть лучше, — серьезно сказал Миша.

— Ладно, Миша, он смеется над тобой, а ты все за чистую монету принимаешь, — сказала Жанна и вдруг накинулась на бородатого: — А ты и в самом деле кончай хохмить, а то совсем в шута горохового превратился, даже перед людьми стыдно!

— А ты на меня не кричи! Ты мне пока еще не жена! — рассердился Андрей. — Мы с Мишей друзья, и он прекрасно понимает, что я ничего обидного ему не говорю. Он мой характер изучил, а вот ты, видать, его еще не узнала...

— Ну хватит, хватит вам браниться, — остановил их Миша. — Видишь, Андрей, начал ты за здравие, а кончил, как говорится, за упокой — довели тебя твои шуточки до того, что даже Жанна на тебя не смотрит...

— Ничего, завтра исправлюсь. Завтра суббота, танцы, подойду к моей королеве и скажу: «Позвольте пригласить вас на тур вальса...» — Андрей подошел к Жанне и почтительно-виновато склонил перед ней голову. Жанна заулыбалась.

— Ты путаешь. Завтра не суббота, а суббота, — засмеялся Миша. — У тебя еще целая неделя впереди для репетиции твоего королевского выхода...

— Как, разве завтра рабочий день? Замуж и то выйди некогда, не то чтоб на танцплощадке попрыгать... — вздохнула девушка.

— Ну уж, совсем ты изработалась, — съязвил Андрей, но тут репродуктор на стене объявил, что до начала работы осталось две минуты.

— Андрей, ты электросеть проверил? — спросил появившийся на площадке начальник цеха Турсын Байзаков, которого сопровождал Какен Мукашев.

— Еще не успели, к концу смены закончим, — бородатый подавил смех и тут же на глазах стал солидным и серьезным.

— В последнее время ваша бригада много кое-чего «не успевает...» — Байзаков сделал нажим на последние слова.

— А что делать, если в день ваши изобретатели по сто чертежей приносят, — огрызнулся бородатый и мет-

нул взгляд на Мукашева.— Не можем же мы десятью разными делами заниматься, у нас и своих забот хватает...

— Ты что-то слишком уж занятый человек стал. Смотри у меня, Андрей. Чтоб к вечеру все было готово...

В это время в цех зашли Искаков и секретарь обкома Сакен Утебаевич. Увидев сына, Байзаков сделал было шаг к нему навстречу, но потом круто повернулся, и они покинули цех.

— Не будем мешать моему сыну проводить «воспитательную работу»,— посмеиваясь, объяснил он Искакову смысл своего поступка.— А то еще растеряется в присутствии отца...

— Правильно, подумает еще, что вы тоже сюда пришли, чтобы отчитать его,— шутливо сказал Искаков.

В цехе их короткий визит остался незамеченным.

— Вы, Турсын Сакенович, меня не пугайте. Я на этой стройке третий год,— напирал бородатый на своего начальника.

— А я вас и не пугаю, Андрей Степанович. Я только говорю, что приду к концу смены проверить вашу работу, и проверять буду по всей строгости,— в тон ему отвечал Байзаков.

— Да проверяйте, проверяйте, что мне, жалко, что ли? — буркнул бородатый и направился к своему рабочему месту.

— Хороший парень, и электрик замечательный,— сказал Турсын Мукашеву.— Но вот перехвалили его последнее время, он и ошалел от славы. Незаменимым себя считает и слушать никого не желает...

— Ничего, это не смертельная болезнь,— засмеялся Мукашев.— Парадокс, но, на мой взгляд, такой болезнью обязательно должен переболеть каждый человек, если он, конечно, на что-то способен...

— Да, ты, пожалуй, прав,— согласился с ним Байзаков.— Но худо, если такая болезнь затягивается,— задумчиво добавил он.

5

— Ерлан, иди обедать,— позвала Кожакова Сания, но Кожакон, сидевший в гостиной на красном диване, не откликнулся, и это не удивило ее.

— Ерлан, я тебе говорю. Иди обедать, а то все остынет,— повторила она.

Но он все сидел на диване, уставившись в одну точку и, казалось, не слышал ничего. Трехдневная щетина покрыла его щеки, глаза погасли, и весь его вид являл собой полное равнодушие. Отстраненный от работы по решению бюро, он вот уже третий день не выходил из дому. Спал здесь же, на красном диване, днем тупо глядел в раскрытую книгу, плохо понимая, что читает.

Сания сделала несколько глотков из пиалы и, не дождаввшись мужа, пошла за ним в гостиную. Не входя в комнату, она остановилась в дверях и долго смотрела на мужа, сгорбившегося, съежившегося, как от боли. Сании было жаль его, она понимала, как он истерзал себя за эти три дня, но успокаивать его, утешать, говорить какие-то слова она не решалась, ибо слишком хорошо знала его вспыльчивость, доходящую временами до прямой грубости. В тот вечер, когда он вернулся домой после бюро, она было попыталась приласкать его, но он лишь гаркнул: «Не твое это дело! Не смей вмешиваться не в свои дела!..»

— Ерлан, иди поешь...

Кожяков повернул голову и только тут заметил при- тихшую жену.

— Пошли, а?..

Он нехотя встал, скрипя пружинами старого дивана. Умылся. Молча сел за стол. Разок-другой глотнул горячего чая, поданного Санией, и отставил чашку.

— Где сигареты? — спросил он.

— Сейчас...— Сания встала и достала из ящика стола пачку сигарет.

— Спасибо,— Кожяков, так и не дотронувшись до еды, закурил.— Ты не обижайся на меня, Сания,— сказал он, глядя в сторону.— Я не хочу делать тебе больно, но я сам залечу свои раны.

Практически это была первая его фраза за три дня, обращенная к жене.

— Не надо так убиваться,— сказала Сания, осмелев оттого, что он сам первый заговорил.— Разве не бывает поражений у джигита? От этих поражений он должен еще больше мужать и закаляться...

Кожяков промолчал. «Знаю, я все знаю,— думал он.— Тот, у кого такая жена, как Сания, должен быть счастливым. И пускай у меня не все ладится на работе, зато

у меня есть Саня. А сколько я знаю джигитов, которые несчастны оттого, что не нашли в жизни таких добрых и щедрых душой женщин!.. Они достигли многого, но счастья у них и в помине нет. Ведь жизнь дана не для того, чтобы получить какое-то звание или достичь известности, она дана для того, чтобы жить. А какая жизнь без хорошей жены? Байкенов вот так погиб. Застрелился. «Ты добилась своего, теперь радуйся, праздной мою смерть», — написал он жене в предсмертной записке. В свое время он был начальником крупного треста. И конечно же это бессилие, слабость и болезнь...»

Он обнял жену, притянул ее к себе.

— С тобой мне ничего не страшно. Была бы ты рядом. Прости меня, Саня, — прошептал он.

Саня заслонила ладонью глаза, полные слез.

— Дорогой мой, не надо так убиваться. Мне страшно за тебя.

— Не бойся, любимая, я еще выпрямлюсь. Я допустил ошибку... Большую ошибку. И теперь мне кажется, что я всю жизнь обманывал себя и тебя обманывал, всех обманывал. — Он спрятал лицо на груди жены.

— Мне тяжело слышать это, но знай, я всегда с тобой, Ерлан. И, прошу тебя, стань снова мужчиной, возьми себя в руки...

— Вы с Бекеном убиваете меня своей добротой... А доброта иногда страшнее топора палача. Мне кажется, ты должна ненавидеть меня за то, что я испортил тебе жизнь. Ты должна ударить, растоптать, убить меня...

— Не надо так говорить, — покачала Саня головой.

— Иногда мне кажется, что и любви-то больше нет на земле, что полную ее чашу человечество расплескало на своих долгих, вековых дорогах, и теперь на доньшке осталась вместо любви одна жалость.

— Любовь ни с чем нельзя сравнить. Любовь — это божий дар, любовь, как кровь, течет по нашим жилам, — не зря поэты всегда рифмуют два этих слова. И я согласна с тобой, что не все люди умеют любить свято. Есть среди них мужчины, есть и женщины. Но твоя трагедия в том, что ты перестал верить всем людям, всем без исключения... Ты думаешь, что весь свет ополчился против тебя...

— Не надо, Саня, не надо говорить за всех... Я пока знаю единственное — это то, что ты меня любишь. Ведь ты

никогда, никогда меня ни в чем не упрекнула, и ты никогда не обманывала меня...

— Ерлан...

— Самая современная и самая верная женушка моя! — он сидел, прислонив голову к ее плечу. — Без тебя я бы давно пропал, — добавил он.

Он обнял жену. «Не надо, Ерлан», — шептала Саня, но и сама тянулась к нему, желая его ласки и близости.

— Пойдем, — прошептал Ерлан.

— Иди, — тихо ответила она, — я сейчас тоже приду — дети еще не спят.

Ерлан ушел в спальню, а она, улыбаясь, глядела ему вслед.

Зазвонил телефон, и Саня подняла трубку.

— Саня, здравствуй, это Карим. Айткалиев говорит...

— Здравствуйте...

— Ну, как там у вас? Дети здоровы?

— Спасибо, здоровы...

— Ерлан дома? Позови его к телефону...

Саня растерялась, не зная, что ей ответить.

— Дома он или нет? — нетерпеливо переспросил Айткалиев.

— Сейчас, сейчас, — сказала Саня и прошла в спальню.

— Карим тебя спрашивает, — сказала она Ерлану, который уже разделся и лежал в постели.

— Кто? Карим? Пошел он... куда подальше. Ты сказала, что меня нет?

Саня виновато опустила глаза.

— Он ждет тебя...

— Не могла уж разок в жизни соврать, — улыбнулся Ерлан. — Ну ладно, я сейчас...

Саня присела на постель.

— Ерлан, привет! — возбужденно кричал в трубку Айткалиев. — Слушай, старина, нам обязательно нужно с тобой встретиться.

— Это еще зачем? — хмуро спросил Ерлан.

— Не упрямясь, у меня к тебе есть важное дело.

— Знаю я твои важные дела! Сегодня у меня нет времени, если хочешь, приходи ко мне завтра. А не хочешь, так и вообще не приходи...

— Ерлан, Ерлан, я ж тебе говорю, что у меня к тебе важное и срочное дело. Я к тебе не в гости напрашиваюсь, а по делу. Ты понял меня?

— Да горит у тебя, что ли? — обозлился Ерлан. — Ну ладно, черт с тобой, приходи...

...Они сидели за большим столом в гостиной. Пришла из кухни Саня с подносом и стала накрывать на стол.

— Принеси нам, пожалуйста, чаю и ложись спать, больше ничего не нужно, — сказал ей Ерлан.

Саня поняла его, принесла им чайник и притворила дверь в спальню.

— Ну, что ты теперь собираешься делать? — начал Карим, но Кожачков перебил его.

— Хочешь выпить? — Он вынул из бара бутылку коньяка.

— Нет, спасибо, а впрочем, ладно, давай... — Айткалиев вздохнул. — Ты крепко споткнулся, захромал, можно сказать, на обе ноги, но я пью за то, чтоб ты быстрее поднялся...

С этими словами он опрокинул рюмку и удивленно посмотрел на угрюмого Кожачкова:

— А сам почему не пьешь?

Кожачков покачал головой.

— Не хочу.

— Ты через «не хочу». Выпьешь — сразу полегчает.

— Не буду я, сказано тебе! Продолжай, чего замолчал, говори, зачем пришел...

— Э-э, да ты совсем сник, брат. Тебе сейчас бодрым надо быть, сильным. Искаков здорово тебя подкузьмил, но стоит ли из-за этого убиваться? В партии тебя оставили, а работу ты найдешь. Такие специалисты, как ты, на дороге не валяются. Если хочешь, помогу тебе в этом вопросе...

— Не надо. Что еще?

«Растерялся наш батыр, — подумал Айткалиев. — Растерялся боксер... Жизнь — это тебе не ринг, тут кулак не помощник. Тут изворотливый ум нужен и манеры — мягкие, обвораживающие... Человек — как весенняя трава. Ее топчут, она снова встает...»

— Ты, вместо того чтобы пессимизм разводить, подумал бы, как поквитаться с тем, кто тебе поставил подножку...

— С кем это?

— С Бекеном. Нужно как-нибудь так его спровоцировать, чтоб он потерял терпение и сам ушел с завода. Ведь от него совсем житья нет, лезет повсюду, подо всех подкапывается.

— Кому это нужно?

— Тебе. Тебе в первую очередь. Не исключено, что тебя восстановят на прежней работе, и тогда ты будешь на стройке полный хозяин.

— Мне? — Кожяков цепко глянул на Айткалиева. — Может, это тебе самому нужно? Может, ты боишься Искакова? Он сейчас в самую силу входит...

— Я... я не боюсь его...

— Боишься! — зло рассмеялся Кожяков. — И завидуешь ему. Его сейчас многие поддерживают, даже старший Байзаков его уважать стал. И он это уважение заслужил. Своим умом, своим трудом, своей честностью...

— Вот-вот, поэтому мы и должны убрать его сейчас, потом поздно будет. Что потеряет инженерная мысль республики, если Искаков уберется из Жетысу обратно в свою Алма-Ату? Ровным счетом ничего. Нет, не о себе я хлопочу... Ты мой друг, я тебя хочу поддержать.

— Ты говори прямо, что тебе нужно? Опять анонимки начнешь организовывать?

— Нет, я по-другому это дело обмозговал. Анонимки на него не действуют, но мы можем от имени группы рабочих сигнализировать партгосконтролю, в Москву, например, или в Алма-Ату, что Искаков развалил работу, плохо контролирует качество строительства, нарушает график ввода объектов, кадры разбазаривает, жилье дает кому попало...

— Я, что ли, буду эта самая «группа рабочих»?

— Мы с тобой вместе должны подумать, кто сможет подписать письмо. Неужели на такой большой стройке не найдется людей, недовольных Искаковым? Пошлем письмо в несколько адресов — и покатила проверка за проверкой... Тут и самому Байзакову может не поздоровиться, потому что недостатки обязательно найдутся, что-нибудь да обязательно вскрыется. Люди не ангелы, ты это сам не хуже меня знаешь, — усмехнулся Айткалиев. — А если и не вскрыется ничего, то эти проверяющие так его вымотают, что он будет рад-радешенек ноги отсюда унести...

Кожяков встал, подошел к двери и распахнул ее настежь.

— Пошел вон! — коротко сказал он Айткалиеву.

— Что? — привстал Айткалиев. — Ты воображаешь, что делаешь? Я тебя своим другом считал, руку помощи хотел протянуть... Да знаешь ли ты, что твоя судьба во многом зависит от меня?

«Надо его уговорить,— лихорадочно думал он.— А то еще, чего доброго, к Искакову побежит. С такого станется...»

— А ну, выматывайся отсюда...

— Сейчас, сейчас, чего ты разволновался? — Айткалиев надел плащ.— Я ведь о тебе хлопочу. Что мне Искаков?.. Не хочешь ничего делать, так забудь наш разговор, считай, будто его и не было...

— Вон! — повторил Кожakov.

Айткалиев, не попрощавшись, хлопнул дверью.

— Собака! — громко сказал он, когда отошел от кожаковского дома на приличное расстояние. Сказал и оглянулся. На темной улице никого не было. Он поправил галстук и, солидно кашлянув, отправился восвояси.

А Кожakov еще долго сидел в одиночестве, бессильно свесив руки.

Мысли путались. «Позвонить или не позвонить? Стыдно... Глупо... Ни к чему... И — поздно. Поздно во всех смыслах...»

Снимая трубку телефона, он заметил, что пальцы его дрожат. Он набрал знакомый номер и прижал трубку к щеке.

— Я слушаю,— донесся до него голос Искакова, и он опустил трубку.— Я слушаю,— повторил голос.

Кожakov ничего не сказал в ответ.

ОТСТУПЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Кайрат и Сагын

...Родственники и знакомые... Студенты института, в котором он преподавал... Соседи... Бывшие ученики, приехавшие из аулов.

Начинающий поэт из литературного кружка прочитал стихи. Поначалу голос его дрожал, и казалось, что поэт вот-вот расплачется. Однако парень сумел взять себя в руки — медлительные, печальные строки плыли над пришедшей толпой.

Ректор взглянул на Кайрата, и Жаксыбаеву стало жарко. Настала его очередь говорить прощальное слово.

Он прокашлялся.

— Нет больше с нами Сагына Шарыпова,— тихо начал он.— Дорогой Сагын! Один из опытейших преподавателей нашего института, ты пользовался непререкаемым ав-

торитетом среди преподавателей и студентов. И вот ты ушел в иной мир, отправился в путешествие, из которого не возвращаются... не возвращаются...

Сагын

— ...И я не знаю, вернусь или нет... Так что сохрани это,— сказал Сагын.— А если... если что,— он сделал паузу,— можешь использовать мою работу по своей надобности, понял?

Кайрат тоскливо глядел на него.

— Жаль, в аул не удалось напоследок съездить. Надо бы попрощаться с нашими. Ну да ничего, передашь им от меня привет,— продолжил Сагын.

— Да полно вам! Я верю, что вы вернетесь живым и невредимым,— перебил его Кайрат и тут же почему-то смутился.

— Как знать, как знать,— покачал головой Сагын.— Фрицы проклятые в ворота самой Москвы стучатся, отца их в душу, гадов!..

— Вернетесь! Я верю! — снова произнес Кайрат.

— Пусть сбудется твое пожелание, браток! Спасибо тебе! Эх, хотел я осенью в Алма-Ату съездить, утвердить тему диссертации, проконсультироваться, а теперь видишь, как все обернулось! — вздохнул Сагын.— Ну да ладно, даст бог, живы будем, а остальное все приложится. Тащика скорей чайник!.. Побалуемся чайком на дорожку!..

И он, разломив на два ровных куска серую лепешку, протянул одну половину Кайрату.

Выросли они в одном ауле, хотя Сагын был на шесть лет старше Кайрата. Именно он, Сагын, и убедил своего младшего товарища поступить учиться в тот же педагогический институт, в котором он сам уже преподавал. Кайрат, как и все подростки того времени, рвался в летчики или трактористы и поначалу плохо понимал, зачем это ему корпеть над учебниками по литературе и истории. Но у него несомненно были способности к учительству — он помогал младшим, подтягивал отстающих в классе, и первым это заметил Сагын. Он увез Кайрата из аула, заботливо опекал его, помогал готовиться к вступительным экзаменам, и даже поселил его в своей комнате, откуда вот сейчас шел на фронт.

А Кайрат сначала тоже мечтал о сражениях, о штыковых атаках, о том, как проявит он чудеса храбрости и

Родина назовет его Героем. Он даже написал заявление, просясь на фронт добровольцем, но тут из аула приехал отец-старик и запретил идти в военкомат, пока не наступит его призывной возраст. Отец Кайрата был уважаемым человеком в ауле и на бедность не жаловался. Несколько раз приезжал он в город, причем не налегке. Родственник помог ему достать какую-то справку, и Кайрату дали броню до окончания учебы.

— А ведь это, может быть, и хорошо. Тебе сейчас учиться нужно, самый возраст тебе учиться, детям ведь все равно нужны учителя, идет война или нет,— утешал его Сагын, когда тот выложил ему свою обиду. Да у Кайрата у самого военный пыл значительно поубавился: появились в городе первые раненые, безногие, слепые, и смотреть на них было страшно. А если страшно только смотреть на них, то каково же там, на далекой войне?.. И он с головой ушел в учебу...

...Послышался стук в дверь.

— Войдите! Камеш! Ну что ж ты так долго! — обрадовался Сагын.— Мы тебя ждем, а тебя все нет и нет. Мне уже выходить скоро. Да не плачь ты, не плачь, не надо!..

И он утер девушке слезы.

Камеш достала из кармана расшитый кисет.

— Тебе... вот... закуришь и вспомнишь меня,— улыбнулась она сквозь слезы.

— Спасибо. А что же мне-то тебе подарить? — искренне обеспокоился Сагын.

— Да ничего. Только сам возвращайся...

И девушка снова заплакала. Сагын неловко улыбался.

Кайрат

Я упорно учился, работал. Камеш я с того дня не встречал. Шел уже второй год войны, и я часто получал письма от Сагына.

«...Кайратжан, как твое здоровье, как учеба? Постарайся хорошо закончить институт, и пусть это будет твоим вкладом в победу. Камеш жалуется, что ты к ней не заходишь. Ты, пожалуйста, не стесняйся ее, помоги чем можешь. Ведь она, если будем живы-здоровы, твоя будущая женгей. При встрече передай ей привет от меня...»

Изучая диссертацию Сагына, я не переставал удивляться — и когда это он успел так много узнать, исследовать? Вроде бы все время был занят — то к лекциям готовился, то общественной работой занимался.

В конце диссертации я обнаружил список использованной Сагыном литературы и решил, что лучшего руководства для моих самостоятельных занятий и придумать нельзя. Я повесил этот список у себя над койкой. Книгу за книгой брал я в институтской библиотеке. Читал до головокружения, до зелени в глазах...

И вскоре судьба свела меня с Марком Петровичем Штейном, профессором, эвакуированным из Ленинграда. Дело в том, что в списке книг вдруг появились такие названия, каких в институтской библиотеке не было. А Марк Петрович, казалось, ничего с собой не привез, кроме книг. Жили они с женой в маленьком саманном домике, и всюду у него были книги.

«Здравствуй, дорогой Кайрат! Получил письмецо от Камеш, она там приложила вырезку с твоими стихотворениями «День Победы грядет», «Тюльпаны», «Тоска». Последнее ты посвятил мне, за что большое спасибо, так как стихи мне очень понравились. И вообще молодец ты, Кайрат! Видишь, в областной газете напечатался. Но все же по праву старого ворчуна хочу тебя предостеречь — мне кажется, ты чересчур увлекаешься звонкими рифмами. Ведь настоящий поэт не гонится за вычурностью и цветистостью, ибо главное в стихе — мысль. Прочитай сходные мысли у Абая. И вообще читай больше.

А у нас все по-прежнему. Наступаем, гоним фашистскую нечисть. Сейчас нас из Казахстана в роте двадцать шесть человек.

Обнимаю. Твой старший друг Сагын.

Р. С. Хорошо, что ты подружился со Штейном. Я заочно знаком с этим человеком, т. к. в моей диссертации я касаюсь нескольких положений из его монографии. Штейн — ученый божьей милостью, я очень рад за тебя и даже слегка тебе завидую...»

Я еще раз прошелся по диссертации Сагына. И действительно, в рукописи обнаружилось несколько страниц, посвященных трудам Штейна. Истратив целую ночь, я ста-

рательно зазубрил и выдержки из трудов Штейна, и мысли Сагына по поводу этих книг.

А вскоре и случай представился: я провожал Штейна до дому и по дороге, когда мы разговорились, вдруг выпалил ему все заученное, чем привел профессора в немалое изумление.

Потому что, если по совести говорить, не такого уж большого мнения был он о моих способностях, все повторял, что мне нужно расширять кругозор, учиться мыслить, не доверяться целиком авторитетам, пускай даже и самым высокими.

— Вы здорово выросли, Қайрат,— сказал он, помолчав.— Мне кажется, вам пора уже заняться наукой.

— А не рано ли? — смутился я.

— Нет, не рано,— задумчиво сказал Штейн.— Самый возраст — когда уже и определенный багаж знаний имеется, и не утрачена еще вера в назначение, благородные цели нашей науки... Вам надо поступить в аспирантуру.

— Но ведь аспирантура в Алма-Ате, а там меня никто не знает...

— Я на первых порах поддержу вас — напишу рекомендательные письма, мы вместе подумаем над темой вашей будущей работы...

— Спасибо, Марк Петрович, но мне как-то... совестно и вас отрывать, да и боязно — вдруг у меня ничего не получится?..

— Ну, так не годится, голубчик! — рассмеялся профессор.— Молодому человеку надо верить в свои силы... Оптимистом надо быть, уважаемый!..

«...Ты читал в «Комсомольской правде» статью Баубека Булкышева?.. Если нет, обязательно разыщи и прочти. Постарайся, чтоб и другие ваши ребята прочитали ее. Булкышев — очень хороший человек, добрый, справедливый, с открытой душой. Храбрый солдат и талантливый журналист. Мы с ним живем в одной землянке. А тебе я долго не писал, потому что целый месяц валялся в госпитале после контузии. Сейчас снова возвратился в часть. Камеш про госпиталь ни слова!..

Обнимаю, Твой Сагын».

Штейн добился того, чтоб меня зачислили в аспирантуру. Я не хотел, я побаивался. Но диссертация Сагына была при мне, и, когда срочно понадобилось определить тему работы, мне ничего не оставалось, как воспользоваться его названием. И видит бог — я не хотел обкрадывать его, и мне было стыдно, стыдно, но ведь и в беседах с Марком Петровичем я развивал в основном его, сагыновские, мысли, так что идти на попятную было поздно. «А Сагыну я все объясню. Он поймет», — утешал я себя.

А сам с ужасом понимал, как нетрудно, оказывается, встать на скользкий путь, если вовремя не остановишься. Я... я не смог остановиться и частенько, цепenea от ненависти к самому себе, ловил себя на мысли, что боюсь и не хочу возвращения Сагына. А что может быть подлее этого? Ведь фактически я желал его гибели. Да, да! Гибели...

«Кайратжан! Радуюсь твоим успехам. Отныне — наука твоя жизнь, твое призвание, и ты должен нацелить себя на то, чтобы стать настоящим ученым. С большой буквы. Занимайся не ради звания кандидата, а ради самой науки. Добейся того, чтобы твоя кандидатская стала действительным вкладом в родную литературу — ведь смысл любой работы в ее необходимости людям, обществу, стране. И я думаю, что не худо бы тебе параллельно заняться вопросами казахского эпоса. У нас пока, можно сказать, нет еще глубоких исследований в этой области. Ты, кстати, ничего не пишешь о теме своей диссертации, так что, я, может быть, опоздал со своими поучениями? Напиши мне...

Эх, с каким удовольствием продолжил бы и я свою работу. Сейчас, на расстоянии, я многое пересмотрел и, наверное, стал бы писать ее заново. Но ладно — хватит ныть!..

Я рассказал про тебя Баубеку. Он передает тебе привет и говорит, что рад за земляка...»

Опять Кайрат

Летом я вновь оказался в нашем городе. Хотел съездить в аул, навестить Марка Петровича, Камеш. Я привез им в подарок сумку знаменитых алма-атинских яблок.

Профессор долго не хотел отпускать меня. Придирчиво расспрашивал об учебе, о своих алма-атинских друзьях, о том, как я провожу время, как движется диссертация. «Читал я твою статью. Ну что ж, неплохо, неплохо для начала, прямо тебе скажу...» — и он потрепал меня по плечу.

Знал бы он, что статья эта — переведенная на русский язык одна из глав диссертации Сагына!

Камеш обрадовалась встрече со мной. Похорошевшая, статная, в самом расцвете молодости, она вскрикнула, повисла у меня на шее и так поцеловала, что у меня дыхание перехватило.

— Что ж ты ко мне перед аспирантурой не зашел? — упрекнула она меня, когда мы уселись пить чай.

— Спешно вышло, ты уж извини... — смутился я.

— Ох, что-то боюсь я за Сагына, — седьмой месяц писем от него нет. А ты не получаешь?..

— Нет... Больше чем полгода уже нет от него писем, — вспомнил я.

— Вот я и боюсь, может, уже и в живых нет нашего Сагына.

Она замолчала и, стесняясь наворачнувшихся на глаза слез, тихо выскользнула из комнаты.

Она жила на окраине. Чай мы пили за низеньким столиком в углу. Опьяняюще пахло черемухой. В раскрытом окне видна была панорама далеких гор.

— Выпьем по рюмочке?

— Я не пью, а ты — давай. За встречу.

— А за Сагына-ага ты разве не хочешь выпить?..

— За Сагына немножко выпью.

— Хотела я на фронт попроситься — санитаркой, прачкой, кем угодно, да военком не пускает. Завтра снова к нему пойду. — Камеш раскраснелась, пряди черных волос выбивались из-под ее цветастого платка, и она сняла платок.

— А в институте у вас уже было распределение?

— Да, — неохотно ответила Камеш. — В городе меня оставляют, в двадцатой школе...

Было уже поздно, и мне пришлось заночевать у Камеш. Она постелила мне на койке, а сама легла на полу. Мы разговаривали.

— Тоскую я по Сагыну каждый день, каждую минуту тоскую...

— Хороший он человек, добрый...

— Хороший, говоришь? Не-ет!.. Золотой он, мой Сагын!..

Камеш повернулась на бок, ко мне лицом, и лунный свет, падающий из окна, неясно высветил ее доверчиво обнаженные плечи, нежные руки, лежавшие поверх одеяла.

— Кайрат, у тебя девушка есть? — вдруг спросила она.

— Нет, — помедлив, ответил я.

— Это что ж, красавицы в Алма-Ате перевелись, что ли? — рассмеялась она.

— Красавиц много, да времени у меня на них мало. И к тому же... — запнулся я, но Камеш уже не слушала меня.

— А мне Сагын каждую ночь снится, — вздохнула она. — Все время. Кайрат, как ты думаешь, он живой?..

— Не знаю, Камеш, — осторожно ответил я. — Ведь полгода уже писем нет, а за это время всякое может случиться...

— Не верю, не верю, что его убили!.. Как же мне тогда жить, если его нет! — разрыдалась Камеш.

И вдруг словно какая-то пружина подбросила меня. Я кинулся к ней и стал целовать ее соленые от слез щеки, жадно вдыхая пряный аромат ее волос.

— Кайрат, что ты делаешь?! — в ужасе воскликнула она, но сопротивление ее слабело, слабело...

Так мы стали мужем и женой. По возвращении из аула я увез ее в Алма-Ату, и там мы записались в загсе.

Скромную нашу свадьбу мы отпраздновали в кругу немногочисленных моих друзей, а осенью сорок пятого года я наконец защитился, и мы снова вернулись в наш родной город. Камеш родила сына, а писем от Сагына все не было и не было. И мы, словно по молчаливому уговору, никогда больше не говорили о нем.

Опять Сагын

Он и сам не заметил, как очутился вдруг на высоком обрывистом берегу Иртыша. Сбросил тяжелый вещмешок и сел прямо на землю, уткнув лицо в ладони.

...Камеш рыдала, валяясь у него в ногах. «Прости, прости! — бормотала она. — Прости, но кто же мог знать, что ты вернешься».

«Саке, мы предали, предали вас!» — уныло вторил ей испуганный, настороженный Кайрат.

Ничего не ответил им Сагын. Только желваки заиграли на скулах. Он хотел повернуться и уйти, бежать из постылого дома, уехать на край света, однако вместо этого он покопался в своем мешке и вытащил четвертинку водки.

— Камеш, — сказал он, — что случилось, того уже не поправишь. Встань, пожалуйста, и принеси нам посуду.

Он разлил водку в три пиалы.

— Ну что мне вам сказать? Значит, судьба моя такая, значит, не мне называть Камеш своей женой и любимой... Будьте счастливы...

И он единым махом опрокинул пиалу. Камеш и Кайрат молчали.

— Да! Я ведь вам подарки привез, — спохватился Сагын. — Вот, это тебе, — он протянул Камеш красивое ожерелье. — А это ты бери, Кайрат, — он снял с руки часы. — И — будьте счастливы, знайте, что зла я на вас не держу. Что же делать, если жизнь так распорядилась, а?

И он, не попрощавшись, ушел. А Камеш, как только исчез Сагын, повалилась на постель и снова разрыдалась. Лицо ее, опухшее от слез, было красным и некрасивым.

— Это ты, ты во всем виноват, Кайрат! Это ты сделал нас несчастным!..

— Замолчи! — Кайрат сжал кулаки.

— Не замолчу, не замолчу, — твердила женщина. — Оборотень ты! Оборотень! И откуда в тебе столько коварства, столько лжи! Лицемер ты! Лицемер!..

— Ты замолчишь или нет? — Кайрат, грубо схватив ее за руки, сдернул с постели. — Ты чего мелешь? Ты понимаешь, что ты мелешь?

— Ты лиса, Кайрат! Лиса! А ведь он убил нас, предателей, своей человечностью! Убил!

— У, отца твоего!..

Кайрат в бешенстве ударил жену по лицу, и она упала. А он, не помня себя от ярости, пинал ее и хрипел:

— Убью тебя, стерва! Убью-у!..

До самой темноты сидел Сагын на берегу, и по-прежнему пусто было у него на душе. Ясность жизни, цельность ее, определенность, которые поддерживали его все эти трудные военные годы, исчезли. Да и сама жизнь, казалось, потеряла всякий смысл. Что это за жизнь, когда верный друг подло предал тебя, а любимая быстро утишилась в чужих объятиях?.. И разве виноват он, что попал в окружение, месяцами выбирался из него? Разве он виноват, что шла война и не шли письма?.. О боже!.. Утром он договорился на базаре с проезжим шофером и возвратился в свой родной аул.

Три года учительствовал Сагын в местной восьмилетке, и все эти годы грызла его тоска. И только после смерти стариков родителей, когда не осталось в ауле ни единой родной души, нуждавшейся в его заботе, он решил уехать в город.

Не так-то легко было ему поступить на прежнюю работу, в институт, и если бы не ректор, принявший горячее участие в судьбе бывшего фронтовика, вряд ли бы попал Сагын ассистентом на кафедру, которой в эти годы уже руководил Кайрат.

И понемногу вошла в привычное русло жизнь опаленного войной, испытавшего глубокие потрясения человека. Он наконец стал заниматься тем, о чем мечтал всю войну,— казахским эпосом: кропотливо собирал материал, организовал фольклорную экспедицию в далекие горные аулы. Об утраченной диссертации он старался не вспоминать, но однажды у него состоялся длинный разговор с Марком Петровичем.

— Я давно хотел вас спросить, уж вы не сердитесь на стариковское любопытство,— начал Марк Петрович, когда они, просматривая материалы Сагына и беседуя о всякой всячине, пили чай на веранде,— правда ли, что Кайрат Жаксыбаев обокрал вас, присвоив диссертацию, написанную вами перед войной?

Сагын замешкался с ответом и, поймав на себе испытующий взгляд старого профессора, даже покраснел от непонятого смущения.

— Нет,— выдавил. он.— Это неправда. Мало ли что болтают завистливые люди. Кайрат сам написал диссертацию. Я лишь подсказал ему тогда две-три мысли. По праву старшего товарища...

— Знаете что, не верю я вам,— грубовато перебил его Штейн.— Бог с ним, с Жаксыбаевым, я и сам в нем ошиб-

ся. А вам я прямо в глаза скажу — редкостный вы человек, и дай бог вам счастья. Щедрости вашей нет предела, и я уверен, что рано или поздно вам воздастся стоицей!..

Профессор Кайрат Жаксыбаев продолжал свою речь:

— Итак, друзья, мы провожаем сегодня в последний путь нашего уважаемого товарища! Ему досталась сложная жизнь, трудная жизнь, но он никогда не впал в отчаяние. Он всегда был для всех нас мудрым старшим братом и добрым советчиком...

И вот мы лишились сегодня мудрейшего из наших наставников, лишились нашей опоры. И мы безмерно скорбим, потому что незабвенного Саке больше нет с нами. Прощай, учитель, и пусть земля будет тебе пухом.

Кайрат Жаксыбаев утер набежавшие слезы.

Говорил уже третий оратор, когда он, выбравшись из толпы, направился к воротам. Синяя «Волга», прошуршав колесами по гравию, подкатила к нему, и шофер предупредительно раскрыл перед ним дверцу.

— Домой, — коротко бросил профессор.

Последняя встреча

Сагын выглядел изнуренным и постаревшим. На усталом темном лице его четко обозначились морщины, у рта залегла глубокая жесткая складка. Беспокоил его и долгий надрывный кашель. Особенно худо было ему в ненастное осеннее время, когда боль, нудная, ноющая, стискивала ребра, и он кашлял, ворочался в постели, растирал ладонями некогда широкую грудь.

Однако занятий своих он не оставил, и студенты потянулись к нему, любовно называя его «Сагын-ака». Оживилась работа и в литературном кружке — Сагын внимательно читал рукописи начинающих авторов, и многие из этих стихов, рассказов были опубликованы на страницах областной газеты с его добрым напутствием.

И лишь о диссертации он ни с кем уже не заводил речи. Похоже, что он распростился с научной работой и навсегда оставил мысль о карьере ученого. Так, по крайней мере, думали окружающие и сочувствовали ему, относя это его бесповоротное решение на счет перенесенных испытаний и пошатнувшегося здоровья.

И вот буквально за несколько недель до своей смерти Сагын вновь по старой памяти наведился к Жаксыбаеву. Именно «по старой памяти», а не по какой-либо другой причине, иначе трудно было бы объяснить эту странную, почти фантастическую привязанность Сагына к Кайрату. Хотя бог его знает: возможно, люди, далекие от подлости, по-детски быстро забывают обиды и не держат зла на тех, от кого они хлебнули в жизни горя.

— Ты здорово вырос, Кайрат,— сказал Сагын.— Я не льщу тебе, но ты и в самом деле стал первоклассным специалистом. Поэтому я и хочу, чтоб ты прочитал то, что я вот тут потихоньку накопил за эти годы. Прочитал и высказал мне свои замечания.

И он протянул Кайрату объемистую рукопись.

— Вам... нужны мои замечания? Вам... Саке? — удивился и заволновался Кайрат, но Сагын перебил его:

— Не надо, Кайрат. Не говори лишних слов. Я ведь и вправду здорово отстал от тебя. Так что прошу тебя, отнесись к рукописи со всей строгостью...

— Хорошо, Саке,— согласился Кайрат, провожая его до дверей. И напоследок не удержался, спросил: — А что, Марк Петрович вам пишет с тех пор, как возвратился в Ленинград?

Сагын остановился.

— А ты разве не знаешь, что он недавно умер? — медленно, печально сказал он.

— Нет,— смутился Кайрат под его пронизательным взглядом.— Мы с ним как-то последнее время... не очень ладили...

— Короток век у хороших людей,— вздохнул Сагын.— Вот и получается, что хороший человек не всегда самый счастливый.

«Сагын, Сагын!.. Вот тебя и нет на земле!.. Так скоро, так нелепо все случилось. Инфаркт... недочитанная лекция... Добралась-таки до твоего сердца та немецкая пуля!.. Хорошим ты был человеком, Сагын, и я, да простит меня бог, всегда знал об этом. Любили тебя — весь институт пришел на твои похороны: даже уборщицы, даже сторож дядя Витя... Люди сами пришли, по своей воле... А я, когда я умру, окажется ли на моей могиле хоть один человек, который ИСКРЕННО будет меня оплакивать?.. Может, и да, а скорей всего — нет, Прости меня, Саке, за

все прости... Я знаю, что виноват перед тобой. Да что там виноват — подло, подло я поступил. А ты... у тебя всегда было чистое сердце, и ты сохранил доброе отношение ко мне. Я не случайно говорю «сохранил», потому что любить меня, как прежде, ты все-таки не мог...»

— Э-эх, каким же я псом был, господи!.. — промычал, а скорее простонал Кайрат.

— Что? — переспросил шофер, поворачиваясь к нему.

— Да так, ничего, ничего. Это я про себя, — успокоил его Кайрат.

Впервые в жизни, пожалуй, он так остро ненавидел себя. Гадко было на душе, мерзко... Пройдя в спальню, он, не раздеваясь, бухнулся в постель. Гнусное ощущение того, что именно он виновен в ранней смерти Сагына, не покидало его.

— Обедать будешь? — спросила Камеш.

— Много, очень много народу было там, — невпопад ответил он. — И прекрасную работу он мне оставил. Мне, профессору, и то такую тему вряд ли было бы вытянуть...

— ТЕБЕ оставил? — вдруг зло спросила жена. — И что же ты с ней делать собираешься? Украдешь, как в ТОТ раз!

И Кайрат увидел в ее глазах ненависть.

Он вскочил и хотел по привычке обругать ее, поставить на место. Он даже замахнулся на Камеш, но женщина смело глядела ему в лицо, и он сгорбился, затих, устало опустил на стул.

Кожиков положил трубку. Сейчас у него не было сил говорить. Только теперь он отчетливо понял, что виноват перед Бекеном. За эти три дня он многое вспомнил, заглянул в самые отдаленные уголки своей души. «Что такое человек? — размышлял он. — Утром идет на работу, вечером возвращается домой. Ужин. Газета. Телевизор. И нет у него времени, чтобы понять себя. А может, и время есть, но нет желания? Ему кажется, что все идет правильно, а настоящая жизнь проносится тем временем совсем близко, совсем рядом, но человек уже не в силах заметить ее?.. Кайрат и Сагын. Человек и человек. Два человека, две судьбы. Кто из них прожил счастливую жизнь? Сагын ли, который всю жизнь страдал, но умер, окруженный любящими его людьми, или Кайрат, которо-

го ненавидит даже собственная жена?.. Пусть кто-нибудь попробует ответить на этот вопрос...»

Он мучительно размышлял над тем, когда же он, Кожиков, начинавший жизнь с самыми лучшими намерениями, угодил в сети самодовольной сытости и убийственного равнодушия. И не мог найти ответа. Он думал о могуществе и бессилии человека, он думал о воле и безволии. «Почему так? — спрашивал он себя. — Почему мне не удалось понять окружающих меня людей, почему это привело меня к краху? Почему, почему?..»

— Ерлан, ложись, уже светает, — Саня вышла из спальни, придерживая спадающую с плеч ночную сорочку.

Он посмотрел на жену и перевел взгляд на окно, в которое вливался молочный утренний свет. Он встал и погасил электричество.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ОСЕНЬ

1

Планерка у строителей затянулась, и Искаков возвратился на завод поздно.

— Меня не жди. По дороге яблоки Абылаю завезешь и отправляйся домой, — сказал он шоферу.

Он вошел в кабинет, включил настольную лампу и сел за стол, только теперь почувствовав, как измотался за день. Откинувшись в кресле, вытянул ноги и, не обращая внимания на скопившуюся за день кипу бумаг, невидящим взглядом уставился в стенку. Потом вздохнул и принялся за работу: подписал телеграммы, которые нужно было отправить утром, изучил несколько докладных, которые подали мастера и начальники участков, задумался с карандашом в руках над очередным рационализаторским предложением неугомонного Какена Мукашева.

И тут зазвонил телефон. Он услышал голос сына.

— Папа, вы скоро приедете? Я вас жду...

— Скоро, скоро. Мне уже немножко осталось. Ты яблоки получил? Ты ужинал? Ужинай без меня...

— Я без вас не хочу.

— Ну, тогда яблочко съешь. Ты чем занимаешься?..

— Мы в шахматы с соседским дедушкой играем.

— Я болею за тебя. Ну все. Жди меня, я скоро буду.
В кабинет зашел Потапов.

— Что случилось? Вы почему домой не поехали? — спросил Искаков.

— Да вот по цехам прошелся. И конечно же опять с Какеном поцапался,— Потапов махнул рукой и добавил огорченно: — Разве молодежь нас, стариков, послушает? Все по-своему хотят делать...

— Пантелей Матвеевич, а вы вспомните свою молодость — может быть, тогда вам легче будет понять нынешних ребят,— улыбнулся Искаков.

— И то правда,— сказал Потапов.— Я в молодости горяч был и, помню, даже получил как-то за свой несносный характер хорошую взбучку.

— Даже так? — удивился Искаков.

— Вот именно...— Потапов размяк и с удовольствием пустился в воспоминания: — Я ведь в молодости известный силач был. В деревне жили, так два мешка пшеницы я запросто мог на плечи взвалить. Ну, а потом попал на стройку, и бригадиром у нас был Гуцалов Семен, матрос, он только что с флота демобилизовался. Надоел он мне — то сделай, это, а сделаешь — все не так... В деревне-то я сам парням нашим приказывал... Как-то после работы дождался я его, дорогу ему заступил и говорю: «Будем на кулаках драться до первой крови, как у нас в деревне». Гуцалов на меня посмотрел оценивающе, улыбнулся и остановил прохожего землекопа. Говорит ему, на меня показывая: «Вот он со мной драться хочет; так будь у нас свидетелем, чтоб все было по-честному». И бушлат стягивает. Народу еще прибыло, обступили нас, но меня это не смущало — я в молодости драчуном был, любил на народе драться. Только я это размахнулся, как, глянь,— я уже на земле лежу и надо мной Гуцалов стоит. «Ну,— спрашивает,— будем до первой крови драться или так сойдет?» И народ надо мной хохочет, я аж зубами от злости закрипел. Встал, не отряхнулся даже и прочь отправился. «Уеду, уеду,— думаю,— не пережить мне такой позор». На следующее утро на работу не вышел, стал собирать свои пожитки в мешок, и тут Гуцалов в барак заходит. «Ты почему на работу не вышел?» — «Уезжаю я.» — «Почему?» — «Уезжаю, и все тут... Тебе-то какое дело?» — «А-а, вот что, обиделся»,— сообразил Гуцалов, и знаете, что сделал? Выхватил мой мешок, бросил его на кровать и говорит: «А ведь мы с тобой вчера по-честному»

дрались, и ты первый начал, так зачем же обижаться-то на меня? Не надо тебе уезжать, мы с тобой еще подружимся, и я тебя боксировать научу. А то действительно стыдно — с такой силищей и не смог мне врезать. Вот научу тебя боксу, отлупишь меня, тогда и уезжай куда хочешь...» Ну я расхохотался, с тех пор мы и сделались друзьями... Он потом на повышение пошел, курсы закончил и теперь, я слышал, где-то в Москве живет, персональный пенсионер. Вот так я и получил взбучку, хотя сил у меня в то время действительно было ого-го! — закончил Потапов.

— Да вам и сейчас еще грех жаловаться, — не удержался Исаков, глядя на его огромные натруженные руки, неловко лежащие на столе.

— Ну, сейчас разве можно сравнить, — Потапов достал портсигар и вздохнул: — Ушли, ушли годы, как вода в песок...

В дверь постучали.

— Да, — сказал Исаков, и на пороге появился Семенченко. В нем теперь не узнать было того нагловатого, уверенного в своей правоте человека, который настойчиво требовал еще совсем недавно своего увольнения.

— Бекен Исакович, я хотел бы с вами наедине поговорить, — сказал он, бросив робкий взгляд на Потапова.

— Говорите в присутствии Пантелея Матвеевича, у меня от него секретов нет, — холодно сказал Исаков.

— Ладно, я сейчас, — замялся Семенченко, явно не зная, с чего начать.

— Как работается на новом месте? Люди говорят, на машину уже накопил? — с подковыркой обратился к нему Потапов.

— Оставьте вы ваши шутки! — вспыхнул Семенченко.

— Так это ж не я говорю, это люди говорят, — усмехнулся Потапов. — Вот, говорят, Семенченко от Исакова сбежал, так тут же и разбогател, как принц.

Семенченко, демонстративно не глядя на Потапова, достал из кармана вчетверо сложенный листок, развернул его и положил перед Исаковым.

— Вот я, собственно, за этим и пришел к вам, — с трудом выговорил он, и Исаков заметил, что пальцы его, держащие край бумаги, дрожат. — Я, я... — все мялся Семенченко. — Я хочу возвратиться на завод.

— А больше ты ничего не хочешь? — возмутился Потапов. — Ты, Виктор Николаевич, скажи спасибо Бекену

Искаковичу, что он тебя под суд не отдал — ведь это ты принимал у Кожаква крышу ту проклятую, которая обвалилась. Принял и тут же к нему на теплое местечко упорхнул. Так это или не так?

— Так, — вынужден был признать Семенченко. — Но поймите меня, Бекен Искакович, я без завода не могу, хоть и знаю тяжесть своей вины.

— Ловко у тебя все складывается, — получил квартиру у Кожаква и теперь снова к нам. Так и будешь всю жизнь туда-сюда бегать, да? — сердито сказал Потапов.

— Освобожу я эту квартиру. Если вы меня примете на завод, я готов хоть завтра эту квартиру освободить. Не в квартире дело, я говорю — без завода мне трудно. Я думал, у Кожаква интересно будет, развесил уши, а теперь вижу — все не так.

— Ты, Виктор, инженер и вполне взрослый человек. Инженер! И этим все сказано. Ты нас обманул, и теперь нам трудно тебе поверить. Возьмем тебя, а завтра опять сбежишь. Кто-нибудь опять поманит тебя, и все — опять нету нашего дорогого Семенченко.

— Я говорю вам, что этого не будет. Я многое передумал и обещаю, что теперь ни за что не оставлю завод.

— И давно это вы к таким мыслям пришли? — вступил в разговор Искаков.

— Да почти сразу же понял, что дурака сваял, — признался Семенченко. — Погнался за квартирой, для семьи хотел сделать лучше, а обернулось вон оно как... — сокрушенно сказал он. — Примите меня, Бекен Искакович, и я ручаюсь, что не пожалеете. А квартиру я сдам, не беспокойтесь.

— Да не в квартире дело! — не выдержал Потапов. — А в том, что — правильно говорят — не плюй в колодец, а ты плюнул. Бекен Искакович, — обратился он к Искакову. — Он мне уже давно все уши прожужжал, все назад просится. А теперь понял, что меня уломать не удастся, так к вам явился. Я решительно против того, чтоб принимать его на работу. Пускай трудится в своем тресте, и точка.

Семенченко с надеждой посмотрел на Искакова.

— Бекен Искакович, я одним из первых пришел работать на этот завод.

— И одним из первых его покинули, — ответил Искаков. — Ладно, пока на этом разговор давайте закончим,

Раз мой заместитель против, то и я вас поддерживать не стану. Вот пустим завод, тогда и посмотрим. Ведь так, Пантелей Матвеевич? — обратился Искаков к Потапову.

— Совершенно верно, — сухо сказал Потапов.

— Что ж я, на все готовенькое приду? — горько спросил Семенченко. — Вы хорошо понимаете, Бекен Искакович, что мне совесть не позволит это сделать. Ну что ж, я шел к вам с надеждой, что поймете меня, а вы оба надо мной смеетесь. Может, мне и поделом. До свидания, — Семенченко быстро поднялся и вышел, осторожно притворив за собой дверь.

— Хитрец, продался Кожякову за семьдесят лишних рублей, а теперь о совести заговорил, — пробурчал Потапов.

— За сто, а не за семьдесят, Пантелей Матвеевич, — сказал Искаков, барабаня пальцами по столу.

— Да какая разница — за семьдесят или за сто? — удивился Потапов.

— И теперь согласен потерять эти сто рублей, квартиру согласен отдать, лишь бы снова на завод вернуться, — как бы не слыша его слов, продолжал Искаков.

— А, таким верить! — Потапов махнул рукой и поднялся. — Ну, я побегу — девятый час уже. С этим летуном я совсем забыл — у моего внука сегодня день рождения, заждались меня. Может, со мной пойдете — чайком вас напою, отдохнете, телевизор посмотрим.

— Спасибо, но меня сын ждет, — отказался Искаков.

— А мы и Абылая вашего захватим, — настаивал Потапов.

— Нет, вряд ли получится. Я на днях его в Алма-Ату отправляю, и так он у меня загостился — занятия уже начались в школе.

— Ну, смотрите, — Потапов направился к выходу, но Искаков неожиданно окликнул его:

— Пантелей Матвеевич, а может, все-таки возьмем Семенченко?

— Да за чем он нам, Бекен Искакович? Опять ведь он нас обманет, — остановился Потапов и хотел еще что-то добавить, но, посмотрев на директора, понял, что тот уже принял решение. А при всей своей кажущейся мягкости Искаков своих решений никогда не менял, ибо всегда тщательно взвешивал в уме все «за» и «против» и лишь потом говорил свое вежливое слово.

— Надо дать ему шанс, Пантелей Матвеевич. Каждый человек может споткнуться, и долг другого человека подержать его.

— А что мы людям скажем, если Семенченко вернем? И что они скажут — скажут, беги кто хочешь с завода, Потапов с Исаковым все равно назад возьмут, они добренькие.

— Людям? А людям скажем правду — людям нужно правду говорить, люди наши все понимают. Так и скажем: да, у нас пока плохо на заводе с квартирами, и не всех мы можем обеспечить высокими ставками, но кто хочет у нас работать, тот будет у нас работать.

— Ну, смотрите сами, Бекен Исакович, — недовольно сказал Потапов и ушел.

И сразу же после его ухода раздался телефонный звонок. Исаков снял трубку.

— Кто это? Бекен Исакович?

— Да, Софья Владимировна, — сказал Бекен, узнав голос жены Потапова. — Ваш Пантелей Матвеевич только что вышел.

— По всему заводу я его ищу. Работа давно кончилась, вы с ним вечно до полуночи на заводе торчите! Внук его ждет не дождется, а дед все на завод никак налюбоваться не может, — рассердилась Софья Владимировна.

— Да что вы говорите? — шутливо удивился Исаков. — Неужели до полуночи его дома нету? А мне кажется, что он ровно в шесть, по звонку домой бежит. Бывало, задержу его, так он не соглашается — жена, говорит, у меня строгая...

— Ох и хитрецы же вы мои, — услышался смех Софьи Владимировны. — Ты мне, Бекен Исакович, басни не рассказывай, я ведь жена инженера, чего только в жизни не видела.

— Поздравьте вашего внука, я ему желаю, чтоб он вырос отличным парнем. До свиданья, Софья Владимировна...

— Спасибо, Бекен Исакович...

Исаков положил трубку и удивился: на пороге его кабинета стоял Ерлан Кожак. Небритый, с осунувшимся, измученным лицом, в легкой куртке. Они молча глядели друг на друга.

— Извини, я по старой памяти не постучался, — первым сказал Кожак,

— Проходи, садись,— Искаков, не выказывая особенной радости, указал ему на кресло.

Кожакóв прошелся по кабинету, сел, глядя куда-то в угол.

«Что я могу сделать? — думал Искаков.— Посочувствовать, пожалеть его? Ничего этого ему не нужно. Пусть сам начнет и выскажет свою точку зрения, а подгонять или подстраиваться под его настроение я не стану...»

«Молчит Искаков,— думал меж тем Ерлан.— И правильно делает, что молчит. Все резонно: я сам пришел, как не признать, что есть в нем какая-то неведомая, недоступная мне сила — уравновешенная, спокойная, мощная. И ведь хитрым его не назовешь, он никогда не хитрит, он всегда говорит правду, и говорит ее прямо в лицо». Кожакóв подумал вдруг о том, что он, сугубо деловой человек, всегда спотыкался там, где нужно было хотя бы секунду поразмыслить, прежде чем сделать первый шаг. «Вот почему деловой Кожакóв всегда будет стоять на ступеньку ниже вдумчивого Искакова и всегда будет метаться, не имея возможности подняться до него», — с горечью подумал он и вынул пачку сигарет «Казахстан».

— Закурим? — сказал он.

— Да я только что сигарету бросил. За день знаешь как — дымишь, дымишь, смотришь, целую пачку уже высадил!.. Кончать с куревом нужно.

— Марк Твен говорил — бросить курить легко. Я, говорит, пятьдесят раз бросал, — на лице Кожакóва появилась вымученная невеселая улыбка, и Искаков слегка поддел его:

— Смотри-ка ты, какой начитанный! Глядишь, если еще месяц тебя без работы продержат, ты не то что Марку Твену, Козьме Пруткову по части афоризмов не уступишь...

— Черт с ними, с афоризмами. Я не об этом жалею, — поморщился Кожакóв, но Искаков перебил его:

— Ты жалеешь только о том, что приходится уступать Искакову, так?

— Ты угадал! — вздохнув, сказав Кожакóв.— Но дело тут, к сожалению, не в тебе, а во мне. Я жалею о том, что я такой дурак, Бекен!

— С каких это пор ты так о себе непочтительно высказываешься? — удивился Искаков.

— Дурак! Это точное слово, и других, пожалуй, и не сыщешь... — Кожакóв водил сигаретой по краю пепельницы. — Вот видишь теперь, какая святая персона сидит нын-

че перед тобой? Теперь эта персона способна все понять и может поговорить о своих ошибках... А что, я был очень жесток, Бекен, скажи правду?

Искаков молчал. То ли не хотел перебивать его, то ли считал этот вопрос лишним.

— Почему ты молчишь? Говори, если ты мне друг... Я не обижусь...

— Да, ты был очень жесток. И это, пожалуй, точное определение того, что происходило с тобой в последние годы,— Искакову вдруг стало неловко от своей вынужденной категоричности.— Тебе нужно наконец-то оставить привычку рубить сплеча. Когда-то, может, и это нужно было, но сейчас и время другое, и люди другие. Без доброго сердца, без теплых помыслов человек может легко выдохнуться, потерять себя. И ты близок к этому... И эта нездоровая зависть твоя...— Искаков хотел добавить еще что-то резкое, но усилием воли подавил злость, которая рвалась наружу.

— Крыть мне нечем. Ты прав,— помолчав, сказал Кожак.— Ты говорил мне об этом и раньше, но раньше я твоих слов не мог понять. Мешала, как ты выразился, «нездоровая зависть», все мне казалось, что кто-то обходит меня, подсиживает...

— Ладно, забудем об этом. Мы очень изменились, Ерлан. Гляди, вон голова уже седеет,— провел по волосам Искаков.

— Точно. Вот это и есть самое главное изменение наше,— горько улыбнулся Кожак и вдруг наклонился к Искакову: — Бекен, а ведь я сюда не просто так пришел. У меня к тебе есть одна просьба. Я хочу дней пятнадцать поработать на твоём заводе.

— Что значит поработать? — удивился Искаков.

— Хочу ликвидировать последствия своего же головоутиательства, ну... в цехе готовых изделий.

— Да знаешь, если откровенно говорить, то особой необходимости в этом уже нет. Мы и своими силами справляемся.

— А ты меня не отталкивай, а лучше постарайся понять,— встрепенулся Кожак и тут же сконфузился, сообразив, что снова взял привычный для себя резкий тон.— Пойми меня, мне это нужно.

— Ты на бюро говорил о своем желании?

— Говорил. Не разрешают.

— А почему я должен разрешить?

— Но ведь ты же Искаков. Директор завода Искаков!

— Да, действительно, что-то, а льстить ты умеешь и заставить слушать себя умеешь,— улыбнулся Искаков.

— Так договорились? — Ерлан с надеждой посмотрел на Искакова.— Пойми, мне хочется быть чистым перед своей совестью...

— Тогда — работай,— опять улыбнулся Искаков.— Договорились. А сейчас извини, но мне пора домой. Меня уже Абылай заждался...

Они вышли на улицу и немного постояли на заводском дворе.

— Ерлан, смотри,— Искаков показал на белеющий в темноте девятиэтажный корпус заводоуправления.

— Здорово глядится. Мощное! Бекен, ты не представляешь, как мне невыносимо оставить все это...— вырвалось у Кожакова.

— Почему не представляю? Представляю,— медленно сказал Искаков.— Но признайся, Ерлан, ведь работа выполнена гораздо ниже твоих возможностей, возможностей твоего треста, если выражаться точнее.

— Почему?

— Да потому, что если бы ты с самого начала не упрямился и захотел понять меня, то смог бы найти более красивые плиты для облицовки стен, такие, чтоб глаз радовали...

— Поздно об этом говорить,— единственное, что смог ответить ему Кожак. И вдруг предложил: — Бекен, пошли ко мне? Посидим, потолкуем...

Искаков задумался. Завтра на бюро обкома должны были слушать его отчет о текущей работе завода, и он рассчитывал перед сном еще раз уточнить необходимый круг вопросов, но и Кожак. отказывать не хотелось. Он чувствовал, что тот места себе не находит.

— Поздно,— нерешительно сказал Искаков.— Может, завтра? Не хочется твою семью беспокоить на ночь глядя.

— Пошли, Бекен. Я ведь скоро уеду отсюда,— голос у Кожак. задрожал.

— Куда это ты уедешь? — опешил Искаков.

— Вот об этом я и хочу с тобой потолковать.

— Тогда давай договоримся так,— решил Искаков.— Поедем ко мне, там и потолкуем. Годится?

— Годится. А если и рюмочку мне поднесешь, совсем хорошо будет,— громко засмеялся Кожак, и они сели в дежурную машину.

— Папа, надо держать свое слово,— сердито сказал встретивший их Абылай.

— Прости меня, сынок. Работа есть работа. Поздоровайся с дядей Ерланом.

— Здравствуйте, дядя Ерлан,— сказал мальчик.

— Привет, Абылай! Вон ты уже какой вырос! Настоящий джигит! — Кожиков погладил Абылая по голове.

— Стараемся, дядя Ерлан,— солидно ответил мальчик и тут же захлопотал: — Вы есть хотите? Я сварил на ужин мяса. Будете?

— Еще бы! Мы голодные как волки! Правда, Ерлан? — засмеялся Исаков.— А сам-то ты ел?

— Я ждал, а вас все нету и нету,— сказал мальчик.— Идемте, вместе будем ужинать...

...Абылай вымыл после ужина тарелки и уселся в гостиной перед телевизором.

— Кинорежиссером хочет стать,— сказал Исаков.

— Кинорежиссером? Правильно. Это куда лучше, чем быть инженером. Слава, почет, красивые девушки — чем не жизнь! — хохотнул Кожиков.

— Тише ты,— невольно оглянулся в сторону гостиной Исаков.

— Он кино смотрит, ему там не слышно,— успокоил его Кожиков.

— И куда же это ты собрался уезжать? — спросил Исаков, когда они перешли в его кабинет.

— На родину. На Волгу. Восстановим крышу, и сразу же поеду... — Он задумался.— Пятнадцать лет я уже там не был, а глаза закрою и все вижу — детский дом наш на крутом обрыве, внизу — Волга, мы, бывало, пацанами в жару по целым дням из воды не вылезали...

Скрестив руки, он встал перед окном и задумался...

Он вспомнил, как однажды дежурил в столовой и, после того как все ребята пообедали, наколот дров поварише и попросился на реку. «Иди, да только смотри там поосторожнее», — сказала добрая Марья Васильевна, тетя Маша, потерявшая мужа в самые последние дни войны. И сунула ему в карман кусочек сахару. «Спасибо, тетя Маша...» — «Спасибо скажешь, когда съешь. Ну, беги, беги...»

Он видел сверху, что все его товарищи купаются под присмотром учителя физкультуры, и прокрался вдоль берега, стараясь не попасться им на глаза. Удалившись на значительное расстояние, он вошел в воду и поплыл к ост-

рову, расположенному чуть ли не на самой середине Волги. Он был сильным пловцом, но Волга в этих местах была широкая, быстрая, и он вышел на берег, пошатываясь от усталости. Однако отдыхать не стал, а побежал дальше, к лесу, где упал в высокую траву и замер, тяжело дыша, подставив худое мальчишеское тело солнечным лучам, едва пробивающимся сквозь плотную крону деревьев.

Отдышавшись, он встал, открыл свой тайник под березой и вытащил оттуда две банки рыбных консервов и полбуханки черствого хлеба. Вскрыл перочинным ножом обе банки и жадно набросился на еду. Песок хрустел на его зубах, щеки были вымазаны томатным соком, он вспотел и затравленно озирался по сторонам, как будто опасался, что и здесь, в безлюдном месте, найдется человек, который застанет его за этой преступной трапезой.

Время было послевоенное, несытое, но кормили их в детском доме как могли. Однако воровать съестное стало привычкой Ерлана еще с тех пор, как четверо взрослых детдомовских парней избили его и отобрали мешочек с лепешками и горсточкой черного курта. Было это в тот день, когда Ерлана привезли в детский дом из аула. Он не помнил, кто его привез. Отец у него погиб, мать убило молнией в поле, жил он с бабушкой, но вот и ее не стало. Малыш плакал и ни за что не хотел оставаться в этом чужом доме, среди чужих, незнакомых людей. Он рыдал и цеплялся за полы директорского полушубка, умоляя отправить его назад, к бабушке. В тот же вечер его ограбили, и это унижение надолго определило все его дальнейшее поведение: он приучился лгать, таскать продукты и даже за общим столом ел, загораживая от других свою тарелку и цепко глядя, не лезет ли кто к нему...

Поев, Ерлан отправился на берег и, растянувшись на горячем песке, незаметно задремал, убаюканный сытостью и мерным плеском волжской волны. А когда проснулся, то с ужасом обнаружил, что солнце уже садится и начинается темнеть. «Тетя Маша меня ищет. Думает, наверное, что что-нибудь случилось... Да и ужин, наверное, начался...» — он вскочил и бросился в воду.

Сначала он плыл быстро и уверенно, но ближе к берегу с ним стало твориться что-то страшное. Он чувствовал, как слабеют руки и ноги, его вдруг вырвало, и он, не в силах выгрести, несколько раз хлебнул воды и отчаянно заколотил руками и ногами, чтобы удержаться на поверхности. Холодная и сильная струя стала затягивать

его вниз, и он понял, что не сможет с ней совладать. Он хотел крикнуть, но не смог. Писк, слабый писк, вырвался у него из груди вместо крика. «Я отравился. Я наказан за то, что воровал...» — мелькнуло у него в мозгу, и это было последнее, что он помнил.

Он очнулся в больничной палате. Перед ним сидел высокий плечистый человек с густыми темными усами, директор детдома Аскар Сегизбаевич, которого воспитанники за глаза называли «Макаренко».

Ерлан, увидев его, закутался одеялом с головой и замер, боясь пошевелиться. Но Аскар Сегизбаевич приподнял одеяло.

— Как себя чувствуешь, малыш?

Со страху Ерлан не знал, что и сказать, но, увидев, что «Макаренко» улыбается, пролепетал:

— Ничего...

— Ты знаешь, кто тебя спас?

— Нет...

— Турсын и Нурлан. Из десятого класса... Ты знаешь их?

— Знаю. Поблагодарите их, пожалуйста...

— Они сейчас и сами придут. А ты быстрее выздоравливай,— «Макаренко» погладил его по голове и наклонился к нему: — И еще я тебе скажу, мы здесь с тобой одни, и больше этого никто не узнает, что я был на твоём острове, и прошу тебя — никогда больше так не делай. Человек не должен есть скрытно от других людей. Тот, кто ест в одиночку, становится зверем. Ты понял меня?

Ерлан заплакал.

— Глупенький...— Аскар Сегизбаевич опять провел ладонью по его голове.

— Ты о чем задумался, Ерлан? — окликнул его Искаков.

— Да так,— усмехнулся Кожиков.— Хотел тебе рассказать один случай из детства, но передумал. Я ведь о другом хотел с тобой поговорить. Я устал, Бекен. Знал бы ты, как я устал. В молодости я был уверен, что меня хватит на все. Мнил себя самым умным, самым выносливым человеком. Человеком, который никогда не допустит ошибки.

— Ошибаться не зазорно. Я не верю, что есть люди, которые никогда не ошибаются. Мне, наоборот, кажется —

грех, если человек ни разу в жизни не ошибся. Вот такие-то чаще всего и приобретают комплекс духовной неполноценности, — последние слова Исакаков сказал по-русски.

— Но ты же никогда не ошибаешься?

— Я? — Исакаков встал и подошел к нему. — Это ты так думаешь, а знал бы ты, как у меня иной раз на душе тяжело. Я часто плыву против течения, и меня иногда тоже заносит... совсем в другую сторону... Мне кажется, что главное — это вовремя понять свою ошибку и не цепляться за нее, не ставить себя в позу, когда на одном берегу ты, а на другом — весь мир. Ты понимаешь меня?

Кожачков кивнул.

— Понимаю. Но ведь так трудно определить это «во время»...

Исакаков наполнил рюмки. Он чувствовал, что впервые за многие годы Ерлан заговорил с ним начистоту, делится с ним самым сокровенным, и это глубоко трогало его. Но положение у Ерлана было сложное, и ему, Исакакову, трудно было его чем-либо утешить. Поэтому он смолчал в ответ и лишь попросил Кожачкова:

— Ерлан, ты бы позвонил Сании, а то она, наверное, беспокоится...

— Дельный совет! — Кожачков прошел в гостиную и набрал номер своего телефона.

— Сания, ты еще не спишь?

И услышал в ответ испуганный и такой родной голос жены, что на душе у него стало и больно, и радостно от мысли, что есть на земле человек, которому он нужен и в горе, и в радости...

— Ерлан? Ты откуда? Что-нибудь случилось?

— Случилось то, что мы беседуем с Бекеном. Я от него звоню... Он меня коньяком угощает...

— А почему вы к нам не пришли?

— Он не хотел тебя беспокоить. Он же первый интеллигент в Жегысу, — весело проговорил Ерлан, хотя на душе у него скребли кошки.

— Ерлан, я чувствую ты уже выпил? Говори с Бекеном спокойно. Не горячись. Посоветуйся с ним. Может быть, он что-нибудь толковое тебе подскажет.

— Хорошо. Буду холоден как лед. Да и поздно мне уже горячиться...

— Вечно у тебя шуточки...

— Ладно. Иди спать, не жди меня...

Кожиков вернулся в кабинет, покрутил в руках рюмку и неожиданно сказал:

— Бекен, мне не пришлось узнать ласку отца и матери, я тебе рассказывал об этом. Вот почему моя жизнь с самого начала пошла как-то наперекосяк. То есть внешне все выглядело нормально: я закончил школу, поступил в институт, получил диплом, но иногда мне приходила в голову мысль, что я неправильно начал жизнь. Трудно объяснить, но теперь я это знаю точно. Понимаешь, я тут недавно вспомнил историю двух своих земляков. Қайрат и Сагын — они оба родом из нашего аула. Долго рассказывать, но случилось так, что один из них оказался подлецом. Он обокрал своего старшего друга, завладел его работами, сделал своей женой его девушку. Звали и зовут его Қайратом. Так вот, иногда мне кажется, что это не я живу на земле, а какой-то Қайрат влез в мою шкуру и живет вместо меня. Грубый, нахрапистый, не желающий ни с кем считаться! А ведь я другой, и я только теперь осознаю себя настоящего, теперь, когда жизнь так крепко меня прижала. Ты понимаешь, только сейчас я начинаю узнавать, каков он, настоящий Қожаков — тот, что любил музыку, был верным другом, хорошим мужем... А я — настоящий Қожаков и жить должен как настоящий Қожаков. Ведь верно? А иначе жизнь моя становится фальшивкой, что и случилось со мной. Ведь верно? Мне скоро сорок, а я все кажусь себе молодым парнем. Но ведь время с нами не считается — не успеешь оглянуться, как и седина тут как тут. Многие годы все, что я сейчас говорю, казалось мне пустяком, не заслуживающим внимания серьезного человека. Три с половиной года назад, когда мы начинали эту стройку, мне все казалось легким и пустячным. Завод построить? Да раз плюнуть! Подумаешь! Ведь я Қожаков — так я думал, когда мы рыли котлован под фундамент. А теперь я вижу, что жизнь, как и стройка, не делается с налету. Жизнь сложнее любой стройки, и человек всегда должен быть человеком — вот что я понял... Ты слушаешь меня?

Бекен кивнул головой.

— И... и хватит мне болтать, — рассмеялся Ерлан. — Давай-ка лучше выпьем за наши молодые годы...

Они замолчали.

— Бекен, а ты помнишь время, когда мы с тобой не ссорились, а? Помнишь, как мы с тобой загуляли, когда заложили фундамент завода, а? Помнишь?..

— Помню,— улыбнулся Бекен.— Нам с тобой есть что вспомнить, дружище.

— «Главное, ребята, сердцем не стареть»,— тихонько начал Ерлан.

— «Песню, что придумали, до конца допеть»,— подтянул Исаков.

Взяв друг друга за плечи и раскачиваясь, они пели песню своей юности, песню таежных костров и брезентовых палаток, мелодия увела их далеко, в то безоблачное прошлое, когда они тянулись друг к другу, ценили друг друга и думали, что это будет продолжаться вечно,— песня снова объединила их, призывая не расставаться, забыть то дрянное и мелочное, что мешало им понимать друг друга все последние годы.

— За дружбу! За нашу дружбу! За настоящую дружбу! — Исаков поднял рюмку и обнял Кожаква.— За тебя!

Но Кожаква вдруг освободился из его объятий и, закуривая сигарету, сильно побледнел.

— Бекен, слушай меня,— глухо начал он.— Как хочешь, так и поступи: хочешь ударить меня, ударь, но я должен тебе это сказать...— Он сделал паузу и сглотнул застрявший в горле комок: — Я хочу, чтоб ты был в курсе — я знаю, кто писал и пишет на тебя анонимки, кто сочинил ту пакость про вас с Галией. Это дело рук Айткалиева... Я знаю... Я всегда знал, но молчал, таился от тебя и даже... что тут скрывать... даже втайне злорадствовал. Но я... я не могу больше молчать и хочу сказать тебе это. Совесть меня замучила... Не щади меня...

Исаков крепко сжал кулаки и опустил на стул.

— Не щади меня, Бекен,— настойчиво повторил Кожаква.— Ты снова назвал меня другом, я горжусь этим и не хочу, чтобы наши отношения снова начинались с недомолвок. Ты или прости меня, или выгони вон из дому. Я этого заслужил.

— Тише ты, Абылая разбудишь,— сказал Бекен.

— Бекен, ты понимаешь меня? Одно из двух. Или ты простишь меня, или я пропаду совсем. Я не могу жить с таким грузом на совести...

— Я прощаю тебя, Ерлан,— медленно сказал Исаков.— Ты столько дров наломал и столько бед наделал, но я прощаю тебя. И я верю тебе, и я рад, да, рад, что разговор этот все же состоялся между нами, каким бы горьким он ни был...

Какен Мукашев сунул под мышку лист ватмана и попрощался с сослуживцами.

— Опять к Байзакову в цех побежал,— сказала одна из женщин, работавших под его началом.

— Сам хлопот ищет,— отозвалась ее подруга, рассматривая себя в маленькое зеркальце.

— И нам голову заморочил. А поначалу казалось — тихоня...

— Погодите, вот пустят завод, этот тихоня вам еще покажет — сам за двоих тянуть будет и вам не позволит в рабочее время ресницы красить,— поддел их пожилой мужчина в очках, старший конструктор отдела.

— Ладно уж, привести себя в порядок нельзя! — возмущались женщины.

А Какен тем временем зашел в цех и тут же наткнулся на Турсына, разговаривавшего с электриками, среди которых он узнал своих старых знакомых — бородатого Андрея и гитариста Мишу.

— Привет, Турсын,— сказал он.— Опять работу с кадрами проводишь?

— Провожу,— буркнул Турсын.— А ты что? Принес чертежи?

Какен кивнул:

— Принес, идем посмотрим.

Они зашли в еще не оборудованный кабинет Байзакова.

— Ну, показывай свои каракули, великий рационализатор,— шутливо сказал Турсын.

— Наденьте очки, о великий начальник цеха, и позовите вашего коллегу и соперника товарища Кима,— в тон ему ответил Какен.

Турсын нажал кнопку селектора.

— Кима! Мне Кима! Владимир Семенович, это ты, а я не узнал. Это Байзаков. Да ладно, брось ты свои шуточки. Младший Байзаков, Турсын. Зайди, пожалуйста, к нам. Тут Какен пришел с одним предложением.

Он повернулся к Мукашеву и сказал:

— Ты знаешь, что строители уже закончили фундамент под «Хлорайдт»?

— Знаю. Я боялся, что чертежи не успею до этого времени сделать, а они, видишь, как затянули...

— Ну, это, может, тебе и на руку как великому изобретателю, а вообще-то это безобразие. Мы могли бы уже начать монтаж мельницы, а так потеряли несколько дней.

— Нагоним,— сказал Мукашев и развернул чертеж.

Байзаков заинтересованно склонился над ватманом.

— Привет, добры молодцы! О чем шушукаетесь? — вошедший Ким хлопнул Байзакова по плечу.

— Смотри, что придумал наш Какен,— Турсын ткнул в чертеж.— Новая методика крепления мельниц. С учетом специфики нашего оборудования...

— Здорово! Значит, технический переворот? — Ким засмеялся, не скрывая радости.— Надо этот чертеж обсудить на ближайшей планерке. Вдруг Исаков будет против.

— С чего это ему быть против? — встрепенулся Какен.

— Может, он считает, что монтаж нужно позже начинать. Тем более, что документация из Москвы пока еще не поступила. Может, там разработана другая методика?

— Монтаж нужно начинать немедленно, если мы хотим работать по нашему новому графику и сдать наш объект в срок. Поэтому Исаков никак не может быть против! — горячился Какен.— А что нет вестей из Москвы — это тоже неправда. Устная договоренность достигнута, принципиальное согласие мы получили, и это документально оформлено, так что не нужно думать, будто все еще может повернуться по-старому и кто-то может не разрешить нам поэтапную сдачу завода.

— Погоди, что ты так завелся? — остановил его Ким.— Я разве говорю, что нужно работать по-старому? Ты, значит, или не понял меня, или сам с собой споришь. Я говорю о твоём конкретном предложении, о том, что его нужно всесторонне обсудить.

— Вот мы и обсуждаем. Я, например, считаю, что это — классическое решение вопроса,— Турсын Байзаков старался говорить как можно увереннее.— И нам нужно доказать это на планерке.

— А если Рожков, если Потапов, Исаков будут против, что тогда? — Ким повернулся к Турсыну.

— Да что ты заладил — «против» да «против». Нам поручили эту работу, и никто ее за нас не выполнит. Если ты считаешь, что я не прав, предлагай свое решение. Но только тем временем пройдет еще двадцать дней и полностью закончится наладка всей технологической линии. Ты соображаешь это?

— Ладно, соображаю, не кипятись, говорю же я тебе...— Киму не понравился запальчивый тон Какена, и он снова уткнулся в чертеж.— Интересно, за сколько дней выполнят монтаж англичане? — вдруг спросил он.

— За тридцать восемь дней,— сказал Байзаков.

— Да. А мы имеем возможность сделать все за месяц. За тридцать дней. Вот расчеты,— торжествующе заявил Мукашев.

— Все о рекордах мечтаешь? — усмехнулся Ким.— Был уже у нас один рекордсмен, крыша у него в цехе провалилась. Не забыл?

— Я не халтуру предлагаю, а дело! — запальчиво сказал Какен.— И, чтобы узнать свои возможности, человек должен рисковать!..

— То есть для торжества реализма он должен иногда ударяться в фантастику? Диалектика жизни доказывает это! Я правильно понял ваш постулат, мыслитель? — шутливо обратился к нему Турсын, желая шуткой снять возникшее было напряжение.

Инженеры засмеялись.

— Шеф идет,— вдруг шепнул Байзаков и принял озабоченный вид.

Какен и Ким тоже притихли.

— Привет, ребята...— Искаков поздоровался со всеми за руку.— Что это тут у вас? Секретное сепаратное совещание?

— Какие от вас могут быть секреты,— смутился Ким.— Вот Какен предложил тут одну очень интересную штуку. Если будет от вас разрешение, завтра вечером начнем монтаж мельницы.

— Вот чертеж,— сказал Турсын.

Искаков посмотрел чертеж, но ничего не сказал. И на лице его ничего не отразилось, хотя молодые инженеры внимательно смотрели на директора, сгорая от жажды тут же узнать его мнение.

— Что ж, через два часа планерка, там все и доложите,— сказал наконец Искаков.— А мы, старики, подумаем, что с вами делать.— Он подмигнул сопровождавшему его Поталову.

Какен облегченно вздохнул, поняв, что его предложение явно пришлося директору по душе, раз он принялсь шутить.

— Ну что, Пантелей Матвеевич, поджимает нас молодежь,— сказал Искаков Потапову, когда они вышли из цеха.

— Молодцы, ребята! — искренне сказал Потапов. — Я на них гляжу и, честное слово, сам моложе становлюсь. Хочется и самому что-нибудь придумать, доказать, что есть еще и у нас порох в пороховницах, как говорится.

Закончилась планерка, и Турсын с Какеном сели в дежурную машину. На сиденьях дремали уставшие за смену монтажники. Бородатый Андрей похрапывал на плече своей подруги.

— Эй, кончай свои рулады,— ткнул его в бок гитарист Миша.

— Не трогай его, пускай он отдохнет,— заступилась за Андрея Жанна.

— Он так все на свете проспит... Приехали,— сказал Миша.

Автобус остановился у общежития. Бородач вскочил и, вызвав дружный смех, спросонок толкнулся в закрытую дверь.

— Не смейтесь над ним, видите, устал человек,— рассердилась Жанна.

— Ну, до завтра,— Какен подал Турсыну руку, но Байзаков остановил его:

— Пойдем ко мне. Ты давно у нас не был.

— Поздно, и перед твоими неудобно. Скажут, явился на ночь глядя...

— Ничего, нам все равно завтра рано утром на работу вставать.

— Мне неудобно.

— Слушай, что я тебе говорю...

Турсын открыл дверь своим ключом и пропустил Какена вперед.

— Турсын, это ты? — услышал он из кухни голос матери.

— Да, мама, это я.

— Папа тоже только что вернулся. Быстрее мой руки, и садимся за стол.

— А я не один. Со мной Какен.

— Какен к нам пришел? Молодец! — Мать вышла в коридор. — Здравствуй, Какен! Здравствуй, дорогой!

— Здравствуйте, Амина-апай..

— Давненько я тебя не видела, прощаая ты душа...— Амина-апай опять ушла хлопотать на кухне, а Какена охватило непонятное волнение, и на душе у него стало тепло и радостно. Так всегда бывало с ним, когда он чувствовал особенно теплое и заботливое отношение к себе матери Турсына, и когда он затем оставался один, то невольно думал и о своей матери, которую не видел ни разу в жизни. «Человек остро осознает обделенность счастьем лишь тогда, когда видит чужую радость,— думал он.— А когда встречаешься с чужой бедой, твое горе кажется тебе ничтожным...»

Причесываясь у зеркала, он заметил, что щеки у него ввалились, под глазами появились морщинки. Он подвернул воротничок мятой, давно не стиранной рубахи, но и от этого вид не стал лучше.

— Пошли ужинать,— потянул его за рукав Турсын.

— Неудобно как-то...— Какен показал ему несвежий воротничок.— Подумает еще Амина-апай, что я отъявленный неряха.

— Пошли. Она понимает, что мы с работы пришли, а не из театра.

— Папа, добрый вечер,— сказал Турсын отцу.

— Проходите, проходите, бунтари! — Сакен Утебаевич пропустил Какена и усадил его за стол.— Ну как ваша стройка? Бурлит? Все сражается?

— Папа, а в вашем ауле о нашем сражении никаких радостных вестей не слышно? — невинно осведомился Турсын.

Сакен Утебаевич усмехнулся и немного помолчал.

— Ну, о каком ауле ты говоришь — это я понял, а вот какие радостные вести ты имеешь в виду, это уж ты мне, сынок, пожалуйста, объясни...

— Какен, ешь, пока не остыло,— ласково сказала Амина-апай.— Мои мужчины опять сейчас в спор ударятся. Их теперь не остановить.

— Я объясню. Радостная весть — это разрешение на сдачу первой очереди.

— Вам с вашим Исаковым все кажется просто... И вообще не пользуй-ка служебное положение отца в собственных целях,— засмеялся Сакен Утебаевич.— Важные вопросы решаются не на кухне, а там, где это положено.

— Саке, я серьезно говорю — ты дашь ребятам поужи-

нать или мне сразу со стола убрать? Все о заводе да о заводе,— не на шутку рассердилась Амина-апай.

— Мать права,— Сакен Утебаевич подмигнул Какену и Турсыну.— Ну, спокойной ночи. Ужинайте не спеша, а я пойду отдыхать.

— И вот так он всегда,— с досадой сказал Турсын, когда отец ушел.— Я его серьезно спрашиваю, а он все шуточками отделывается.

— Но ведь он прав,— заступилась за мужа Амина-апай.— Ты работаешь на своем месте, а он — на своем. И серьезные вопросы действительно не на кухне решаются.

— Ладно, мама, идите спать, устали, наверное, за день. Мы все за собой уберем.

Амина-апай погладила сына по курчавой голове.

— И когда вы с Какеном наконец жен себе найдете? Я вот уже старуха, глядишь, помру и на ваших свадьбах не погуляю...

— Ай, мама, да какая вы старуха? Вы ж совсем у нас еще молоденькая. Ведь правда, Какен?.. Вот видите, мама, Какен кивает, а наш Какен никогда не соврет.

— Утешаешь мать, а на мой вопрос не ответил. Ну ладно...— Амина-апай засмеялась, поцеловала сына в лоб и ушла.

Турсын пустил горячую воду и принялся мыть посуду. Какен убрал со стола хлеб, вытер клеенку.

— Идем в мою комнату. Немного послушаем музыку да ляжем спать. А то я и на самом деле ужасно устал. И ты, наверное. Выпить бы надо за нашу мельницу, но вставать рано. Ладно уж, в другой раз.

Они, расслабившись, сидели на диване. Какену нравилась комната Турсына — в ней не было ничего лишнего: книжные полки, письменный стол, магнитофон, журнальный столик...

— Хочешь Розу Рымбаеву послушать, а? — спросил Турсын.

— Давай. Но только потише включай, а то поздно уже.

— Приказ понял.

И зазвучал, зазвучал голос любимой певицы Какена, и в голосе том было все — и тоска, и боль, и нежность.

Какен закрыл глаза.

Какен

— Какен! Какен! Да куда же этого бездельника шайтан унес! — вопила Загипа.

Я отложил книгу, которую читал, и побежал на ее зов.

— Где теленок, я тебя спрашиваю? Где он, где он? — кричала осипшая Загипа.

— Как — где? В сарае, где ему еще быть?

— В сарае? Черта с два! Вон он, все молоко у коровы высосал!.. — Она взмахнула кочергой, и по моему лбу потекла теплая липкая кровь.

— Эй, ты что, убить его хочешь! А ну брось сейчас же! — крикнул ворвавшийся на кухню дядя Марлен.

Но Загипа, не обращая на него внимания, ударила меня по спине, и я, задыхаясь, упал.

— Что он тебе сделал? Ты что, совсем озверела? — Дядя Марлен вырвал у нее из рук кочергу.

— А ты не кричи на меня, — наступала на него Загипа. — Я его вырастила, я его и прибую, если нужно будет. И не тарашь на меня глаза. Будьте прокляты оба с вашим племянничком!..

— Теленок корову высосал, так теперь из-за этого мальчишку убивать нужно? — взъярился дядя.

— Этот твой мальчишка даже и не подумает о том, что живет в нашем доме и ест наш хлеб. Ничего делать не хочет, и ты ему в этом потакаешь, — не унималась Загипа.

— Ох, дождешься ты у меня, Загипа! — Дядя Марлен тяжело посмотрел на свою жену, но она в ответ лишь презрительно расхохоталась.

— Руки коротки! — с вызовом сказала она и, круто повернувшись, вышла на улицу.

Дядя Марлен умыл меня холодной водой, завязал лоб чистой тряпочкой и приласкал. Я не выдержал и заплакал:

— Дядя Марлен, зачем она мучает меня? Скажите ей, чтоб она меня не била. Ведь я все делаю по дому что нужно.

— Сиротинка ты моя, — вздохнул дядя Марлен. — Сирота ты моя. Но что поделаешь, если нам обоим приходится терпеть от этой проклятой бабы? Не могу я с ней совладать, а уйти от нее тоже нету сил. Да и пропадет она без меня, это она на вид такая грозная...

С улицы возвратилась Загипа.

— Кого это вы оплакиваете? — спросила она, подбоченившись. — Уж не меня ли? Может, смерти моей желаете? Так я еще не скоро помру, не надейтесь. А ты, Какен, вместо того чтобы хныкать, сходил бы лучше за водой...

— Да ты же видишь, что не в себе мальчишка... Пошли Арслана, — заступился за меня дядя.

— А чего это я пойду! — занял Арслан, сын Загипы от первого мужа. — Не пойду я, мне уроки учить надо. Какен должен воду возить, пускай он и идет.

— Вот собаки-то! — не удержался дядя. — Что, мать, что сынок! Ни жалости, ни сострадания!..

— А не нравимся мы тебе, так убирайся вон из дома! — прикрикнула Загипа. — Своего сына я и сама как-нибудь на ноги подниму. А еще двух тунеядцев на себе тащить — это уж извини... И не хорохорься, нечего тебе хорохориться!

— Это кто? Я тунеядец? — вскочил дядя, сжав кулаки. — А на чьи деньги ты, спрашивается, живешь?

— Это разве деньги! — расхохоталась Загипа. — Другие люди машины покупают, а ты мне все своими грошами в нос тычешь. Дура я была, что пожалела тебя, инвалида...

— Пожалела ты меня? — недобро спросил дядя, но я вцепился ему в рукав и умоляюще зашептал:

— Дядечка, милый, не надо! Я сам схожу, мне уже лучше. Только не трогайте ее, а то, как в прошлый раз, сами же и виноваты окажетесь.

Я вышел из дома и, погрузив кадку на телегу, отправился к реке. В то лето я перешел в четвертый класс. Каждый раз, приходя на речку, я подолгу сидел на камнях и глядел в воду. Думал о своих родителях. Были бы они живы, не пришлось бы мне терпеть злобные выходки проклятой Загипы. И не пришлось бы пережить к десяти годам столько обид и унижений. Я так долго глядел в воду, что в глазах у меня начало рябить...

— А теперь давай, Какен, послушаем Баха. Папа недавно из Риги набор пластинок привез. «Органная месса» — это прекрасная вещь...

Какен не очень разбирался в классической музыке, но отговаривать друга не стал. Он лишь признался смущенно:

— Я, знаешь ли, не совсем Баха понимаю. Трудно это для меня.

— Видишь ли, к музыке нужно привыкать с детства. Меня мама сначала силком в филармонию водила, а потом я и сам музыку полюбил. Ты знаешь, если бы меня спросили, что самое главное из того, что я получил в родительском доме, я бы ответил — любовь к искусству и жизненную честность.

— А у меня никогда ничего подобного не было, — вдруг вырвалось у Какена.

— Прости, пожалуйста! — Турсын залился краской смущения. — Я не хотел тебя огорчить. Просто мы о музыке заговорили, вот я и вспомнил...

— Не надо просить прощения, — Какен ласково коснулся руки товарища. — Ты в моих бедах не виноват. Это жизнь так рассудила. А жизнь, она ведь знаешь какая...

...Школу я закончил с золотой медалью. Загипа повертела ее в руках, поджала губы и кисло сказала:

— И это называется золото? Что-то не похоже...

— Поздравляю, поздравляю тебя, сынок, — обрадовался дядя и обнял меня.

— А где Арслан? — спросила Загипа.

— Он на вечер остался, — сказал я.

— А ты что же дома сидишь? — встрепенулся дядя. — Пошел бы тоже погулял.

— У меня голова болит, — отговорился я, ушел в другую комнату и бросился на кровать, отвернувшись к стене.

Стыд душил меня. Все мои одноклассники собрали сегодня по десять рублей и теперь веселятся. А у меня денег не было. У меня денег не было никогда. Арслан был старше меня на два года, но мы с ним вместе закончили школу — он дважды оставался на второй год, так вот ему конечно же Загипа вручила десятку да еще поцеловала, наверное, обняла. А попробовал бы я у нее попросить денег, я, Какен! Представляю, какой бы крик она подняла!..

— И чего он так старался, этот Какен? — ворчала за дверью Загипа. — Учился лучше Арслана, а толку что — железку получил?..

Я услышал, как открылась наружная дверь, и в комнату кто-то вошел.

— Здравствуйте, тетя Загипа. Скажите, а Какен дома? — Я узнал голос своей одноклассницы Жанар.

— А, Жанар? Здравствуй, милая, проходи... — В голове Загипы тут же появились лстивые нотки, и я не удивился этому — ведь отец Жанар был депутатом, уважаемым в нашем ауле человеком.

— Спасибо, я за Какеном зашла, его ребята ждут, — сказала Жанар.

— Кто его может ждать? — отмахнулась Загипа. — Он не пойдет — голова, говорит, у него болит.

Я не выдержал и выскочил из комнаты.

— Ничего у меня не болит, — сказал я со злостью. — Захожу — и пойду. Вас больше спрашивать не стану..

— Конечно, Какен. Сходи, погуляй, сынок, — примирительно сказал дядя.

— Никуда он не пойдет! — разъярилась Загипа.

— Какен, так я жду тебя, — Жанар повернулась и вышла, не глядя на Загипу.

— Сейчас выйду! — крикнул я ей вдогонку.

— Нет, вы посмотрите на него! — Загипа всплеснула руками. — Вот и вся его благодарность за то, что мы для него делаем. И такой он всегда! Да убирайся ты вон отсюда! — Загипа бросила в меня щипцы для угля, но промахнулась.

Я зачем-то схватил со стола медаль, сунул ее в карман, и выскочил на улицу. Мне было отчаянно стыдно перед Жанар, и стыд этот наконец-то пробудил дремавшую во мне обиду. Я понял, что никогда больше не стану подчиняться этой злобной, тощей как жердь черной женщине.

Жанар ждала меня за калиткой.

— Пошли, тебя и правда наши ребята ждут.

— Куда пошли? — растерялся я.

— На вечер — куда? Ты что, забыл, что у нас сегодня вечер?

Мне снова стало тоскливо. Я посмотрел на нее, и она опустила взгляд. Десять лет мы проучились вместе, но впервые стояли рядом.

— Я на вечер не пойду, — резко ответил я.

— Почему? — удивилась Жанар.

— Ты прекрасно знаешь почему. Потому что я не вносил десять рублей.

— Глупый, господи, да о чем ты говоришь! — Жанар замахала на меня руками. — Мы давно внесли за тебя эти деньги.

— Кто внес? — спросил я.

— Ну, я внесла, — помолчав, призналась Жанар. — Но ты не подумай чего-нибудь! — вспыхнула она. — Это мне мама посоветовала!..

— Я и не думаю ничего. Но на вечер я не пойду. И не уговаривай меня.

— Мы посидим немного и уйдем, — сказала Жанар.

— Нет, я не пойду, и кончен об этом разговор, — я отвернулся и зашагал в другую сторону.

Жанар догнала меня.

— Какен, — тихонько сказала она, — тогда давай мы с тобой договоримся так. Ты меня проводишь, я там немного побуду, а ты меня подождешь, раз тебе не хочется видеться с ребятами. Договорились, ладно?

Я молча кивнул ей. Жанар зашла в школу, а я остался на улице, в душной июньской ночи.

Я долго прохаживался в ожидании Жанар, но ее все не было и не было. Откуда-то дунул свежий чистый ветерок, повеяло прохладой от нашего озера, на берегу которого стояла школа. Я, крадучись, заглянул в окошко и увидел, что все ребята и девушки сидят за столом. Из распахнутой форточки доносились звуки громкой музыки, веселые шутки, поздравления. Жанар тоже было весело — я понял это по ее раскрасневшемуся лицу.

Стиснув зубы, я медленно направился к озеру, сел на валун и, прислушиваясь к ленивому плеску волны, закрыл глаза. С новой силой чувствовал я свое одиночество, свое сиротство, и никогда мне не было так горько от мыслей об этом. «Я одинок. Я сирота. Мне не к кому обратиться. Мне нигде нет пристанища», — твердил я самому себе.

Послышались чьи-то шаги, и я открыл глаза. Волны, шипя, откатывались от берега, и вода серебрилась под лунным сиянием. Я оглянулся. Ко мне шла Жанар.

— Ты почему меня не дождался? — с укором спросила она, сбрасывая туфли-лодочки.

— Я ждал, — промямлил я.

— Разве так ждуть! — фыркнула Жанар. Она зашла в воду и остановилась.

Я во все глаза смотрел на нее. Она подняла руки и по-детски потянулась. Легкое короткое платье облегалo ее стройную фигуру, и я впервые понял то, что раньше

было для меня недоступным. Что это озеро создано не для того, чтобы томиться на берегу, предаваясь самым мрачным мыслям, а для того, чтобы беспечно радоваться жизни, красоте, вот так раскинуть руки навстречу лунному сиянию. В классе ребята частенько шушукались о каких-то там своих чувствах, писали записки девочкам, но все это оставалось для меня тайной за семью печатями. Больше того, я равнодушно относился к первым влюбленностям своих товарищей, даже посмеивался над ними. И лишь теперь, впервые, в самом дальнем уголке моего сердца что-то сдвинулось, зашевелилось и постепенно обрело звучание — глухой и мерный стук. Я разделся и побежал к озеру. Я бежал навстречу ветру, навстречу луне, навстречу Жанар. Я чувствовал, что сейчас я самый сильный человек на свете. Брызгаясь водой, падая и снова поднимаясь, я бросился в воду и поплыл.

— Какен, я тоже буду купаться! — услышал я голос Жанар.

Мы плыли вместе вдоль серебряной лунной дорожки, мы плыли долго, насколько хватило наших сил, а потом перевернулись на спину, чтобы отдохнуть.

— Ой, вода какая теплая! — Жанар откинула длинные волосы.

Мы поплыли к берегу. И, только нащупав ногами дно, я понял, что впервые в своей жизни взял за руку девушку. Я отдернул руку, и Жанар засмеялась.

— Отвернись, — приказала она. — Я вылезу.

Я отвернулся, но, не выдержав, искоса глянул через плечо. По песку бежала нагая Жанар, и я невольно залюбовался ею, одновременно с ужасом думая о том, что она заметит это и рассердится на меня.

Но она уже набросила платье и кричала мне с берега:

— Какен, выходи скорее, а то замерзнешь!..

И на душе у меня стало так радостно, что я забыл обо всем скверном, что ждало меня в доме ненавистной тетки. Я стал совсем другим человеком. Именно в ту секунду я стал совсем другим. Жанар веселая, открытая Жанар всегда умела настоять на своем, и даже самые озорные ребята побаивались ее острого язычка. И вот теперь такая девушка сама пригласила меня на вечер, сама пошла за мной к озеру, — мне, угрюмому и замкнутому парню, было от чего потерять голову.

— Смотри, что я принесла, — сказала Жанар, когда я оделся,

— Что это?

— Вино. Хочешь немного?

— Хочу. Я никогда не пил вина,— признался я.

— А я один раз пила. Вот столечко,— Жанар показала мизинец и засмеялась.— В девятом классе...

Мы уселись на валун, где еще совсем недавно я был так несчастлив и одинок. Жанар вынула из сумки стаканы, она позаботилась и о том, чтобы приготовить мне бутерброды, достала и кусок вкусной лепешки.

— Ну, выпьем за тебя, за твою золотую медаль, Какен! Я не хочу, чтоб ты в этот важный для всех нас день чувствовал себя одиноким...— Она чуть-чуть отхлебнула из стакана и протянула его мне: — Выпей, сегодня можно...

До самого рассвета ходили мы с ней по берегу. И о чем только не успели переговорить,— мне казалось, я ни с кем в жизни не был столь откровенен, как с ней, тогда, в эту душную июньскую ночь на берегу нашего озера.

— Как хочешь, а я не люблю тетю Загипу,— вдруг сказала Жанар.— Это подло — постоянно заставлять тебя работать, в то время как ее Арслан бьет баклуши. Какен, а почему дядя тебя не защитит? Ведь он же родной брат твоего отца? Неужели он не может помочь тебе?

Я молчал. Я и сам не знал, почему забрала над моим дядей власть сердитая Загипа, которую он ежедневно проклинает, но все-таки живет с ней. Да и теперь, после стольких лет, могу лишь вздохнуть: «Жизнь — сложная штука, и есть в ней такие вещи, которые понимают только двое, а остальным этого не дано».

— Прости, если я тебя расстроила... — Жанар погладила меня по руке. — Какен, ты куда собрался поступать?

— Я хочу в политехнический, в Алма-Ату. А ты куда?

— Я пока не знаю. Нет, вернее — знаю, но тебе не скажу. Это пока тайна.

— Да-а... Хитрая, а меня заставила проболтаться.

— Ты парень, ты первым должен был сказать...— засмеялась Жанар.

Больше мы с той ночи не виделись. Мы поклялись писать друг другу и первое время выполняли обещанное. Но через два года Жанар вышла замуж, и переписка сама собой прекратилась. И вот теперь я снова получил от нее письмо, оно лежит у меня на сердце, а сердце мое болит, болит, болит...

— Ну как, нравится музыка? — спросил Турсын.

Какен вздрогнул и повернулся к нему.

— Что? — спросил он.

— Как — что? «Органная месса» Баха. Э, да ты спишь с открытыми глазами. Давай-ка стелиться, а то и на самом деле завтра не проснемся, а завтра денек будет — работы дай боже!

Какен лежал на раскладушке и глядел в потолок. Да, жизнь есть жизнь, и никто не виноват в том, что Какен первый раз в жизни сфотографировался, когда получил паспорт, а пухлый альбом, собранный матерью Турсына, хранит запечатленным каждый миг его беззаботного детства.

— ...Дядя, я хочу поступить в институт. У меня золотая медаль, и это мне будет довольно легко сделать, — сказал я, когда вся семья собралась за столом.

— В какой институт ты хочешь поступить? — спросил дядя.

— В алма-атинский политехнический. Я хочу быть инженером...

— На следующий год поступишь, а в этом году поедет Арслан. Он у нас старший, а денег у нас нет, чтобы вас обоих отправить. Видишь же, что мы деньги не сеем. Никуда он не денется, твой институт, сам говоришь, что тебе золотая медаль поможет, — сказала Загипа и насмешливо глянула на меня. Она после того бурного вечера, когда я убежал к озеру, что-то попритихла и уже не очень-то распускала руки.

Я посмотрел на дядю. Он молчал, опустив голову и теребя бахрому скатерти. Я посмотрел на Арслана, надеясь, что тот заступится и скажет матери то, что всегда говорил мне: «Чихать я хотел на эти институты-университеты. Мне б армию отслужить да шофером где-нибудь устроиться. Шоферá знаешь как зарабатывают...» Но и Арслан молчал. Я поднялся, положил в сумку фотографию отца, свои книги, документы и вышел из дома, поклявшись в душе, что никогда больше не переступлю его порога. Железнодорожный разъезд был от нашего аула километрах в пяти, но сразу же за околицей меня догнал всадник. Это был мой дядя Марлен.

— Какен, стой, дорогой, обожди... Не обижайся ты ради бога на слова этой дурной бабы. Вот, возьми...— Он протянул мне несколько мятых рублевков и сунул за пазуху лепешку.— Бери коня, оставишь его на разъезде, и пусть обходчик его завтра с кем-нибудь перегонит, скажешь ему...— Дядя обнял меня и заплакал.— И... не сердись на меня. Худо тебе жилось в нашем доме, но что делать — не могу я от нее уйти, жалко мне ее, куда она без меня... Правда, характер у нее не приведи бог! Ну да что делать!

Он подсадил меня на коня и ударил его по крупу. Я ехал, часто оглядываясь на единственного родного человека, оставшегося у меня. Дядя, заслонившись от солнца ладонью, смотрел мне вслед, не вытирая слез, катившихся по морщинистым щекам, а я все дальше и дальше удалялся от родного аула. Куда я ехал? Зачем? Что ждало меня в жизни? Я старался не думать об этом...

Искаков трижды звонил Симбирцеву и никак не мог застать его на месте. Он перевел разговор с Москвой на вечер и заторопился к выходу. Его вызывали в обком партии, и он смутно догадывался, что это, по-видимому, связано со вчерашним звонком от старшего Байзакова. Тот сказал, что бюро на днях освободило Айткалиева от работы в связи со вскрывшимися многочисленными злоупотреблениями, использованием служебного положения в личных целях, создании атмосферы подхалимажа и склоки. «Доигрался Карим,— устало думал Искаков.— Один раз можно проехаться на лжи, другой раз — на подлости. Но, в конце концов, и ложью и подлостью человек сам себе роет могилу. Кожакон понял это, а Айткалиев — нет. И вот сейчас Кожакон, чуть было не лишившись партбилета, пониженный в должности, работает честно и своим отношением к работе заслуживает того, чтобы люди забыли о его промашках, а Карим наверняка снова начнет интриговать, кляузничать, весь белый свет обвинять в своих бедах... Противно все это!»

В дверях он столкнулся с Потаповым. Главный инженер был вне себя.

— Вы смотрите, что у нас творится на заводе, Бекен Искакович,— чуть не плача начал он.— Кайсин, который работает на подъемном кране, принес заявление об увольнении. А у нас сейчас самая горячая пора начинается, и мы без него как без рук. Я его уговариваю, он меня не

слушает, и что мне теперь делать — я прямо ума не приложу... Классный специалист, мы такого в Жетысу не найдем...

— Где он, этот ваш «классный специалист»?

— Тут, в приемной, рвется к вам, хочет от вас увольнения добиться...

— Зовите его сюда...— Искаков глянул на часы.— А, черт побери, все равно уже опоздал,— выругался он.

Высокий крепкий бритоголовый казах прошел и без приглашения уселся на стул, с вызовом глядя на Искакова.

— Здравствуй, директор,— сказал он.

— Здравствуйте,— сказал Искаков. Этого человека он видел на стройке, но разговаривал с ним впервые.

— Я хочу уволиться, а этот старик кричит на меня,— кивнул рабочий в сторону Потапова.— Где есть такой закон, чтобы не увольнять? Хочу уволиться, значит, увольняй, значит, мне так надо! Нет, не понимает!.. Подпишите мое заявление, и я пойду!..

— Как вас зовут? — Искаков с интересом наблюдал за ним. Ему нравились такие вот дерзкие, умеющие постоять за себя люди.

— Имя мое тут написано,— кивнул Кайсин на заявление.— Да и незачем вам мое имя — я все равно у вас работать не буду.

— Раха¹, а почему вы все-таки хотите уволиться? — спросил Искаков, заглянув в заявление.— Вам не нравится у нас на заводе?

— А завод не баба, чтобы нравиться или не нравиться! — отрезал крановщик.

— Может быть, вы успокоитесь и будете говорить, как подобает взрослому человеку, а не как мальчишке-хулигану? — вежливо, но твердо сказал Искаков, которого начал раздражать развязный тон посетителя.

Кайсин смутился и отер пот со лба, понимая, что он и на самом деле хватил лишку.

— Да понимаете, жена у меня из аула... Никак не может привыкнуть к городу. И квартира ее благоустроенная не радует — скотину, говорит, держать негде. Короче,— он опустил голову,— уехала она от меня и детей увезла. Пишет, что на новом месте мне уже и работу подыскала, в совхозе. Отпусти меня, директор, а?

¹ Уважительное обращение.

— Раха, поймите, я вас сейчас уволить никак не могу,— сказал Искаков.— Вы нам сейчас как воздух нужны.

— Завод без меня не пропадет, а там жена плачет.

— А вы ей напишите, объясните...

— Не вернется она сюда. А на сколько мне остаться?

— Я думаю, самое большее на три месяца. Но, конечно, если вы навсегда здесь останетесь, только рады будем... Мы, кстати, скоро начнем выделять рабочим приусадебные участки. Может, это вашу жену заинтересует? Садик разведете, скотину будете держать...

— У-у-у! На три месяца! А вот я помню, когда вы меня в колхоз на уборочную отправляли, так она все три месяца не могла мою зарплату получить. Ходила, пороги обивала, а Ким ей говорит — без доверенности нельзя...

— Надо было доверенность оставить,— сказал Потапов.

— А откуда я знаю, что надо, что не надо? Я Кима спрашивал перед отъездом, он от меня отмахнулся, некогда мне, говорит...

— Я об этом не знал. Надо ей было ко мне зайти,— сказал Искаков, а сам подумал: «Вот они, налицо, все последствия нашего вечного «некогда»...»

— Ну да, вы думаете, до вас легко добраться? — ухмыльнулся Кайсин.— Да у нас и своя гордость есть. Доверенность — это клочок бумаги, да? А если б я помер в этом колхозе? Что ж мне, с того света надо было возвращаться, чтоб доверенность написать? Ух, вы... Законы у вас одни, а сами вы другие. Вот я сейчас понадобился, так сразу и время для меня нашлось, а где тогда все ваше начальство было?

— Раха, вы хоть и не член партии, но я обращаюсь к вам как к коммунисту. Сейчас у нас такое время, что ни один человек отступать не должен, и вы понимаете это не хуже меня. А обидами после сочтемся,— сказал Искаков.

— А ты так не поворачивай дело, директор! И в уставе такого нет, чтобы коммунистам не разрешали с работы увольняться, я тоже грамотный!..— рассердился Кайсин.

— Раха,— устало сказал Искаков,— вот послушай меня. Я в Алма-Ате работал главным энергетиком министерства. Большая квартира у меня там осталась. Жена у меня писала докторскую диссертацию и поехать со мной не смогла. Ты понимаешь меня?

Кайсин кивнул.

— На рассвете я ухожу на работу и возвращаюсь домой поздней ночью. И так — каждый день. И так — три с лишним года. Три с лишним года живу я здесь один. Ты знаешь об этом?

— Знаю, — пробурчал Кайсин. — Об этом у нас все знают, и все вас уважают.

— Когда я приезжаю в Алма-Ату, дочка бросается мне на шею и вместо «папа» кричит «мама»... Но что поделаешь? Ведь это наша стройка. И твоя, и моя, и вон его, — Искаков указал на Пантелея Матвеевича, который внимательно слушал этот диалог, — и десятков, сотен других людей. Я прошу тебя, будь мужчиной, не бросай сейчас стройку... Ты нужен стройке, нужен сейчас!

Кайсин задумался.

— Трудно, пожалуй, будет, — сказал он, глядя в пол.

— Что ж, в таком случае насильно я вас задерживать не стану. Не в моих это правах да и не в моих правилах, если честно говорить. Давайте я вам подпишу заявление, если все, о чем я вам только что говорил, для вас пустой звук... — Искаков встал.

— Ну, тогда так, директор, — Кайсин тоже поднялся. — Я, значит, это... подумаю еще, а в общем-то, может... это, и уговорю свою жену, старикам ее напишу, что участки у нас тут будут и заработки хорошие. А в общем-то, если что, я к вам завтра приду... — С этими словами он вышел из кабинета.

— Замечательный работник, — сказал Потапов. — Хорошо, если бы остался... Черт! — невольно вырвалось у него. — Умеете вы как-то ладить с рабочим классом. Ворвался — молнии метал, а вышел вполне прилично, даже дверь не хлопнул.

— Совесть есть, так останется. А если нет совести, покусай уходит, — коротко сказал Искаков.

3

Турсын Байзаков зашел в не оборудованный еще кабинет начальника цеха и устало опустился в кресло. Взял со стола графин и начал жадно пить теплую воду прямо из горлышка.

Здесь его и нашел взъерошенный, запыхавшийся Ким.

— Здорово, а? — крикнул он. — Семь тридцать! Через полчаса смена начнется, а у нас уже все готово.

— Владимир Семенович, помолчи немножко, хорошо? — Турсын закрыл глаза и вытянул ноги.

— Устал? — тревожно спросил Ким.

— Помолчи, говорю. И сам отдохни. Сядь, посиди...

Ким поудобнее устроился в кресле.

— Хороший все-таки инженер Какен,— задумчиво сказал он.— Не зря мы его с самого начала «рацпредкомом» прозвали. Работает у него голова! Если бы не он, мы бы ни за что сегодня не успели закончить монтаж.

— Талант — одно слово,— отозвался Турсын и вдруг вспомнил: — Ну что, идем к тебе обмывать мельницу, да?

— Эй, да ты же только что совсем засыпал? — удивился Ким.— Может, разойдемся по домам, отдохнем, а уж потом гульнем как следует?

— А не надо было тогда ночью хвастаться, что если вовремя закончим, то ты всех угощаешь,— назидательно сказал Турсын.

— Что ж, я не против,— засмеялся Ким.— Давай Мукашева дождемся, как он решит, так и поступим. Он ведь у нас теперь главная голова. Где он, кстати?

— Наверное, у мельницы все торчит, никак на нее налюбоваться не может...

В кабинете появился Рожков. Турсын вскочил и отработовал по-военному:

— Сергей Владимирович, разрешите доложить. Ровно в семь тридцать утра закончен монтаж мельницы «Хло-райдт». Монтаж занял тридцать дней, использовалась методика, предложенная нашим инженером Какеном Мукашевым, восходящей звездой советской технической мысли.

Рожков недоверчиво оглядел их, хмыкнул и быстро вышел из кабинета. Ким и Байзаков отправились вслед за ним.

В цехе, где монтировалась мельница, было шумно. Молодежь все никак не могла угомониться. Группа молодых рабочих окружила Какена. Другие сгрудились около Миши, который перебирал струны своей гитары.

...Этот День Победы

Порохом пропах.

Это праздник

С сединою на висках.

Это радость

Со слезами на глазах.

День Победы! День Победы! День Победы!

— Ну, молодцы! Молодцы, ничего не скажешь,— Рожков придирчиво осмотрел мельницу и развел руками.— Молодцы — одно слово! Молодец, Какен!

— Ровно за тридцать дней сделали.— Ким подмигнул Турсыну.— Рекорд!

— Хорошо, ребята, отдыхайте сегодня, а я сам доложу об этом Исакову,— сказал Рожков.

— Да он вроде бы уже на заводе,— сказал подошедший Какен и вдруг заторопился: — Ладно, я пошел, у меня важное дело.

— Вечно у тебя важные дела,— недовольно сказал Ким.— Мы же ночью договорились, что утром устроим, как говорится, завтрак с шампанским?

— Без меня, без меня, я не могу сегодня,— Какен дернул плечом и направился к выходу.

— Вот чудак! — обиделся Ким.

— Оставь его,— тихо сказал Турсын.— Он последнее время не в себе. У него, по-видимому, что-то случилось, да только он скрытный. И гордый. Никому жаловаться не станет.

— Как? У такого тихони и что-то случилось? Не верю! — захотел было Ким, но тут же осекся под укоризненным взглядом Турсына.

Рожков ушел, а Турсын обратил внимание на парня с гитарой.

— Слушай, Миша, а почему ты все время с гитарой ходишь? — спросил он.

— А разве нельзя? — насторожился парень.

— Турсын Сакенович, его гитара выполняет задачи НОТ,— заступилась за гитариста подруга Андрея, Жанна.— Вы же сами говорили на собрании, что нельзя забывать об эстетическом воспитании молодежи.

— Нет, я не против. Пойте, если не устали,— сказал Турсын.

— Кто — мы? Да разве мы устаем когда-нибудь,— похвастался Андрей.— Мы же короли монтажа. Что нам стоит ночь не поспать.

— Молодцы. Всем вам объявим благодарность в приказе. А теперь ступайте по домам, отоспитесь. Даю всем, кто участвовал в монтаже, отгул на один день,— сказал Турсын.

— Ура! — закричали парни, и в это время в цехе погас свет.

— Что это? — Ким с тревогой посмотрел на Турсына.

— «Что, что!» Трансформатор опять! Тьфу! — сплюнул Турсын.— Слушайте, ребята, трансформатор нужно привести в порядок. Сколько раз можно вам говорить? Сейчас же исправьте...

— Черт, придется еще полдня работать,— уныло пробубнил бородатый.

— Да вызови ты аварийную бригаду, а они пусть идут отдыхать, пожалей ты их,— Ким подошел к селектору.— Диспетчерская? Это Ким говорит. Пришлите аварийную... Трансформатор. Да, трансформатор...

— Аварийная в шестом цехе. У вас будет во второй половине дня,— ответили из диспетчерской.

— Что случилось? Почему в цехе темно? — вдруг раздался голос Исакова.— Рожков сказал, вы рекорд поставили, а у вас тут тьма-тьмущая.

— Трансформатор из строя вышел. Наши «короли мон-тажа» никак не могут справиться. В схеме, что ли, напутали? Нужно им помочь,— сказал Турсын.

Исаков напряженно всматривался в полумрак.

— Черта с два вы, инженеры, обойдетесь без нас,— тихонько сказал Андрей, но Исаков услышал его слова.

— Ты так считаешь? А ну-ка держите, ребята! — Он снял пиджак и отдал его кому-то из присутствующих.— А ну пошли, «король»! Посветишь мне.

— Влип наш директор,— прошептал Миша Жанне.— Это же наш Андрей внедрил в трансформатор свое рац-предложение. Там сейчас сам черт ногу сломит. А Андрей из самолюбия ни за что директору не поможет!..

— Но это же нечестно! — возмутилась девушка.— Надо его предупредить.

И тут в цехе снова загорелся свет.

— Во дает директор! — восхитился Миша.

— Эх вы, горе-изобретатели,— засмеялась девушка.

— Да, молодой человек, с таким рацпредложением я тебя поздравить никак не могу,— сказал Исаков Андрею, когда они подошли к рабочим.

— Что-то я там недодумал, Бекен Исакович,— сокрушенно сказал Андрей.

Исаков вытер руки о тряпку, надел пиджак и весело сказал:

— И запомни, если ты — «король», то я — «туз». А за мельницу вам огромное спасибо. Можете идти отдыхать, не задерживайтесь.

— Ура! — закричали парни.

Инженеры и директор стояли у новой мельницы.

— Вот красавица! — Искаков восхищенно смотрел на огромную конструкцию. — Как стойт, а? Красота!.. Потом он повернулся к инженерам: — Турсын, извини, что я говорю об этом сегодня, но запомни, нам нужны инженеры, которые в любой момент могут заменить любого рабочего. С чистюлями, которые держат руки в карманах, лично мне не по пути. Ты понял меня?

— Понял, — Турсын опустил голову.

— Получили мы с тобой свое, — засмеялся Ким, когда Искаков вышел из цеха.

— Да кто же знал, что этот трансформатор нам весь праздник испортит, черт бы его побрал! — выругался Байзаков и, глядя на Кима, тоже засмеялся.

Какен пришел к Турсыну только поздним вечером.

Строки письма прыгали перед глазами Турсына.

«...и я не уверена, что эта операция поможет мне, поэтому хочу, чтоб ты знал — я и в последний свой час буду вспоминать наш аул, наше озеро, серебряную лунную дорожку и тебя, тебя, мой милый. Я не хочу лукавить, мы вряд ли увидимся, но знай, что всю жизнь я любила только тебя, и сейчас, когда дни мои сочтены, я наконец-то осмелилась сказать тебе об этом... Судьба развела нас в разные стороны. Я знаю, что и твоя семейная жизнь не удалась, и клянусь себя за то, что вовремя не решилась на откровенность. Так прощай же, мой милый. Прощай и помни обо мне.

Твоя Жанар».

— Она лежит в легочной клинике, — сказал Какен, — и я должен, обязательно должен поехать к ней. Я... я не знаю, что сделаю. Я буду рядом с ней, я уговорю ее выйти за меня замуж...

— Ты потерял голову, — сказал Турсын. — Если она ждет смерти, разве пойдет она за тебя? И кому нужен этот жест?

— Это не жест. Это — спасение, и для нее, и для меня. Ты не знаешь Жанар, и ты плохо понимаешь меня. Однажды меня обманули, опозорили, и эта рана осталась навсегда. Кровоточащая рана... И — презрение ко всем женщинам. Я не верил в любовь, я не верил ни одной из них...

— Да что с тобой сегодня?

— Это письмо раздирает мне душу. Я давно уже не думал ни о чем, кроме работы. Но сейчас твердо знаю — я должен протянуть ей руку, иначе я всю жизнь буду терзать себя и считать себя виноватым. Мне кажется, если я буду с ней, то все окончится хорошо. Сердце подсказывает мне это. — Какен никогда не говорил так много, и Турсын был удивлен его внезапным красноречием.

— Успокойся. Здесь нет твоей вины. И потом, куда ты собрался, Искаков ни за что не отпустит тебя...

— Отпустит. Он поймет меня. Или я совсем уволюсь, — коротко сказал Какен.

Какен

Когда я узнал, что Жанар вышла замуж, я тоже женился и конечно же думал, что буду счастлив. Все складывалось как нельзя лучше. Мы остались в Алма-Ате. Я — в аспирантуре, моя Шолпан — в НИИ. Профессор Балтагулов перевел меня на свою кафедру, помог получить двухкомнатную квартиру. Все шло хорошо. Все было как в сказке.

Осенью институт командировал меня в Москву. Я впервые увидел Мавзолей, Дворец съездов, Красную площадь. Целыми днями пропадал в Ленинской библиотеке, а откуда ехал в общежитие или шел на почту звонить Шолпан, я скучал по ней и все время о ней думал... Мне удалось быстро закончить работу, и я вернулся в Алма-Ату на три дня раньше. Самолет прилетел ночью, и я, открывая дверь своим ключом, представлял, как сейчас обрадуется моя жена, как засияет, бросившись мне на шею, ведь мы были очень нежны друг с другом.

В прихожей я крикнул, не раздеваясь:

— Шолпан!..

Тягостное молчание было мне ответом. Я открыл дверь и замер на месте.

Шолпан была не одна. Она прикрылась простыней и смотрела на меня расширенными от страха глазами. Я захлопнул дверь и никогда больше не переступал порог этого дома.

Шолпан приходила ко мне в институт. Она плакала, просила прощения, лгала, что у нас будет ребенок, но я не мог с ней разговаривать.

Вскоре я оставил аспирантуру и отправился сюда, в Жетысу, на строительство аккумуляторного завода.

— ...И Жанар несчастна. Она разошлась с мужем. И теперь, когда остались считанные дни ее, я хочу быть с ней вместе.

— Да ведь не спасешь же ты ее от смерти, если же-нишься на ней! — вырвалось у Турсына.

— Не спасу — перед лицом смерти человек бессилен. Но в моих силах сделать счастливыми последние дни и часы ее жизни.

— Человек не может быть счастливым, если он знает о своей близкой смерти. Ты понимаешь? — тяжело посмотрел на него Турсын.

— Я уже говорил тебе — это нужно и мне, и ей. И потом... разве не бывает чудес? Может, она еще выздоровеет? — тихо ответил Какен.

4

— Сергей Владимирович, я прошу вас еще раз съездить на очистные сооружения. Еще раз сами, лично все проверьте.

— Хорошо, Бекен Исакович, сейчас поеду, — сказал Рожков. — Мукашеву я поручил проверить технологическую линию. И ночью все будут работать. Вы не возражаете?

— Возражаю. Что это вы повадились по ночам работать? — улыбнулся Исаков. — Мы не последний день завод строим. Нам еще сила пригодится.

— Выдюжим, Бекен Исакович, — Рожков подмигнул Исакову. — Что уж тут скрывать, ведь сейчас самое главное — доказать высокому начальству правильность нашего выбора. — Он хитро улыбнулся и вдруг выпалил: — И уж тогда я наконец-то женюсь, Бекен Исакович, все решено!..

— Ну, ты даешь! — развеселился Исаков. — Давно, давно тебе пора, небось и невеста уже заждалась. Поди, кроет нашу первую очередь во все корки, а?

— Нет, нас она не ругает. Она все понимает. И ждать она умеет, — сказал Рожков.

— Ну, этому мы, строители, кого хочешь научим — ждать, — Исаков вдруг снова вспомнил Галию, детей, Алма-Ату и родную степь. Словно наяву увидел он своего отца, смелого и чудаковатого старика, любившего по настроению пропустить стаканчик-другой, увидел мать, добрую, тихую, ласковую.

«Только бы сдать первую очередь, а тогда можно и отдохнуть, — подумал он. — Тогда можно взять детей, Га-

дню и отправиться в степь, к старикам — надышаться терпким запахом жусана — полыни, послушать нескончаемые рассказы отца, посмеяться вместе с ним над его давнишними приключениями. И порасспросить его, расспросить о многом...»

«Ну что знаю я, полуграмотный чабан, — начнет при-bedняться отец. — Только пословицы да поговорки...»

Искакову навсегда врезались в память его фразы: «Если кулан упадет в колодец, то и лягушкам не страшно играть его ушами» или: «Если в роду одна стрела останется, выживет род, и пусть у одинокого полон колчан, пропадет одинокий...»

А еще отец замечательно играл на домбре, играл старые, печальные, заунывные мелодии. Он содержал многодетную семью, с утра до поздней ночи ходил за отарой, и от знойного солнца, долгого прищура, безжалостного зимнего ветра лицо его потемнело, ранние морщины глубоко залегли у глаз и рта. Иногда ему хотелось освободиться от этой скучной и постылой жизни, и тогда он выпивал, но и во хмелю никого не обижал, а, наоборот, становился еще более разговорчивым, ласковым...

— Я вам многим обязан, Бекен Искакович, вы меня многому научили, — разоткровенничался вдруг Рожков. — Так что уж вам и быть на нашей свадьбе, как это называется — тамадой, что ли? Я и своей Люде уже об этом сказал.

— И как она, согласилась? — улыбнулся Искаков.

— Что же это, зачем же тогда я женюсь, если жена с самого начала не будет меня слушаться, — обиделся Рожков.

— И то верно, — рассеянно отозвался Искаков, ибо ему захотелось скорей проводить Рожкова, а самому отправиться по цехам. — Ну, жених, — поднялся он, — ступай на передовую. Лирику не оставляй, но пока запрячь ее поглубже, вот сюда, — Искаков прижал ладонь к сердцу.

— Ухожу, ухожу, Бекен Искакович.

Открылась дверь, и в кабинет вошел секретарь обкома Байзаков. Рожков, поздоровавшись с ним, быстро вышел.

— Здравствуйте, Бекен Искакович, — сказал Байзаков и с явной теплотой протянул Искакову руку.

В последнее время их отношения изменились и если не стали дружескими, то появились в них и человеческая терпимость, и взаимоуважение. В этом сдержанном примирении конечно же чувствовалось влияние Симбирцева.

который открыл Сакену Утебаевичу глаза на подлинную сущность внешне строптивного директора. Думая о Симбирцеве, Исаков всегда испытывал волнение, вызванное доброжелательностью этого много повидавшего на своем веку человека, который стал его верным союзником. И то, что среди членов государственной комиссии, которая посетит завод, обязательно будет Симбирцев, успокаивало Исакова, вселяло в него еще бóльшую уверенность в собственной правоте.

— Ну, как дела? — спросил Байзаков, усаживаясь.

— Готовимся к приезду комиссии... И волнуемся конечно же...

— Теперь ты не должен больше волноваться, товарищ Исаков. Оставайся все тем же стальным и несгибаемым джигитом, каким был тогда, когда первый раз ворвался в мой кабинет, — пошутил Байзаков.

— Спасибо, Сакен Утебаевич, за поддержку. Я всегда ждал этого дня, не поверите?

— Почему, верю. Мы тебя раньше мало поддерживали, что уж тут скрывать, но теперь... — Байзаков внимательно посмотрел на Исакова. — Теперь мы не только будем поддерживать тебя, но и станем работать рука об руку.

— А ведь еще совсем недавно, Сакен Утебаевич, я хотел все это бросить к черту и уехать куда глаза глядят, — признался Исаков.

Байзаков, высоко подняв густые брови, с удивлением посмотрел на директора.

— Я серьезно говорю, Сакен Утебаевич, серьезно!.. Если бы не телеграмма из министерства о приезде государственной комиссии, то я даже не знаю, чем бы дело кончилось.

— И неужели ты думаешь, что мы бы тебя отпустили? — скептически спросил Байзаков.

— Отпустили бы, да еще как!.. — Голос Исакова дрогнул. — Некоторые ответственные товарищи об этом только и мечтали, чтоб я с завода ушел...

«Сильный, крепкий ты человек, — подумал Байзаков. — И говоришь ты, как всегда, правду...»

Они сидели по обе стороны стола. Байзаков, прошедший на производстве путь от мастера до главного инженера крупного металлургического завода и лишь сравнительно недавно ставший партийным работником, пытался понять, что именно насторожило его в молодом директоре, почему сразу не установились между ними доверительные

деловые отношения. И думал, что причина заключается в том, что за свою жизнь он навидался таких вот открытых, бескомпромиссных, знающих специалистов. Но многие из них быстро обжигали крылья, становились мягче, осторожнее, начинали лавировать и подчиняться чужой воле. А вот Искаков оказался человеком совсем другой породы, он был сильнее тех, других, и его упорство, подтвержденное результатами дела, не могло теперь не вызывать уважение у секретаря, который на своем опыте познал, что значит руководить крупным заводом.

«Твой Искаков просто выскочка,— говорил он когда-то сыну.— Все его авантюры — это просто желание выделиться».

«Ты не справедлив, папа,— спорил с ним Турсын.— Он продолжает делать то, что начали вы с мамой,— он на своем примере учит меня быть человеком. БЫТЬ, а не казаться...»

«Он за свою самостоятельность еще ответит, ох как ответит!» — не слушал Байзаков сына.

«За наше дело мы все вместе будем отвечать. Неужели ты думаешь, что мы его оставим в беде?.. Мы куда угодно пойдем, но защитим его, добьемся правды...»

«Перестань болтать ерунду!» — Байзаков тогда рассердился так, что жена, зная, что он никогда и ни на кого не повышает голоса, прибежала и стала гладить его по плечу, приговаривая: «Не горячись, отец, зачем ты так?»

«Ты еще ни черта не понимаешь, а туда же суешься. «Правда... правда...» Да что ты знаешь о ней?»

«Я думаю, папа, что правда требует служения, а не службы. Бекен Искакович именно из тех людей, которые требуют от окружающих служения, потому что сами верны своим принципам и от своей веры не отступятся ни на йоту...»

И, когда молодой Байзаков вместе с Искаковым поехал в Москву, Сакен Утебаевич долго был сердит на сына, и он, чувствуя это, даже переселился на некоторое время в заводское общежитие...

— Может, кое-кто был бы рад твоему уходу, не скрою, ты знаешь, о ком я говорю, этот человек уже понес заслуженное наказание. Но что касается лично меня, я тебя с завода не отпустил бы до тех пор, пока не стало бы окончательно ясно, что ты за человек и что ты за специалист. А специалист ты, как выяснилось, замечательный.

Да и человек неплохой, хоть и колючий,— улыбнулся Байзаков.

— Теперь-то уж я и сам не уйду,— сказал Исаков.— Вот достроим завод, тогда видно будет.

— Ну, уж не думай, что мы такого парня запросто выпустим из нашей области. Мы будем драться за тебя! — снова улыбнулся Байзаков.

— Да у меня такие начальники цехов, что любой из них хоть завтра способен заменить меня. И будет работать лучше, чем я. Я за это ручаюсь.

— А я в этом не сомневаюсь,— засмеялся Байзаков.— Тем более, что одного из твоих «начальников», я имею возможность ежедневно лицезреть дома...

Они прошли по заводу, и Байзаков остался доволен увиденным.

— Да, хочу тебе сказать,— вспомнил он, открывая дверцу своей машины.— Завтра вечером из Алма-Аты прилетит Нурболатов, представитель ЦК.

— Кенжеш? Нурболатов?

— А ты разве знаешь его? Это замечательный архитектор, наша гордость.

— Знаю. Мы из одних мест и в одном институте учились. Но, признаться, давненько мы с ним не виделись.

— Вот и повидаетесь заодно. Ну, не волнуйся, Бекен Исакович, до свидания, я думаю, что все будет хорошо...

— Тьфу, тьфу, тьфу, к черту, Сакен Утебаевич,— смеясь, ответил Исаков.

5

В тот вечер он еще долго сидел в своем кабинете. Больше чем кто-либо другой, он ощущал близкую победу, но в душе его до сих пор гнездилась тревога; ожидание чего-то внезапного, неприятного. «Была бы сейчас рядом Галия, милая, единственная, далекая, родная,— в который раз подумал он.— Тогда ничего бы мне не было страшно, все бы тогда стало на свои места...»

Когда он хотел покинуть завод, когда он с обидой думал о людях, которые не верили ни ему, ни будущему его детища, то в эти минуты слабости его удерживала мысль о том, что он не должен возвращаться домой побежденным, чтобы не чувствовать всю оставшуюся жизнь... ну, не тайное злораство, до этого бы Галия никогда не

опустилась, а немой укор жены, ее обиду за годы, напрасно проведенные в разлуке.

— И все-таки как соскучился я по тебе, Галия,— вслух сказал он.

Дверь раскрылась, и на пороге появился взъерошенный, взволнованный Какен Мукашев.

— Что случилось? — встревожился Искаков.— Да проходи ты, садись, рассказывай...

Какен нерешительно прошел в кабинет и сел, низко опустив голову. Искакова озадачило его непонятное поведение, и он подошел к нему поближе:

— Ну говори же, не томи, что у тебя стряслось?

— Бекен Искакович, мне необходим отпуск,— вдруг выпалил Какен, и уже по тому, как он это сказал, чувствовалось, что он понимает всю нелепость своей просьбы, но, видимо, у него нет другого выхода, если он все-таки решил прийти с ней к директору.

Искаков мгновенно почувствовал это.

— Ты что? Какой отпуск, когда решается такое дело? — сердито начал он и тут же подумал, что надо взять более спокойный тон, иначе с молодым инженером не договоришься...

— Бекен Искакович, я вам сейчас все объясню...— попытался вставить Мукашев.

— Не смогу я отпустить тебя, Какен, какие бы обстоятельства ни были у тебя. Давай сначала сдадим первую очередь, а потом, если хочешь, отправлю тебя в самый лучший санаторий. Хочешь — в Крым, хочешь — на Кавказ, куда душа твоя пожелает! Сам тебе билет куплю и чемоданчик твой к самолету поднесу!

— Бекен Искакович, мне очень нужно. Я понимаю, что моя просьба кажется вам дикой, но у меня нет другого выхода,— теперь Какен смело смотрел в лицо Искакову, и директор понял, что он ни за что не отступится, а если ему откажут, то парень пойдет на самые крайние меры, вплоть до увольнения. Но Искакову все еще хотелось смягчить разговор, перевести его на шутку.

— Конечно же, девушка? Угадал?

— Ну, можно сказать, почти угадали...— Какену не понравился тон директора.— Я прошу хотя бы десять дней. Умоляю вас!..

— А если угадал, так разве время сейчас разводить лирику? — снова набросился на него Искаков.— Сейчас

завод надо пускать, об этом только и должен думать настоящий инженер. Лирику на потом оставь, никуда она не денется, твоя лирика.

— Я сейчас должен увидаться с ней. И если вы меня не отпустите, я так уеду.

— То есть что это значит — «так»? Да ты понимаешь ли, что говоришь? Для нас сейчас наступил самый решающий момент, и завод — это наш фронт, а ты задумал в самое тяжелое для нас время уйти с поля боя, — Искаков сел на свое место и долго непонимающе глядел на угрюмого, молчаливого парня, к которому всегда питал самые добрые чувства, ценя в нем деликатность, доброту и недюжинный инженерный талант. «Неужели я в нем ошибся? — думал он. — Вот тебе и тихоня, вот тебе и самый дисциплинированный инженер».

— В самые тяжелые годы революционных боев Ленин не пренебрегал людскими судьбами. Судьбы революции и судьбы его соратников были для него нерасторжимы. И это — правда, это — история, — вдруг сказал Какен.

Искаков неожиданно заинтересовался:

— Ну, и кого же это, по-твоему, отпускал Владимир Ильич ради женщины, для устройства личных дел?

Какен недовольно молчал и кусал губы от злости.

— Дзержинского, например, — выпалил он.

— Так, понятно... — Искаков замолчал, барабаня по столу пальцами.

Какен виновато глядел на директора. Тот глубоко задумался, четко обозначились при свете настольной лампы глубокие морщины на его лбу. И Какену вдруг стало жалко директора, он почувствовал себя подлецом, негодяем, последним человеком. Ведь директор давным-давно не видит свою жену, детей, не знает сна, отдыха, с утра до вечера он тут, на заводе. «Не предавай своего ближнего, Какен, не уезжай, останься со своими. Дождись комиссии, и потом Искаков сам тебя отпустит, тебе об этом и Турсын говорил. Искаков поймет тебя, Какен. Ну, а как тогда быть с Жанар? Вдруг ты больше не увидишь ее?.. Она умирает там и конечно же ждет тебя. И все-таки не смей уезжать, не смей бросать своего дела...» — Какен откашлялся, чтобы сказать о том, что он передумал, но Искаков опередил его:

— Ну, что ты сидишь, иди, я отпускаю тебя. На пять дней. Пока только на пять дней.

— Бекен Искакович, я хотел сказать...

— Я знаю, что ты хочешь сказать, Какен,— прервал его Искаков.— Я знаю, что смог бы убедить тебя не ехать, задавить тебя своим авторитетом. Но я не стану делать этого, я верю в твою порядочность, я верю, что если ты так настойчив, то у тебя действительно есть к тому серьезные причины. Все. Езжай. А сейчас оставь меня...

6

На следующий день он поехал в аэропорт встречать Кенжеша Нурболатова.

На улице было холодно. Стояли последние дни золотой осени, легкий морозец сковал землю, и чувствовалось, что скоро выпадет первый снег. «Интересно, сильно ли изменился Кенжеш? — подумал Искаков.— Он ведь был старше нас. Когда мы только-только поступали в институт, он уже был дипломником».

Он вспомнил, что уже в те годы о Кенжеше, о его блестящих архитектурных способностях писали в газетах — его проект плавательного бассейна получил тогда первую премию на международном конкурсе, и молодой архитектор быстро выдвинулся, был приглашен в Алматы.

Когда Искаков еще работал в министерстве, он много раз собирался позвонить Нурболатову, хотел напомнить о себе, познакомиться поближе, но его удерживала неприятная мысль, что Кенжеш подумает, будто он, Искаков, делает это из-за того высокого поста, который ныне занимает земляк. А еще Бекен вспомнил, как однажды они вместе летели в Семипалатинск. На аэровокзале Кенжеша встречал отец, серьезный, даже мрачноватый старик в железнодорожной форме. Нурболатовы звали Бекена к себе, но он отказался — подвернулась машина, и он напрямик поехал в аул, тоже к отцу, тоже в родной дом.

...Кенжеш первым заметил его и, радостно улыбаясь, протянул крепкую руку:

— Ну, здравствуй, Бекен! Не забыл меня?

Искаков отметил в нем ту же неудержимую силу, ту же открытую сердечность, да и внешне Кенжеш почти не изменился. Может быть, располнел чуть-чуть...

— Это хорошо, что не забыл. Ну, пожалуйста, поехали, показывай мне все...

— Что «все»? — удивился Бекен.

— Завод, что же еще? — Нурболатов удивился его непонятливости.

— А я думал, сначала устроимся, а на завод завтра поедем. Сегодня, наверное, уже поздно, да вы и устали с дороги...

— А когда прилетают москвичи? — спросил Кенжеш.

— Завтра утром, — ответил Исаков.

— Ну, так тем более, сейчас же поехали на завод. А в гостиницу мы всегда успеем, номер ты мне, я надеюсь, забронировал?..

— Конечно же, — обрадовался Исаков, которому и самому до смерти хотелось, чтобы гость как можно быстрее увидел его детище.

Они долго ходили по территории, и Кенжеш придиричливо расспрашивал директора о принципах монтажа технологической линии и попутно вскользь критиковал и проектировщиков, и строителей.

— Надо же, черт возьми, на века строить — красиво, элегантно, — возбужденно говорил он. — Ты меня прости, в этом твоей вины нет, я по профессии, что ли, люблю, чтоб здание было изящное, легкое... Одним словом — красивое.

— Почему нет моей вины? — вздохнул Исаков. — И моя вина тут есть, но до всего руки не доходят.

Когда они стояли во дворе завода, Нурболатов взял Бекена под руку и тихонько сказал:

— А тебя не зря хвалили в Москве. Признаться, я не ожидал таких результатов твоей работы. Меня, знаешь ли, в свое время совершенно неправильно информировали, так что ты уж прости меня...

— За что мне вас прощать? — удивился Исаков.

— Да что ты мне все «выкаешь»? — рассердился Нурболатов. — Разве мы не земляки? Разве мы за это время перестали быть друзьями? Давай говорить на «ты»...

— Годится, — улыбнулся Исаков: — А теперь поехали устраиваться в гостиницу, время и на самом деле позднее...

Они ехали по вечерним улицам, и Исаков, сидевший за рулем, осторожно посматривал на соседа. Ему казалось, что архитектору не очень-то приглянулся их город.

Кенжеш Нурболатов молчал. «Может, осторожничает, обижать меня не хочет»,— подумал Искаков.

— А я ведь здесь никогда не был,— вдруг сказал Кенжеш.— Славный у вас городок, уютный, зеленый, тихий...

«Ну, то, что тихий, это уж ты загнул, друг,— рассмеялся про себя Искаков.— У нас здесь иной раз такие шекспировские страсти разгораются, что хоть садись и драму пиши. А может, пригласить его к себе? — думал он.— Ночь, поужинать ему уже негде. Ладно, приглашу, а там уж пускай сам решает, ехать или не ехать...»

— Ты не хочешь завернуть ко мне? — спросил он.— Чайку попьём, съедим что-нибудь. В гостинице буфет уже наверняка закрыли.

Кенжеш, улыбаясь, повернулся к нему:

— Ты серьезно меня приглашаешь или из вежливости?

— Нет, я это делаю в порядке подхалимажа,— съязвил Искаков, и Кенжеш добродушно рассмеялся:

— В таком случае непременно поедем. Я, как ты знаешь, и секунды без лесты не могу прожить.

— Что ты, я ведь пошутил,— смутился Искаков.

— Разве? — притворно удивился Кенжеш.— А я думал, ты это говоришь, как мы выражались в студенческие годы, «на полном серьезе»...

Искакову все больше нравились его откровенность и лихая прямота. В последние годы он не был особенно избалован дружеским участием и теперь был рад отвести душу в разговорах со старым товарищем.

— Ты прости, но за нами некому ухаживать,— сказал он, когда они вошли в квартиру.— Будем сами хозяйничать.

— Знаю, знаю, что ты живешь отшельником,— Кенжеш стукнул Искакова по плечу.— И об этом наслышан. Давай сами управимся, так даже интереснее будет.

— Тебе кофе или чай? — спросил Искаков.

— Только чай. Я, знаешь ли, уже выпил ту порцию кофе, что отпущена аллахом на человеческую жизнь. Да и ты, наверное, тоже.

— А как смотришь на крепкое?

— Ты будь проще, Бекен, не задавай несерьезных вопросов. Ведь ты же был парень не из робких, боксер, чемпион. Какой же казах не выпьет за встречу?

— Ну, тогда порядок,— рассмеялся Искаков.

И долго еще чаевничали они, вспоминали далекие студенческие годы, друзей, родной Семипалатинск, рассуждали о жизни, спорили... И был это — живой, правдивый, человеческий разговор, который окончательно сблизил их.

За полночь Исаков проводил Нурболатова в гостиницу, она находилась недалеко от дома, и теперь возвращался обратно.

«Я рассказал ему о своем отце, а про его старика и забыл спросить, как он там и что с ним, — крутились у него в голове обрывки их недавнего разговора. — Славный, очень верный товарищ! Побольше бы вот таких умных людей, ведь с ними горы свернуть можно!..»

Зажигая свет в квартире, он вдруг вспомнил о Какене. «Что же все-таки случилось у него? Стыдно, но я ведь даже по-человечески поговорить с парнем не сумел. Редко, но ты срываешься, Исаков, и каждый такой случай потом больно мстит за себя. Завтра нужно вызвать Турсына и расспросить, в чем там дело. Хоть и говорят, что нехорошо в чужие дела лезть, но, может быть, парню какая-нибудь помощь нужна?..»

Кенжеш Нурболатов тоже долго не мог уснуть. Много слышал он об Исакове и плохого и хорошего. Но эта их встреча убедила его, что правы конечно же были те люди, которые открыто поддерживали его, помогали ему во многих его начинаниях. Ведь Исаков не только сильный и упорный человек, он прекрасный организатор, талантливый инженер. Он умеет далеко смотреть и масштабно мыслить. И мыслить категориями правды, только правды. Он уязвим, но честен — за него говорят его дела, и они воочию показывают, на что он способен: за скупыми его ответами виден руководитель немалого масштаба.

Кенжеш искренне радовался успехам товарища, но что-то все же не давало ему покоя. Исаков явно напоминал ему кого-то, но он никак не мог вспомнить, кого именно. Нурболатов встал и закурил сигарету... Железные принципы, хватка, глубокая убежденность, вера в свои силы, выдержка.

И он вдруг чуть не ахнул! Отец! Да, конечно же — отец, старый Нурболат, он самый, своею собственной персоной... Целый вечер сидел Кенжеш и все не мог понять, кого же напоминает ему Исаков. И вот теперь наконец сообразил. Отца! Да, конечно же отца!..

ОТСТУПЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Отец

Старуха легла рано. С зимы еще все что-то свистело да хрипело у нее в груди, и кашляла она непрерывно, и долгие ночи проводила без сна, в стогах и вздохах. Но пришло лето, и она съездила в родной аул, где то ли воздух джайляу выказал свою целебную силу, то ли густой, как мед, кумыс помог, но кашель прекратился, и спала она по ночам так безмятежно и счастливо, как не спала, наверное, со времени своего бесконечно далекого розового девичества.

Однако с наступлением осени, когда потянулись эти промозглые серые дни, болезнь опять пришла, и осторожно царапалась в дверь, и постукивала пустой кленовой веткой в мокрое окно, и старуха постоянно ощущала ее незримое присутствие.

Вот и сейчас она зашла в надсадном кашле, забухала сильно, кашель ей выворачивал всю душу. Она подняла голову, нашарила под подушкой платок, прижала его ко рту, выпрямилась.

Нурболат, оставив на столе раскрытую книгу, бросился к жене:

— Что с тобой?

Голос старика, плотный, басовитый, прозвучал так неожиданно и резко, что женщина вздрогнула. Она лишь глянула на мужа влажными от слез глазами и ничего не ответила — новый приступ кашля щекотал ей горло.

Нурболат принес ей крепкого чаю, но старушка, сделав глоток-другой, вернула ему чашку. Он хотел было допить остатки, но она, удерживая его за руку и мерно покачивая головой, насилу выговорила:

— Не пей... боюсь, что рак у меня.— Она прокашлялась.— Еще заразишься...

— Тыфу, какая чушь, какая глупая старуха,— более чем поспешно возразил Нурболат.— Никакого рака у тебя и в помине нет. Отлежишься, и все пройдет. Ложись, отдыхай!..

И он демонстративно опрокинул чашку в рот, после чего вновь углубился в чтение. Не по годам резвые глаза его быстро скользили по строчкам, но смысл прочитанного вряд ли доходил до сознания. Он украдкой бросал взгляды на старуху, как там она, но старуха лежала недвижно, молча, заснула, видимо, старуха.

Вскоре и он лег, положив одну руку под голову, а вторую, с книгой, выставив вперед, но никак, никак не шло чтение! Нурболат поглядел в потолок. Серый был потолок, потемневший, с желтыми разводами, паутиной по углам. Болеет, все болеет и болеет старушка, и некому, как бывало, присмотреть за домом: чисто вымыть полы, надраить медную посуду, до голубой белизны выбелить стены. Болезнь!

А как ловка и сноровиста была она! Всегда отличалась аккуратностью, опрятна была, как никто, любила уют, чистоту... Да и лет-то ей — сколько ей лет? Совсем немного. Ровно на десять лет он старше ее.

«Может, надо было совсем остаться в ауле,— подумал Нурболат.— Или хотя бы осень там переждать. Зимой и в городе легче дышится...»

И отец, и мать у Нурболата люди были тихие, скромные, без претензий и знатных родственников. Земля рано возвратила их в свое чрево, и они не успели свести сына со многими людьми, в чьих жилах текла их и его родная кровь. Да и время тогда было смутное, неопределенное: кто-то бежал, кто-то догонял... Нурболат ходил тогда в комсомольцах, жил в Красной юрте, но вскоре тоже подался в город. В самом разгаре было тогда строительство Турксиба, и для всех казахов Сарыарки отчаянный крик паровоза казался предвестником того нового, гигантского и небывалого, что железной поступью шло в степь. Там, на этой стройке, он и начал свою взрослую жизнь. Учился. Вступил в партию. Женился. Славные это были годы, и трудные, и яркие. И сил тогда было у Нурболата хоть отбавляй! Казалось, пни он рельс, и толстая сталь треснет пополам. «Какое времечко было, эх!» — Нурболат и не заметил, как невольно вырвалось у него это восклицание.

— Ты что-то сказал? — подняла голову старуха.

— Нет-нет, тебе послышалось,— отказался старик.

— Уа, алла!..— забормотала старуха.

И показалось ему, что она тихо молится. «С каких это пор она верующей стала? — удивился Нурболат.— Что-то раньше я за ней такого не замечал...»

Хлопнула и еще раз хлопнула наружная дверь. Противно ухнула дверная пружина. Топот, лошадиный топот, шарканье, чьи-то громкие голоса — все это в который раз вывело старика из равновесия. Он вскочил с постели и

сердито заходил по комнате. Не было, по его мнению, наказания хуже, чем жить на первом этаже. И дети кричат, и двери хлопают, летом пыль в окна лезет, а зимой холодом тянет от неизменно распахнутой двери в подъезд, и стужа неумолимо ползет, пробирается к ним в комнату. А старикам зачем холод, зачем шум? Да полно, ведают ли это люди? Нет, не знают, пожалуй. Да и знать не хотят. «И почему это мы все так охладели друг к другу? — невольно подумал он. — Карточки раньше были, и за фунтом хлеба в очереди стоять приходилось, а не было ведь ни скандалов, ни мелочных споров. Люди как-то мягче друг к другу относились, внимательнее были, обходительнее... Или, может, печаль и лишения объединяют людей? Хотя... старики всегда ворчат. Всегда им прошлое кажется раем...»

Старушка снова закашлялась, и старик вспомнил аул. Эх, если б пожилы они там еще недельку-другую, может, старушке легче бы стало! Что заставило их вернуться так скоро? Обычное его упрямство, или гордость, или шепетильность, или еще что-то, чему он и сам, наверное, не смог бы дать определения? Но что-то заставило их уехать. Он просто корчился от стыда при мысли, что они расположились в доме у людей, которые им никто, так, седьмая вода на киселе, весьма и весьма отдаленные родственники. Да и кому, скажите вы, приятно каждое утро цепко ловить простодушный взгляд толстой веселой байбише и гадать, не надоели ль ей гости, а вдруг они ей в тягость, а вдруг она ждет не дождется, когда они уберутся к чертовой бабушке, и шепчется об этом по ночам с мужем? В жизни он никогда и ни от кого не брал милостыни и презирал существование с протянутой рукой. Немало ему и горя довелось хлебнуть из-за такой его природы, но что же делать — не любил он благоденствий, не желал быть кому-то обязанным за то или иное добро.

А родственники, зачем на них худое наговаривать? Они приняли их радушно, искренне, как и подобает принимать родных. Хозяйка, бедняжка, уж так старалась, чтоб им было поуютней, чтоб чувствовали они себя как дома, — ни тени недовольства, ни холодного слова... Ничего. А все же не загостились. И на поездку-то эту его старуха уговорила. Сам бы он ни за что с места не стронулся. Но хотелось ей что-нибудь приятное сделать — вот и поехали...

Нурболат и сам не заметил, как задремал, но сон его не был долгим. За стеной вдруг послышались пьяные вопли. И дверь хлопала и хлопала, туда-сюда, туда-сюда. Мужчина и женщина. Голоса их звучали остро, зло.

Нурболат включил ночник и глянул на часы. Половина второго. Он не выдержал и высунулся на площадку:

— У тебя совесть есть или нет? Тебе что, дня не хватает, как тебя там?..

Имя мужчины вертелось у него на языке, но он никак не мог его вспомнить. Знал, что соседи сверху. Вечно у них скандалы, вечно у них крики, вопли, ругань. Вот и сейчас вцепились друг в друга, даже старика им не стыдно, будто его и нет вовсе, будто пустое место стоит в дверях и стыдит их...

— Ты, ты знаешь кто, а? — Мужчина подставил корявый палец чуть ли не к самому носу женщины.

— Ах, ты вон как? — завизжала она и отвесила мужчине, который и без того еле держался на ногах, звонкую пощечину. Джигит, естественно, должен был постоять за свою честь и ухватил свою даму за ондатровый воротник. Жертва рванулась — воротник остался в руках у мужчины.

— Ступай, ступай!.. — Мужчина снова задрал кверху палец.

— Я тебе покажу, я тебе покажу...

Они брызгали друг на друга слюной. Нурболат содрогнулся. И лишь когда мужчина размахнулся, чтобы ударить женщину, не выдержал и крепко сжал его плечо.

— А ну прекрати, я тебе говорю...

Под цепкой хваткой старика мужчина не шелохнулся. Смолоду был старик сложен богатырски — на плечи хоть по два человека сажай. Года согнули его спину, и в груди одышка появилась, но на такого мозгляка его еще хватало.

Разбуженные потасовкой, высыпали на площадку соседи. Поначалу, правда, они лишь повысовывали свои всклокоченные головы, но, увидев, что хулиган уже притих, столпились вокруг, щуря опухшие со сна глаза, позевывая.

— Это что же такое творится?! — зашамкала жена старого Мурсеита и бестолково замахала руками.

Жильцы захохотали.

— Помолчи лучше! — Мурсеит, взбешенный нелепым поведением жены, впихнул ее обратно в квартиру и стал уговаривать мужчину, взяв его за локоть: — Бек, поздно, ступайте, ступайте домой, отдохните!..

— Убери руки! Тебя не спросили, что делать! — крикнул Бек.

Он, похоже, снова начинал заводиться и вполне мог ударить Мурсеита, с которым у него были какие-то свои давние счеты.

— А ну хватит, Бек! — тяжелый бас Нурболата покрыл другие голоса. — Или ты сейчас же идешь домой, или...

И тут, шлепая по ступенькам комнатными тапочками, прибежала сверху дочь скандальной пары, школьница. Маленький мальчик, всхлипывая, цеплялся за юбку сестренки.

Дочь, взяв под руку растрепанную, в пальто нараспашку женщину, осторожно повела ее по лестнице. «Мама, ну мама, ну иди же!» — умоляла она. За ними, размахивая ондатровым воротником, поплелся Бек.

Соседи разошлись, и Нурболат, войдя в комнату, снова услышал кашель старухи. «Господи, все мучается, бедняжка», — вздохнул он.

Вскипятив в маленькой кастрюльке молоко, он бросил в чашку кусок масла и, обжигая руки, принес молоко жене.

— Горячее, — сказала она, разгоняя масло ложечкой. — А что там случилось?

— Да все Бек, сверху который... С женой...

— Пьяный?

— Оба пьяные. Трезвые разве бы шумели? Трезвым им стыдно.

— Бедные! И зачем пьют! Детей бы хоть пожалели!.. Грех ведь...

Она отставила чашку.

— Не хочу больше.

— Пей, тебе ведь это полезно...

— А я больше не хочу, — упрямо сказала старуха. И снова закашлялась.

Старик еще долго не мог заснуть. Во сне он увидел Бека. Громадный, страшный, с длинным кривым ножом,

он кидался на них с Мурсеитом и кричал: «Убью-у! Вы знаете, вы кто?..»

Рассвело. Старушка лежала, сладко посапывая. Он встал, быстро умылся и, взяв с кухонной полки бидон, отправился в магазин за молоком.

В подъезде и во дворе не было ни души. А под деревом что-то валялось. Он подошел, нагнулся — ну точно: ондатровый воротник, который Бек сорвал с пальто своей жены. Нурболат поднял голову. С бековского балкона свисали брюки, чудом державшиеся на перилах. «Одеждой швырялись, пьяницы», — сообразил старик и засунул воротник за пазуху. «На обратном пути отдам, а то не ровен час кто-нибудь чужой подберет», — подумал он.

Молодой кудрявый парень, за которым он обычно занимал очередь, сегодня пришел пораньше и уже покупал молоко. Заметив Нурболата, он махнул ему: давай, мол, и тебе возьму по старой дружбе. Но старик сделал вид, что не видит, и встал в самый хвост очереди. Парень смутился.

— Как старушка ваша? — поинтересовался он, проходя мимо.

— Слава богу. Кашляет, правда, здорово. С зимы как прицепился кашель, так и не отстает, проклятый.

— Вы бы в больницу ее положили, там подлечат.

— Старость... Старость уже подходит. Мне кажется, это от старости все, — сказал Нурболат.

Парень задумался.

— Вы знаете что, приходите к нам. Я вот в этом доме живу. — Он указал на здание рядом с магазином. — А жена у меня врач. Она, если что, и без больницы старушку вашу осмотрит. И если топливо надо — дайте знать. В общем, не стесняйтесь, у меня такие же, как и вы, родители в ауле остались. И тоже одни живут.

Парень улыбнулся и подал старику на прощание руку. Зубы у него были белые, ровные. Улыбка очень шла ему.

-- Спасибо, родной, — улыбнулся и Нурболат. — Насчет старухи спасибо, может, и воспользуемся твоим приглашением. А топливо нам не надо — у нас ведь паровое отопление.

— Надо же, а я и забыл! — Парень хлопнул себя ладонью по лбу. — Так что заходите, не стесняйтесь.

Возвращаясь домой, Нурболат встретил Бека, который сосредоточенно рыскал в зарослях пожухлой акации.

Старик помедлил, наблюдая, что тот будет делать дальше. Заметив Нурболата, мужчина пробормотал нечто отдаленно напоминающее «ассалаумгалеikum» и отвернулся. Старик подумал, что тот смутился, но нет. — выражение лица у мужчины оставалось невозмутимым. «Совсем совесть потерял!» — огорченно подумал Нурболат.

— Агалеikumассалам! — ответил он на приветствие. — Что-то потерял?

— Ай! — отмахнулся Бек. — Воротник этой проклятой бабы, что же еще?..

— Держи! — Нурболат кинул ему воротник. — Держи и больше не теряй.

Бек на радостях и поблагодарить его забыл. «Человека сразу видно, — подумал старик. — Смотрит этот пьянчужка на всех с презрением, а того не ведает, что это он сам пуст... пуст, как его же порожняя бутылка...»

Он хотел крикнуть Беку вслед что-нибудь обидное, но сдержался, вспомнив слова соседа Бекайдера. Тот как-то поучал его с мудрым видом: «В молодости будь горячим, как скакун. А теперь старость подошла, тихо сиди. И что толку от своего крику? Тебя же горлопаном и назовут, вот увидишь!..»

Бекайдер жил в новом, только что отстроенном доме напротив. Нурболат посмотрел на его балкон. Старуха, жена Бекайдера, суетливо развешивала белье. Нурболат поздоровался с ней, но та не ответила. Либо не слышала, либо сделала вид, что не слышит. Старик усмехнулся. «Надо же, подобралась парочка! Видать, и бог иногда ошибается, сводя под одной крышей двух хитрецов...»

Нурболат вдруг непонятно отчего развеселился. То ли небо, прояснившееся сегодня за многие хмурые дни, радовало его, то ли вспоминались ему недавние участливые слова того парня из магазина, но он вдруг почувствовал какую-то легкость на душе, чуть ли не предвкушение праздника.

И ведь не ошибся! Пока он отпирал дверь своим ключом, старуха ему уже что-то кричала. А не успел он войти, как она сунула ему в руки телеграмму.

— Приезжает, приезжает! Пишет, что сегодня будет!

А у нас и холодильник пустой! Баранины надо купить, баранины!..

У него задрожали руки, и он опустил тяжелый бидон к ногам. А потом тоже засуетился. И старики, мгновенно помолодев, стали носиться по дому как угорелые, берясь сразу за одно и за другое. Они почти не слушали друг друга, и со стороны могло показаться, что они ссорятся, Нурболат первым пришел в себя.

— Да что это мы носимся? Давай чай пить, за чаем и обсудим, как все лучше сделать.

— Ну и ну! — промолвила старуха.— За чаем так за чаем.

Но чаевничали они без обычного удовольствия. Нурболат снова и снова читал телеграмму.

— Ты сильно не нервничай,— успокоил он старуху.— Будет он не раньше семи вечера. И времени у нас, слава богу, целый день...— Он не спеша, аккуратно вытер полотенцем густые седеющие усы.

— Мне что интересно, внучонка-то он привезет с собой или нет? Уж и расцеловала бы я его, озорника, отвела бы душу.

— Это ты вечером узнаешь, привезет или не привезет. Дай-ка мне во что мяса купить.

Старуха вынесла ему из кухни черную клеенчатую сумку.

— Зелени взять не забудь. Всякой зелени возьми...

Старик кивнул.

Обычная толчея была на базаре, но за мясом, к счастью, народу стояло немного. Старик придирчиво обошел все прилавки, и баранина, которой торговал какой-то почтенный аксакал, показалась ему более или менее подходящей. Он велел продавцу взвесить целиком всю заднюю ногу. В приличную сумму обошлась старику покупка, но он был рад, что теперь есть чем достойно встретить сына. Не забыл он и о зелени, которую велела ему купить старуха.

Славная бедная старушка! Она и про болезни свои забыла от радости. И почему это сыновья меньше привязаны к родителям, чем, скажем, дочери? Или уж такая натура у джигита — всегда быть в седле, далеко от дома? Вот, казалось бы, простой вопрос, и на него ясного ответа дать не можем, хотя вроде бы сколько прожили на свете: все видели, все познали, и горькое и сладкое, и пло-

хое и доброе, и могилы уж, видать, недолго ждать осталось...

«Эх, а умели думать-то мы, а? — соображал Нурболат. — Было ли время у нас, чтобы копаться в себе, смеять, какие наши поступки оказались верными, а какие — нет. Да если и начнешь рыться в прошлом, так лет эдак в семьдесят, не раньше. Человек ведь, пока живой да здоровый, и значения не придает тому, зачем живет и как живет. Сердце стучит в груди, и ладно. Смерть пока далеко — тоже неплохо. До остального человеку дела нет. Все остальное — блажь, пустые мысли, как многие считают. А от пустых мыслей какой прок?..»

Старик чувствовал, что старуха любит сына куда больше, чем он. В огонь и в воду она готова за сына броситься. И не было бы в этом ничего удивительного, если бы приходился он ей родным сыном, тогда все просто и понятно, а ведь он...

...Когда Нурболат вернулся в том лихом году с фронта, то встретил его лишь соседский парнишка, который и рассказал ему все. Жена, оказывается, умерла еще в прошлом году, а Кенжеша сдали в детдом. Но детдом куда-то переехал, а куда — этого никто из соседей не знал, говорили только, что собрали всех детей, посадили в теплушку и куда-то увезли.

Нурболат навестил могилу жены. Стоял. Курил. Молчал. Слез не было, лишь в горле першило, жгло горло, и он поминутно тер его жесткими пальцами, будто ему не хватало воздуха.

Нанятый по его просьбе мулла начал читать Коран. И лишь тогда вырвались у Нурболата сдавленные рыдания. До самого захода солнца просидел он на кладбище и весь долгий день клял свою злую судьбу: рассказывал покойнице о горестях, выпавших на его долю; об одиночестве, стерегущем его, о сыне, пропавшем бесследно, о ранах, полученных в бою. Никогда больше в жизни он не говорил так долго. Речь его прерывалась слезами, и тогда он сам себе шептал слова утешения.

Переночевал он у муллы, а спозаранок отправился со всем имуществом в управление железной дороги, и всего имущества-то у него было — солдатский вещмешок и трофейная зажигалка.

В управлении теперь работали сплошь другие люди, никого из них Нурболат не знал. И начальник был уже совсем другой, но отнёсся к фронтовику участливо. Так и оказался Нурболат на разъезде в Жанасемее. Здесь старых знакомых нашлось предостаточно, и встретили они Нурболата с распростертыми объятиями. Старшим на разъезде был все тот же плутоватый старичок Хасен, которого Нурболат хорошо знал еще со времен Турксиба. Плутоватый-то плутоватый, а даже заплакал, когда узнал о горестях солдата. Всю ночь говорили они с Хасеном, и воспоминаниям их не было конца. Да разве забудешь все, что было, все, что пережил на войне, все, что видел, о чем думалось в холодном окопе?..

— Сына мне перво-наперво найти нужно,— сказал Нурболат, когда Хасен спросил его о дальнейших видах на жизнь.— И жильё где-то искать, там, в моей квартире, уже другие живут.

— Ну, с жильем мы решим,— сказал Хасен,— мы тебе комнату в бараке дадим. Но ты сначала сына найди, какая тебе жизнь без сына?

Почти два месяца колесил Нурболат по республике. И нашел-таки сына, отыскал аж в Каракалинске. Большой вымахал Кенжеш, уже в пятый класс пошел.

А потом и женился Нурболат. Старуха тогда молодая была, красивая, глаза большие, черные, как у верблюжонка, сама вся легкая, звонкая. Но, несмотря на такую вроде бы легкомысленную внешность, она оказалась женщиной рассудительной, покладистой и, самое главное, доброй. Кенжеша она полюбила сразу и навсегда, как родного сына, ведь своих детей у нее не было, муж погиб на фронте в первый же год войны.

Так что повезло Нурболату с молодой женой. Из барака они вскоре перебрались в отдельную квартиру, и жизнь у них пошла складная, добрая. Жаль только, что больше детей у них не было, и все заботы, весь интерес их жизни сосредоточился теперь на нем, единственном, на Кенжеше.

А вскоре Нурболат вдруг взял да и поступил учиться в железнодорожный техникум. Уже под сорок ему было, когда он наконец получил диплом. И до сих пор он нет-нет да и посмеется, вспомнив, как часто студенты принимали его за преподавателя,— кто бы мог подумать, что этот рослый седеющий мужчина так же, как и они, зеленые

юнцы, робеет перед экзаменаторами, лихорадочно листает конспекты...

— Нурболат, эй!

Кто-то окликнул старика, но он, захваченный воспоминаниями, не понял сначала, откуда голос. Заозирался по сторонам.

— Нуке, да ты что, совсем ослеп?

В открытых дверях пивной, что лепилась у самого выхода с базара, он увидел Сарсена, давнего своего друга, еще с тех, турксибовских, времен.

— Кого я вижу! Сарсен своей собственной персоной! — обрадовался Нурболат.

Они обнялись. Мал ростом был Сарсен, голова его упиралась в грудь Нурболату.

— Ты чего это на старости лет в пивнушке прописался? — пожурил Нурболат приятеля.

— Так ведь пиво — оно доброе. Оно не разбирает, есть у тебя борода или нету, — отшутился Сарсен.

Смолоду он был парень языкастый. «И к старости, значит, человек веселья не растерял», — подумал Нурболат, и они стали рассказывать друг другу о своем житье-бытье.

Сарсен вдруг спохватился:

— А что ж мы это на пороге стоим? Идем пропустим по кружечке-другой, а?

Они нашли свободное местечко недалеко от окошка и заговорили о прошлом, то и дело перебивая друг друга.

— А помнишь...

— А помнишь...

— Я вот иной раз поцапаюсь с детьми и пряником сюда дую, — пояснил Сарсен.

— Тоже хорошо, — невпопад сказал Нурболат.

— Чего уж тут хорошего, — вздохнул Сарсен. — Ты скажи, сын-то тебе часто пишет?

— Сын? Сына я сегодня вечером встречаю. Телеграмму прислал, будет сегодня вечером! — радость звучала в голосе старика.

— Внучонка, значит, сегодня расцелуешь? — позавидовал Сарсен.

— Ну, уж это непременно, — гордясь, подтвердил Нурболат.

Последнее осеннее солнце ласково грело их, и они рас-

слабились, успокоились. Сарсен зевнул, и Нурболат обратил внимание, что он обут в самодельные теплые пимы с галошами.

— Кости болят, спасу нет,— пожаловался Сарсен, перехватив взгляд товарища.

— Постарели мы. Вот и у меня тоже сердце пошаливает...

— Кто сказал «постарели»? — возмутился Сарсен.— Старые волки Турксиба не стареют!..

Нурболат хмыкнул, а Сарсен отхлебнул из высокой кружки.

— Ты из ребят наших кого встречаешь? Я слышал, что вы с Бекайдером соседи?

Нурболат, услышав имя Бекайдера, тут же нахохлился, поскунел, лоб его пошел складками.

— Да, соседи мы,— сухо сказал он.

— Ага, значит, не забывает тебя твой старший станционный смотритель? Поселился на виду у своего бывшего начальства?

— Да пошел он к дьяволу! — отвернулся Нурболат.

— Говорил он мне, что вы аккурат друг против друга живете.— Сарсен сунул в рот папиросу.— Комната, говорит, у него одна, а мы, говорит, со старухой — в двухкомнатной секции. Вдвоем. Это правда?

— Ну и правда. А что здесь удивительного? — Нурболата сильно задела осведомленность товарища, и, помолчав, он все-таки рассердился: — Да, у меня одна комната, а у Бекайдера две, да, я живу в старом доме, а Бекайдер — в новом. Ну и что?

— Да не кипятись ты! — Сарсен вытер слезящиеся глаза.— Что слова? Сказаны, и ветер их унес. Ты лучше вспомни, как мы после полочки в Бийск ездили? Туда ехали — гуляли, назад — тоже гуляли. Свою станцию пропустили, так гуляли!

— Да уж конечно.— Нурболат усмехнулся в усы.— Молодые были, ни бога, ни черта не боялись.

— Бог-то бог, да и сам не будь плох,— развеселился Сарсен.— А Бекайдер вот никогда в наших приключениях не участвовал. Все денежки берег да здоровье. Все наперед чего-то выгадывал, все комбинировал да осматривался. Хитрый, сыч он эдакий!..

— Ладно. Хватит о нем. Допивай пиво, а то идти нужно.

— А то давай еще по одной?..

— Молодежи полно кругом. Не к лицу нам, старикам, среди сопляков в пивнушке торчать.

— Да ладно уж, по одной-то можно еще. Сколько не виделись. Ты сиди, а я тебя обслужу. Как, бывало, Бекайдер начальство обслуживал.

И Сарсен, посмеиваясь, направился к прилавку.

«И зачем это я вдруг взялся охаивать Бекайдера? — терзался между тем Нурболат. — Седина в голове, а туда же... Как баба, за глаза над человеком насмехаюсь...»

Давным-давно, когда Бекайдер еще работал под началом Нурболата, он птицей перед ним порхал и ковром растилался: «Нуреке, Нуреке, вы чуткий и опытный руководитель. Вы для нас отец родной...» Теперь Бекайдер заговаривал с ним при встрече лишь тогда, когда это соответствовало его капризному настроению, а большей частью так это... холодноватенько головой кивнет и дальше шестует, важный и чинный.

«Как же я раньше не разглядел тебя? — думал Нурболат. — Значит, ты уважал меня только за то, что я в свое время был для тебя силой и властью. И столько лет, столько лет ты скрывал свое хмурое, настороженное лицо под любезной, улыбочивой, оживленной маской!.. Всегда соглашался, говорил «да» и кивал головой, как хорошая лошадь, не утрачивающая с годами ни резвости, ни покорности! И ведь ни разу не обнаружил себя другого, нынешнего, настоящего. Непостижимо! А впрочем, есть здесь и моей вины доля, — с неожиданной ясностью понял Нурболат. — Лесть — она кому угодно голову вскружит, и не видно за ней ничего, как за высоким забором леса...»

Неожиданно нахлынувшие печальные эти мысли сильно расстроили его. Он вытащил из нагрудного кармана именные часы, подаренные ему когда-то наркомом за отличную работу. Время близилось к одиннадцати, и он поднялся, чтобы идти домой. Однако перед столиком, светясь широкой улыбкой, уже стоял Сарсен с двумя полными кружками.

— Ну, еще по одной — и по коням. Уж если гуляет старая гвардия Турксиба, так дым стоит коромыслом, — смеялся он.

— Нет, мне пора, друг, — поднялся Нурболат. — Сам понимаешь, сын едет... Да и ты... шел бы лучше домой...

— Будет меня учить-то на старости лет,— подмигнул ему Сарсен.— Выпей лучше пивка.

И они засмеялись.

В аэропорт Нурболат явился часа за два до прибытия самолета. Не мог усидеть дома — маялся, то и дело на часы смотрел, места себе не находил. Да и то сказать — вот уже два с лишним года не видел он Кенжеша. И закрадывалось ему в душу обидное сомнение — никак он не мог поверить, что сын едет просто так, повидать родителей. «Не иначе дела у него здесь какие-то», — думал он.

Сына он заметил сразу, как только пассажиры вышли из самолета. Рослый, широкоплечий, светлый лицом, с густыми вразлет бровями, Кенжеш радостно махал ему из толпы.

«Здоровенный, черт, весь в меня», — отметил Нурболат, но радость его поутихла, когда он увидел, что сын приехал один.

— А невестка где, Нурлаш? — спросил он, не успели они обняться и расцеловаться.

— В Крым я их отправил отдыхать. А сам на месяц в Новосибирск еду, в командировку. Вот решил воскресенье использовать, вас навестить.

— А мать-то совсем с ног сбилась — так ей хочется на внучонка посмотреть. Пора б тебе и с семьей к нам заехать да погостить хорошенько, а то что там — один день, это разве дело?

— Работа, отец, работа. Я сам уже третий год без отпуска.

Они ехали в такси. Знал Нурболат, что работа у сына ответственная и беспокойная. Да ведь и любая работа беспокойная, если отдаешься ей целиком, если всю душу в нее вкладываешь. Кенжеш работал архитектором, причем ведущим архитектором. Про него и в газетах писали, и премию он там какую-то важную получил...

— Как мама, как здоровье ее?

— Хворает, — скупое ответил старик. Хотел было добавить, что рак у нее подозревают, но сдержался. К чему зря расстраивать парня? Может, и чушь все это, что рак. — Кашляет сильно, — пояснил он.

— Простудилась, значит, — сказал сын и тут же высунулся в окошко, разглядывая три новых строящихся дома.

— Все бетон, блоки, коробочки серые,— сказал он.— Все по старинке, стало быть, живем.

— Ну вот ты уехал, кто ж без тебя у нас правильно дом построят,— съязвил старик.

Машина остановилась, и Нурболат сунул шоферу мятую трешку, которую давно уже комкал в руке.

— Ой, отец, я бы заплатил, у меня деньги есть,— вскинулся Кенжеш.

— Да и я пока, слава богу, не нищий. Выходи, гость...

Кенжеш, выбравшись из такси, с любопытством огляделся по сторонам.

— Все как было,— констатировал он и, поворотившись к отцу, тихо сказал: — Я с тобой хочу потолковать насчет заявления. К председателю исполкома ты, конечно, так и не ходил?

— Нет.

— Зря, отец. Ведь ничего тут зазорного нету. Я с ним еще тогда говорил, и он сказал, что ты имеешь полное право на хорошую квартиру—заявление только нужно подать и справки необходимые принести. Взрослый ты человек, а ведешь себя, уж не сердись, как мальчишка.

— А я и есть ну пускай не мальчишка, а молодой вполне человек.— Нурболат шутливо расправил грудь.

— Ай, все б тебе смеяться.

— Я тебе отвечу,— посерьезнел Нурболат.— Ты ведь меня знаешь—сроду я не писал никаких таких заявлений. И никогда ничего не просил... Ведь знаешь, знаешь?..

— Знаю, знаю,— пробормотал сын.

Нурболат замолчал.

А радости старушки не было границ. Она потчевала сына и заставляла его обязательно отведать все, что выставила на дастархане. «Попробуй ломтик... съешь кусочек»,— уговаривала она. Нурболат даже рассердился:

— Да что ты все ему суешь как маленькому!.. Сам знает, что ему съесть.

— Пусть кушает, с дороги устал, поди.

— Ой, мама, да ведь езды-то час всего, ну с подъездами к аэропорту—от силы полтора-два... Но все равно вкусней, чем вы, никто не готовит.

Кенжеш хотел еще плеснуть коньячку в рюмку отца, но мать остановила его:

— Хватит ему, а то плетет невесть что. Да и сердце у него пошаливает...

— Ладно болтать-то,— оборвал ее старик.— Что я, каждый день с сыном встречаюсь?

— Налить, а? — Кенжеш посмотрел на мать, и она усмехнулась.— Нальем еще чуток, верно, а?

— Пойду бульон остужу,— сказала мать и вышла на кухню.

Хлопнула наружная дверь. Еще и еще. Кенжеш заерзал.

— Шумно-то как! Никакого вам покоя. Да и сыро у вас. Старый дом есть старый дом, и никуда от этого не денешься.

Старик молчал.

— Ну не хочешь в исполком идти, так напиши в управление железной дороги. Или, если хочешь, я после Новосибирска заеду и все улажу.

— Незачем все это,— выдавил старик.— Двое нас, и нас двоих эта квартира вполне устраивает.

— Устраивает? — крикнула с кухни старуха.— Чем это она, интересно, тебя устраивает? — Она появилась в дверях с кастрюлей исходящего паром бульона.— Хлоп да хлоп, хлоп да хлоп. Ах, голова гудит. И штукатурка сыплется. А этот, господи, разве ж он кого-нибудь попросит?.. Ему ли в ногах валяться...

— Да не надо в ногах валяться, нужно просто подать заявление, заявление об улучшении жилищных условий... Бекайдер ведь получил квартиру в новом доме, а ты чем хуже?

— Да что ты меня Бекайдером этим коришь? Люди знают, как он квартиру получал... А я так не хочу. И точка. Ты меня понимаешь?

— Понимать-то я понимаю,— резко сказал Кенжеш.— Но тебе и не нужно искать левых путей. Я ж тебе говорю, что практически уже обо всем договорился.

— А я тебя практически об этом не просил,— отрезал старик.

— Да что это такое? — возмутилась старуха.— Мы с тобой всю жизнь проработали. И пенсионеры оба. Что ж мы, права не имеем?

— Правильно мама говорит,— поддержал ее Кенжеш.— Вы, в конце концов, не просите, а требуете. Тре-

буете необходимое, заслуженное. Вот мы, например, втроем четырехкомнатную квартиру занимаем, и разве одни только мы?..

— Да поймешь ли ты наконец,— в ярости крикнул старик,— что вы — это вы, а мы — это мы. Мы наоборот приучены, мы приучены отдавать, а не просить и тем более требовать. И уж если ты так за нас болеешь,— уставился он на сына,— то и бери нас со старухой к себе в Алма-Ату. Что тебе в четырех комнатах делать — скачки с препятствиями устраивать?

Кенжеш опешил.

— А что, переезжайте,— сказал он, покраснев от напряжения.— Давайте вместе жить. Я думаю, Светлана не станет возражать...— И, встав из-за стола, сунул руку в карман и нашарил сигарету.— Я вам давно говорил,— начал было он, но отец прервал его, приказав старухе:

— Неси чай, а мясо свое можешь забрать, наелись.

— Ты слушай, слушай, что тебе говорят.— Старуха собрала посуду и скрылась на кухне.

— Дай-ка и мне сигаретку,— сказал Нурболат, повернувшись к сыну.

Он зажал сигарету в пальцах, чувствуя, как дрожат они.

Кенжеш щелкнул зажигалкой.

— Не надо горячиться, отец,— сказал он.— И не надо думать, что все на свете такие же добрые и справедливые, как ты. Всяких я видал — обнимут тебя и тут же плюнут тебе на порог. Так уж устроено, что в любой компании встречаются всякие люди: есть хорошие, есть и плохие. И часто в жизни получается, что, как говорится, пока умный думает, глупый уже все обстряпал...

— Ты, я вижу, что-то часто стал сыпать поговорками. А не казахи ли раньше ворили: «Один бараний катыш портит целый бурдюк масла». И все беда в том, что есть люди, которые не только не стремятся убрать этот катыш, но и сами в него превращаются и запаха этого уже не замечают...

— Ты кого это имеешь в виду?— вскинулся Кенжеш.

— Не тебя. Пока еще не тебя,— успокоил его Нурболат.

— Почему «пока еще»? — не понял Кенжеш.

— А вот и подумай об этом на досуге,— сказал Нурболат.

А вскоре они легли спать. И все трое долго-долго не могли уснуть.

Старуха сокрушалась: «И что нам с этим упрямым делать? Уперся, как ишак, и все тут...»

«Интересно, поймет он, о чем я ему толковал? Или это уже не имеет для него никакого значения?» — думал Нурболат.

А Кенжеш глядел в темноту широко открытыми глазами. Он вдруг подумал, что его слова, его так называемый «житейский опыт» не случайно наталкиваются на такую плотную стену отцовского сопротивления. «Но ведь не до конца прав и отец,— думал он.— Что-то сомнительное есть и в его, на первый взгляд, совершенно правильных утверждениях? Что? Да помнит ли он, что мама-то ведь и в самом деле, наверное, серьезно больна?..»

С этими мыслями он и заснул. А наутро Нурболат проводил его в аэропорт. О чем-то случайном говорили они, но о ночном разговоре ни тот, ни другой старались не упоминать.

— На обратном пути обязательно заеду,— только и сказал Кенжеш.

— Смотри не обмани,— попросил Нурболат и неловко обнял сына.— И... не обижайся,— тихо добавил он.

Когда Нурболат подошел к своему дому, Бекайдер стоял на балконе, как всегда важный и значительный. Они поздоровались.

— Денек-то сегодня какой! Разыгралась погодка! — веско произнес Бекайдер, шуря большие навывкате глаза и поглядывая на небо.— Солнышко-то какое! Раз в году такой день бывает! И воздух, воздух-то какой! Балкон — это вещь, понимаешь! Балкон — это, можно сказать, настоящее джайляу. Выйдешь утром и дышишь, дышишь. Ах, извини,— якобы спохватился он.— Я и забыл, что вы на первом этаже живете.

— Да, на первом,— вдруг улыбнулся Нурболат.— Но только ты ничего не забыл, и я ничего не забыл, мы оба все хорошо помним, ведь правда?..

Он в упор поглядел на Бекайдера. А тот, не выдержав его прямого насмешливого взгляда, что-то пробормотал и скрылся с балкона.

Старуха спала. Нурболат прислушался к ее тяжелому дыханию, поправил одеяло... Потом он вырвал из тетрадки листок в клетку, сел за стол, вынул авторучку и задумался...

Кенжеш всегда чувствовал какую-то скрытую вину перед отцом. Отец, казалось ему, был выкован из какого-то другого, более крепкого металла, и ему временами становилось больно от этого ощущения. Вот и сейчас что-то ныло в груди, и беспокойно было ему, и долго ворочался он, пока окончательно не заснул. И во сне пришел к нему отец, он стоял около кровати сына и охранял его покой. Отец ласково глядел на него, отец подоткнул ему одеяло, отец разбудил его и подвел к нему оседланного коня. И высоко вознес всадника сказочный тулпар, а где-то там, на земле, остался отец, сгорбленный старик в железно-дорожной шинели, старый Нурболат, который дал ему жизнь.

Сон. Мягкий сон, тихий сон, пушистый сон. Темное осеннее небо долго собирало густые снежные облака, и они наконец разразились первым снегом. Первый снег, первый снег, первый снег, такой же пушистый, как сон, такой же тихий, как сон, такой же мягкий, как сон...

* * *

— Валя, смотри, первый снег,— сказал электрик Миша, стоя у окна. Гитара его висела на стене, и он сегодня не обращал на нее никакого внимания.

— Снег? — Валя закрылась простыней и тоже посмотрела в окно.— Ой, и правда снег! Ура!

— Ты любишь меня? — спросил он.

— Да,— сказала Валя.

— И я тебя люблю. Почему же мы три года боялись друг друга?

— Это не я, это вы меня боялись.

— Не говори мне «вы». Теперь есть только «мы». Ты и я — это мы...

— Первый снег. Я так люблю первый снег...

— И я люблю...

* * *

— Эй, Жанна, вставай, на работу пора,— сказал бородатый Андрей. Он стоял около зеркала и размышлял, не побрить ли ему усы, чтобы борода его приобрела так называемую «шкиперскую» конфигурацию. «А может, и вообще бороду сбрить, надоела? — размышлял он.— Или все-таки оставить, привык я к ней все-таки...»

— Андрей,— сказала Жанна,— послушай меня, Андрей... Мне... мне кажется, что я забеременела.

Она всхлипнула и, близоруко шурясь, подошла к окну, глядя на крыши, покрытые первым снегом.

— Что мне теперь делать? — крикнула она.— Ты ведь теперь, поди, и не захочешь жениться на мне? Заберешь с завода документы — и айда!..

Бородатый только тут вышел из оцепенения, охватившего его при неожиданном известии.

— Ты соображаешь, что ты говоришь? — сердито спросил он.— Я же люблю тебя. И все, конечно! Бросаем здесь якорь, ты родишь мне сына, и мы назовем его Мишкой, в честь моего друга. Годится?

— А вдруг будет дочка? — Жанна вытерла слезы.

— То есть как это дочка? — опешил Андрей и призадумался.— Да, если дочка, тогда над выбором имени придется покорпеть...

Он вдруг открыл форточку и закричал на всю улицу:

— А все-таки мне кажется, что у меня будет сын! Сы-ы-ын!..

* * *

Медсестра вела Какена по бесконечно длинному, петляющему коридору. Она тихонько открыла одну из дверей, поманила его, приложила палец к губам и ушла.

На кровати, разметавшись, спала Жанар. Какен осторожно, стараясь не скрипнуть, присел на табуретку. Открыл портфель. Выложил на тумбочку яблоки, апельсины.

Он смотрел на спящую Жанар. Сколько лет прошло со дня их последней встречи — не хочется даже и думать об этом. Ее тонкое лицо осунулось, шея похудела... Она открыла глаза и слабо вскрикнула, увидев Какена. Ее гла-

за! Глаза, которые всегда глядели нежно и ласково... Ее глаза, образ ее милый, взгляд, который сопровождал его все эти годы...

— Я приехал, Жанар! — Какен приблизился к ее постели.

— Ты... Ты... Это ты, Какен! Я не сплю? — Жанар протянула к нему руки и закашлялась. Капельки пота выступили у нее на лбу. Какен согрел ее пальцы своими ладонями.

Они долго сидели молча и не отрываясь смотрели друг на друга. Двое заблудившихся людей, потерявших друг друга, они встретились только теперь, через много лет, может быть, уже слишком поздно.

Макушки сосен за окном покрылись мохнатыми белыми шапками, а снег все падал и падал... А они все смотрели и смотрели друг на друга.

— Говорят, в эту зиму снега будет много, — сказала Жанар.

— Да, я тоже слышал.

— Операцию отложили на неделю.

— Я знаю. Я все знаю.

— Какен, неужели это последний снег, который я вижу в жизни?

— Жанар, я приехал сказать, что я люблю тебя, и я хочу быть всегда с тобою рядом.

Жанар не ответила. Широко раскрытыми глазами она смотрела на Какена. Может быть, не понимала его? А может быть, ждала этих слов всю свою жизнь?

— Нет, не обманывайся, — наконец сказала она.

— Я не обманываюсь. Я люблю тебя. Это правда.

— Нет.

— Я люблю тебя.

— Нет, нет и нет! Нет, Какен!

— Почему? Ты считаешь, что я обманываю тебя?

— Если б ты обманул меня, я бы простила тебе это... — Жанар закашлялась. — Но ты и себя обманываешь...

— Жанар, почему ты не хочешь понять меня?..

— Потому что я всю жизнь не могла понять себя. Я не могла понять, как это я тогда посмела расстаться с тобой... Какен, дай мне свою руку... И давай смотреть на наш последний снег.

— Это первый снег, первый снег, — бормотал Какен. — Это наш первый с тобою снег, И все еще будет хорошо.

Пронзительный телефонный звонок разбудил Искакова. «Междугородная», — спросонок подумал он и, не раскрывая глаз, взял трубку.

— Здравствуй, это я, — услышал он родной голос.

— Галия! Вот здорово! Вот молодчина! Вот это сюрприз! — Он вскочил с постели.

— Погоди, тебя еще и не такой сюрприз ожидает... — Галия помолчала. — Бекен, я вчера защитила докторскую...

— Когда? — растерялся Бекен.

— Вчера.

— Я не ослышался? Или ты меня разыгрываешь?

— Нет, не ослышался. И розыгрыша здесь никакого нет, хватит нам друг друга разыгрывать, — устало сказала Галия.

— Что ж, поздравляют тебя. Доктор наук Галия Искакова! Звучит!

— Доктором я стану после утверждения в ВАКе, а сейчас я — усталая, вымотанная женщина, которая ужасно соскучилась по своему мужу...

— Галия, я так хотел бы оказаться рядом с тобой, но я не могу — ко мне приехала комиссия...

— Что-то случилось?

— Нет, все в порядке. Мы сдаем первую очередь завода.

— Завтра я буду у тебя.

— Что? — не поверил своим ушам Бекен.

— Завтра. Я завтра приеду, — повторила Галия. — Я хочу видеть тебя, я не могу без тебя...

— Боже мой, знала бы ты, как я рад, что ты едешь... Ты взяла отпуск? Ты надолго ко мне?..

— Не знаю, — сказала Галия. — Это мы решим вместе... И не волнуйся, я думаю, что все будет хорошо. Целую тебя...

«Все будет хорошо», — шептал он, легко и свободно шагая по просыпающимся городским улицам.

...Машина вырвалась за черту города, и он сразу же увидел свой завод: силуэты новых корпусов, стрелы башенных кранов, гигантские мачты ЛЭП. Обгоняя его, мчались по шоссе груженные «МАЗы», проехала дежурная машина, из окна ее кто-то махнул Искакову — не то Потапов, не то Рожков.

И он вдруг понял, что победа, не освященная болью, страданием, потерями,— это еще не победа. Он понял, что наступает тот день, тот миг, когда многое из того, что волновало и заботило его, станет законченным, обретет явь, плоть, уйдет в прошлое, но завтра наступит новый день, новый миг, новое ВРЕМЯ, и время это снова потребует от него предельного напряжения и недюжинных усилий.

«Правда. Борьба. Поиск истины... Это и есть жизнь»,— думал он.

И шел снег, первый снег трудного года.

ПОВЕСТИ



ДНИ ДЕКАБРЯ

Листая свой старый блокнот, я так и не вспомнил, когда, зачем и где записал я эту фразу:

СУХА ТЕОРИЯ, МОЙ ДРУГ, А ДРЕВО ЖИЗНИ ПЫШНО ЗЕЛЕНЕЕТ...

Гёте. «Фауст». Я сунул блокнот в карман и огляделся: народу в огромном зале аэропорта наконец-то поубавилось, опустели кресла, на которых томилась в ожидании своих рейсов уставшие от бесконечного напряжения пассажиры, многие из оставшихся сдвинули кресла, спали сладко, блаженно, как в отчем доме, другие сидя дремали, но было видно, что им снятся хорошие сны, какая-то девушка даже улыбалась...

Я поискал сигареты, вышел на улицу. Паренек, среднего роста в каракулевой шапке вежливо попросил закурить, и я протянул ему пачку.

— Спасибо,— сказал он и добавил нерешительно: — Можно огоньку?

Я вынул зажигалку, но не успел чиркнуть ею, как снова услышал тихое:

— Извините, спасибо...

— Чего сто раз одно и то же повторяешь? Сказал «спасибо», и хватит,— неожиданно упрекнул я его и тут же смутился. Парень внимательно оглядел меня, увидел мое мятое лицо, красные от усталости глаза, серую щетину на подбородке и понимающе усмехнулся:

— Ждать вообще глупо, а уж ждать самолет, жестянку эту, вообще сил нет...

Я промолчал. **СУХА ТЕОРИЯ, МОЙ ДРУГ...** «Расфилософствовался!.. Ждать ему, видите ли, глупо!.. Ждать можно не день, не час, а год, два, всю жизнь... Женись, проживи с женой много лет, народи с ней детей, а потом она тебя не пустит домой ночевать, дверь не откроет, вот тогда ты узнаешь, что означает слово «трагедия»,— зло подумал я и тут же внутренне усмехнулся: — Трагедия?

Какая там, к черту, трагедия!.. Трагикомедия... Фарс... Трагифарс... Раскрась фразу словами всех цветов павлиньего хвоста — ничего в твоём положении не изменится, Арыстан!..»

— Вы, наверное, тоже кого-нибудь ждете? — догадался парень, когда мы возвратились в зал и я присматривался, где бы мне прикорнуть, сжаться, расслабиться хотя бы на часик, на полчаса... Так что слова его не сразу дошли до моего сознания, и он был вынужден повторить: — Ждете кого-нибудь, спрашиваю?

— Дружка провожал, — ответил я хрипло и сам испугался, до чего грубо прозвучал он, обычно мягкий мой голос. Я виновато глянул на парня и понял, что мое поведение ему не нравится: губы у него сжались, брови поползли вверх, но, увидев мое растерянное лицо, он снова радостно улыбнулся и вдруг выпалил:

— А я невесту жду... Два дня аэропорт не принимает...

— Постой, постой, но ведь только что объявили об отправке задержанных рейсов? — удивился я.

— Вот именно, что об отправке, а не о прилете, — уныло сказал пареньек. — А я здесь уже вторые сутки, считай, околачиваюсь, и чем это кончится — неизвестно. Если она до десяти утра не прилетит, надо снова записываться во Дворце бракосочетания, а очередь там три месяца...

— Это куда очередь три месяца? — не поверил я своим ушам.

— Во Дворец бракосочетания. На торжественную регистрацию.

— А вот в наше время не было очередей на регистрацию, — пробормотал я.

— Может, вы еще скажете, что в ваше время вообще не было никаких очередей? — поддел меня пареньек.

...Да, в наше время действительно не было никаких очередей на регистрацию, и благодарение богу, что меня миновала унизительная роль человека, ожидающего очереди на женитьбу. У нас в ауле не то что дворца, простого загса тогда не было, и документ о бракосочетании выдавали прямо в конторе аульного Совета, если мне не изменяет память...

И если мне не изменяет память, тогда, когда я женился, шел как раз областной смотр художественной самодеятельности, и мы поехали в облцентр, и прошла всего лишь неделя после нашей свадьбы.

Прошла всего лишь неделя после нашей свадьбы, и я — режиссер аульного Дома культуры, лицо в округе немало-важное, — решил показать своим землякам наглядный пример цивилизации. Мы погрузили в обшарпанный синенький автобус, который из-за перегрева мотора останавливался каждые пятнадцать километров, четыре табуретки, картину, где невозможно было что-либо разобрать, старый резной сундук и вместе с девятнадцатью актерами я и моя молодая красивая жена отправились в свадебное путешествие. Заведующий клубом, начальник отдела культуры и его вальжжная супруга разместились в легковой машине, и помнится, что я был очень этим обижен, — мне казалось, что куда уместнее было бы посадить в машину нас, молодоженов, ведь это был наш день, наш праздник, а так нам пришлось трястись среди пыльного реквизита до самого областного центра.

«Что может быть святого у этих людей, если они даже такой простой вещи не смогли понять?» — с горечью сказал я жене, когда наш автобус сделал первую остановку и все мы разбрелись по сторонам.

Моя молодая жена с опаской оглянулась — ведь в те времена женщине не то что обниматься, но и стоять на людях рядом с мужем не было принято. Она оглянулась и, быстро чмокнув меня в щеку, сказала: «Не расстраивайся из-за ерунды, самое главное, что мы вместе». И голос ее журчал, чистый и звонкий, как ручей. Удивленный и обрадованный, молча глядел я на нее, а она улыбалась: «Откуда знать им, что мы едем в свадебное путешествие? Ведь они забыли, что сами когда-то были молодыми...» Я опустил перед ней на колени и тихо сказал: «Ты — великая женщина...» — «Встань, встань, вдруг кто-нибудь увидит нас, неудобно...» — испугалась моя жена, но, убедившись, что никого кругом нет, встала на колени рядом со мной и потянулась ко мне красными, как вишня, губами... «Я никогда не расстанусь с тобой, я никого, кроме тебя, не буду любить», — прошептала она...

И конечно же за двенадцать лет супружеской жизни много было у нас прекрасных минут, часов и дней, но такого согласия, такого чистого и глубокого чувства мы, к сожалению, никогда больше не испытывали.

А вечером того же дня нас уже пытались разлучить, и в роли разлучницы выступила администраторша гостиницы. Грузная, сердитая, она не желала слушать никого, кроме себя. И плевать ей было на слезы моей молодой

жены и на уверения всей актерской братии, которая, возмущенно гадя, доказывала неприступной блюстительнице нравственности, что мы в самом деле муж и жена, что они, актеры, гуляли на нашей свадьбе, пили за наше здоровье, желали нам счастья. «Я тоже желаю вам счастья,— съязвила администраторша,— но если на одиннадцатой странице паспорта нет штампа о бракосочетании, я мужчину и женщину не пущу в один номер даже на минуту»,— изрекла она. В глазах у жены стояли слезы... «Что же нам делать? Почему эта женщина разлучает нас? Придумай хоть что-нибудь...» — читал я на ее лице, и мучился, и чувствовал себя ничтожеством, потому что ровным счетом ничего не мог придумать. Я знал одно — попадись мне в эту минуту председатель аулсовета, скверно бы ему пришлось: изрядно нагрузиться на нашей свадьбе он не забыл, а поставить печать, малюсенькую печать в наши паспорта не удосужился. Прихватил бы с собой ее, что ли, эту печать, прямо на свадебный той, мы бы сами себе штампы поставили, не отрывая тебя, уважаемый, от выпивки. А теперь что прикажешь делать?

И тут я невольно развеселился, сообразив, что вряд ли у кого из моих коллег есть в паспорте отметка — не в обычаях это нашего аула, возиться с такой формалистикой. У Болатхана, например, точно нет такой отметки. Но его Бубишхан осталась в ауле, заболела так некстати. Разве только у хитреца Сарсена? Я уверен, что отец его, заведующий складом Насир, который еще в восьмом классе посадил сына на «Москвич» и выучил противодействовать всем возможным выкрутасам судьбы, позаботился и об этом. Да, ведь говорун Закип приехал со своей женой, молчаливой Мадиной. Ну, теперь дело пойдет на лад. Я поселюсь с Закипом, а Мадина поселится с моей женой. Вот это — находчивость, это — профессионализм, точная и быстрая реакция. А все остальное — дело актерской техники: неужели ребята из самодеятельности не смогут отвлечь дежурную по гостинице, неужели они плохие лицедеи?.. О, сколько радости было на лице моей жены, когда мы наконец-то оказались наедине! И что греха таить — я тоже радовался вместе с ней... Какой мужчина станет хмуриться, когда улыбается жена? Молодая красивая жена.. Двенадцать лет назад...

...Парень в каракулевой шапке совершенно не удивился тому, что я не знаю о нынешних очередях на регистра-

цию брака. По-видимому, он считал, что в моем возрасте об этом знать уже не обязательно.

— Если в этот раз не успеем, придется еще три месяца ждать,— продолжал сокрушаться он.

— Может с гостиницей получится неудобство, а больше ничего не бойся. Я думаю, вам пойдут навстречу,— сказал я, зевая и поглядывая, где бы мне наконец немного вздремнуть.

— Можно устроиться по справке, выданной Дворцом бракосочетания.

— Разве так сейчас разрешают?..— опять удивился я, но он и в этот раз не обратил внимания на мою осведомленность.

— В прошлый ее приезд, после подачи заявления, мы жили в гостинице,— уверенно сказал парень.

— Тогда другое дело... Ну, счастья вам...— Я увидел что высокий старик с чемоданом поднялся и направился к выходу, освободив кресло. Я плюхнулся, сдвинул шапку на глаза и только тут почувствовал, как гудят от усталости мои ноги, как ломит спину. Засыпая, я успел подумать, что друг мой, которого я провожал в аэропорту, тоже успеет выспаться за три часа своего полета, и был рад за него. Мы должны были отдохнуть друг от друга, и этот час настал. Сквозь дрему я вспоминал, как долго стояли мы и как не хотелось нам расставаться.

«Тебе пора идти на посадку»,— сказал я.

«Не хочется. Мы так с тобой славно говорили, да?» — сказал он.

Я кивнул.

«Но на четвертый день конечно же тяжело приходится,— продолжал он.— Ведь мы уже не двадцатилетние бабы. Гляди, у тебя глаза красные, да и моя физиономия, наверное, свежестью не блещет?..» — усмехнулся он.

«Можно искать и найти правду, но женщину невозможно победить»,— пробормотал я, ибо все еще был зол на жену за ту обиду, которую она причинила мне.

«Ладно, что за пессимизм! Зато наша встреча нам никогда не забудется»,— подмигнул мне он.

Мы крепко обнялись на прощанье. Известно, какие мысли бывают у мужчин в такие минуты — куда-нибудь бежать, срочно достать вина, чтобы обмыть «мягкую посадку», но в наших карманах позвякивала только мелочь, да и найти что-нибудь ночью было просто невозможно. Нам оставалось лишь улыбнуться друг другу и распрощаться.

Я засыпал и просыпался, просыпался и вновь засыпал. Мне казалось, что лишь один я на земле знаю эту радостную безмятежность и скрытую муку этого двойственного состояния на границе между сном и явью. До рассвета было еще далеко, и временами мне чудилось, будто он вообще не наступит. Но вот до меня дошли громкие разговоры, предотъездная суэта моих соседей, которые спешили, боясь опоздать на посадку. Я с трудом открыл глаза, приставил к креслу освободившиеся стулья, положил шапку под голову и лег, вытянувшись во весь рост. Теперь мне было безразлично, наступит рассвет или нет, теперь для меня не существовало больше ни пространства, ни времени, я хотел одного — спать, спать, спать... Больше ничего не хотел я, да и есть ли что-либо в этой жизни лучше, краше, милее, добрее, любимее, дороже, чем

сон, сон, сон, сон... с-о-о-н!..

«Вас просят к телефону», — сказала мне девушка-ассистентка.

Не выпуская киноленту из рук, я набросился на нее:

«Сколько раз тебе говорить, что, когда я работаю в монтажной комнате, меня к телефону не звать?..»

«Очень вежливый человек звонил», — неуверенно сказала девушка.

«И голос у него очень приятный, Арыстан-ага», — передразнил я ее, процитировав ее же оправдание, которое она обычно приводила в подобных ситуациях. — Приемы таких вежливых людей мне давно известны. Скажи, что меня нет. Нет меня!..»

«Он говорит, что он ваш земляк и самый близкий друг!»

«А, черт! — выругался я. — «Друг, друг». Скажи, что, если я ему срочно нужен, пусть сам сюда приезжает. Все! И больше не отвлекай меня...»

Я вновь склонился над монтажным столиком.

Поднялся я только к вечеру. Монтаж этого фильма я во что бы то ни стало хотел сделать сам и теперь сидел в монтажной днюми и ночами. Когда я открыл дверь комнаты, где обычно отдыхали режиссеры студии, там было лишь сильно накурено, но уже пусто. Я облегченно вздохнул, опустился в одно из мягких кресел, положил ноги на

стол и закурил. Я усмехнулся, вдруг вспомнив знаменитую фотографию Фолкнера периода его работы в Голливуде. На этой фотографии писатель сидел в плетеной качалке, обнажив загорелую грудь, положив ноги на стол и покуривая трубку. Рядом — пишущая машинка. Фотографию эту я видел, когда учился во ВГИКе, и теперь она невольно всплыла в моей памяти. Так я и сумерничал в одиночестве, невольно подражая великому писателю, измотанный за день настолько, что не было сил подняться и включить свет.

У всех людей бывают моменты, когда им хочется побыть наедине, а некоторые и в минуты большой радости предпочитают оставаться в одиночестве. Но это — волевые, сильные люди, себя я к таким не причисляю. С практической стороны я давно признал это, но с теоретической... Теория, как известно, весьма часто расходится с практикой, и я всегда буду восхищаться сильными, умеющими постоять за себя личностями, а иногда даже и завидовать им, хотя и грех, казалось бы, жаловаться мне на свою судьбу.

Нужно было идти домой, нужно было отдохнуть, выспаться наконец, но я никак не мог встать с места. Съемки второго моего фильма закончились месяц назад, и я внушал себе, что это, наверное, и утомило меня. Хотя знал, что, скорее, не от съемок эта моя усталость, а оттого, что фильм получается совсем не такой, как мне нужно. Отчаявшись, я даже хотел собрать двух-трех кинокритиков, чтобы показать им отснятый материал перед монтажом, но... гордость моя не позволяла мне сделать это. Ведь всего два месяца назад, а точнее — в конце октября, мой первый фильм получил главный приз в Карловых Варах, и теперь мне, «известнейшему» режиссеру, не пристало идти к кому-нибудь на поклон и по-мальчишески просить помощи. Вот если бы они сами догадались, что я в беде, тогда — другое дело... Но у каждого — свои дела и заботы. Так что вот так и получается: открыв, как говорится, грудь и сердце жестоким сражениям, сижу я усталый, вымотанный и не знаю, как жить дальше.

Открылась дверь, щелкнул выключатель, и я увидел перед собой его, человека, по сценарию которого я и снимал этот второй свой фильм.

Он удивленно посмотрел на меня и громко рассмеялся.

«Уж не мания ли величия от лвиной доли успеха у тебя, Арыстан? ¹» — сказал он, любивший поострить, используя сочетания русского и казахского языков. Я промолчал. Я не любил его шуток.

Он сбросил со стола мои ноги.

«Это тебе не Голливуд, и ты не Стэнли Крамер», — сказал он.

«Но и ты не Фолкнер», — вяло огрызнулся я и снова положил ноги на стол.

Когда снималась первая часть нашего фильма, он оставил киногруппу и уехал. «У тебя ничего не выйдет, ты потопишь фильм», — сказал он напоследок. «Может, твой сценарий потоплю, но фильм выплывет, будь в этом уверен», — ответил я и предложил ему: — Ты лучше сядь и допиши финал второй новеллы...»

«Я не буду работать с тобой», — рассердился он. — Ты не понимаешь моего сценария...»

На следующий день он уехал, и с тех пор я вижу его впервые.

«Слышал, что ты приступил к монтажу», — сказал он, прогуливаясь по комнате.

«Приступил».

«И как оно?..»

«Приходи, увидишь...» — Я пристально глядел на его круглое, сытое, лоснящееся лицо. Он отвел глаза.

«Сегодня закрыли мой новый сценарий, ты конечно же слышал об этом».

«Меня сплетни не интересуют».

«О, у тебя появились качества, которые так и хочется перенять...»

Я снова уловил насмешку в его голосе, но мне лень было пикироваться с ним. Тем более что я давно понял — пустые разговоры ни уму, ни сердцу ничего не дадут, и еще я понял, что его переспорить невозможно.

«Дом кино открыт. А шампанское ставлю я, годится?» — вдруг предложил он.

Я неохотно потянулся, и в это время зазвонил телефон.

«Ищут конечно же вас, маэстро», — сказал сценарист, передавая мне трубку.

«Это ты? Куда ты делся, пропащая душа?» — услышал я веселый голос своего друга и только теперь вспомнил, что он еще днем разыскивал меня.

¹ Арыстан — лев.

«Привет! Когда приехал? Где остановился? — спрашивал я, не скрывая моей радости, ибо это был один из самых близких, самых родных для меня людей. — Как на родине? Все живы-здоровы?»

«Здоровы, тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, — басил он. — Поздравляю тебя с успехом в Карловых Варах. Как только узнал об этом, пошел к твоим старикам, бутылочку распили за твое счастье...»

«Спасибо. Ты здесь в командировке? Откуда ты звонишь? Приезжай в Дом кино, увидимся, поговорим...»

«Сегодня не могу, — сокрушенно сказал друг. — Я с утра тебе звонил и никак не мог найти. Поэтому договорился встретиться со своим руководителем. Ты завтра будешь свободен?»

«Буду. Приходи завтра вечером ко мне домой.»

«Договорились. Да, я забыл спросить, как дети? Катера хорошо себя чувствуют?»

«Все себя чувствуют хорошо, — бодро ответил я. — Ну, все, встречаемся завтра, жду тебя...»

Положив трубку, я подумал, что мне, пожалуй, повезло, что друг мой появился в такую трудную для меня пору. Я выговорюсь, отведу душу, и он гораздо лучше меня поймет, нежели эти «джинсовые ребята» с киностудии, мудрецы с готовыми цитатами и остротами на все случаи жизни. Тем более что и фильм мой был фактически снят о нашей молодости, о наших первых ошибках и первых достижениях, и друг мой станет моим спасителем, внесет ясность в мои расплывчатые тягостные думы о картине, это уж точно...

В молчании подошли мы со сценаристом к Дому кино. У дверей я остановился и пропустил его вперед. Он принял мою вежливость как должное, открыл дверь и прошел первым. Я снял пальто, перекинул его через руку, и мы поднялись на второй этаж.

«Что будешь пить?» — спросил сценарист.

«Томатный сок.»

«Это понятно. А что из спиртного?»

«Спиртного не употребляем», — сказал я.

«Шутишь!» — Сценарист пошел к буфету, а я слишком поздно заметил, что у окна, сдвинув несколько столиков, расположилась многочисленная компания, состоящая из директора студии, главного редактора, сценаристов, известных актеров, режиссеров, операторов. Все они внимательно слушали плечистого мужчину в синей рубашке,

повязанного вместо галстука пестрым шейным платком. Я подумал, что он приехал из Москвы, и теперь пытался угадать, кто это. Худощавое лицо, мешки под глазами, морщины, но выглядит довольно молодожаво. Актер? Вряд ли. Я знаю, что всех этих наших людей могла привлечь только какая-нибудь знаменитость. Во всяком случае, так дружно они собирались лишь тогда, когда приезжали какие-нибудь представители «из верхов»... Кинокритик? Наверное... Чем так кружить вокруг него, лучше бы зашли ко мне в монтажную. Когда снимался мой первый фильм, они каким-то нюхом почувствовали, что рождается призывая кинолента, и тогда отбоя от них не было: режиссеры, операторы, актеры — все приходили, все интересовались моей работой. А сейчас они убеждены в моем провале, это несомненно, да мне и в лицо это говорилось.

«Но ведь во время монтажа можно сделать прекрасный фильм, — упирался я. — Если вы не верите в то, что я снял, то я докажу вам, какой фильм можно собрать за монтажным столом...»

«Коньяк. Возражений нет?» — спросил сценарист, ставя на стол две рюмки.

«Возражает против выпивки либо умный, либо дурак», — расхохотался я. Я был зол и тут же забыл свое обещание не прикасаться к спиртному, пока не закончу монтаж. Сценарист, заметив, что я поглядываю в сторону сдвинутых столиков, объяснил:

«Польский кинорежиссер приехал».

«У него есть имя, фамилия? Или его так и зовут «польский кинорежиссер»?» — сердито спросил я.

«Ты его вряд ли знаешь, — небрежно обронил сценарист. — Но, говорят, что он очень талантлив. Он подыскивает актеров на польско-советский фильм о войне. Сейчас просматривает фильмы нашей студии».

«Правильно, — сказал я. — Правильно».

Я еще раз внимательно посмотрел на режиссера, и тот, почувствовав на себе посторонний взгляд, повернулся. Я едва успел отвести глаза, мне стало совестно, что я так бесцеремонно на него уставился.

«Ты на меня до сих пор сердисься? — спросил сценарист. — Только говори правду».

«Миновал у меня тот возраст, когда я обижался на кого попало. Нынче понял: обижаться можно только на близких людей», — сказал я.

«Тогда прочти мой новый сценарий. По-моему, довольно симпатично получилось, хоть наши корифеи и отбросили его».

Я пригубил из рюмки и промолчал. В том, что этот фильм не получается, я винил только себя. Находясь в дурмане грядущей и ожидаемой мной славы первого фильма, я закрыл глаза на слабости и недостатки сценария, взятого в производство, легкомысленно считая, что все само собой разрешится во время съемок. Но выяснилось, что во время съемок поздно было исправлять недостатки. Да к тому же и сценарист сбежал, оберегая свое реноме. Сбежал, а теперь угощает меня коньяком. Ну и дела!..

«Знаешь что,— сказал я, глядя ему в глаза.— Настоящий сценарист не тот, кто может бросить на стол режиссера пятьдесят машинописных страниц, считающихся более или менее художественным произведением. Ты прости меня за высокий слог, но настоящий сценарист должен быть гражданином, способным увидеть и по мере своего таланта объяснить мир, тот мир, который он воссоздает на своих страницах в промежутке между первым абзацем и последней точкой. В соответствии с его видением режиссер тоже создает свой мир, и, только когда они работают рука об руку, они полноправные строители фильма, когда каждый из них способен увидеть весь будущий фильм, я подчеркиваю, каждый из них!»

«Ты верно говоришь, хотя и чересчур заумно,— улыбнулся сценарист.— Но я считаю, что предложил тебе правду о той настоящей жизни, в которой перемешано все. Остальное же зависит от тебя. Тем более что фильм принадлежит не сценаристу, а режиссеру. И все лавры в конечном итоге достаются режиссеру...— Он понял, что сказал лишнее, и слегка покраснел:— Прости, я, может быть, неточно выражаюсь, но я считаю, что не надо нам тогда было так безобразно ссориться. Я старше тебя, и в случившемся конечно же есть немалая доля и моей вины...»

«Да не в возрасте тут дело,— снова рассердился я.— Ты помнишь, о чем мы тогда спорили? Я говорил тебе, что, на мой взгляд, сейчас необходимо кино, близкое не только к жизни,— фильм должен быть близок и к высокому искусству, говорить его языком, не чураясь никаких связанных с этим сложностей. И это — наша общая цель и общая, если хочешь, обязанность,— ведь это мы, мы воспитываем зрителя и приобщаем его к прекрасному...»

«Ну вот, поехал... Опять слова. Так мы с тобой никогда не договоримся», — сказал сценарист, напряженно вертя в руках свою пустую рюмку.

К нам подошел директор киностудии. Его сотрапезники тоже поднимались, собираясь, по-видимому, уходить, и я видел, что сценаристу смертельно хочется последовать за ними и он задерживается со мной, лишь соблюдая приличия.

«Слава богу, наконец-то вы помирились! — директор пожал руку сначала сценаристу, а потом и мне. — Молодым нельзя ссориться, вы это удовольствие оставьте старикам, а то они сон потеряют...»

Он тоже был мастером на разные шутки.

«Пан режиссер! — окликнул он поляка. — Это как раз тот наш молодой мастер, о котором вы меня спрашивали...»

Польский режиссер сначала внимательно оглядел меня, а потом улыбнулся и протянул мне обе руки, показывая тем самым, что уже знаком с нашими традициями.

«Я смотрел ваш фильм, поздравляю вас и как член жюри, и как зритель. По отношению к вашему фильму все мы высказали удивительное единогласие», — сказал он внятнм, даже как-то чересчур правильным русским языком.

«Спасибо, — сказал я, пожимая в ответ его руку. — Извините, что я не видел ваши фильмы и не могу возратить вам ваш, по-видимому, слишком щедрый комплимент».

«Это не есть комплимент, а это есть правда. И еще я хотел бы поговорить с вами, если вы не возражаете», — сказал он.

«С радостью встречусь», — растерялся я, не зная, что еще сказать, ибо официальные вопросы и официальные ответы всегда ставят человека в неловкое положение. Почувствовав мою неловкость, поляк дружески обнял меня:

«Тогда давайте встретимся послезавтра утром в кабинете у пана директора. Годится?» — Он вопросительно посмотрел на директора, тот улыбнулся и кивнул ему.

«Хотим показать ему «Медео». Если хочешь, поехали с нами», — сказал мне главный редактор сценарной коллегии, когда толпа, сопровождавшая гостя, двинулась вниз по лестнице.

«Благодарю вас, но у меня дела, — сказал я и, не удержавшись, добавил: — Хоть и говорили раньше старые люди, что гость, который пришел раньше, должен уступить место тому, кто пришел позже...»

Он, по-видимому, причислил себя к гостям, «которые пришли раньше», и, резко повернувшись, пошел за всеми. Я возвратился к своему столику и обнаружил, что сценариста уже нет на прежнем месте. Я поднял глаза и увидел, что он каким-то чудом оказался в самой середине толпы, взял под руку главного редактора и о чем-то жарко ему толкует. Я усмехнулся, невольно вспомнив пословицу Вардгеса Милояна: «Чем с дураком пировать, лучше с умным в карьере камень ломать». И к ней тут же присовокупил казахскую поговорку: «Пока голова соображает, торопись дойти до родного очага...»

«Эй, парень, если ты всерьез собрался домой, то пошли вместе», — как бы услышав мои слова, окликнул меня красивый седой старик, опирающийся на резную трость. Это был Калмырзаев, один из знаменитых наших актеров, один из тех, кого я не только уважал и ценил, но считал гордостью, солью нашей земли.

«Говорят, что нынче пожилые люди по части гулянок гораздо опаснее молодежи», — откликнулся я, но старик не обиделся на мою шутку, мы давно знали друг друга.

«Дай-то аллах, дай-то аллах», — заулыбался он.

Мы вышли на улицу. На днях выпал снег, и стало тепло. Старик шел, распахнув тяжелую шубу.

«Ну, рассказывай, как вы живете, молодежь, чем живете?» — сказал он мне.

«И вы еще спрашиваете? — шутливо вздохнул я. — Вы ведь нам оставили одни пустые хлопоты, а хорошую, добрую беседу забрали с собой...»

«Мы ведь знаем, что вы можете искусно шуметь, а тихая беседа вам не по плечу», — отпарировал старик и как ни в чем не бывало предложил мне: — Ну-ка, возьми меня под руку, а то упадешь еще, возись потом с тобой».

«Может быть, сядем на автобус или возьмем такси?» — сказал я.

«Пешком дойдем, зачем это нам преклоняться перед четырьмя колесами!» — сердито отрезал старик, и я улыбнулся и нежно пожал его руку выше локтя.

«Куда, по какому руслу потечет искусство, когда уйдут от нас эти соколы, эти наши замечательные старики? — думал я. — Сколько славы, почестей, всеобщего восхищения выпало на их долю, и все это они несут с честью, никакого зазнайства, никакого самомнения нет у них, и разве это не удивительно? Они искренне не разучились радоваться жизни, а выйдут на сцену — преображаются в де-

тей, замороженных сказкой, которая называется искусство. Как же нам будет не хватать вас, будем лбами биться о камень, будем искать вас, плакать, тосковать. А теперь, когда вы еще среди нас, мы хоть и понимаем вашу любовь, веру в жизнь и искусство, хоть и видим все ваши достоинства, но не хватает нас даже на простое человеческое участие. И это наше неосмотрительное упрямство, легкомысленное непонимание не пройдет бесследно ни для нас, ни для всего искусства казахов. Что принесем мы в будущее, кроме греха вины перед вами? Кто из нас первым попросится на эшафот, признав свою вину перед судьбой по имени Время? Могу я ответить на этот вопрос? Могут ли ответить мои сверстники? Может ли сказать сценарист? Или все мы, боясь мощи ответственности, будем ждать, что покажет время? Нет, ответ перед завтрашним днем мы должны искать в делах дня сегодняшнего. Неизвестно, где остановится усталый и изможденный нар¹, но главное, чтобы это священное животное не заблудилось».

«Куда бы ни шел караван, он останется караваном, так пожелаем, чтобы караван не заблудился», — пробормотал я.

Старик задумался, пытаясь разгадать смысл моих слов, а потом сказал:

«Теперь трудно заблудиться, но нужно, чтобы ваш караван не потерял свой главный курс. Ты понял меня?»

«Понял», — ответил я, а он опять замолчал и вдруг быстро повернул голову, спросил:

«Ты читал книгу об актере Михаиле Чехове?»

«Читал...»

«Ну и как, нравится?..»

«Кто, Чехов или автор, который писал о Чехове?» — вновь попытался отшутиться я.

«Оба», — серьезно сказал старик, и я невольно задумался, не зная, как поточнее сформулировать мысли о прочитанной книге.

Но старик и тут пришел мне на помощь:

«Ты хочешь поразить меня мудреным изречением, а я тебе скажу, что и в скромном ответе иногда виден незаурядный ум. Ведь горькая правда заключается в том, что трудно было найти в свое время рецензента, который не дал бы убийственную оценку Гамлету Михаила Чехова. Но видишь, как мудро время распорядилось всем и все

¹ Верблюд-производитель.

расставило по своим местам,— тяжело вздохнул старик.— Понимаешь ли ты, что художника в кино, а особенно в театре забывают очень быстро. Вот мы, например, старшее поколение, уйдем мы из театра, и вместе с нами уйдут наши роли. И в кино тоже — пленка иногда бывает не прочнее бараньего брюха. Вот и получается, что навечно остаются лишь музыка и литература. А ты как смотришь на это?»

«Мне, пожалуй, нужно еще подумать», — сказал я, удивленный тем неожиданным оборотом, который приняла наша беседа. Обычно во время таких прогулок он рассказывал мне всякие смешные истории, вспоминал сценки минувших дней, а теперь вот, неужели только теперь заговорил он о самом главном, о том, что, по-видимому, мучило его последнее время и чем он почему-то не мог ни с кем поделиться?

«Конечно,— сказал старик.— Так, скорей всего, и должно быть, что многое забывается в искусстве. Ведь искусство зачастую жестоко. Мухтар Ауэзов, например, был великой натурой, и не каждому дано быть таким. Видеть то, что пока не видит народ, и знать то, что пока не знает народ,— удел истинно великих людей...»

Я немного опередил старика и когда обернулся в ответ на эти слова, то испугался, только сейчас вдруг заметив, как осунулось его лицо, какое страдание выражало оно, землистое, обескровленное.

«Не может быть,— подумал я.— Неужели и вправду дни его сочтены?»

Старик прокашлялся и спросил:

«Мы правильно идем?»

«Правильно, правильно», — успокоил я его.

Но он поднял голову, быстро осмотрел длинную улицу и только тогда возвратился к прерванному разговору.

«Да,— сказал он.— И эти вот великие слова Мукана мы почему-то слушали вполуха. А он нас одарил не одной такой мыслью!.. Кстати, вчера ночью я долго не мог заснуть и все думал о моей роли в твоём фильме,— неожиданно сменил он тему разговора.— Я думал о том, что есть в фильме места, где я играл слишком поверхностно...»

Я хотел возразить ему, но он поднял свою трость, оставивая меня этим царственным жестом.

«Не перебивай меня, а лучше послушай до конца, и тогда, возможно, ты сам со мной согласишься. По-моему, в последнем кадре, там, где герой узнает о смерти ребен-

ка, я слишком легкомысленно бегаю, мечусь, слишком уж раздираю воздух криками. У нас, казахов, есть добрая поговорка: «Где много крику, там мало ума». Последние кадры мне нужно было сыграть скупой, горько...»

«В финале у вас замечательно получился образ человека, хоть и уставшего от жизни, но готового к новым сражениям,— такова была режиссерская задача»,— возразил я.

«Вот и получилось это, как... торба для коровьего вымени,— с досадой ответил мне старик.— Это формализм получился, а не мой душевный подъем. И это не твоя, а моя вина. Я должен был, выполняя твою задачу, играть по-своему и тем самым убедить тебя в своей правоте».

«Снятое крупным планом, ваше лицо просто прекрасно. И зря вы так убиваетесь,— после монтажа, озвучивания все это так заиграет, что вы сами же первый мне об этом скажете»,— не сдавался я.

«Сделать, как ты выражаешься, «прекрасное» выражение лица в крупном плане для меня нетрудно, у хорошего актера и спина должна играть, а я как-никак профессионал,— усмехнулся старик.— Я о другом говорю. Ну, да мы еще об этом потолкуем».

Мы подошли к его подъезду и остановились.

«К себе не приглашаю, старуха моя давно в могиле, да и мне туда же пора, так уж ты на меня не обижайся»,— печально пошутил он, и у меня сжалось сердце — знал бы я, как буду потом жалеть, что не повел его к себе и не поговорил с ним по душам. Знал бы я, как буду ругать себя за то, что раньше не замечал, какой это человек...

«Да нет, что вы. Мне тоже домой пора»,— только и сказал я.

«Завтра у меня в театре премьера. Придешь?» — спросил старик, опираясь на трость.

«Обязательно! Обязательно!» — с жаром сказал я.

«Задержись-ка на минутку!» — крикнул мне старик, когда мы уже распрощались и я уже отошел на изрядное расстояние.

Я возвратился, и он тихо сказал мне: «Я все думаю о том, что коли я не стал бы актером еще в молодости, то обязательно стал бы музыкантом. Многие любят Рахманинова, а я предпочитаю Скрябина. В чем тут секрет? Да кто это знает! Одного трудно понять, другого — легче. Но факт остается фактом, многие великие произведения до нас не доходят. Помни это и не забывай, что драгоцен-

ности трудно добываются, но на то они и драгоценности. Вы, молодежь, должны быть готовы к упорному труду. Помни, что надо обновляться ежедневно, иначе искусство станет мертвым... Подумай и реши — может быть, стоит нам переговорить с директором и добиться от него разрешения переснять финал, а? Подумай, только не спеши, крепко подумай...»

И, лишь подходя к своему дому, я понял, что не смогу попасть к нему на премьеру — ведь я уже пригласил на завтра своего друга.

Я чуть приоткрыл глаза и увидел все тех же людей, дремлющих на скамейках и в креслах... Я снова закрыл глаза. Какая-то неподвластная мне сила упрямо смыкала мои веки.

Спать... спа-а-ть... с-п-а-а-а-ть!..

В словах старика была несомненная, даже жестокая истина. Я понял это после, когда шел за его гробом среди людей, пришедших проводить его в последний путь. Слезы душили меня, и я держал руки в карманах, крепко сжав пальцы в кулаки.

Впрочем, и здесь я неточен. Чтобы осмыслить все, не хватит и целой жизни, это я тоже узнал, и узнал слишком поздно. Это мне предстоит еще понять, предстоит понимать всю жизнь...

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

С утра я снова сидел за монтажным столиком, но дела мои по-прежнему шли плохо. В середине фильма был прожектор, который тянулся, как жевательная резинка, и я никак не мог подчинить его общему ритму ленты. Я в отчаянии думал, что, по-видимому, начисто обделен тем талантом, который позволил итальянскому мастеру из тысяч километров пленки быстро смонтировать потрясающий «Ватерлоо». Во ВГИКе я по монтажу выше тройки никогда не получал и теперь злился на себя за те свои беспечные деньки, когда эта оценка не вызывала у меня особой печали. В те времена многие из нас думали, что самое главное — это снять, снять фильм, снять СВОЙ фильм, заявить миру о СОБСТВЕННОМ видении, и мы искренне верили этим своим наивным горячим чувствам. Монтаж первого

моего фильма почти целиком сделала москвичка Ольга Николаевна, и мне следовало хотя бы посидеть рядом с ней, поучиться у известной специалистки, но возбужденное мое настроение опять не давало мне покоя. Помнится, я даже несколько раз крепко поспорил с ней и в результате даже не пошел ее проводить. «Пророк из провинции, тебе не следует ни перед кем преклонять голову. Пусть ОНИ сначала попробуют снять фильм так, как его снял ты...» — разве не так говорил я сам себе? Но опытная Ольга Николаевна ничуть не обиделась на мои выходы и даже поздравила меня с Новым годом. Со стыда я не знал, куда деваться, и среди ночи побежал на главпочтамт дать ответную восторженную телеграмму. К счастью, это было еще тридцатого декабря, да, почти год назад... До сих пор помню, как девушка-телеграфистка, улыбаясь, взяла вдвоенный бланк, весь исписанный мною, и спросила, хватит ли у меня денег на такую длинную телеграмму...

Во второй половине дня мне показалось, что середина фильма уже приведена в единую систему. Разогнув усталую спину, я вышел в коридор покурить и тут же наткнулся на секретаршу директора.

«А я вас как раз ищу, — сказала она. — Вас Газиз Еспаевич вызывает...»

«Как идет монтаж?» — с ходу спросил меня директор.

«Делаю...» — сухо ответил я.

«Хотим тебе помочь. Вызвали из Москвы нужного человека...» — По голосу директора я понял, что он и не собиравшись обсуждать со мной это свое решение.

«Там, где мало доверия, мало искусства», — сказал я скорее для проформы, понимая, что в данном случае обязан показать хотя бы видимость своего сопротивления.

«Доверяя — проверяй! Как видишь, я тоже умею мыслить афоризмами», — весело прищурился директор, а я внезапно обозлился.

Ибо есть две группы людей, с которыми я не могу говорить спокойно и терпя в беседе с ними всякое терпение. Одна группа — это начальство (не все начальство, а мое, непосредственное), а вторая — это женщины (не все женщины, а по характеру такие же, например, как и я, то есть вспыльчивые, резкие).

«Какой может быть разговор о доверии, если вы ко мне караул собрались приставить?.. — Я заметил, как задрожали у меня кончики пальцев, но голос мой звучал уверенно: — Вы бы уж тогда не только монтажера, но и

режиссера, и оператора, и артистов оттуда вызвали, раз так боитесь...»

Зная мой характер, директор обычно отшучивался, и любимой его фразой было: «Ох, Арыстан, погубит нас твой максимализм...», но эта моя реплика, по-видимому, всерьез задела его, и он бросился в рукопашный бой.

«Что?.. Это мы боимся?.. Не зазнавайся-ка, братец, а то что-то слишком ты о себе возомнил. Если я сочту нужным, то спокойно могу остановить твой фильм...» На лбу у него взбугрились вены, и густые брови почти закрыли его маленькие серые глазки.

«Не сможете, тут вам не частная лавочка...»

«Что? Да я не только остановить, я уничтожить его могу...»

«Ну и уничтожь! — Я понял, что в гневе перешел на «ты», и у дверей, обернувшись, поправился. — Уничтожьте, Газиз Еспаевич», — после чего и вышел, хлопнув дверью, обитой черным дерматином.

До прихода друга осталось еще два часа, и я отправился бродить по улицам. «Если уж дело сразу не заладилось, то нечего и потом ждать добра», — думал я, снова и снова оказываясь в плену беспорядочных мыслей и чувств. А когда злость моя стала проходить и я немного успокоился, то опять мне на помощь пришла пословица: «Змея с цветов собирает яд, а пчела — мед». Меня развеселило это сравнение. Я представил себе своих противников в виде змеи и себя в образе маленькой безвинной пчелки и захохотал, вызвав тем самым немалое изумление у прохожих, которые решили, по-видимому, что я, наверное, изрядно хватил. Я уже открыл дверь своего подъезда, когда вспомнил, что жена просила купить что-нибудь из спиртного. Мне пришлось возвратиться назад и встать в громадную очередь перед кассой винного отдела. К счастью, мне достался и английский джин, и кипрское вино, и отечественная водка. Когда я открыл дверь, Катира встретила меня сердитым красноречивым взглядом.

«Ты где шляешься? Ждут ведь тебя...» — схватив мою сумку, она скрылась на кухне.

«Когда гнев вспыхивает, — говорит пословица, — разум угасает», — не успел я так подумать, как из гостиной вышел мой друг. Густые вьющиеся волосы, черные усы подчеркивали тонкие черты его красивого лица. Мы расцеловались и, пока я раздевался, перебросились парой фраз. Быстро умывшись, я прошел в гостиную, где мой друг

скупал в одиночестве перед экраном телевизора. Увидев меня, он опять улыбнулся и внимательно оглядел с головы до ног. Я тоже во все глаза смотрел на него, хотя оба мы не подавали виду, что замечаем эти любопытные взгляды, взгляды людей, которые давненько не виделись друг с другом и в первую секунду не знают даже, о чем и заговорить.

Сели за стол. Я стал одну за другой открывать принесенные бутылки. «Зачем ты сразу все открываешь?» — не выдержала жена. «Будем пить, вот зачем», — лихо заявил я. «Что, монтаж не идет?» — тихо спросила жена. «Да», — коротко ответил я на ее вопрос.

Мой друг, по-прежнему улыбаясь, глядел на меня.

«И вот всегда он так делает, когда работа у него не клеится», — пожаловалась на меня жена.

«И я так делаю», — неожиданно ответил друг, и жена моя надулась, а я вскричал: «Да здравствует всемирное единение мужчин!» Это конечно же был не тост, и мы сначала выпили за друга, получившего направление в докторантуру, потом — за его жену, за его прекрасных детей...

«Да, я ведь совсем забыл, — спохватился он и вышел в прихожую. — Вот, — сказал он, протягивая мне газетный сверток. — Это нож, который сделал для тебя мой отец. Здесь и ножны есть».

Я взял в руки нож, сделанный руками одного из знаменитых, одного из последних оружейников Чингистау. Рукоятка и ножны были украшены искусным узором, лезвие остро сверкало и переливалось. Два года назад я был в ауле, и, оказывается, отец моего друга не забыл моей просьбы.

«Передай привет аксакалу, на его подарок я отвечу подарком, а эту вещь буду хранить как драгоценный дар моих земляков. Эта острая сталь будет для меня оком моего народа», — сказал я, не боясь впасть в высокопарный стиль, ибо знал, что тот старик, там, в Чингистау, будет жадно расспрашивать, как встретил нынешний горожанин, столичный житель, его подарок.

«Ну, а как у тебя дела идут?» — спросил друг, когда Катира вышла на кухню последить за готовящимся мясом.

«Закончил съемки второго фильма. Сейчас работаю над монтажом», — сказал я преувеличенно бодрым тоном, зная, что моего друга не так-то легко обмануть.

«Кстати, еще раз поздравляю тебя с удачей. Я уже говорил, как мы радовались за тебя в тот день...»

«Расскажи лучше о себе,— я хотел перевести разговор на другое.— Расскажи о нашем ауле. Часто ли ты там бываешь?»

«Давненько уже не был,— признался друг.— Времени нет. Эксперименты, лаборатория, студенты... Устаю. Трудно работать на периферии. Да вот еще взялся докторскую защищать...»

Я представил себе то время года, когда воды Караула выходят из берегов. Река, которая берет свое начало в глубоких ущельях Чингистау, весной становится полноводной, сердитой, бешеной. И тогда аульчаны, вооружившись лопатами, кирками, идут за околицу, чтобы остановить грозящее поселку наводнение. Согласно давней традиции, ученики старших классов на время паводка освобождались от занятий, и мы с нетерпением всю зиму ждали этих захватывающих дней!

«Караул сейчас выходит из берегов?» — спросил я.

Мой друг удивленно посмотрел на меня.

«Куда там, совсем обмелела наша речка, берега только и остались от нее... да название», — усмехнулся он.

А ведь раньше мы все лето проводили на берегу Караула. Дружбу, ссоры, свидания и расставания — все видели эти ныне опустевшие берега. Первые письма, которые мы писали девушкам, первые ответы, которые мы получали, первая любовь, первые разочарования, обиды, слезы, тоска, печаль, радость — все проходило там, на зеленой траве над светлой водой, все порывы нашей с другом юности, составляющие искренний и чистый образ ее. Первый свой рассказ я написал на этом берегу, лежа на гладких его камнях. А мой друг нарисовал акварелью самую настоящую картину — солнце, небо, река. Эти свои «творения» мы запечатали в конверт и отправили в «Пионер Казахстана». Мы ждали месяц, два, три, полгода, год, а ответа все не было и не было. Теперь-то я понимаю, что письмо могло затеряться, но тогда, лежа на горячих камнях, я, раздосадованный и обиженный, поклялся, что никогда больше не буду подписываться на эту газету.

«Нельзя так упрячиться, ты поступаешь нехорошо», — не одобрил меня мой друг.

«А почему они не ответили? Разве трудно было ответить?»

«Ответили они или не ответили, а подписаться на пионерскую газету — это твой долг», — сердито сказал мой друг. Он был у нас председателем совета отряда.

«А если не подпишусь, то что? На собрании будешь пробирать?» — вскипел я.

«Дружба наша кончится», — сказал он дрожащим голосом.

«Ну и пусть!» — в мокрых еще трусах я вскочил на велосипед и уехал, ни разу не оглянувшись.

За то, что я отказался подписаться на «Пионер Казахстана», — меня дважды, как это говорится, «разбирали»: один раз на совете отряда, другой — на совете дружины. И даже вызвали вместе с матерью к директору школы. Мама моя плакала, но я был непреклонен и настаивал на своем.

«Убейте меня, но на эту газету я не буду подписываться!»

«Ну, тогда мы исключим тебя из пионеров», — сказала моя классная руководительница, молодая учительница.

«Почему? За что?» — испугался я, не ожидавший такой жестокости.

«А чтоб не своевольничал да не упрямился», — сказал директор, лысый строгий человек в полувоенном френче. Кстати, когда мой фильм получил приз, он одним из первых послал мне поздравительную телеграмму.

«Я подпишусь на «Костер», «Юный техник», «Пионер» и «Вожатый», — сказал я.

Директор и учительница переглянулись в недоумении.

«Но ведь ты не вожатый, чтобы подписываться на журнал «Вожатый». Что ты там поймешь?» — рассердился директор.

«Я все пойму. А вожатым я буду. Если захочу, то и буду», — решительно отвечал я.

Мать моя при этих моих словах вытерла слезы и с любовью посмотрела на меня. Ей неожиданно понравилось мое упорство. Она уважала людей сильных, волевых, с характером, и ей, наверное, показалось, что я становлюсь таким же.

«Ты ж и по-русски-то, наверное, плохо понимаешь, — поддел меня директор. — Ты русского человека-то и в глаза не видел, а утверждаешь, что все поймешь в таких сложных журналах. Это все упрямство твое в тебе говорит...»

Я перебил его.

«Если я не понимаю русского языка, почему вы мне выдали Похвальную грамоту как лучшему ученику?» — сказал я, прямо посмотрев на директора и учительницу.

Учительница улыбалась, а директор растерялся и никак не мог подыскать нужного ответа. И в это время встала моя рассерженная мать и, к моему удивлению, вдруг накинулась на директора. «Не унижай моего мальчика. Ты говоришь, что он плохо знает по-русски? Забери тогда все шесть его Похвальных грамот и заприв этот железный сундук,— она указала на сейф, стоявший в углу кабинета.— И не морочь ему голову. Он подпишется на эти самые русские журналы и будет их читать. А «Пионер Казахстана» он тоже будет читать, но на него не подпишется, потому что думает, будто его там обидели. Понимать же надо! Ну-ка, пошли домой, хватит!..»

И она, взяв меня за руку, вывела из директорского кабинета. Директору и учительнице не хуже, чем мне, был известен крутой нрав моей матери, да и права она была, поэтому они смолчали. А с другом мы как-то незаметно снова подружались, хотя еще долго дулся я на него.

Вспомнив все это, я спросил:

«Скажи, а ты сейчас рисуешь?»

Он сначала удивился моему вопросу, но потом рассмеялся.

«Бросил я марасть бумагу. Не до того мне. Да что я, у меня вот сын рисует, и преподаватели говорят, что из него может что-нибудь стоящее получиться. Он, кстати, просил меня привезти этюдник, а я вчера ходил по магазинам, и нигде нету...»

«Ты не беспокойся, я завтра же достану тебе этюдник»,— утешил я его.

«Вот спасибо! — обрадовался он.— А ты как, все еще пишешь рассказы, или кино тоже все твое свободное время съедает?»

Теперь улыбнулся я.

«Приходится признаться. Я, в отличие от тебя, все же мараю изредка бумагу...»

«А ты где-нибудь печатался?»

«Нет. Я пока, как это говорится, пишу для себя».

«А ты бы взял да и послал свои рассказы в какой-нибудь журнал»,— предложил друг.

«Боюсь, что опять они не ответят и мне снова придется отказаться от подписки»,— засмеялся я.

«Да нет, теперь уж так не будет,— друг, по-видимому, принял мои слова за чистую монету.— Теперь у тебя есть известность...»

«Написать сначала нужно так, чтоб не стыдно было печататься», — сказал я.

«Понимаю, понимаю, — друг согласно закивал головой. — Ты всегда был требовательным, и в первую очередь к самому себе, ведь так?»

Я смутился и не ответил. А он вдруг глянул на часы и заторопился:

«Ну, мне пора. А то уже поздно!»

«Да куда тебе спешить? Переночуешь у нас, мы столько лет не виделись».

«Это так, но утром у меня важные дела», — нерешительно сказал он.

«И у меня дела. Ты в какой гостинице?»

«В нашем министерском общежитии, на улице Кирова. Будет время, заходи, пока я здесь. А сейчас, извини, давай выпьем напоследок за твоё искусство, и я пойду...»

Однако немного погодя разговор наш принял совершенно другой оборот, он лился как вольный степной ветер, и от первоначальной нашей скованности не осталось и следа. Мы говорили, говорили и говорили. Говорили о людях, о земле, о науке, об искусстве, о человечестве, обществе, женщинах, любви — о чем только не говорили мы, и нам самим стало странно, что мы сначала не могли найти общего языка и собирались сухо распрощаться. Я смотрел на светлое лицо моего друга и думал, что дружба — это самое ценное, самое дорогое из того, что есть в жизни. И еще думал, что в нашем огромном городе мне не хватает именно этого, искреннего и дружеского участия, что мы с годами все глубже и глубже осознаем, как нам не хватает настоящих друзей, с которыми можно поделиться самым сокровенным. И как велика цена такому другу, именно — Другу.

И так уж получилось, что мы легли спать лишь тогда, когда первые отблески зари коснулись снежных шапок далеких гор. А проснулись с первыми лучами солнца.

Вставать было трудно, но обоих нас ждала работа. Нам не хотелось расставаться, но расставание было неизбежным, потому что хоть и плыли мы вместе в одном потоке жизни, но у каждого из нас было свое русло, ибо поток этот разветвлялся, как река, достигшая устья...

Моя левая рука затекла, и я стал ее растирать. За окном все еще было темно. Сонный женский голос объявил посадку самолета из далекого сибирского города. Дик-

торша дважды повторила название города, но я тут же забыл его. Напротив меня сидели в обнимку парень с девушкой и тихонько дремали. Спать... спать... спать. Мои промокшие ноги начали ныть, но я пытался не обращать на это внимания.

Спать... спать... спать...

ВТОРОЙ ДЕНЬ

Я снова сидел за монтажным столиком.

Опять как будто бы никто не желал знать обо мне ничего. Никто не интересовался моими делами, никто не просился посмотреть мой материал. Как будто бы и вчерашний мой неприятный разговор с директором лишь почудился мне.

Я был один.

Я заново просмотрел середину фильма, которую смонтировал вчера, и мне стало противно. Эффект, эффект... Аффект. Напрасно потраченные усилия — и больше ничего. Я взял ножницы и разрезал смонтированные куски. Пошел в соседнюю комнату позвонить знакомому режиссеру. Бородатый, здоровенный, он, по-видимому, только что встал с постели и говорил хриплым голосом:

«Чего тебе? Чего звонишь ни свет ни заря?»

«Приходи посмотреть мой фильм», — сказал я

«У меня сегодня времени нет. Ты уж извини, старичок, — сказал он, зевая. — Давай договоримся на завтра».

«Спи, — сказал я. — И сегодня спи, и завтра спи...»

Набрал другой номер и вдруг остановился. Да пропади они все пропадом, не буду я кланяться. Прошло то время, когда ценили привычку здороваться, приподнимая шляпу. И, как говорят у нас в ауле, верный пес не помрет на глазах у хозяина. Получится так получится. Нет, значит пропади он пропадом, этот мой фильм и моя несчастная профессия. «Бросай режиссуру и возвращайся в геологию. Когда-то это у тебя неплохо получалось, по крайней мере, там ты не пропадешь», — думал я со злостью.

«Слушаю», — вдруг услышал я слабый голос старика.

Мне не хватило сил бросить телефонную трубку, ибо номер его я набрал машинально.

«Вы заболели?» — спросил я.

«Сердце схватило после премьеры»,— сказал он, задыхаясь.

И только тут я со стыдом вспомнил, что он приглашал меня в театр и я обещал прийти. О ужас!

«Ты что-то хотел сказать?» — спросил старик.

«Да... — мямлил я. — Гости неожиданно... на премьеру... не смог... Хотел прощения у вас попросить...»

«О алла, чепуха какая! Будет время — посмотришь. Не последний ведь спектакль, так что не переживай... — Я слышал, как трудно он дышит. — Будет время, завтра приходи... Пока!..»

«Может быть, вам что-нибудь принести?» — крикнул я, но он уже положил трубку.

Я снова сел за стол. Ну что ж, пускай директор приглашает своих монтажеров? Пытаться исправить упущенное при съемках — напрасное дело. Фильм живет сам по себе, а режиссер сам по себе, и это — момент твоего поражения, товарищ режиссер. Это так, и нечего закрывать глаза на очевидные факты.

После такого самобичевания я снова взялся за работу.

«Вас приглашает директор»,— сказала ассистентка.

«Да пропади ты пропадом вместе со своим директором!» — в отчаянье оттого, что меня вновь отрывают, я взмахнул рукой и сбил со стола стеклянную банку.

Ассистентка взяла тряпку и стала молча подтирать пол.

«В последнее время я вас просто не узнаю»,— сухо сказала она.

Я не мог смотреть ей в глаза. «Прости меня,— тихо сказал я.— Нервы сдают, черт побери, ты уж меня извини...»

«Будете таким вспыльчивым, быстро состаритесь»,— улыбнулась девушка.

«Возможно, возможно...» — рассеянно отозвался я.

«И чего вы так себя мучаете? Этот фильм не получится, получится следующий. Незачем так себя убивать...»

Похоже, что уже все окружающие заметили произошедшие со мной перемены. «Будь сильнее, не показывай свою слабость!» — приказал я себе.

«Ладно, учту твои мудрые пожелания»,— сказал я ассистентке и, бросив в корзину осколки стеклянной банки, направился к директору.

«Вас там какой-то иностранец ждет!» — крикнула ассистентка мне вслед.

Поляк. Польский кинорежиссер... Сегодня он показался мне очень красивым человеком.

«Простите меня, пожалуйста, за опоздание»,— сказал я.

«Ничего»,— ответил он, мягко улыбаясь.

«Побудешь сегодня с нашим гостем. Покажешь ему город, сводишь в театр. В общем, сделай все, что он пожелает,— сказал мне директор по-казахски.— Возьми мою синюю «Волгу», сегодня она весь день будет в твоём распоряжении. Да смотри не болтай что попало»,— добавил он, и по лицу его были видно, что он все еще сердится на меня за вчерашнее и не очень-то хотел бы, чтоб я разъезжал с поляком. Да, видно, тот настоял на своем...

«А если он попросит рассказать анекдот?»

«Ты свои шуточки кончай, говорю тебе...» — недовольно буркнул директор.

Мы вышли на улицу.

«Машина не нужна, пешком будем ходить,— сказал поляк, поглаживая бок синей «Волги».— Так?»— Он посмотрел на меня.

«Как хотите...»

«Машина будет стоять здесь. Вызовешь по телефону, если понадобится»,— снова по-казахски сказал директор.

Мы обошли всю восточную часть города. Я, за последний месяц привыкший к сидячему образу жизни, давно не ходил пешком и изрядно притомился. Поляк, заметив это, улыбнулся:

«Устали?»

«Нет, что вы...» — бодрился я.

«Нельзя здесь где-нибудь попить?» — спросил он, оглядываясь.

Мы находились на окраине, где ни кафе, ни ресторанов не было. Но я вспомнил о пивнушке на набережной реки.

«Как вы относитесь к пиву?» — спросил я.

«Разве зимой пьют пиво?» — удивился поляк.

«Хочется пить — пьют. Не хочется — не пьют. Здесь поблизости есть пивная».

«Ну что ж, попробуем»,— усмехнулся он.

А день был солнечный, великолепный был день — таял снег, синело небо...

«У вас всегда такая теплая зима?» — спросил поляк.

«Когда как. Бывают и такие морозы — носу из дома не высунешь...»

«Понятно», — неопределенно сказал поляк.

У пивнушки стояло несколько человек, мы взяли по кружке пива, по паре шашлыков и отошли в сторонку.

«Хорошее место», — сказал поляк, оглядываясь, но в голосе его не было какой-либо радости или восхищения, тон его был скорее равнодушным, чем заинтересованным.

Зажмурившись, он посмотрел на снежную вершину Алатау, ослепительно сиявшую под зимним солнцем.

«Алатау напоминает мне Альпы», — сказал он.

«Вы были в Альпах?» — спросил я, принимаясь за шашлык, ибо после нашей долгой прогулки изрядно проголодался.

Поляк, улыбаясь, посмотрел на меня и сказал: «Вы лучше спросите меня, где я не был. Я, знаете ли, был даже в Аусшвице — Освенциме. Немецкий концлагерь. Может, слышали?»

Я удивленно посмотрел на него.

«Конечно же. Но как вы туда попали?»

«Пиво у вас хорошее. Может, еще по одной возьмем?» — Он, по-видимому, сознательно не ответил на мой вопрос, а может быть, и не расслышал, кто знает. Я, во всяком случае, не стал переспрашивать, а лишь сказал:

«Я рад, что вам понравилось пиво. Сейчас я еще принесу».

«Нет, теперь я возьму, теперь моя очередь угощать», — запротестовал поляк.

«Посылать гостя за угощением — позор для хозяина, так у нас считают», — сказал я.

Он без дальнейших возражений протянул мне пустую кружку, и я вдруг заметил, с каким интересом разглядывает он людей, столпившихся у будки сапожника, что примостилась сбоку от пивной. Не придавая этому ровным счетом никакого значения, я отправился добывать пиво.

Возвращаясь, я подумал о том, что мог бы снять в цвете неплохой кадр: седые волосы режиссера так же, как и снежная вершина Алатау, отражали солнце. Я хотел сказать ему об этом, но он и не заметил, как я подошел к нему. Он все еще смотрел на будку сапожника, и меня поразило, что выражение лица у него стало совсем другое, растерянное, даже беспомощное, я бы сказал.

«Держите», — я протянул ему кружку.

«Извините, спасибо»,— сказал он, повернувшись ко мне.

«Вы о чем-то задумались?» — спросил я.

«Так, ни о чем,— медленно сказал он.— Я вспомнил Альпы. Быть окруженным неопишуемой красотой и постоянно думать о корке черного хлеба, вместо того чтобы радоваться жизни. Вы когда-нибудь находились в такой ситуации?»

«Нет»,— сказал я.

«Да, ведь вы еще так молоды, вы конечно же не помните войну»,— пробормотал поляк.

Мы замолчали. Вдруг он отставил кружку и, ссутулившись, пошел по улице. Удивленный, я смотрел ему вслед, но потом догнал его, и мы молча дошли до гостиницы.

У самого входа поляк остановился, повернулся ко мне и мучительно улыбнулся:

«Извините, не сердитесь на меня, но я должен немного отдохнуть. Я не прощаюсь с вами. Подождите меня в студии, если можете, и я вам позвоню...— Глаза его были холодны и мрачны, он похлопал меня по плечу и еще раз повторил: — Я с вами не прощаюсь...»

Озадаченный, так и не поняв, что с ним произошло, я возвратился на студию. В монтажную идти не хотелось, и я свернул к Дому кино. Но буфет был закрыт, и когда я уже подходил к своему корпусу, ассистентка крикнула мне в форточку:

«Вас поляк ищет...»

«Он же собирался отдохнуть?»

«Не знаю. Только что звонил. Ищет вас...»

Я сел в синюю «Волгу» и сказал шоферу:

«Наш гость, наверное, заболел. Давай срочно жми в гостиницу... Но если я через полчаса не выйду, то возвращайся на студию и жди меня там. Кстати, ты знаешь Ивана Матвеевича?»

«Кинемеханика, что ли?»— спросил шофер.

«Его самого. Разуещешь и попросишь, чтобы он не уходил. Будем гостю фильм показывать. Обязательно найди его, ты понял меня?»

«Понял, чего тут не понять. Первый раз, что ли, иностранцев принимаем!»

...Я порадовался, увидев, что режиссер чувствует себя значительно лучше. Лицо его было оживленно, холодный блеск в глазах исчез. На столе стояла початая бутылка ка-

захского коньяка. Он предложил мне сесть и наполнил две рюмки:

«Давайте выпьем без тоста, просто так».

Мы випили, помолчали, и поляк попросил у меня сигарету.

«Мне очень понравился ваш табак», — сказал он.

«Да ведь не для того же, чтоб расхваливать наше казахское курево, позвал ты меня к себе, — невольно подумал я и предложил: — Может быть, спустимся в ресторан, пообедаем?»

«Что-то не хочется. Возьмите апорт... — он протянул мне яблоко.— Вы знаете, я хочу вам кое-что рассказать,— сказал он, затягиваясь сигаретой.— Мне нужно это кому-нибудь рассказать, и я почему-то думаю, вы поймете меня...— Он замялся: — Скажите, вы видели около пивной маленькую будку сапожника?»

«Видел, ну и что?» — удивился я.

Он посмотрел на меня и подошел к окну...

Рассказ польского режиссера

«В сорок седьмом году, освободившись из концлагеря, затерявшегося в горном районе Германии, я пешком шел через всю Европу. Ехать сразу в Польшу я боялся — люди рассказывали, что там всех, вернувшихся из Германии, сажают в тюрьму, и понятно было, что мне, двадцатилетнему парню, побывавшему в Освенциме, Дахау и других адских местах (сейчас и вспоминать о них не буду), не хотелось снова оказаться за решеткой. Из Освенцима я вышел живым, но в лагерном крематории немцы сожгли мою мать, и я до сих пор не могу спокойно смотреть на любой дым из трубы, мне так и хочется закричать... Я не знал радостей детства, война уничтожила наше детство... И юность, и молодость, и любовь, и мечты — все, все поглотила война...»

Он помолчал.

«Мы носим фамилию знаменитых польских магнатов, но сами к ним не имеем никакого отношения. Семья у нас была большая и очень веселая, все мы любили петь. Особенно мама. А отец был известным мастером, трудолюбивым, честным и молчаливым человеком. Перед войной мы оставили свою деревню и переехали на шахты в Хваловицах. Отец проработал в забое всего два года — он с молодых лет не обладал крепким здоровьем, и шахтерский труд был ему не под силу. Он часто болел, и мать стала уговаривать

его вернуться в деревню. Но он не соглашался, и тогда вся наша семья переехала в Варшаву. Отец часто говорил, что хочет дать образование нам, своим детям, и мечтал, чтобы моя старшая сестра Лиза стала оперной певицей, а она действительно пела очень хорошо. В Варшаве отец тоже не смог устроиться на работу, где платили бы приличные деньги, и вынужден был заняться сапожным ремеслом, которым, кстати, промышлял и его отец, мой дед. В короткое время маленькая мастерская отца стала известной в том районе Варшавы, где мы жили, и в семье нашей появился достаток. Успеха он добился, как я уже говорил, исключительно своим мастерством, трудолюбием и безупречной честностью.

По вечерам мы собирались и пели песни, даже соседи приходили нас послушать. Мне было тогда двенадцать лет, и к моим младшим сестренкам забегала поиграть девочка-англичанка Бетти, моя сверстница, она была дочка настройщика роялей, осевшего в Польше. Знал ли я тогда, что всего лишь через семь лет встречу с ней на развалинах Европы и влюблюсь в нее!

В тридцать девятом году нас оккупировали немцы. Мы с моими сестренками Магдусей и Лизой стали членами юношеской подпольной организации и по ее поручению распространяли листовки. Ходили также в школу, которую открыл комитет Сопротивления, одним словом, на наши юные, скорее, даже детские плечи легли нелегкие заботы. Каждый день, каждый час, каждая минута нашей жизни были под прицелом недремлющего ока гестапо, и жизнь наша проходила в опасностях, тяжелых испытаниях и постоянной заботе о хлебе насущном — тогда в Варшаве было совсем голодно... Именно теми днями я и измеряю цену победе и цену страху. Я не верю в слепой героизм, ведь в сознании каждого человека есть чувство опасности и чувство самосохранения. Бесстрашный герой — это слишком легко сказано, это выдумали плохие писатели и бойкие журналисты. В каждом человеке есть чувство страха, ведь человек не железный робот, но герой тот, кто умеет забыть о страхе, преодолеть его. А человек всегда остается человеком. Справедливее было бы умереть, чем терпеть муки и унижения Бухенвальда, но и там люди прилагали все силы, чтобы выжить».

Поляк опять замолчал. Он взял сигарету, размял ее и достал зажигалку...

«В сорок четвертом году, когда началось знаменитое варшавское восстание, фашисты безжалостно уничтожали население нашей многострадальной столицы. Нас выгнали на улицу, заперли двери нашего дома, облили бензином и подожгли. Отца с матерью, меня, Магдусю, стариков, женщин, детей они погнали перед своими танками, чтобы нейтрализовать огонь варшавских баррикад. Мне часто снится этот кошмар — как мы бежали перед гусеницами немецких танков, как падали люди и танки наезжали на трупы, как свистели пули. Крик, плач, слезы... Магдуся, которая бежала рядом со мной, уцепившись за мою руку, упала, сраженная пулей. Я склонился к сестренке, но стальная гусеница уже нависла над нами. Я лихорадочно высвободил руку и побежал, увлекаемый толпой, а оглянувшись, увидел, что она уже смята, превращена в кровавое месиво, наша Магдуся, самая красивая, веселая, правдивая и заботливая в нашей семье. Я знал, что она мертва, но мне казалось, что она зовет меня, умоляет о помощи. Зажав руками уши, я бежал дальше, я искал в толпе отца и мать, единственных, о ком я мог в это время думать. Но их не было видно... Только бы они остались живы, только бы они остались живы, дорогие мои!.. О Лизе, которую за несколько месяцев до восстания угнали в Германию, я в этот момент не помнил и не думал... Не думал... Я казнил себя за то, что выпустил руку Магдуси, хоть и точно знал, что ничем бы уже не смог помочь ей. И я навсегда запомню объятый пламенем город, горящий город, горящую страну, пылающую Историю. И это ощущение нельзя передать ни в прозе, ни в стихах, ни на экране... Горящая страна, горящий город, горящие улицы, не имеющие сил освободиться от огня!..»

Голос его задрожал. Весь вид его выражал душевное смятение, глаза были влажны, и я понимал, что он снова наяву переживал те унижения и душевные страдания, которые причинила ему война. Желая, по-видимому, освободиться от нахлынувшей на него слабости, он подошел к окну и стал глядеть вдаль, на снежные вершины Алатау...

Потом он сел в кресло, и лицо его приняло прежнее спокойное и сдержанное выражение...

«Я уже говорил, что мать мою сожгли в освенцимском крематории, а теперь я расскажу, при каких обстоятельствах я встретился со своим отцом.

К тому времени я уже полгода работал грузчиком в Мюнхене. На мне была легкая куртка из мешковины, поношенные брюки в заплатках, на ногах — американские бо-

тинки, больше у меня никакой одежды не было, и денег — тоже. Наступало время первого снегопада, и я был в растерянности, не зная, то ли возвращаться на родину, то ли нет. В Польше я мог разыскать своего отца, если он, конечно, остался в живых, но жив ли он? А если жив, то возвратился ли в Польшу? Может быть, тоже скитается по чужим городам...

В Мюнхен я приехал, чтобы разыскать Лизу, но и здесь не нашел ее следов, хотя случайно встреченный мной земляк утверждал, что видел ее в этом городе. А может быть, и она исчезла в печах крематория?.. Я весь дрожал от этих мыслей... Не может быть! Не может быть!.. Лиза жива, Лиза еще будет петь в польской опере: в это верили отец с матерью, об этом мечтали они, и я тоже верю в это, тоже мечтаю о том счастливом дне, когда она выйдет на сцену и зал встретит ее громом рукоплесканий... Промерзший, иззябший, я шел по улице, обмотав шею дырявым шарфом и запахнув полы куртки. И вдруг мне почудилось, что кто-то окликнул меня по имени. «Не может быть, — подумал я. — Кто знает меня в этом городе? Это галлюцинация, галлюцинация — от холода, от недоедания, от жалкой жизни на чужбине, галлюцинация — да, да, да...»

Но меня вновь окликнули, и я вынужден был остановиться. На темной улице, освещенной лишь слабым светом окошек маленького кафе, я неясно различил два силуэта, мужской и женский.

Женщина, заметив, что я наконец оглянулся, приветственно подняла руку и побежала ко мне. Лиза! — мелькнуло у меня в голове, и я побежал к ней навстречу. Лиза! Лиза! Лиза! Я счастлив! Нет человека счастливее меня! Я бежал, и из глаз моих текли слезы. Мы теперь уедем вместе, вместе!.. Значит, не зря я искал тебя, сестренка, по белу свету, не зря верил, не зря мечтал! И ты будешь, будешь петь в польской опере, и мы обязательно вернемся теперь на родину. Мы вернемся вместе, и нам поверят. Не может быть, чтобы погибли все наши друзья по подполью, они помогут нам восстановить наше честное имя. «Лиза! Лиза! — бормотал я и плакал. — Ли-и-и-за!..»

Но когда она приблизилась ко мне и кинулась мне на грудь, я понял, что жестоко ошибся, и отшатнулся, не в силах сдержать рыданий. Но она все обнимала и обнимала меня тонкими руками, и гладила меня по голове, и быстро-быстро шептала:

«Успокойся, я не Лиза, я — Бетти, Бетти! Ты узнаешь меня?..»

Бетти! Золотоволосая прекрасная Бетти!..

К нам подошел ее спутник. Он пренебрежительно оглядел меня и хмыкнул. Бетти что-то резко сказала ему по-английски, и он, удивленно свистнув, отошел в сторону. Бетти, наша варшавская соседка, маленькая милая Бетти! Как изменилась ты, двадцатилетняя мисс, рано познавшая все горести и радости жизни.

«Ты знаешь, где живет твой отец?» — спросила меня Бетти, когда мы немного пришли в себя, ошарашенные неожиданной встречей. Я схватил ее за руку, мне показалось, что все это — сон, что я раскрою сейчас глаза и не увижу ничего: ни моей сверстницы, ни спутника ее, который с любопытством смотрел на нас, ни этой темной холодной улицы.

«Отец? Где он? Да скорее же, не мучь меня, Бетти!»

«Я все, я все тебе расскажу,— торопливо говорила она.— И мы сейчас поедem к нему. По дороге ты все узнаешь...»

Она подошла к своему спутнику, и они снова заговорили по-английски. Я не понимал их, но по выражению лица этого здорового парня, одетого в форму офицера американской армии, чувствовал, что ему не по вкусу то, что предлагает Бетти. Они заговорили еще быстрее, и Бетти поцеловала парня. Офицер захохотал и огромной ручищей грубо хлопнул Бетти по спине, тем самым давая ей понять, что уступает ей и выполнит ее просьбу. Он протянул мне руку, угостил сигаретой, и мы сели в его машину. Больше он не вмешивался в наш разговор, хотя Бетти частично и переводила ему наши слова. Американец внимательно смотрел на дорогу и лишь время от времени искоса поглядывал в зеркало на нас, устроившихся на заднем сиденье.

«Так где же живет отец?»— спросил я.

«На берегу Боденского озера. Я была у него».

«Почему он не вернулся домой?»

«Не знаю, — сказала Бетти. — Мы не говорили с ним об этом. — Она положила голову мне на плечо. — Ты, наверное, устал? Вздремни. До Бодена мы доберемься только к утру».

Теперь я понял, почему американский офицер так упорно не соглашался на поездку; дорога была длинной. Я дремал, но беседа наша не прерывалась. Бетти жила в Мюнхене, но не встречала там Лизу, и сейчас у меня не было сом-

нения, что сестра уже вернулась в Польшу. А теперь и мы с отцом возвратимся на родину и заживем втроем, ведь нас осталось только трое от нашей большой и веселой семьи... Втроем и будем жить, оплакивая умерших. Главное, что будем наконец-то вместе... А Бетти? Я любил Бетти, но сказать ей об этом не успел, ведь нас разлучили в самом начале нашей юности. Бетти, оказывается, встретила победу в тюрьме близ Боденского озера. «Быть интернированным — это конечно же не то, что сидеть в концлагере, — рассказывала она. — Каждого из нас держали для обмена на немецких солдат и офицеров, взятых в плен во Франции и Германии, вот почему и обращались с нами значительно мягче, чем с обычными заключенными...»

Она гладила своей мягкой ладонью мою руку, но все мои мысли были заняты предстоящей встречей с отцом. «Не стану ему рассказывать, как умерла наша мать, — решил я. — Об этом не надо говорить, ведь у него и так слабое сердце, а этой ужасной вести он просто не вынесет... Кстати, как чувствует он себя? Может быть, болеет? Как же это я забыл спросить об этом?»

Но усталость взяла наконец свое, и с этой мыслью я и заснул, не слыша больше того, что рассказывала моя спутница.

Я проснулся от какой-то неясной тревоги. Машина стояла на обочине дороги, и луна ярко освещала все вокруг. Ни Бетти, ни офицера в машине не было. Я хотел было открыть дверцу и тоже выйти из машины, но вдруг увидел такое, отчего, зажмурившись, вжался в угол сиденья и закрыл уши ладонями, чтобы не слышать хриплые любовные стоны американца и бессвязное бормотание Бетти, лежавшей на армейской плащ-палатке... Вот чем платила она сытому победителю за будущую встречу отца и сына!.. Бетти, маленькая золотоволосая Бетти! Нет больше ничего общего между тобой и той женщиной, которая сейчас улаживает американца. Ты и она даже не знакомы друг с другом, вы — чужие друг другу... А ты, Бетти, одна из миллионных жертв этого нечеловеческого времени, и, может быть, судьба твоя намного страшнее судьбы тех, от кого осталась лишь зола в печах Освенцима... Что ты сделала с собой?.. Но, может быть, и ты мучительно страдаешь, не находя душевного покоя в разоренной Европе? Может, и ты желаешь смерти? Жертва, принесенная тобой, — может, это и есть смерть?..

Вскоре Бетти снова села в машину. Я заметил, что вся она дрожит, но старался не показать ей, что проснулся. Американец о чем-то спросил ее. Голос у него был веселый, самодовольный. Бетти не ответила. Она прижалась ко мне и прошептала:

«Прости! О боже, боже мой!..»

Я молчал, стиснув зубы. Мне хотелось выбежать, броситься вон, но машина уже тронулась, и при ярком свете луны вновь стала разматываться бесконечная лента серого шоссе.

Отец снимал маленькую сапожную мастерскую недалеко от того места, где Рейн впадает в Боденское озеро. Он обнял меня, не переставая кашлять. Ладони его были влажные, лицо осунулось, впалые глаза лихорадочно блестели, и остатки волос на голове стали совершенно белыми. Он жил один, спал здесь же, в мастерской, которая даже меня, видавшего виды, поразила своей нищетой и убожеством.

Бетти, пообещав вернуться через неделю, уехала. На прощанье отец поцеловал ее, расстегнул рубашку и снял с себя золотой крестик, знаками показывая Бетти, что он дарит его американскому офицеру. Но тот, улыбаясь, посмотрел на Бетти и отрицательно покачал головой.

«Будьте счастливы, я рад за вас», — перевела Бетти его фразу.

«Неужели в этом одичавшем мире еще остались люди?» — пробормотал отец, снова протягивая американцу крестик.

«Ноу, ноу!..» — замахал тот руками и, обняв Бетти за плечи, направился к машине.

...Рейн. Боденское озеро. Сказочные, покрытые снегом Альпы. Жить среди этой красоты и умереть здесь — какая жалость, какая жестокая несправедливость!..

«Отец, почему ты не вернулся в Польшу?» — спросил я.

«Я думал, что все вы погибли, и мне было все равно, — устало сказал он. — И можешь не таиться, я знаю, как умерла наша мама».

Долго сидели мы в горестном молчании. Вечерело. Снежные вершины и облака побагровели в лучах заходящего солнца, и от контраста этой красоты с тем, что творилось в наших душах, прошедших через слезы, горе, одиночество и отчаяние, нам было особенно тяжело.

«Единственное, о чем я прошу тебя, — сказал отец, когда мы возвратились в его мастерскую, — уезжай в Польшу».

«Мы вернемся вместе. Там нас ждет Лиза», — сказал я.
«Лиза, Лиза, — вздохнул отец. — Ты уверен, что она жива?»

«Уверен. Я знаю, она будет петь в оперном театре, мы еще услышим ее пение...»

«Ну, ты, может быть, и услышишь. А я... вряд ли... Вряд ли я услышу ее пение, вряд ли увижу я снова родину. И помни, если я умру, то похорони меня не в городе, а на берегу озера... — Отец закашлялся. — Я не смог добраться до родной деревни, так пускай хотя бы мой прах покоится на вольном воздухе...»

«Рано ты заговорил о смерти, отец», — пытался я подбодрить его, но он покачал головой.

«Я знаю, о чем говорю... — тихо сказал он и вдруг спохватился: — Да ты, наверное, голоден? А у меня и нет ничего. Согрей воды...»

Отец и сын, промучившиеся три долгих года в немецких концлагерях, глядели на снежные вершины Альп, макали черствый хлеб в горячую воду и грызли его. И я думал о том, что все еще может устроиться — уж если мы выбрались живыми из лагерного ада, то здесь, в объятиях природы, как-нибудь выдюжим, я буду работать, поставлю на ноги отца, и тогда мы, живые и здоровые, возвратимся в Польшу.

Я рассказал отцу о слухах, бродивших среди эмигрантов, что всех приехавших в Польшу сажают в тюрьму. Он огорченно махнул рукой.

«Врут, не может быть... Это нас пугают, чтобы мы забыли свою родину. А проверку они конечно же делают, и правильно, иначе нельзя. Сам посуди, мало ли сволочи бродило по нашей земле во время войны? Но неужели ты, который выжил в немецком концлагере, испугаешься тюрьмы своей страны, даже если тебя и задержат, чтобы установить истину? Не умрешь ведь. И не убьют же тебя, прошло то время, когда на нашей родине убивали. Обещай мне, что ты вернешься в Польшу. Поклянись!..»

Он вытащил из-под рубахи крест, и я прикоснулся к нему губами.

«Клянусь, — сказал я. — Но мы вернемся вместе...»

«Ну, вместе так вместе, — улыбнулся отец. — А теперь давай споем ту песню, которую любила наша мама. Про нашу Вислу».

Он начал песню своим слабым хриплым голосом, и я подтягивал ее. Над Рейном, Боденом, белоснежными Аль-

пами лился тихий, задыхающийся, но свободный голос поляков, отца и сына, уставших от концлагерей, чудом уцелевших в пекле войны, привыкших к несправедливости, унижению, потере близких, — далеко неслась в безлюдном и черном просторе песня нашей родины.

И долго еще мы смотрели в темное окошко, за которым угасал день. Мы дрожали от холода и голода, но крепились — нас грели лучи счастливых дней нашего прошлого.

А утром я увидел, что отец мой мертв. Я коснулся губами его холодного лба, но у меня уже не было слез. И он навсегда остался там, в чужой земле, никогда больше не увидел он родных мест...»

Поляк закрыл лицо ладонями и глухо сказал:

«Вот почему я так странно вел себя, когда увидел будку сапожника там, на берегу. Не обижайтесь на меня — я ничего не мог с собой поделать. Все объяснить невозможно, я рассказал вам лишь малую долю того, что испытал... Вскоре после смерти отца я вернулся в Польшу и поступил в университет...»

«Вы сидели в тюрьме?»

Он встал и зашагал по комнате.

«Недолго. Со мной быстро разобрались. Так что это не считается, время было такое...»

«А где Бетти?»

«Не знаю. Я с ней больше не встречался...»

«А Лиза вернулась в Польшу?»

«Тоже не знаю. От нее не было никаких вестей», — сказал он и отвел глаза, отчего я понял, что он не до конца откровенен со мной и какая-то печаль по-прежнему томит его.

Мы помолчали, и поляк улыбнулся:

«Нагнал я на вас тоску своими воспоминаниями. Нам бы сейчас по чашечке кофе выпить, вот было бы прекрасно...»

«Идемте, пообедаем внизу», — предложил я.

«Спасибо, я есть не хочу. Спасибо.»

«А мы и не будем есть. Выпьем кофе и уйдем... И спасибо вам, что вы доверились мне, рассказали о своей жизни...»

Мы вошли в ресторан на нижнем этаже гостиницы и сели за столик.

«Когда здесь начинает играть оркестр?» — спросил поляк.

«С семи вечера. Вы хотите послушать музыку?»

Он посмотрел на часы.

«Терпеть не могу этот современный шум и грохот», — улыбнулся он. Щеки его порозовели, и он чувствовал себя гораздо увереннее, чем в комнате.

«Скажите, а вы сняли фильм о том, что мне сейчас рассказали?» — спросил я его.

Он отрицательно покачал головой.

«Все думаю, как приступить к нему. Для меня это слишком важно, чтобы делать его сгоряча...»

У меня вдруг мелькнула мысль предложить ему посмотреть мой новый материал, но он опередил меня:

«Говорят, вы новый фильм сняли. Не хотите мне его показать?»

«Мне неудобно было приставать к вам со своими проблемами...»

«А что тут такого, ведь мы же коллеги», — снова улыбнулся он.

* * *

После показа фильма я поблагодарил киномеханика Ивана Матвеевича.

«Зря, парень, боишься, — шепнул он. — Поверь мне, старому волку, что после монтажа засияет твоя картина, как молодая невеста, уж я-то знаю...»

Он ушел, и мы остались в просмотрном зале наедине с поляком. Он молчал, а я, волнуясь, ждал, что скажет он, признанный мэтр, мужественный терпеливый человек, переживший многие тяготы и в жизни, и в творчестве. Мне казалось, что только он сможет дать моей работе справедливую оценку в такую трудную для меня минуту.

«Говорите только правду. Не надо сластить пилюлю», — не выдержал я.

Он улыбнулся мне своей неизменной открытой улыбкой:

«Я и не собираюсь вас щадить... Признайтесь, когда вы снимали фильм, вы делали ставку на кадр, на великолепный, неповторимый, точно построенный, но все-таки отдельный кадр?»

«Вы угадали».

«Мне понятен ваш прием. Одно время западные режиссеры много работали в этом направлении. Да и наша молодежь сейчас тоже увлекается этой почти фотографической композицией. Но — композиция зачастую бывает велико-

лепна, а фильма как такового нет. Я в данном случае не о вас говорю, я говорю об этом приеме».

«Каждый художник соответствует своему таланту и своей силе духа», — сказал я.

«Это верно. И я завидую тому, что вы еще так молоды и у вас масса возможностей искать, ошибаться, начинать все сначала. По сравнению с первым фильмом эта лента конечно же слабее, таково мое мнение. Но это — не отступление, а издержки вашего таланта. Это и поиск, и новые чувства, одним словом, еще один ваш шаг в выработке собственного мироощущения...»

Мы вышли на улицу. Снег большими хлопьями падал на мерзлую землю.

«Видите, какая прекрасная картина? С каким спокойствием падает снег, и кажется, что можно наблюдать за его падением бесконечно. Но уверяю вас, что через некоторое время эта монотонность надоест человеку, и даже более того — начнет действовать ему на нервы. Я около часа смотрел ваш фильм, смотрел с волнением и восхищался тем, какие тонкие удачные детали вводите вы в ткань повествования. Такая стилистическая тонкость присуща, пожалуй, лишь фильмам Куросавы. Скажите, вы, наверное, на досуге увлекаетесь беллетристикой?»

«Есть такой грех, — сознался я. — А как вы догадались?»

«Дело в том, что ваше чисто кинематографическое видение в начале фильма где-то к середине сменяется литературной, чисто повествовательной подачей материала...»

«Меня тоже мучает именно середина фильма. За эти дни я ее раз пять, наверное, переделывал», — сказал я.

«Все приходит с опытом. Не мне вам говорить, что в любом фильме всегда два ритма. Один ритм — внешний, схематический, второй — внутренний, душевный. Мне кажется, что в середине фильма начал преобладать этот внешний ритм, отчего и потерялась общая гармония».

Я слушал, не перебивая его.

«Я вот вас учу, а ведь и сам до сих пор мучаюсь, когда мне нужно точно выстроить смену эпизодов», — признался поляк.

«Мне кажется, в том и заключается изощренное мастерство Феллини, что он одинаково умеет держать и внешний, и внутренний ритм фильма», — сказал я. — У него один эпизод сливается с другим абсолютно незаметно, и лишь по-

смотрев один и тот же фильм несколько раз, можно обнаружить этот стык».

«Да, суспензиальность — знаменитый прием Феллини, и он пользуется им виртуозно», — согласился со мной мой собеседник.

«Может, где-нибудь кофе выпьем, а то я что-то продрог», — предложил он.

Мы заглянули по дороге в парочку кафе, но ни в одном, ни в другом кофе не оказалось.

«Пойдемте ко мне», — пригласил я.

«Что вы, уже поздно. Ладно, я напьюсь в гостинице чаю», — сказал поляк, и тут я вспомнил, что общежитие, в котором остановился мой друг, находится отсюда в двух шагах.

«Здесь у меня друг живет», — сказал я. — Если не возражаете, заглянем к нему».

«Но у него, наверное, семья? Неудобно», — сказал поляк.

«Нет. Это общежитие, гостиница. Он здесь в командировке», — успокоил я его.

Мой друг сумерничал в одиночестве и, увидев нас, обрадовался. Я познакомил его с поляком.

«Хотите кофе?» — предложил мой друг.

«Кофе?» — обрадовался поляк. — Добже!..»

«Вот видите, то, что мы с вами искали на земле, свалилось к нам с небес», — засмеялся я.

«У меня и еще кое-что имеется», — подмигнул мой друг, доставая бутылку.

На этот раз наш гость не возражал против выпивки, и мы сдвинули стаканы.

Домой я вернулся только под утро. Мы с поляком еще с час, наверное, проговорили у входа в гостиницу, куда я взялся его проводить, и теперь я возвращался домой пешком. Морозный воздух был чист и прозрачен, и мне дышалось легко и свободно, тем более, что выпитое давно выветрилось у меня из головы. Лишь теперь я понял, почему «проваливалась» у меня середина фильма. Надо убрать два эпизода, это лишние эпизоды. Вместе с ними уйдет и ряд «гениальных» деталей, но иного выхода нет. С утра я засяду за монтаж и, может быть, наконец-то добьюсь своего.

Я нажал кнопку звонка, но за дверью не было слышно ни звука, ни шороха. Спят. Я достал ключ и сунул его в замочную скважину, но дверь была заперта изнутри. Колодить в дверь было неудобно, я боялся разбудить соседей. Выждав несколько минут, я снова позвонил, уже начиная

не на шутку злиться. «Упрямится, наверное,— подумал я о жене.— Ну и упрямся... Милости у тебя просить не стану...»

Когда я вышел на улицу, на часах было шесть. Воздух, которым я только что наслаждался, показался мне противным и зябким. Соседи уже прогуливали собак, и я спрятался за дерево. «Жена его не пустила. Он, оказывается, пьяница...» — только этих разговоров мне еще не хватало. Пойти к знакомым? Но к кому же ты пойдешь в седьмом часу утра? Эх, вздремнуть бы сейчас да снова засесть за монтажный стол. Но где же вздремнешь?

Из-за поворота показался автобус, и я сел в него. До железнодорожного вокзала оставалась одна остановка, когда в автобус вошел сценарист в сопровождении двух почтенных бородатых старцев.

«Привет, ты куда это собрался с утра пораньше?» — спросил он меня.

«А ты куда?»

«Вот, провожаю аксакалов в аул. Это — родственники жены», — пояснил он.

«А я хочу купить свежие газеты в вокзальном киоске», — соврал я.

«Что, статья о тебе вышла?» — напрягся сценарист.

«Да нет, тут — другое», — неопределенно сказал я.

Автобус остановился, и сценарист вместе со своими спутниками направился к зданию вокзала, а я подошел к газетному киоску. Киоск был еще закрыт, и, обернувшись, я увидел, что сценарист, стоя у входа в вокзал, с удивлением наблюдает за моими движениями. Заметив, что я смотрю на него, он быстро юркнул в здание вокзала. Я сел в автобус и сразу же уснул. Когда я открыл глаза, мы были уже на другом конце города.

Так и просидел я в этом автобусе часов до десяти, то засыпая, то вновь просыпаясь.

Когда я пришел на студию, ассистентка сказала, что меня спрашивала по телефону жена.

«Спасибо», — сказал я ассистентке, а про себя подумал: «Ищи-ищи... Нужно ночью двери открывать, а не по утрам меня разыскивать...»

«Вы забыли побриться», — сказала, улыбаясь, ассистентка. — Дать вам директорскую бритву? «Харьков?»

«Давай», — махнул я рукой.

«Побрейтесь у него в кабинете. Он вместе с гостем фильм смотрит...»

Я проснулся от шума. В аэропорту начали уборку зала. Двое парней передвигали массивные кресла, женщины, вооруженные тряпками и пылесосами, протирали полы, так что мне пришлось встать. Но как только уборка закончилась, я снова улегся. Девушка и парень, что сидели напротив меня, тоже оказались на своих местах. Только в этот раз они сидели порознь.

Спать... спать... спать...

ТРЕТИЙ ДЕНЬ

Монтажный столик... Теперь меня с этого места никто не сдвинет. Никто. В голове у меня вертелась мелодия, которую напел мне этой ночью поляк. Слова и мотив неотвязно преследовали меня. Славная песня...

Жизнь человека — путь и дорога.
Там он и тут,
Там он и тут.
Беды гнетут...—

тихонечко мурлыкал я, увлеченный работой.

«Эдвард Стахура был нашим известным писателем, — рассказал мне вчера поляк. — Он был необычайно талантливым. Стада, как мы его звали, никто никогда не мог заставить дома, и мы, друзья, дали ему прозвище «Пилигрим» — ведь он и зимой и летом бродил по Польше. Нет такой работы, которую он не испробовал в жизни: был он и грузчиком, и рыбаком, и кочегаром. А послушали бы вы, как он пел под гитару свои песни!..»

«Я читал рассказы Стахуры в сборнике избранных новелл польских писателей», — сказал я.

«Я видел эту книгу. Она у вас вышла в издательстве «Прогресс». Но Стед был в жизни скромным человеком и никогда не хвастался своим успехом, не носился по родственникам и знакомым со своими книгами...»

«Мне очень понравился его рассказ «Поток времени». До сих пор помню его сюжет...»

«Мы в свое время этот рассказ тоже приняли на «ура».

«Это он, наверное, о себе писал?»

«Да, он писал только то, что сам видел и хорошо изучил».

«А сейчас он что пишет?»

«Сейчас? — Поляк помрачнел. — Сейчас? Двадцать четвертого июля прошлого года он ушел из этого мира, и с тех пор я — один. Он был самым близким моим другом. Самым близким. Мы хотели вместе сделать фильм о войне, но... видите, как получилось...».

Я вынул из кармана бумажку, на которой записал слова песни, сочиненной Стахурой. Мне казалось, что его строки придают мне силы и мужество. Песня Стахуры казалась мне благодатью, сошедшей с небес, и как нельзя больше соответствовала моему теперешнему положению.

Жизнь человека — небо и туча.

Ниже — хуже,

Выше — лучше.

А смерть подождет...

Пустяки!..

Пока сила есть,

Пока дело есть,

Надо жить! Будем жить!..

«Ты чайку не хочешь со мной попить?» — спросил меня заглянувший в монтажную оператор моего второго фильма.

«Не откажусь, — я поднялся. — Чашка чаю мне сейчас как воздух нужна!»

«Что-то ты плоховато выглядишь, — сказал оператор, когда мы поднимались на второй этаж. — Пьешь, наверное, много? Бери с меня пример. Я в рот не беру дурную эту воду. И не курю...»

«Ты собрался жить вечно?» — серьезно спросил его я.

«Это мы посмотрим», — подмигнул мне оператор. Я любил его за то, что он никогда не унывал и не боялся никаких трудностей.

В желтой комнате все было как обычно. Джинсовые девушки и парни сидели за столиками и вели свой нескончаемый, вечный разговор, о том КАК бы они снимали и ЧТО бы они снимали, если бы их, в конце концов, пустили похозяйничать на съемочной площадке. Я взял чашку чаю. Ее мне налила знакомая девушка-редактор, которая первой узнавала на студии все новости да и переговорить могла любого самого заядлого говоруна. Размешал сахар и сел на подоконник. Я по горло был сыт такими разговорами. Послушать их, так они самые умные, самые знающие люди в мире. И создают исключительно шедевры. Сплошные шедевры, так что рано или поздно все человечество преклонит голову перед этими алма-атинскими юнцами. Можете верить в это безо всяких речательств, ибо

все будет так, как говорят эти длинноволосые: Феллини и Куросава поднимут перед ними руки, а Бергман и Крамер попросят научить их уму-разуму.

Режиссер в темной рубашке: Я признаю единственный фильм Феллини — «Амаркорд». Все остальное — эскизы, зарисовки...

Режиссер в белой рубашке (*удивленно*). Но это, наверное, нужно доказать?

Режиссер в темной рубашке. Не надо никаких доказательств, все и так ясно...

Режиссер в красной рубашке. Если бы ты снял фильм, похожий хотя бы на тень того, что делает Филлини, тебе бы этого хватило на всю жизнь.

Режиссер в темной рубашке. У меня была разработка фильма во сто крат лучшего, чем у Феллини. Почему ее не пропустили?

Белая рубашка. Да, это была серьезная задумка. Почему?

Красная рубашка (*иронически*). Наверное, потому, что это был бы уж слишком великий фильм...

Режиссер в костюме-тройке (*изнемогая*). Где его черти носят?

Оператор в галстук. Там, наверное, очередь.

Костюм-тройка. Что это за актер, если он не может без очереди взять бутылку шампанского? Не буду я его больше приглашать на кинопробы... (*Вытирает со лба похмельный пот и тоскливо глядит в окно*).

Темная рубашка. «Одален» и «Джо Хилл» Бу Видерберга — вот, на мой взгляд, вершина сегодняшнего киноискусства.

Белая рубашка. Ты это серьезно говоришь?

Красная рубашка. Видерберг давно стал рабом экспорта.

Темная рубашка. Все равно он стоит намного выше Бергмана.

Девушка-редактор. На самом деле Видерберга не интересуют заботы шведского народа. Если он раньше боролся против мещанства, то теперь и сам превратился в мещанина.

Белая рубашка (*иронически*). Даже так?

Красная рубашка (*разгорячившись*). Как бы там ни было, но Бергман никогда не попадал в сети обывателей. Это режиссер, который развернул свой фронт борьбы против них. Помните, что о нем писали? Бергман спросил у

Джеймса Болдуина: «Вы мой сторонник или противник?» В этом простом вопросе таится большой смысл. Это — нетерпеливое желание узнать мнение не только известного писателя, но и всего народа...»

К о с т ю м - т р о й к а (оборачивается к своему оператору). Иди сходи за ним...

О п е р а т о р в г а л с т у к е. Умираешь от нетерпения?

К о с т ю м - т р о й к а. Тогда я сам пойду. Но учти, тебе мы и глоточка не оставим.

О п е р а т о р в г а л с т у к е (сокрушенно). Ох уж эти твои бесконечные ультиматумы... *(Хлопнув дверь, уходит).*

Б е л а я р у б а ш к а (не уставая задавать вопросы). Ты за границу оставь в покое, а лучше скажи, чем наша студия занимается, а?

Т е м н а я р у б а ш к а (сердито). Ничем не занимается. Слова, слова, слова, как писал Шекспир.

Д е в у ш к а - р е д а к т о р (смеется). Начали злословить. Что вы еще можете?

Т е м н а я р у б а ш к а (не слушая ее). А все потому, что школы нет.

Сценарист моего второго фильма, который до этого времени не вмешивался в разговор, гасит сигарету и поднимается:

— И не будет ее.

Т е м н а я р у б а ш к а. Будет! Надо фильмы делать. Мы знаем, чего достигли старики. Так вот, если бы мой фильм не закрыли, я бы тоже мог показать, чего я стою.

К р а с н а я р у б а ш к а. Если бы не закрыли твой фильм, зрители бы две пятилетки хохотали над твоей трагедией.

Т е м н а я р у б а ш к а (не обращая внимания на подколку, поворачивается ко мне). Вот ты скажи, Арыстан, есть у нас фильмы?

С ц е н а р и с т (усмехается). От него ты ничего не услышишь.

Б е л а я р у б а ш к а. Почему?

С ц е н а р и с т. Он все делает втихомолку. Мы вот, например, пьем открыто, а он вечно святошу из себя корчит. Это ханжество и на его фильмах сказывается.

Я дернулся с места, но мой оператор удержал меня за руку и холодно сказал сценаристу: «Эй, еще слово, и ты получишь по физиономии...»

Сценарист посмотрел на него, взял под мышку увесистую папку и быстро ретировался. «Завтра редсовет!»—

крикнула ему вслед девушка-редактор, но сценарист не ответил ей.

Режиссер в темной рубашке (*снова поворачивается ко мне*). И все-таки скажи, как ты считаешь, есть у нас фильмы или нет?

Мой оператор (*разозлившись*). Нет, есть — что за игра словами? Не было бы фильмов, вся студия бы без дела стояла.

Белая рубашка. Прав, старик.

Темная рубашка (*задумчиво*). Многие тут прыгали и хорохорились. Где-то они сейчас?

Девушка-редактор (*зло*). Прекратите болтовню! Тоже мне джигиты!

Красная рубашка. Погодите, наступит время, когда и наша гнедая кобыла ожеребится двойней.

Девушка-редактор (*вспыхнув*). Перестань говорить пошлости!

Красная рубашка (*смеется*). Почему пошлости? Я ж говорю о кобыле, а не о чем-либо другом.

Костюм-тройка (*глядит в окно и пляшет от радости*). Идут, идут, идут, родные! Ай-да-да-да-да... О-ха-ха... Ай-да-да... ляп-па-па... ляп-па-па...

Девушка-редактор, сердито посмотрев на режиссера в красной рубахе, выходит из комнаты.

Темная рубашка (*снова поворачивается ко мне*). Так ты не ответил на мой вопрос...

Мой оператор. И не отвечай...

— Почему, раз он спросил, надо ответить, — я слез с подоконника. — Я бы не сказал, что кино у нас нет, есть кино... — Я нарочито говорил громким и уверенным голосом, ибо был старше всех сидящих здесь на добрый десяток лет. — Кино есть, но нет кинорежиссеров...

— Может, ты считаешь, что и тебя нет? — удивленно спросил режиссер в белой рубашке.

— Конечно же. Так именно я и считаю на сегодняшний день, — смиренно ответил я и вышел, оставив их в полном недоумении перед моим необъяснимым для них самоуничижением.

И снова заперся в монтажной. После окончания ВГИКа я тоже часами просиживал в этой желтой комнате, болтая о том, что вычитал в книгах, а не о том, что понял сам. И не было в то время человека умнее, эрудированнее и увереннее меня. Пушкинский музей? Третьяковка? Эрмитаж? Я мог говорить о живописи без конца... А? Что? Вы за-

говорили о театре? Какой театр? Имени Моссовета? На Малой Бронной? МХАТ? Таганка? Вахтанговский?.. Актеры? Вы обсуждаете актеров? Ефремов? Леонов? Калягин? Джигарханян? Я всех их видел, когда был на Московском кинофестивале. Нет, не в качестве члена жюри, не нужно надо мной подшучивать... Нас, студентов ВГИКа, привлекали на помощь в качестве распорядителей. Киноактрисы? Доронина, Терехова, Гурченко? Знаю лично всех!.. Не верите? Как хотите, мне плевать! Не для того я явился сюда, чтобы убедить в чем-то обывателей, населяющих эту круглую планету!..

Если мне не верили, я не обижался, не спорил, не ругался. Я знал, что хоть и значусь ассистентом, но уже участвую в съемках настоящего фильма, и не общался с кем попало, соблюдая твердую дистанцию в отношениях. Но те, с кем я хотел сблизиться, тоже не подпускали меня к себе, так как тоже еще не знали меня. Вот и получалось, что, как только выпадала у меня свободная минутка, я тут же мчался в эту желтую комнату и присоединялся к таким же «гениальным», как и я. Ибо лишь здесь я мог толковать о том, что изучал, а не о том, что освоил, познал на собственной шкуре. Начетчик может слушать только начетчика. Похвастались друг перед другом своей эрудицией — и квиты!..

Я удивился тому, что вдруг полезли мне в голову эти воспоминания, и вновь стал напевать песенку Стахуры:

Пустяки!..
Пока сила есть,
Пока дело есть,
Надо жить! Будем жить!..

Последние слова я пропел совсем громко, как бы вдохновляя себя.

Пустяки!..
Я иду по земле!
Я бегу по земле!
Не сдаюсь! Не сдаюсь!..

«Если человек поет, дела у него идут не так уж плохо. Привет, Арыстан!..»

В дверях стояла Ольга Николаевна. Я, не испытывая особой радости, встал и пошел ей навстречу.

«Не очень-то ты доволен моим приездом, я вижу!» — Ольга Николаевна, легко ступавшая, несмотря на полноту, протянула мне руку.

«Нет, почему же?»— чересчур даже горячо возразил я.

«Можешь не врать. Врать ты еще не научился. Я все читаю на твоём лице. Но знай, что я согласилась приехать лишь потому, что это твой фильм, а иначе наверняка отказалась бы. Я на Новый год дочку с внуком пригласила, с Сахалина...»

«Это хорошо»,— невпопад сказал я.

«Что тут хорошего? У меня к празднику ничего не готово. Холодильник пустой, я даже выключила его, когда уехала. Одна надежда, что девочки на работе что-нибудь купят, я им заказала. А у тебя усталый вид. Ты знаешь, сколько дней осталось до Нового года?»

«А сегодня какое число?»— спросил я, сообразив, что и на самом деле не могу вспомнить какое.

«Вот я и говорю, ты скоро и про Новый год забудешь,— звонко, по-молодому рассмеялась Ольга Николаевна. И тут же посерьезнела.— Ну, мы сейчас выкурим по сигаретке и приступим к работе. Возражений нет? Тогда дай мне закурить. Тьфу, черт! Я совсем забыла, я же тебе подарочек привезла!»

Из бессменной черной кожаной сумки, которую я помню с тех пор, как пришел в кино, она вынула блок «Мальборо».

«Можешь травиться заморским куревом...»

«Спасибо, Ольга Николаевна»,— сказал я вяло.— Но у меня есть всего лишь одно возражение...»

«Какое?»— перебила она меня.

«Я буду сам монтировать свой фильм. Я хочу сам довести до конца свою работу».

Ольга Николаевна, вопреки моим ожиданиям, глядела на меня весело улыбаясь...

«Вот и прекрасно,— сказала она.— Давно пора... Я лишь приветствую твоё решение...»

«Спасибо, Ольга Николаевна, что вы поняли меня...»— повеселел я.

«Но я надеюсь, ты не будешь возражать, если я помогу тебе советом, словом?.. Уж на это-то мне, старухе, наверное, можно рассчитывать?»— шутливо спросила Ольга Николаевна.

«Конечно же... О чем вы говорите»,— смешался я.

«Тогда давай сделаем так. Ты сейчас отдохни, а я посмотрю весь твой отснятый материал...»

«Я хочу присутствовать при этом».

«Нет. Мне лучше быть одной. Я знаю, что ты уже готов ссориться. Так давай не будем конфликтовать из-за пустяков хотя бы сегодня...» — рассердилась Ольга Николаевна.

Я встал из-за стола и только тут вспомнил, что даже не поинтересовался, как добралась Ольга Николаевна, как устроилась...

«Ольга Николаевна, вы когда приехали? Гостиницу вам сделали?»

«Вспомнил... галантный кавалер... — улыбнулась Ольга Николаевна. — Директор уладил, все в порядке. А ты ступай закрой дверь с той стороны и жди меня в Доме кино».

Я взял чашку кофе и сел за угловой столик. Маленькое уютное кафе было пустым в этот час. «Интересно, что скажет Ольга Николаевна, — думал я. — Глаз у нее острый, об этом не одно поколение киношников знает... Понравится ей или нет?.. Посмотрим... Надо бы домой позвонить... К дьяволу! Начнутся сейчас крики... Приду, тогда уж и пускай кричат... Надо сегодня, кстати, пораньше вернуться...»

Две бессонные ночи и выпитое накануне давали о себе знать... Болела голова, стучало в висках, все тело было охвачено слабостью... Я взял еще одну чашку кофе. Я понимал, что беспокоит меня в моем фильме, но мне трудно было конкретно назвать упущения и недостатки его, объяснить их — для этого у меня не хватало ни слов, ни мыслей. Бывают же моменты, когда внутренне все понимаешь, а словами выразить не можешь, так и здесь... И дело конечно же не в слабости сценария, слабый сценарий — это не проблема... (А может, проблема?) Дело в том, что в фильме нет точной, убеждающей концовки. И фактически — две завязки. И ту линию в середине нужно убирать полностью!.. Поляк верно говорил о двух ритмах фильма... Да, только тогда, когда я найду внутренний ритм ленты, соберутся воедино все мои мысли, которые я в нее вложил...

По-видимому, успех моего первого фильма усыпил требовательность к себе и другим, иначе бы я не взялся за недописанный сценарий. И если теперь зайдет речь о новой постановке, я буду снимать только классику. Например, «Дос-Бедел-Дос» Ауэзова. Но согласятся ли на студии? А сценарий кто напишет? Сценарий я и сам напишу. Мне, главное, заручиться согласием дирекции, и тог-

да можно будет вытянуть фильм. Создать не поделку средней руки, а среднее ли, хорошее, но произведение искусства. А я способен на это, способен! Могу поручиться головой!..

Слабость не проходила. Я взял третью чашку кофе и выпил фюмку коньяка... «Эко, размечтался о новой постановке,— усмехнулся я.— Да кто ж тебе ее доверит при явном провале твоего последнего фильма?» И вдруг мне стало все равно. Уехать бы следующим летом с геологической партией моего друга Амангалия, тряхнуть стариной и вспомнить те блаженные далекие годы, когда мы разведывали нефть Жетыбая, после чего наши пути разошлись: он стал настоящим геологом, а я поступил во ВГИК. Студия, мотор, сценарий, «сверхзадача», «зерно», «подтекст», «сквозное действие» — устал я от всего этого. Мотор, монтаж, фильм, пропади оно все пропадом! То ли дело Алтай — чистый воздух, горы, река, рыбалка...

Коньяк обжег мне горло. Черт, надо было шоколадку взять... Не догадался... Точно, поеду-ка я в геологическую экспедицию. А не передумаешь? Не передумаю. Сейчас же напишу письмо Амангалию, сейчас же, пусть ждет меня... Я стал искать по карманам бумагу... Сейчас же... Я взял у буфетчицы тетрадный листочек и стал сочинять письмо. «Ты знаешь мой характер,— писал я.— Раз я это задумал, то не успокоюсь, пока не выполню задуманное...»

В это время к столику подошел молодой композитор, мой земляк, недавно закончивший консерваторию.

«Что-то тебя давненько не видно»,— сказал я ему, когда мы поприветствовали друг друга.

«Я только что из Москвы. Поступил в аспирантуру»,— сказал он, не скрывая радости.

«Прекрасно. Поздравляю вас, товарищ композитор!..»

«Спасибо. А я искал вас. Звонил домой, женгей сказала, что агай теперь дома не ночует...»

«Монтаж у меня все равно съедает,— сказал я, а про себя подумал:— Наверное, уже полгорода знает, что я не ночую дома. Нет ничего мучительнее, чем быть рабом своего гнева. И что это за проклятая готовность у моей жены вечно быть посмешищем для других? А, да ей что говори, что нет — все будет по-своему делать...»

Композитор, заметив мое смущение, быстро встал.

«Я принесу немного коньяку? Думаю, не откажетесь выпить за мой успех? Ведь вы меня знаете с детства...»

«С детства-то с детства, но я не могу сегодня...» — запротестовал я, но композитор уже направился к стойке, сделал вид, что не слышит меня.

«Ну, за то, чтоб твое имя узнал весь мир,— сказал я.— И еще — жениться тебе пора, нельзя жить одному...»

«Кому суждено быть одиноким, тому и в семейной жизни одиночества не избежать», — вспомнил он.

Мне понравилось, что он в своих ответах подражает старым мудрецам Чингистау.

«Пусть твоя музыка будет столь же красноречива, как и твои слова», — сказал я.

«Упаси бог от многословия, ага,— сказал он.— И я прошу вас, заканчивайте свои дела, да мы пойдем».

«Куда это?» — удивился я.

«Не зря же я вас разыскивал? Есть место, где нас ждут и где уже готов стол», — таинственно сказал он.

«Кто же это приготовил нам стол?» — заинтересовался я. Он назвал имя моего друга.

«Где ты его встретил?»

«Случайно, сегодня на улице. Он сказал, что обязательно хочет отпраздновать мое поступление в аспирантуру. И послал меня за вами...»

Я задумался. Мне позарез нужно было как можно раньше оказаться дома, но не принять приглашение земляка, у которого сегодня такая радость, означало смертельно обидеть парня.

«Может, лучше ко мне поедем?» — предложил я.

«Давайте к вам сходим как-нибудь в другой раз, а то мы ведь там уже все приготовили...»

«Ты понимаешь, я устал сегодня, устал ужасно. Тем более что жду сейчас одну женщину... Она из Москвы, знакомится с моим материалом... Ну да ладно,— махнул я рукой.— Дождемся ее и пойдем. Годится?»

«Годится,— проснял парень.— Принести вам горячего кофе?»

«Спасибо... Не надо. Расскажи лучше, как твоя одноактная опера?»

«Репетируют. Премьера будет весной», — сказал он.

«Обязательно пригласи меня на премьеру...»

«А, вот ты где устроил нынче монтажную комнату! — по лестнице поднимался тот бородатый режиссер, которого я тщетно зазывал посмотреть мою ленту.— Жена тебя потеряла, звонила мне», — сообщил он, усаживаясь рядом с нами.

(Так и знал, что в курсе наших дел будет нынче вся творческая интеллигенция нашего города. Спасибо, Катирал!..)

«Ты обижен на меня?» — спросил режиссер.

«За что?»

«Знаешь за что. Не обижайся. В тот день мне было некогда, я должен был невесту встречать. Мать мне покоя не дает. Говорит, если не женишься, соберусь и уеду в аул...»

«Ладно, я уж и забыл об этом... — сказал я. — Будьте знакомы». — кивнул я в сторону композитора.

«О чем ты говоришь? Этот парень пишет музыку к моему фильму, так что мы давно знакомы. Мы с ним вместе тебя искали, когда он сегодня пришел. .»

«Вот как! — удивился я. — Ну, считай, что повезло тебе с композитором, и успех твоего фильма обеспечен, если, конечно, ты сам что-нибудь не напортачишь...»

Ему явно не понравились мои слова.

«Мне — с композитором, а тебе — с Ольгой Николаевной. Я слышал, ее все-таки вызвали монтировать твой фильм, товарищ лауреат международного конкурса! .»

«Да, ее вызвали, но фильм монтировать буду я сам. Мы договорились, что она лишь проконсультирует меня...»

«Прямо здесь в буфете и будешь монтировать? — съехидничал режиссер. — А она в монтажной будет консультировать, да? Хороший ты нашел метод работы, готовься получить за это еще одну премию, у Ольги Николаевны рука легкая...»

Я знал, что переубеждать его бесполезно, и лишь улыбнулся ему в ответ. Режиссеров нашей студии (и мою жену!) мне никогда не переспорить, поэтому не стоит тратить слов. Что-либо доказать своим коллегам я могу исключительно делом, но и тогда ко мне расположится только тот, кто умеет признавать правду. «Нет, надо уезжать, — мелькнуло у меня. — Остаться на лето в этом городе нельзя. Уеду. Махну прямо на Алтай, к Амангалии. Уж простым-то рабочим он меня наверняка возьмет...»

«Да вот она и идет, твоя добрая фея», — сказал бородастый.

Я вскочил и пошел навстречу Ольге Николаевне, которая поднималась по лестнице. Я спешил, я думал, что все сразу же смогу прочесть по ее глазам, ведь глаза не обманут, глаза не могут солгать, но Ольга Николаевна, заметив мое нетерпение, махнула мне издали и показала большой палец.

Уффф!...

«Зря все вы боялись, Арыстан,— шепнула она, подхвывая.— Ты снял очень хороший фильм. На час двадцать минут. И практически незачем было меня вызывать — сам бы справился».

«Правда?» — я почему-то тоже перешел на шепот.

«Возьмешь мне чашку кофе?» — она, не отвечая на мой риторический вопрос, села за ближайший столик.

«Садитесь с нами», — встал бородатый режиссер.

«Извините, но я сейчас уйду. Я с дороги и очень устала».

«Вот ваш кофе, Ольга Николаевна», — сказал я.

«Спасибо», — рассеянно поблагодарила она и стала размешивать сахар.

«Вы говорите, чтоб я не боялся, а я все еще от страха дрожу», — признался я.

«А я знаю, отчего ты боишься и так не уверен в себе», — сказала задумчиво Ольга Николаевна. — То есть мне кажется, что я знаю, — поправила она. — Ты хотел избежать натурализма, считая, что твоя основная цель — это искусство, но боялся, что натурализм все же одолеет тебя или получится дикая эклектическая мешанина. Но это — не эклектика. Это — гармония, контрапункт... Этим мне и дорог твой фильм. Другое дело, что гармония эта местами тонет в хаосе. Ну так сие уже дело техники, вот почему я и говорю, что ты сам справишься со своим фильмом».

«Да, вот, например, ту линию в середине, где героини приходят в министерство, я хочу совсем убрать. Мне кажется, что она лишь надувается, как лягушка, а толку нет никакого...»

«Я не знаю, как там насчет лягушек, тут я не специалист, — засмеялась Ольга Николаевна. — Но в уме я сразу же вырезала то место, о котором ты говоришь. И еще — в фильме два финала. Я думаю, что оставить нужно все-таки второй. Но нужно хорошенько подумать, прежде чем это сделать...»

«Тут я с вами не согласен, — возразил я. — Я специально сделал два финала, зная, что во время монтажа придется с одним из них расстаться. Так вот, я считаю, что последний оставлять ни в коем случае не надо. Это, как вы сами понимаете, всю тональность фильма мне нарушит... Не согласен, не согласен...»

«А я и знала, что ты будешь не согласен, — невозмутимо сказала Ольга Николаевна. — Почему и сказала, что надо хорошенько подумать. И еще я знаю, — она, прищурившись,

поглядела на меня.— Что как бы ты ни упрямылся, а рано или поздно ты со мной согласишься...»

Я, не выдержав, расхохотался.

«Нечего хихикать, не мальчик уже,—ворчливо сказала Ольга Николаевна.— Ты завтра во сколько на студию придешь?»

«Как вам будет угодно. Я как молодой скакун, всегда готов...»

«Начнем в двенадцать?»

«Договорились».

«Тогда сегодня много не пей, молодой аргамак,— она еле заметным движением головы указала на соседний стол, где сидели бородач и мой земляк, композитор.— Ну, я пошла. До свидания, до завтра...»

«Я вас провожу...»

«Не надо. Терпеть не могу, когда меня мужчины провожают»,— сердито заявила Ольга Николаевна.

От друга я ушел поздно. Очень поздно. Как вскоре выяснилось, даже слишком поздно. Пили сначала за композитора, после—за успехи моего друга, потом за этюдник, который я принес его сыну, потом за мой фильм, который непременно должен был получиться удачным, пили за народ, за родину, за родителей.

Меня тошнило, у меня болела голова, но не было на свете человека счастливее меня. По мнению польского режиссера и по мнению Ольги Николаевны, классной специалистки, у меня есть фильм. Умный фильм! Вдумчивый фильм! Теперь мне нужно снимать и снимать, ведь все решают опыт и труд!..

Сдвинув шапку на затылок, я, поскрипывая снежком, шел по ночным пустынным улицам. К Амангалию я после поеду, хорошо, что письмо ему не успел отправить. Геология пока отходит на второй, третий... десятый план. Через пару недель я закончу монтаж, и тогда мы потолкуем с вами (это я предупреждаю умников из желтой комнаты!), тогда мы с вами еще встретимся. Да будет так!

Дзинь-дзинь-дзинь... Три звонка. Я всегда так звоню.

Шагов за дверьми не слышно.

Я еле держусь на ногах, прислонившись к стене. Нет, сегодня в автобусе спать нельзя, надо отдохнуть. Завтра тяжелый, слишком тяжелый день...

Дзинь... Дзинь... Дзинь...

Оказывается, в этом доме я и сегодня не нужен. И стол для меня не накрыт, и постель не готова. Вот так.

Вскоре я уже стучался в дверь оператора, который жил в соседнем подъезде.

«Кто там?» — услышался сонный голос.

«Я Арыстан», — сгорая от стыда, пробормотал я.

«Ты откуда?» — удивился он, открывая мне дверь.

«От верблюда, — рассердился я. — Мои все уснули, я никак в дом попасть не могу. Можно у тебя переночевать?»

«Да не стой ты на пороге, заходи. Конечно же можно. Только водки у меня нет», — поддел он меня.

«Пропади ты пропадом со своей водкой, мне она на дух не нужна. Была б моя воля, я бы и вообще не пил. Разбудишь меня в одиннадцать, мне в двенадцать на студию нужно. Сейчас, кстати, который час?»

«Семь, если не обидишься, — шутливо сказал оператор. — Целых четыре часа будешь спать...»

«Ничего, Александр Македонский спал по часу и побеждал в великих сражениях», — изрек я, укладываясь на диване. И сразу же провалился в сон.

Пустяки!...
Пока сила есть,
Пока дело есть,
Надо жить, будем жить!

Когда я открыл глаза, парень с девушкой ели мороженое. Девушка улыбнулась мне:

— Доброе утро, ага!

— Это вы разбудили солнце? — строго спросил я.

— Оно само встало, — опешив, сказал парень, а девушка прыснула.

Было около восьми. «Полежу еще немного», — подумал я. Лежи... лежи... лежи...

Спи... спи... спи...

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ

«Ты не выспался?» — присматривалась ко мне Ольга Николаевна.

«Нет, все хорошо. Отлично спал», — приврал я.

«А почему у тебя глаза красные?» — подозрительно спросила она.

«От волнения, наверное», — сказал я.

«Я сегодня утром у вашего директора была, — Ольга Николаевна подмигнула мне. — Он про тебя спрашивал...»

«Понятно. Ну, а вы?» — спросил я.

«Похвалила тебя. Сказала: «Арыстан снял замечательный фильм». Правду сказала... Сказала то, что думаю...»

«Понятно...»

«Вечно тебе все понятно, — улыбнулась Ольга Николаевна. — А мне вот стало понятно, что он, по-видимому, даст тебе еще одну работу. Ладно, перекурим и начнем», — перешла она на деловой тон.

Я молчал, приятно обрадованный ее предположениями.

«Почему молчишь? Остолбенел от радости? — грубовато пошутила Ольга Николаевна. — Давай, давай работать. И не забудь пригласить меня на дубляж...»

Почти весь день проторчали мы в монтажной комнате. Предположения мои насчет середины фильма оправдались, но, когда дело дошло до финала, мы все-таки сцепились не на шутку, и лишь после долгих препирательств я настоял на своем.

«Ты еще пожалеешь об этом, я тебе точно говорю», — сказала Ольга Николаевна.

«Не пожалею», — буркнул я.

«Этот твой финал все равно что заплатка на хорошем костюме».

«Пусть. Ведь встречают по одежке, а провожают по уму», — нашелся я.

«Один кадр или одна деталь иногда могут сказать о широте умственного кругозора больше, чем весь фильм», — не сдавалась Ольга Николаевна.

«Ну уж это вы лишку хватили!» — возмутился я, и мы снова принялись спорить.

«Ладно, хватит на сегодня, устала я с тобой. — Ольга Николаевна нахмурилась. — Если будешь так петушиться, боюсь, что и к Новому году мне домой не попасть».

«Простите мне мою горячность, Ольга Николаевна», — виновато сказал я.

«Да не горячность это, а обыкновенное упрямство. Ты не хуже меня знаешь, что финал плох, — сердито сказала Ольга Николаевна. — А если не упрямство, то такое непонимание, что тебе не худо бы еще разок поучиться во ВГИКе».

«Ольга Николаевна, — засмеялся я, — если вы будете там преподавать, я с великим удовольствием пойду учиться снова...»

«Ты бы у меня из двоек не вылезал...» — тоже улыбнулась слегка подобревшая Ольга Николаевна.

В комнату вошла ассистентка.

«Вас вызывает директор,— сказала она.— А билет ваш у меня. Вы будете сидеть за нашим столом».

«Какой билет? За каким столом?» — не понял я.

Ассистентка удивленно посмотрела на меня.

«Неужели вы не помните, что студия сегодня встречает Новый год?»

«Да? Я совсем забыл об этом. Кто еще будет?»

«Где?»

«За нашим столом?»

«Секен, Галия, Жуман, Газиза, Орал, Дюсен, вы и я».

«А можно я друга с собой возьму? Не возражаете?»

«Конечно, нет. — сказала ассистентка. — И даже больше того — я его уже пригласила. Он недавно звонил, говорит, что вещи свои увез в аэропорт и скоро приедет».

«Куда приедет?»

«В Дом кино. Я же говорю, что пригласила его...»

Мы с Ольгой Николаевной зашли в кабинет директора. Директор при нашем появлении встал из-за стола.

«Ольга Николаевна, сегодня наш коллектив встречает Новый год. Мы приглашаем вас. Отдохните, а то этот скандалист уже, наверное, вам надоел...» — сказал он, поцеловав ей руку.

«Почему? Мы с ним отлично ладим. Тем более, что фильм он монтирует сам», — сказала Ольга Николаевна, посмеиваясь.

«Знаю я, каково с ними ладить,— вздохнул директор.— У меня из-за этих гениев уже голова седая стала!.. Как начнут говорить, так все-то на свете они знают, а как до дела дойдет, смотришь — и снимать некому».

«Ну, уж к нашему Арыстану это не относится», — сказала Ольга Николаевна.

«Знаю, — почему-то снова вздохнул директор. — Мы хотим этому парню дать еще один фильм», — вдруг сказал он.

«Очень хорошо! Чудесно!» — обрадовалась Ольга Николаевна.

«По чьему сценарию?» — спросил я.

Директор протянул мне папку, которая лежала перед ним.

«Надо приступать немедленно. На подготовку даю месяц времени. Это будет внеплановая работа. Ведь фильм

Ормана Москва закрыла», — покосился он на Ольгу Николаевну.

«Вы извините, но фильм Ормана — очень слабая работа», — сказала она.

«Ну... не слабей других, — рассердился директор. — А у нас план, вы понимаете, план!..»

«Понимаю», — пробормотала Ольга Николаевна.

Полистав, я молча возвратил сценарий директору.

«Ты что?» — удивился он.

«Отказываюсь. Я читал сценарий и знаю автора. Это — халтура. Из нее ничего не выйдет...»

«Видите, как он себя ведет? — спросил директор Ольгу Николаевну. — Говорит, что не выйдет ничего. А ведь сценарий, между прочим, прошел в Москве...»

«Ну и что? Мало ли серятины проходит? Об этом как раз недавно в «Правде» писали... Я серятину плодить не хочу. Я хочу делать настоящее кино. А ставить подобные сценарии все равно что босиком глину месить».

«Смотрите-ка на него! А что бы ты хотел поставить?»

«Классику. «Лихую годину» или «Дос-Бедел-Дос Ауэзова».

«Классика от тебя никуда не убежит. Ты дай мне современную тему, покажи на экране героический рабочий класс, — побагровел директор, уничижающе глядя на меня. — Неужели тебе не хочется снять такой фильм?»

«Очень хочется, но я жду», — сказал я, не обращая внимания на его сердитый взгляд.

«Чего ждешь?»

«Хорошего сценария».

«И долго ты его собираешься ждать?»

«Как только он появится, зубами в него вцеплюсь, к вам в ноги упаду. Дайте, скажу, снимать, ради аллаха!..»

Директор, не выдержав, улыбнулся и обратился к Ольге Николаевне:

«Видите, каков упрямец? А вы его еще хвалите...»

«А ведь он в чем-то прав», — тихонько сказала Ольга Николаевна.

«Вот именно... «в чем-то», — вздохнул директор. — Они тут рассуждают, рассуждают, а у меня план. План!»

«Я думаю, что и вы в чем-то правы», — засмеялась Ольга Николаевна.

В кабинет вошел польский режиссер и радостно поприветствовал всех нас:

«С Новым годом. Желаю вам всего самого наилучшего!..»

«Спасибо», — я пожал ему руку и, увидев, что никто больше не обращает на меня внимания, тихонько выскользнул из кабинета.

Мой друг уже дожидался меня в директорской приемной.

«Ну наконец-то, — сказала ассистентка, — а то мы уже думали, что вы никогда оттуда не выйдете».

Мой друг внимательно посмотрел на меня, пытаюсь угадать, каков был результат разговора с начальством, и как бы спрашивая, что мы будем делать дальше. Он вылетал утренним шестичасовым самолетом, и мы договорились, что сегодня он будет ночевать у меня.

«Опять не выспался?» — укоризненно заметил он.

«Ладно. Лучше скажи, ты в общежитии все сдал?»

«Да».

«Тогда — порядок. Оказывается, у нас на студии сегодня встречают Новый год. Посидим немного, ты не возражаешь?»

«Нет, — спокойно ответил он. — Только давай не будем долго задерживаться, а то перед Катирой неудобно. Кстати, почему ты не пригласил ее на этот вечер?»

«Ладно, мы скоро дома будем, — сказал я, уходя от прямого ответа.— Пошли в зал».

«Да, звонил Калмырзаев, просил вас зайти к нему», — сказала мне вдогонку ассистентка.

Я остановился, вспомнив, что еще вчера хотел позвонить старику.

«Сегодня уже ничего не получится. Завтра к нему схожу».

«Говорят, он серьезно болен», — сказала ассистентка.

Я подошел к телефону.

«Отца увезли в больницу. Я сегодня ночевала у него», — ответила мне его дочь, по-видимому с трудом сдерживая слезы.

«Когда?»

«Час назад. Он вчера весь день ждал вашего звонка. И сегодня мы вас искали. Звонили домой, на студию. На студии ответили, что вас нет, дома — тоже».

«Если бы я только знал об этом», — оправдывался я.

«Он хотел вам что-то сказать».

«Завтра я зайду к нему в больницу».

Только к полуночи удалось нам вырваться из веселой, шумной киношной компании.

«Пешком пойдем?» — спросил меня мой друг.

«Возьмем такси, поздно», — сказал я, зевая.

«Ну и шумный же у вас народ», — улыбнулся он.

«Не понравились тебе наши ребята?»

«Почему не понравились? Понравились. Я только боюсь, что твоя благоверная уже сердится на нас».

«Сердится или нет, это известно одному аллаху», — сказал я, и у меня мелькнуло: «Черт, а вдруг возьмет да и не пустит нас домой!..»

...Как в воду глядел! Сколько мы ни нажимали на звонок, нам никто не открывал.

«Уснула, наверное», — сказал мой друг.

«А спит она крепко, — усмехнулся я. — Пошли на улицу».

Выйдя во двор, мы посмотрели на темные окна, и я увидел, что во всем громадном доме лишь у моего оператора светится окно. Но сегодня я уже не осмелился его беспокоить. А то подумает парень, что его режиссер совсем до ручки дошел... Но у кого же можно провести время до пяти часов утра? У кого?..»

«Все, кроме нас, спят», — сказал мой друг.

«Идем на проспект, поймаем такси», — сказал я.

«А куда поедем?»

«Поедем к тем, кто и сам не растеряется, да и нам у него не будет стыдно», — сказал я, а про себя подумал: «Что это я вру? К кому я поеду? Кто меня ждет в этот час?»

Я снова остро ощутил, что нет у меня в нашем городе близкого человека. Внезапная эта мысль заставила меня содрогнуться — ведь когда-то у меня было столько друзей, так куда же подевались все они?.. Куда сгинули эти сочувствующие, понимающие меня люди?.. Я ли забыл их, они ли меня оставили, кто разберет?

Небо было темное, беззвездное, и над городом нависли черные тучи. Лишь там, вдали, на самом горизонте, слабо мерцала единственная маленькая звездочка. «Маленькая звездочка на огромном небе — вот точное отражение моего нынешнего положения», — горько подумал я.

Мы поехали куда-то на окраину, стучались в какие-то двери, но все было напрасно. В одном доме жили совсем другие люди, хозяин другого уехал в командировку, в третьем месте нам просто-напросто не открыли дверь.

Мы снова стояли под открытым небом, и меня жег стыд, что я бессилён сделать что-либо для моего друга.

«Не переживай! — утешал он меня. — Мало ли какие бывают в жизни ситуации. Потом сами же над этим смеяться будем».

И я подумал: «Как хорошо все-таки иметь ДРУГА, человека, который все понимает, но из деликатности своей не будет лезть к тебе с ненужными расспросами или советами...»

«А до пяти, кстати, осталось всего четыре часа. Ничего, походим, подышим свежим воздухом».

Мы шли по безлюдным темным улицам, и меня вдруг осенило.

«Стой, — сказал я. — Гениальная идея! Почему бы нам не поехать в аэропорт? Буфет там работает всю ночь. И поесть там можно, и кофе выпить. И поспать где найдется...»

«Прекрасно! — обрадовался мой друг. — Действительно гениальная идея!.. Вспомним студенческие годы — тогда мы многие ночи без сна проводили, и ничего...»

«Тогда нам сам черт был не страшен», — вздохнул я. Но до центральной улицы идти оказалось не так-то уж и близко, а такси, желанной машины с зеленым огоньком, все не было и не было.

«И куда они все подевались? — сказал я. — Днем их видимо-невидимо, а ночью пешком топай...»

И вдруг услышал его взволнованный голос:

«Ты знаешь, я забыл в общежитии на окне свои книги...»

«Не беда, — успокоил я его. — Завтра я их тебе отправлю».

«Ерунда какая! — сказал он совсем растерянно. — Там и подарок остался, который я купил для жены...»

«Подумай хорошенько, может, ты его в чемодан положил?»

«Да нет же... — с досадой ответил друг. — То-то я смотрю, портфель у меня легкий...»

«Тогда нужно ехать в общежитие. Явиться домой без подарка — плохая примета. За книги жена тебе ничего не сделает, но за то, что ты потерял подарок, она тебе шею свернет».

«Ну уж это ты слишком. Она у меня спокойная, поймет в случае чего...»

«Спокойная-то спокойная, а все равно тебе не поздоровится», — заулыбался я.

И тут мы увидели свободную машину.

«Заедем в общежитие на улице Кирова. На секунду, а оттуда прямо в аэропорт», — сказал я шоферу, когда такси остановилось.

«Что так поздно?» — пробурчал шофер, недовольно глядя на нас.

«Вы хотите, чтобы самолеты летали только днем? — вежливо поинтересовался я.

«Да нет же, — смутился шофер. — Я вижу, вы оба с сигаретами, так вот предупреждаю, если у вас есть болезнь курить, то не обижайтесь, я против. Сам недавно бросил...»

«Ладно, договорились», — сказал я, и мы сели в машину.

«Он парень неплохой, но он нас, по-видимому, за каких-нибудь мошенников принимает», — шепнул я своему другу.

«Вот ваша улица Кирова, — сказал таксист, услышавший наш шепот. — И поторопитесь, у меня в три смена заканчивается...»

«Я мигом», — сказал мой друг, выскакивая из машины. Я тоже вышел и достал сигарету.

«Кажется, дежурная заснула. Не открывает», — сказал мой друг, вернувшись.

«Тогда надо машину отпустить».

«Может, поедем сейчас в аэропорт, а к утру снова сюда съездим?»

«Дельный совет, — обрадовался я. — Поехали».

«Погоди, а деньги у тебя есть?»

«Сейчас посмотрю. Да, трешка, что ли?..»

«И у меня всего пятерка осталась, — сказал мой друг сокрушенно. — Ни черта у нас не получится. Туда и обратно нужно около десяти рублей».

«Когда нам с тобой денег хватало?...» — сказал я, и мы расплатились с таксистом, который, по-моему, облегченно вздохнул, узнав, что подозрительные пассажиры раздумали ехать дальше.

Мы заглянули в окно. Горела лампочка, но место дежурной пустовало. На столе лежали открытая книга и очки, перевязанные ниткой. Старушка, наверное, заснула в другой комнате. Мы снова шли по пустым улицам.

«Идем, посидим в скверике у «Центральной» гостиницы», — предложил я.

То ли от выпитого вина, то ли от бессонных ночей, но я уставал все больше и больше и, как только опустился на

длинную холодную скамейку, тут же заснул, но вскоре, вздрогнув, очнулся.

«Я, оказывается, задремал», — сказал я другу.

«Надо же! Я и не заметил», — сказал мой друг, который тоже клевал носом.

«Хороший казах строго хранит свои маленькие тайны», — подумал я, улыбаясь, так как мой друг, оказывается, даже похрапывал, склонив голову.

...Когда я задремал, то увидел во сне оба финала своего фильма.

В первом — мальчик-пастух остается в живых. Старик, которого играл Калмырзаев, на руках несет мальчика через пески. Буря, бушевавшая несколько дней, наконец успокаивается, и старик, еле передвигающий ноги, идет в этой торжественной грозной тишине. Но на лице его не видно ни страха, ни усталости, ни отчаяния. Бесконечное мужество и безграничную веру выражает его гордое, иссеченное ветром и зноем лицо. Такой финал предлагал я. Но у фильма была и другая концовка. Крупным планом снято было морщинистое лицо старика, сидящего у свежей могилы. Хмурое небо. Степь. Одинокий старик, внук которого погиб. Долго воеет собака, подняв морду к небу. И под вой собаки ветер разбрасывает тесемки от тумака, и они хлещут старика по лицу, но он не замечает этого. Его мутные старческие глаза слезятся, они полны печали, он ладонями гладит горячий песок. Крупным планом: большие жилистые руки. И черный пес, поджав хвост, плетется за стариком, идущим по безлюдному пространству. Я вспомнил слова Калмырзаева, что у великого актера и спина может сыграть, и подумал, что если бы снять старика, сидящего лицом к могиле со спины, то это действительно было бы прекрасно. Желтый-прежелтый песок, синее-синее небо, серый бешмет старика... Если Калмырзаев сумел бы провести эту сцену, то я получил бы потрясающий кадр для концовки. Хотя конечно же вполне можно было обойтись тем, что уже имеется. Там, кстати, в одном из дублей есть нечто похожее. Ладно, ничего не поделаешь, мне никто не позволит из-за одного кадра держать мой фильм до лета... Снять в павильоне?.. А что, это идея. Но где я возьму желтый-прежелтый песок, синее-синее небо?.. Крупным планом спину и — параллельный монтаж, лихорадочно соображал я. Можно? Не знаю, нужно попробовать... Если на картинах Микеланджело виден каждый мускул человеческого тела, видны вены и точнее фиксируется цвет кожи, то серый

стариковский бешмет на фоне желтого песка и синего неба даст фильму такую цветовую гамму, которая сама по себе внесет в его мироощущение новый образ и новую форму, это несомненно...

Все. Кончено. Решение найдено. Ольга Николаевна была права, когда настаивала на втором варианте финала. И он вовсе не пессимистичен, этот финал, — разве правда бывает пессимистичной? Горькие, трагичные ноты лишь подчеркнут жизненность основной темы фильма, темы мужества, долга, ответственности...

«Дежурная, наверное, только к утру проснется. Утренний сон знаешь какой крепкий, особенно у стариков», — сказал мой друг, зевая.

«Интересно, спит ли польский режиссер? — подумал я, глядя на темный силуэт гостиницы. — Кажется, его окно выходит на другую сторону, и я не могу увидеть, горит оно или нет. Одному не дают заснуть воспоминания прошлых лет, другому не дает спать жена, не пустившая его ночевать в дом... Вот и полюбуйся на эти выкрутасы старухи-жизни, попробуй понять ее гримасы, попытайся разобраться в этой мешанине и кутерьме, где высокое мешается с низким, трагическое с фарсовым, нелепое с серьезным... Можно ли понять все загадки жизни?.. Ну хорошо, разгадал одну, две, десять, сто загадок, но совокупность их возможно ли разрешить, а?..»

«Хватит сидеть, а то спину застудишь, идем», — сказал мой друг, поднимаясь со скамейки, но я, следуя примеру своего упрямого предка Пушарбая, не тронулся с места, хотя и чувствовал, что ноги мои занемели от холода. Внутренне я был оскорблен тем, что не смог в эту ночь выказать ему свою заботу о нем и, более того, лишил его ночлега. Я подумал: если бы он стал презирать меня, то это было бы справедливо. В самом деле, что это за казах, заставивший своего гостя ночевать на улице? Вот, оказывается, и все, что он может сделать для других. Разве это джигит? Да такому помирать пора!.. И разве он мужчина, если собственная жена его не уважает?.. Да он или сам дурак, или жена у него дура. «Ну, в моем-то случае понятно, что дурак это я», — мелькнуло у меня в голове. И это была истина, свидетельствующая о моем абсолютном поражении, потому что лишь в эти дни я понял, что зависим не только от искусства, но и еще от кого-то, от жены, например. Но ведь у меня вне искусства не было ни радостей, ни мечтаний, так как же я мог оказаться под властью еще чего-то, кро-

ме искусства? И кто виноват в этом? Может быть, виноваты не искусство и не жена, которая за эти дни моих ночных скитаний стала мне ненавистой, а сама жизнь или, если сказать правду, сама судьба? Современная женщина, прочно занявшая свое место и в политической, и экономической, и социальной сферах жизни, забывает, видно, уделять хоть немного внимания внутреннему миру мужа. А ведь не зря в старину говорили, что мало родиться женщиной, надо родиться еще и хорошей женой. После того как я посмотрел фильм Бергмана «Супружеская жизнь», я как никогда понял точный смысл этой фразы.

«Вставай, вставай, не сиди», — повторил мой друг.

Теперь и я стал топтаться вместе с ним на скрипучем снегу, пытаюсь согреться...

«Что же из этого следует? Не получается ли, что современный мужчина должен быть одиноким? Нет, не получается. Я считаю нынешнее мужское одиночество не героизмом, а одним из проявлений слабости. Ведь как они, жена и дети, станут жить без меня? Да и не стоит так особенно отчаиваться, жена у меня все-таки хорошая (поэтому нам и приходится бродить по ночам?), и ненавидеть жену — это не героизм, а душевная трусость, понять женщину — вот героизм мужчины...»

«Как ты думаешь, мы изменились?» — неожиданно спросил меня мой друг.

А на самом деле, изменились ли мы? Я посмотрел на друга, он глядел в небо.

«Кто его знает», — сказал я.

«Мне кажется, что конечно же изменились, — сказал друг. — Повзрослели, стали образованнее, женились, накопили кое-какого жизненного опыта, все это верно, все идет в едином ритме с общей жизнью, но я часто думаю, что ведь в детстве-то жизнь казалась совсем иной...»

«Это было детство, наивное детство...»

«Конечно... Но мне иногда кажется, что можно радоваться и тому, чего у тебя еще нет. Ведь существует же на свете мечта, желание достичь того, чего не достиг еще. Но это только мечта, и, чтобы она исполнилась, нужно здорово постараться, а нам, мне, например, зачастую недостает ни мужества, ни силы, ни отваги».

Он впервые за те дни, что мы провели вместе, говорил так взволнованно, и это сильно удивляло меня.

А он все говорил и говорил, продолжая шагать по снегу:

«Я, наверное, и сам часто не понимаю, чего хочу... Так, наверное, и должно быть... Ведь мы пришли в этот мир не для того, чтобы гнаться за званиями и отличиями, а для чего-то другого, более высокого... И вот теперь бы нам не споткнуться, не ошибиться, не уронить, не обесценить свои мечты и надежды... — Он задумался и неожиданно закончил: — Ай да ладно!.. Все равно я не смог толком изложить тебе свои мысли. Ладно, пускай этот разговор останется для следующей нашей встречи. «Не показывай свою слабость», — сказала одна великая женщина.

«Женщина?»

«Да, женщина. Я очень люблю книги и то, что остается у меня от чтения в голове, всегда привожу при случае в виде цитат», — засмеялся он.

«Женщина не могла сказать таких слов. Эта фраза должна принадлежать мужчине. Мужчине из мужчин».

«Может, ты и известный в Европе режиссер, но я все-таки обвиню тебя в том, что книг ты, по-видимому, не читаешь, — он с улыбкой посмотрел на меня и подмигнул».

«Четвертый час, — сказал я. — Идем в гостиницу, воды поьем, а то что-то в горле пересохло», — предложил я. Зайдя в гостиницу, мы столкнулись с польским режиссером, который спускался по лестнице с вещами.

Обрадованные неожиданной встречей, мы обнялись.

«Спешу на поезд», — объяснил он.

«А почему самолетом не полетели? Москва далеко», — сказал я.

«Надо ваши степи посмотреть», — серьезно ответил поляк.

Мне стало неудобно от такой ранней встречи, но он сделал вид, что не замечает моей щетины и воспаленных глаз.

«Сейчас придет ваш директор», — сказал он.

«Простите, но нам пора ехать. Мой друг через час улетает».

«Жалко расставаться, — вздохнул поляк. — Но хорошо, что я встретил вас. Я хотел оставить директору для вас письмо, но теперь вручу его вам лично. Вы прочтете его, когда я уже уеду, договорились?»

...Письмо это я прочел лишь тогда, когда мы с другом оказались наконец-то в его общежитии. Вот оно:

«Дорогой друг!

Причиной моего письма является то, что я сказал вам несколько слов неправды, и теперь прошу за это прощения. Хочу стереть ложь и рассказать вам всю правду. Ведь в

будущем моем фильме будут и Лиза, и Бетти. Не они, конечно, а их образы. (Не исключена, кстати, возможность, что они будут играть самих себя, я люблю работать с непрофессионалами!) Если бы был жив Стахура, я бы уже решил этот вопрос, но его нет, а мой сценарий ещё в работе.

Лиза и Бетти живы, и я знаю, где они находятся. Бетти живет в Париже, она — владелица магазина женских шляп. Я видел ее, она все еще красивая, конечно, не такая, как в юности, но все-таки красивая. Я ведь женился на ней после того, как похоронил отца, и мы вместе вернулись в Польшу. Но когда мне пришлось тяжело, она тут же уехала в Швейцарию, и я встретил ее лишь через двадцать с лишним лет. А Лиза... Лиза оказалась в Америке. Муж у нее поляк, и они оба работают на заводе, который выпускает подшипники. Возвращаться в Польшу не хотят. Живут неплохо. У них двое детей, сын и дочка. Девочка поет прекрасно, и голос ее похож на голос нашей матери, ее бабушки, которую она никогда не видела. Я заплакал, услышав ее пение. Одним словом, все верно и хорошо, о'кей, как говорят сестра и ее муж, постепенно забывающие родной язык. И вот об этом-то я и хочу снять свой новый фильм. О том, что для человека нет ничего дороже родной земли и что нет ничего горше для поляка, чем это чужое «о'кей». Ведь человек может быть счастлив только на родной земле и только со своим народом!

Я облегчил свою душу и искупил свою вину перед вами. Теперь можно спокойно уезжать из Алма-Аты. Жму вашу руку. С коммунистическим приветом. *Януш*.

Р. С. Я не знаю, как вы относитесь к Акутагава Рюноскэ. Сам я считаю его великим писателем. Он стал классиком японской литературы. Когда Нацуме Сосеки прочел его ранние рассказы, он сказал ему замечательную фразу: «Ты на правильном пути, Акутагава Рюноскэ. Ты прав».

И я желаю вам того же! Будьте мужественны!»

* * *

...Внезапно раздался душераздирающий крик. Я проснулся, и кто-то тут же окликнул меня по имени, а я все мучился и мучился, не в силах разлепить усталые веки. Знакомый голос повторил мое имя, но я не мог вспомнить, чей это голос, и не мог понять, кто это кричит и почему так страшно.

Я вскочил и заозирался по сторонам. Парня с девушкой уже не было, а другие пассажиры не обращали на меня внимания. Я зажал ладонями уши, голова моя раскальвалась от боли. Конечно же я страшно вымотался за эти четыре дня...

Я вышел из аэровокзала.

Солнце наконец-то освободилось из плена туч и ярко полыхало над головой на фоне чистого голубого неба. Я взял такси и поехал домой. «На студию после обеда пойду,— думал я.— Надо отдохнуть, надо ванну принять, иначе меня может стошнить от самого себя!»

В этот момент ничего не было для меня заманчивей, чем мысль о горячей воде, я даже различал звук текущей из крана воды.

«Не рано ли обрадовался? Ты сначала в свою квартиру попади!..» Это была верная мысль, и я немного поостыл и снова подумал о том страшном голосе, который звал меня по имени. Кто звал меня? Почему звал? Ничего не понимаю... Может, у меня и в самом деле начались слуховые галлюцинации?.. Но голос такой знакомый, я только никак не могу вспомнить, чей это голос!..

— Здесь остановиться? — спросил шофер.

— Здесь. Спасибо. — Я выгреб из кармана всю мелочь, и оказалось, что мне не хватает двадцати копеек. Шофер укоризненно покачал головой, но потом улыбнулся, с пониманием глядя на мою мятую физиономию.

— Ничего, в другой раз с процентами возьму, — утешил он меня.

Нажав на кнопку звонка, я затаил дыхание.

Наконец послышались чьи-то шаги.

— Кто там? — услышал я голос сына.

— Я. Открывай скорее!..

Сын открыл дверь и повис у меня на шее.

— Папа, прости, я слышал, как ты звонил, все время слышал, но мама не разрешила мне открывать, — он виновато глядел на меня. — Она говорит, что ты начал пить. Папа, ты не пей, и все будет хорошо. Я думаю, что мама тоже не права...

Меня поразили его почти взрослые слова, и лицо мое выпгнуло от стыда.

— Прости меня, — сказал я сыну, опуская его на пол. — Ты простишь меня?

— Конечно.

— А где мама?

— Она в магазин ушла. Идем, я тебя чаем напою...

— Ставь чайник, а я тем временем помоюсь.

Но пока я снимал верхнюю одежду, зазвонил телефон.

— Да...

— Это вы, Арыстан-ага,— услышал я голос ассистентки. — Слушайте, сегодня ночью Калмырзаев умер, и директор собирает народ.

Я сжал трубку телефона.

— Папа, что с тобой? — испугался сын.

Я почувствовал, как хрустнула телефонная трубка.

Мне показалось, что я наконец узнал голос, звавший меня по имени. Это был голос Калмырзаева... Старика... Актера... Благороднейшего агатая!..

Народ шел за гробом по черному стылому асфальту, и казалось, что шествию этому не будет конца.

Спокойное лицо старика было обращено к небу, и жгучий ветер теребил его седые мертвые волосы.

«Желтый-прежелтый песок, синее-синее небо, могильный холмик, не успевший ещё высохнуть под палящим солнцем, угрюмый, опустошенный старик в сером бешмете, сидящий спиной к камере...» Этот кадр родился и умер во мне. Потому что человек, который подсказал его мне, человек, который высоко нес свою совесть, свою честь, талант и мужество, свой характер и свое искусство, ушел от нас навеки...

В последнюю ночь декабря я все никак не мог уснуть, долго ворочался и потом, накинув шубу, вышел на балкон.

Огромная яркая звезда, блеснув, упала и исчезла в ночной тьме. Я знал, что обычно звезды падают в августе, и впервые видел, чтобы это происходило зимой, перед Новым годом, когда в домах стоят пахучие елки и дети с замиранием сердца ждут, когда в дверь постучится Дед Мороз. «Может, падающая звезда тоже галлюцинация?» — усмехнулся я. — Зачем же все-таки искал меня перед смертью старик Калмырзаев? — в который раз думал я. — Что он хотел сказать мне, открыть?»

Я понимал, что это навсегда останется для меня мучительной загадкой и я еще не раз упрекну себя за то, что не нашел времени встретиться с ним. Да, я буду страдать. Потому что Калмырзаев мертв, и я никогда и ничем не смогу

заполнить для себя пустоту, образовавшуюся в моей душе. Это точно.

Сжав кулаки, я долго глядел на темно-синее звездное небо и, лишь услышав телефонный звонок, возвратился в комнату.

— Привет! — узнал я голос моего друга. — Благоверная пустила тебя наконец домой, и ты на седьмом небе от счастья, я угадал?

— Угадал, — сказал я, скрывая смущение.

— Ну да, ты ведь у нас женоненавистник, и по твоим теориям главное, чтоб домой пустили... Дескать, где уж нам, слабым мужчинам, их победить? Ведь все будет так, как они хотят. И ради детей нужно с этим мириться. Верно? — засмеялся он.

— Ладно, хватит болтать ерунду, — слегка рассердился я. — Ты лучше скажи, когда снова приедешь?

— Думаю, что после Нового года. А ты хотел дать мне какое-нибудь поручение? Может, тебе что-нибудь привезти?

— Ничего мне не нужно, с чего ты взял? Я хочу тебе сказать, как приедешь, сразу же звони мне...

— Конечно, позвоню. А как твои дела на студии?

— Все в порядке, — сказал я.

— Вот и прекрасно. Ну ладно! Привет Катире, детям. С Новым годом вас всех!

— Спасибо, и тебя тоже, — сказал я. — И всех твоих домашних.

Положил трубку и сел в кресло. Меня клонило ко сну, веки мои смыкались, но я вдруг чего-то испугался. «Не спи, — приказывал я себе. — Не засыпай...» Мне казалось, что стоит мне заснуть, и он меня снова будет звать, этот душераздирающий страшный голос. Да чей же он, наконец?

Не засыпай... Не засыпай... Не засыпай...

СУХА ТЕОРИЯ, МОЙ ДРУГ, А ДРЕВО ЖИЗНИ ПЫШНО ЗЕЛЕНЕЕТ... Я повторял эти слова, засыпая, и снова никак не мог вспомнить, зачем, когда и где переписал я их в свой старый блокнот.

Я засыпаю, засыпаю, засыпаю...

Кто-то зовет меня...

Крик... Душераздирающий страшный голос, рвущий ночную тишину. Калмырзаева? Нет. Жены? Может, это жена кричит и проклинает меня? Нет, это не голос жены.

Чей это голос? Я сплю. Я похож на человека, заботливо

убаюканного в футляре... Но кто-то зовет меня... кто-то зовет... просит помощи...

Кричит, зовет, умоляет, а я не могу очнуться, не могу подняться, не могу помочь. Чей это голос? Чей это голос? Чей душераздирающий крик растет во мне, призывая проснуться?

И вдруг я вздохнул с облегчением. Я понял, что это — мой голос, что это — мой крик, что это — моя душа прорывается к своей подлинной сути, как птенец, разбивающий изнутри скорлупу яйца.

1980

ВОЗВРАЩЕНИЕ КАЗБЕКА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Утро

Солнце еще не поднялось, но вершины далеких гор уже светятся призрачным матовым светом. Дачный поселок в объятиях крепкого утреннего сна: на листьях деревьев блестит роса, от леса тянет сыростью, тает ползущий по траве туман. Воздух чист, прозрачен. Закрыты двери домов, закрыты гаражи, на пыльной дороге пока еще не появились многочисленные грузовики.

Природа блаженствует в своем уединении. Чирикают воробьи, кружатся ласточки, кажется, что все птицы долины Иртыша радуются восходящему солнцу.

На крыльце небольшого дачного домика появляется пожилой мужчина в майке. Это — БЕГЕН. Он потягивается, зевает, щурясь глядит на отсвечивающие солнцем окна второго этажа солидной дачи, расположенной по соседству. Затем подходит к яблоне и, осторожно взяв в руки ветку, озабоченно качает головой.

Показывается его сын, двадцатилетний КАЗБЕК. Высокый, хорошо сложенный парень, он принимает боксерскую стойку, делает несколько размашистых движений и убегает пружинистой спортивной рысцой.

Беген долго смотрит ему вслед. Вздыхает и, словно спохватившись, заводит мотор насоса. Кажется, что его дребезжанье и тарактенье по вкусу Бегену. Он берется за шланг и напевает песенку.

Из дома выходит его жена АСИЯ.

— Эй, ты чего это распелся ни свет ни заря? Шумит, хуже мотора своего. Хоть бы поспать людям дал,— сердится она.

Беген отворачивается.

— Счастлив не тот, кто поет, а тот, кто слушать умеет,— тихо говорит он.— Что может быть выше того счастья, когда ты хоть раз в жизни по-настоящему спел свою песню?.. Промолчать там, где нужно высказаться,— это что? Это уже не осторожность. Это — предательство. Предательство по отношению к самому себе. Да... Но, с другой стороны, слушать — еще не значит понимать...

— Чего ты там такое бормочешь? — злится Асия, ибо она терпеть не может, когда муж, по ее мнению, умничают. Она считает, что умничать имеет право или профессор, или доктор наук, и в этом ее никто и ничто не разубедит. «А если уж наука не дается тебе, простому человеку, ты должен искать других путей для счастья, должен стать, например, завскладом, как твой брат Коген», — вот так наставляет она временами своего мужа, и тот давно уже не сердится на нее. Он понимает, что бесполезно винить ее за эти земные женские думы. Тем более, что на худых ее плечах вот уже столько лет лежит забота об их доме, об их детях. Она просто начала уставать с годами, и сердце ее устало от обид, заботы, тревог.

— Болтун несчастный! — продолжает Асия.— Поучился бы у братца своего, как надо жить. «Дача, дача»! Все уши прожужжал мне со своей дачей. Вот у Когена на самом деле дача. Два этажа. Внизу — кухня, столовая, наверху — спальня.

— Так ведь это Коген, а я Беген,— смеется ее муж.

— Тебе бы все хихоньки да хахоньки,— не отстает от него Асия.— А мы чем хуже их? Выстроил хибару — повернуться негде!..

— Дело не в том, кто хуже, а кто лучше. Просто одному — одно, другому — другое...

— Да, нам другое!.. — Асия, кажется, только теперь не на шутку рассвирепела.— Нам другое. Казбек уже в тюрьме успел посидеть. Ты это хотел сказать? Мужчина!.. Был бы ты настоящий мужчина, никогда бы такого не случилось...

Беген давно уже привык к беспокойному характеру жены и обычно не обращает внимания на ее выходки. Лишь изредка она выводит его из себя, и он тоже показы-

вает свой характер. Правда, никогда не ругается, не кричит, а уходит в комнату, ложится, отвернувшись к стенке, и часами так лежит, размышляя: «Безжалостнее женщины нет, наверное, существа на земле. Зачем она так?!» И успокаивается, и отходит.

Вот и сейчас Асия, заговорив о сыне, снова задевает его самое больное, кровоточащее место — ведь он любит сына больше всего на свете: сын его надежда, его мечта, его будущее, и Асия это прекрасно знает.

— Казбек не виноват, что попал в тюрьму, — еле сдержавшись, но все-таки спокойно отвечает Беген.

— А кто виноват? Прокурор? — язвительно поддевает его Асия.

— Мы с тобой виноваты, — неожиданно говорит Беген, и Асия удивленно вскидывает брови.

— Мы с тобой? При чем здесь мы? Да я-то в чем провинилась? — кричит она и вдруг внезапно переводит разговор совершенно на другую тему: — Да, уж не каешься ли ты, что женился на мне? Конечно, я не Жанар когеновская. Та и молодая, и красивая, и образованная, а у меня всего десять классов. Ну так и брал бы себе образованную!

Тарахтенье насоса внезапно обрывается.

«Ну что ты поделаешь с женщиной, вечно у нее свое на уме», — в отчаянье думает Беген, но утро такое солнечное, а легкий ветер так сладок, что он лишь отмахивается от жены.

— Вечно ты глупости болтаешь. Некогда мне с тобой ерунду городить, у меня вон насос барахлит...

Уходит в глубь дачного участка.

И снова слышно птичье пенье. С полотенцем на шее возвращается на дачу Казбек. Он с любопытством разглядывает высокие сосны, смотрит на далекие горы, зеленеющие поля. Ему все здесь дорого и любимо.

Внезапно он вновь погружается в свои мрачные мысли и угрюмо смотрит в землю. Он останавливается, прислушивается и становится на колени.

— Ну иди, иди ко мне, — бормочет он... Боишься? Ты ранен? Иди, малыш, иди ко мне... Крылышко у тебя поранено? Ничего, я тебя быстро вылечу... Ты еще будешь летать... Ты еще полетишь... Высоко-высоко...

— Что там у тебя, сынок? — спрашивает его Асия.

— Птенца ласточки нашел. У него, наверное, крылышко поранено...

— Ну-ка, дай мне взглянуть,— просит его Асия и берет птенца в руки.

Снова зашумел насос. К ним подходит Беген, и Асия осторожно передает ему птенца.

— Крылышко поранено, думаешь? Нет, Казбек, он не ранен, он еще просто маленький, он из гнезда выпал, не окреп еще,— улыбается Беген и возвращает птенца Казбеку.

— Точно, я перепутал,— соглашается Казбек и отходит в сторону.

— Мышонка не обидит, не то что человека. И вот такого парня посадили в тюрьму. Тьфу, безобразие! — бормочет Асия.

— Что? Это ты мне? — вопросительно смотрит на нее Беген.

— Ничего... Говорю, что завтракать пора. Идем завтракать.

Они направляются в дом, и Казбек остается на улице один.

— Слышишь меня? — разговаривает он с птенцом.— Ты скоро будешь летать и тогда найдешь своих. Только ты не бойся меня. Я тебя сейчас накормлю.

А в доме Асия и Беген сели за стол.

— Выключил бы ты свой мотор, а то невозможно чаю спокойно выпить,— сердится Асия, но Беген возражает ей:

— Поливать с утра надо, пока нет жары, сама прекрасно понимаешь, если не будем поливать — высохнет все...

Женщина машет рукой, поняв, что в этот раз ей мужа не переспорить.

— Казбек! — кричит она в окно.— Эй, Казбек, хватит возиться, завтракать пора!

— Вы бы посмотрели, как он жадно пьет. Маленький мой! — слышен веселый голос Казбека, и кажется, что парень горд тем, что стал единственным покровителем и защитником птенца.

— Хватит тебе возиться, говорю,— сердится Асия на сына.— После завтрака картошку будем окучивать. Да еще надо успеть грядки для помидоров разровнять...

Слышен треск.

— Тьфу, черт! Опять шланг оборвался! — Беген, вскочив с места, выбегает на улицу и снова возится у насосной будки. Он выключает мотор и возвращается в дом. Вместе с ним идет Казбек.

— Шланг никудышный, истерся весь,— ругается Беген.

— А почему не купите новый? — удивляется Казбек.

— Да где ты его купишь? В магазине не продают, а к спекулянтам пойдешь — три шкуры сдерут. Лето ведь теперь. Дефицит. Зимой надо было думать, а я прошляпил, — сокрушается Беген.

— Может, Когена попросишь? Он наверняка не откажет, — советует Асия.

— Да, Коген бы достал, — раздумывает Беген. — Коген... если ему нужно достать справку, что живой человек помер, он и такую достанет...

Казбек при упоминании имени Когена недовольно морщится и достает из кармана сигареты.

— ...Но просить я его не стану, — неожиданно заканчивает Беген.

— Ну и зря! Коген твой двоюродный брат, и ничего с тобой не случится, если попросишь, — тут унижения никакого нет. А попробуй-ка жить, никому не кланяясь, а? Попробуй, а я на тебя погляжу, погляжу... — сулит ему Асия.

— Ну и гляди! Никому в жизни не кланялся и кланяться не собираюсь. Лучше помереть, чем жить да поглядывать по сторонам. — кому бы это мне еще поклониться! — внезапно вспыхивает Беген, всегда такой тихий. Именно за эти вот вспышки и прозвали его когда-то друзья «Дон Кихотом казахской степи». Прозвище это знала Асия и в такие минуты всегда оставляла его в покое, побаивалась пререкаться с ним...

Беген сидит молча и о чем-то думает, тяжело думает. «Зачем такая жизнь? — мучается он. — Не лучше ли встать и податься куда глаза глядят? Зачем люди все еще иногда кланяются, унижаются, умоляют, ползают? Ведь надо верить в правду, верить в душу людскую... Как же станешь жить, если на душе неспокойно?..»

— Папа, — Казбек осторожно касается отцовского плеча, — не переживай, папа, из-за этого...

— Да я... ничего, — снова смешавшись, отвечает Беген. И встает. — Найду я этот шланг, подумаешь — шланг какой-то...

— Папа, — говорит Казбек, — зачем тебе столько хлопот? У тебя ведь сердце больное, и ты это знаешь...

— Нет, сынок, — возражает Беген. — Если физическим трудом перестанешь заниматься, так ведь сердце и совсем остановиться может... И потом, здесь — воздух, воздух-то здесь какой, а? Чуешь? — он обнимает сына и легонько хлопает его по спине.

Они выходят во двор. Слышен шум приближающейся машины.

— Ой, это, наверное, Коген с Жанар едут,— говорит Асия.

Казбек при этих словах молча возвращается в дом.

Есть на свете люди, не то чтоб не знающие уныния, а скорее, безразличные ко всему, кроме собственных дел и собственной персоны. Такой и Коген, тридцатисемилетний двоюродный брат Бегена. Высокий, густобровый, белолицый, отлично одетый, он никогда не обижается, никогда не плачет, не тоскует. Губы его вечно расплываются в самодовольной улыбке, и если кто-нибудь заговорит с ним, то слова «ковер, машина, дача» сыплются из него как из рога изобилия. Но конечно же любимая его тема — деньги. Деньги, деньги, деньги и опять — деньги.

Открывается калитка, и на дачу заходят Коген и его жена.

— Здравствуйте! Пламенный салам, как говорится,— шумно приветствует всех Коген.— Как поживаете? Поздравляем с возвращением сына.

— Спасибо, спасибо, Коген,— говорит Асия.— А как вы сами? Живы, здоровы?..

— Здоровы, чего нам сделается! — хохочет Коген.

Жанар, высокая миловидная женщина, неприязненно смотрит на мужа и, как всегда, ласково, с чуть-чуть виноватыми интонациями обращается к Бегену:

— Здравствуйте, Беген-ага. А где же ваш Казбек? Неужели еще спит?..

— Да проснулся уже! — торопится ответить Асия.— Эй, Казбек, выходи! Дядя со снохой приехали.

— Виноваты мы перед вами,— вздыхает Жанар.— Казбек-то уж скоро месяц как возвратился, а мы закрутились с делами, вот только сейчас и смогли приехать. Вы уж нас простите.

— Да ничего — работа ведь, всякому понятно,— отвечает Беген.

— Нынче есть родственники, которые вообще друг к другу не ходят, так что чего уж тут извиняться,— грубовато, с умыслом вставляет Асия, но Беген резко обрывает ее:

— Не нужно болтать чего не следует... Работа есть работа.

— Эй, Беген, это что еще за феодальные пережитки? — шуточно изумляется Коген.— Нет уж, не лишай слова жен-

щину. Пускай Асия-апай выскажется! Умница ты наша!.. — Он громко смеется и по-свойски обнимает Асию.

Жанар снова бросает на него недружелюбный взгляд, ибо она прекрасно знает цену этому фальшивому, неискреннему смеху.

А Коген оставляет Асию, так как видит выходящего из дома Казбека.

— А вот и наш герой! — кричит он. — Ну, герой, здравствуй! С возвращением! Пламенный салам, как говорится...

Он протягивает племяннику руку, но Казбек, едва коснувшись его ладони кончиками пальцев, быстро отходит в сторону.

— Дела все, дела, — продолжает Коген как ни в чем не бывало, будто бы и не замечая брезгливого жеста Казбека. — Дела все, дела, как говорится... Времени все не было, а то бы, конечно, раньше приехали...

— Ты уж не сердись на нас, Казбек, — Жанар быстро подходит к Казбеку и целует его в лоб. — Вырос-то так!.. Не сердись! Не будешь сердиться?..

— Виноваты мы, братец мой, виноваты, — вторит жене Коген.

— Что я слышу? — Казбек с насмешкой глядит на Когена. — Оказывается, вы тоже умеете извиняться, дядя Коген?

— А ты озорник! — Коген опять заливается смехом и беспечно подмигивает Бегену. — Ну и озорник твой сын, по всему видно, что — наш! Такой же зубастый, как и все из нашего рода.

— Говорят, сейчас беззубым легче живется, чем зубастым. Это правда? Говорят, нынче беззубые себе золотые зубы повставляли. У вас много золотых зубов? — Казбек явно хамит дяде, и это вызывает гнев и тревогу у Асии.

— Перестань! — резко говорит она. — Разве можно так разговаривать со старшими?

Наступает неловкое молчание, но его нарушает все тот же неунывающий Коген.

— Да пусть побалуется парень, — разрешает он. — Хорошо, когда у парня есть добрый дядя, который не обидится на веселую шутку. Жанаржан, неси-ка, что там у нас в машине?..

— Ах, да, — спохватывается Жанар. — Мы тут кое-что захватили...

— Мы вообще-то ненадолго. Вдарим и пойдем к себе, а вас всех приглашаем сегодня к нам на обед,— объясняет Коген.

— Спасибо, спасибо!.. Ой, зачем же вы на шампанское-то тратились?..— приговаривает довольная Асия, вынимая из сумки припасы.

— Хе! Разве это траты! — снисходительно роняет Коген и обращается к брату: — Ну, веди меня, Беке, посмотрим, посмотрим твоё имение...

Все идут осматривать садовый участок, и лишь один Казбек возвращается в дом. Он тихо насвистывает и наклоняется, разыскивая птенца, который забился со страху в самый дальний угол под кроватью.

— Птенчик ты мой! Маленький ты мой! Не бойся, это я, трусишка ты маленький!..— гладит его Казбек.

Затем он берет с подоконника альбом, садится на диван и рисует. Чем-то явно раздосадованный, он вдруг швыряет альбом на стол, резко встает и смотрит в окошко.

Он не заметил, что в комнату тем временем вошла Жанар, которая, взяв в руки альбом, принялась с интересом разглядывать рисунки Казбека.

— Казбек,— вдруг говорит Жанар.

— Тетя Жанар? — Казбек, вздрогнув от неожиданности, поворачивается и растерянно глядит на нее.

— Извини, я взяла без твоего разрешения...— Жанар показывает на альбом, а Казбек пожимает плечами:

— Пожалуйста, смотрите... Это все — мальчишки из нашей колонии. Отборная гвардия, да? — насмешливо добавляет он.

— А что, попадаютса неплохие лица. И вот этот, и этот, и этот,— Жанар протягивает листы с рисунками Казбеку.

— А вы точно угадали,— помолчав, говорит Казбек.— Это мои друзья...

— Друзья? Дай тогда я хорошенько их рассмотрю...— Жанар снова увлеклась альбомом, а Казбек, взяв карандаш, быстро набрасывает ее портрет.

В это же время Коген, осмотрев участок, важно дает наставления своему старшему брату:

— Яблони — это хорошо, но тебе, Беке, обязательно нужно выхлопотать отдельный участок для картошки — это раз. И второе — непременно заведи парники. Все деловые люди сейчас так делают, Уйму денег загребешь и все свои расходы оправдаешь...

— Нашел коммерсанта,— усмехается Асия.— Он со стыда сторит, если его на рынок яблоками торговать отправить.

— Лишние деньги, конечно, никому не помешают, и мы себя обеспечиваем и овощами, и фруктами, но только... только хватит с нас и этих забот,— спокойно и с достоинством отвечает Беген.— Я вон последнее время не успеваю даже и за газетами слѣдить. А ведь я — педагог.

— Ну что тебе сказать, мой ученый брат,— вздыхает Коген и похлопывает Бегена по плечу.— Мне б твою голову — я бы уж давно в академиках ходил. Перехвалили мы тебя или сглазили, я уж и не знаю, а только ведь и сам видишь — Социал, который вместе с тобой в аспирантуре учился, вот-вот докторскую защитит, а ты все «педагог да педагог». Учитель! Нынче дети сами кого хочешь чему угодно научат, вот какие дети пошли. А ты все — «я педагог».

— Я — педагог, и ничего с этим поделать не могу,— упрямо повторяет Беген.

Коген обнимает его:

— Беке, нужно уметь жить. Понимаешь, нужно уметь жить!..

— Ты считаешь, что уметь жить — это грести деньги лопатой? — напряженно отвечает Беген.

— Это уж как кому удастся,— смеется Коген.— Сможешь — лопатой греди. Не сможешь — ложкой черпай. Где деньги, там и бог, как говорится...

— При чем тут бог? — морщится Беген.— Неужели для тебя бог — это деньги?

— Ну, а если для тебя деньги — это мусор, то почему же ты крышу шифером не покроешь? — поддевает его Коген, которому уже поднадоел этот никчемный, с его точки зрения, разговор.

— Тут дело не в деньгах, шифер достать нужно,— бормочет Беген, но Коген тут же перебивает его:

— Нет проблем! Завтра же у вас будет шифер, я это беру на себя, только деньги приготовьте. Сами привезут, сами и разгрузят.

— Вот спасибо тебе, Коген, спасибо, милый! Мне сдается, ты потолковее будешь своего ученого братца, а? — радостно улыбается Асия.

— В школе из меня толку мало было, зато считать я хорошо научился,— хохочет Коген, которому по душе ее

лесть.— Особенно сложение да умножение я любил, а вот вычитание терпеть не мог...

Он подмигивает Азии и снова хохочет.

А Жанар с Казбеком продолжают рассматривать рисунки.

— Что вы скажете вот об этом парне? — спрашивает Казбек.

Жанар медлит с ответом и пристально глядит на портрет.

— Похоже, что славный паренек, — говорит она. — Только бы попасть ему в хорошие руки. Чувствую, что душа у него чистая.

— Это у него-то чистая? Ну и ну! — улыбается Казбек и вдруг добавляет, посерьезнев: — Теперь я понимаю, почему вы тогда остались с Когеном. Вы слишком хорошая, вы слишком всем верите и у всех людей стараетесь найти что-то доброе в душе. А у всех ли оно есть, это доброе? И вы сами-то нашли, что искали, или нет, тетя Жанар?

Жанар долго и внимательно глядит на Казбека и, ничего ему не ответив, поворачивается к окну. Казбек смущен и стоит, боясь ее потревожить.

Внезапно пищит птенец, и Жанар с любопытством оборачивается.

— Что это, кто это тут? — удивляется она.

— Птенчик... — Казбек поднимает птенца с пола. — Я возвращался с речки и нашел его на дороге. Он, наверное, из гнезда выпал...

— Дай его мне... — Жанар нетерпеливо протягивает руку и осторожно, с нежностью гладит птенца. — Маленький какой, совершенно беззащитный.

— Все мы беззащитные, — Казбек достает блюдце и наливает в него воду. — У нас там, ТАМ, тоже было четыре ласточкиных гнезда. Мы за ними несколько месяцев ухаживали, и потом одна из ласточек все время к нам прилетала. Прилетит, сядет у окошка или на столб. А однажды мы видим — мертвая наша ласточка, и тогда шестеро из нашего барака, я в их числе, на работу не вышли. Это что же получается — ласточка поверила нам, людям, а мы ее и защитить не смогли? Оказалось, что ухлопал ее из рогатки один там паразит. Мы ему такую «темную» устроили, на всю жизнь запомнит! Ну и нас в карцер. Мы начальнику пытались объяснить, да куда там — ни он, ни другие

нас не поняли. Я так думаю, что если с настоящим горем человек встречается в своей жизни дважды, трижды, то с несправедливостью сталкивается на каждом шагу. Я думаю... Я думаю, что люди устают не от борьбы, а от мелких дряг...

Жанар напряженно слушает его.

— Ты очень повзрослел, Казбек, за эти два с половиной года,— наконец говорит она,— но все-таки признай: ведь мордобоем ничего не решишь, а парень, может, еще больше озлобился...

— Я на многие вещи стал по-другому смотреть, не так, как раньше, тетя Жанар. Там было время подумать... Помните, когда вас тогда заставили переступить порог нашего дома, вы долго-долго плакали. Не могу я этого забыть. Я тогда еще в седьмом классе учился. И только потом я понял, почему вы тогда плакали, кричали, умоляли милицию позвать.

— Не вспоминай об этом, Казбек. Не надо, прошу тебя...— вырывается у Жанар.

— Простите, тетя Жанар,— Казбек опускает голову.— Какой-то мудрец говорил: «Я показываю человека не таким, каков он есть, а таким, каким он должен быть». Каким? Кем мы должны быть? Вот в чем вопрос, и этот вопрос раздирает душу каждого из ребят, находящихся ТАМ. Одни находят ответ на этот вопрос, другие так и уходят ни с чем. И снова попадают... И снова тюрьма... Тюрьма!

— Я верю, что ты найдешь ответ,— говорит Жанар, прямо глядя на Казбека.

— Спасибо... А это портрет тети Жанар, с которой мы так славно побеседовали...— Казбек протягивает ей рисунок, который только что закончил.

— Здорово, Казбек,— улыбается Жанар.— Правда, несколько мрачновато получилось, но ты... ты хорошо уловил мое настроение...

...Асия, Беген и Коген продолжают гулять по саду.

— Ой, что же это я? Пойду на стол собирать,— торопится Асия.

— Ни-ни-ни! Я же сказал — вдарим и поедем. И — пламенный салам, а вас ждем к обеду, некогда нам,— возражает Коген.

— В народе говорят: «Войдя в дом, хотя бы ломоть хлеба съешь». Ни за что без угощения вас не отпущу, я сей-

час, я мигом, вы пока погуляйте,— упрямится Асия и уходит на кухню.

Мужчины остаются одни.

— Ну, а на работе у тебя как, все в порядке? — продолжает разговор Беген.

— Все как по маслу...— Коген берет брата под руку и доверительно, вполголоса сообщает ему: — Мне, в общем, это... предлагают одно... заманчивое местечко. А я что-то сомневаюсь: высоко заберешься, падать больнее будет... А жить и на старом месте замечательно можно. Что тут такого? Если глотка широкая, почему больше не глотнуть, а?

Беген язвительно улыбается, глядя на веселящегося Когена.

— Конечно,— в тон ему говорит он.— За границей один тоже загребал-загребал денежки, а когда решил, что этого добра ему хватит сполна, пришли к нему неизвестные люди, ГЛОТНУЛИ у него сейф с деньгами, а самого хозяина повесили на чердаке да еще прикрепили ему на грудь табличку: «Благодарим тебя за то, что ты собрал, сохранил и возвратил нам наши деньги». Я об этом в каком-то журнале читал...

— Читаешь ты всякую чушь! Это ж человеку и прижится может!..— сердится Коген.

Они заходят в дом, где их встречает хлебосольная Асия.

— Рассаживайтесь, рассаживайтесь скорее! — говорит она.— Долго мне вас ждать?

Гости и хозяйева за столом. Коген с шумом открывает шампанское и щедрой рукой разливает его по бокалам.

— Ну, парень, с благополучным тебя возвращением. Будь счастлив и будь умницей,— обращается он к Казбеку.

— На этот раз буду,— угрюмо отвечает Казбек.

— Спасибо, спасибо вам, родные, что не забываете нас,— искренне радуется Асия, любуясь застольем.

Стук в дверь. На пороге стоит молодая красивая девушка. Она смущена обилием людей в небольшой комнате и делает инстинктивный шаг назад, но ее останавливает Асия.

— Гайни? Здравствуй, девочка. Давно тебя не видели,— ласково говорит она.— Заходи, заходи, дочка. Не стесняйся, садись с нами...

— Здравствуйте,— покраснев, отвечает Гайни.

— Гайни! — Казбек наконец-то срывается с места, ибо появление девушки было и для него полной неожиданнос-

тью.— Гайни, проходи...— Он берет Гайни за руку и усаживает за стол.— Познакомьтесь, это Гайни, мы с ней на одном курсе учились. Ну, маму и папу ты знаешь, а это — тетя Жанар, наша гостья. Простите, тетя Жанар, вы начали что-то интересное говорить, а мы вас перебили.

— Это я виновата, не вовремя заявилась,— снова краснеет Гайни.

— Почему? В самый раз. Очень кстати вы пришли, милая Гайни,— улыбается ей Жанар.

Беген, смутившись оттого, что Казбек допустил бестактность, не познакомив Гайни с Когеном, стремится исправить его ошибку:

— А это, Гайни, Коген, мой двоюродный брат...

— Очень приятно,— Коген церемонно склоняет голову.

— Так продолжай, Жанар. Что ты хотела сказать? — обращается Беген к жене Когена.

— Я, собственно, уже все сказала. Я ведь начала с того, что человеческая жизнь загадка, что и сам порой не знаешь, где и когда окажешься. Просто я верю, что Казбек становится настоящим человеком. Хочу верить и за это пью,— Жанар поднимает бокал.

— Спасибо,— смущенно и растроганно говорит Казбек.

— Ну, нам пора идти...— Коген хлопает ладонью по столу и встает.

— Ждем вас,— кивает Жанар.— И вы тоже приходите, будем рады видеть вас у себя дома,— обращается она к Гайни.

— Это что, невестка твоя будущая, да? — шепчет Коген брату, кивая в сторону Гайни.— Ох, и крепкие вы с сынком орешки, все в себе таите...

— Было бы что таить,— пожимает плечами Беген.

Он и Асия провожают гостей, и Казбек с Гайни наконец-то остаются одни.

— Я сразу, как приехал, в общежитие к тебе побежал, а мне сказали, что ты уже на каникулы уехала,— говорит Казбек.

— Я только вчера возвратилась. Нас вызвали — на сенокос будут отправлять,— отвечает ему Гайни.

— А кто тебе сказал про меня? Ну, что я приехал?

— Марат. Этот самый — официант из ресторана. Ну, который себя солдатом общепита называет,— улыбается Гайни.

— А-а, этот... А он откуда узнал? — удивляется Казбек.

— Да не знаю я. Ты лучше о себе расскажи. Как ты, что? — перебивает его Гайни.

— О себе, говоришь? — задумывается Казбек. — Обо мне... обо мне не нужно... Хочешь, я лучше покажу, как я тебя нарисовал? По памяти.

— Конечно, хочу, — радуется Гайни.

Казбек выходит в соседнюю комнату и возвращается с альбомом.

Гайни с интересом рассматривает рисунки.

— Похоже... Значит, ты не забыл меня... мое лицо то есть, да и вообще... Спасибо... — Смешавшись, она откладывает рисунки в сторону и вдруг обращается к Казбеку: — Скажи, Казбек, только честно скажи, почему ты не отвечал на мои письма?

— Бывают такие моменты в жизни, когда не то что писать, разговаривать не хочется, — Казбек, волнуясь, ходит по комнате. — Даже сейчас, когда я уже на свободе, я хочу одиночества. Одиночество мне теперь больше по душе.

— И это... все? — внимательно глядит на него Гайни.

— Да... нет... — нервничает Казбек. — Я и сам не знаю почему...

— Ты забыл меня? — тихо спрашивает его Гайни.

— Нет, Гайни... Я все время думал, я все время помнил о тебе, — вырывается у Казбека.

Гайни тянется к нему, но в это время появляются взрослые, и парень с девушкой отшатываются друг от друга.

Беген и Асия заходят в дом. Казбек берет гитару, садится на ступеньку и наигрывает мотив какой-то задумчивой тихой песни. Рядом присаживается Гайни.

— И я, — говорит она. — И я тоже все время помнила о тебе, я не забыла тебя, я все время думала о тебе.

— Ты не жалеешь об этом? — Казбек вопросительно глядит на нее.

— Не надо так, — вырывается у Гайни. — Мы с тобой проучились всего год. Нет, даже и года не выйдет... Сентябрь, октябрь... Десять месяцев. В июне тебя забрали. А потом — письма. Одни только мои письма.

С Казбеком вдруг происходит непонятная перемена. То ли ему неприятны слова Гайни, то ли он досадует на самого себя, но он вдруг вскакивает и так сильно ударяет по струнам, что кажется — они вот-вот лопнут.

— А хочешь послушать песню заключенных? — спрашивает он и, не дожидаясь согласия, хрипло поет:

Я гляжу на солнечный закат
И считаю сумрачные годы.
Сколько дней пройдет еще вот так?
Век мне не видать своей свободы.

Тянутся унылые года,
И тоска съедает мое сердце.
Был я раньше парень хоть куда...
Неужели это навсегда?
Неужели больше никогда
Не откроется на волю дверца?

— Не надо, Казбек! — вскрикивает Гайни.

— Что с ним? И глаза какие-то дикие стали... — шепчет Асия, услышавшая пение сына, а Казбек, как бы удивившись своего порыва, откладывает гитару и задумчиво обращается к Гайни:

— Жизнь... Люди не умеют дорожить тем, что у них есть, а что ищут — и сами не знают. Да и где ищут? Мы смотрим только себе под ноги, а, по-моему, человеку всегда нужно помнить, что существует небо — яркие звезды, высокие звезды. Невозможно быть счастливым, не почувствовав высоты, не оттолкнувшись от земной суеты и мелких дразг.

— Всегда ты любил у нас пофилософствовать, — улыбается Гайни, но Казбек спешит выговориться перед ней:

— Философия... Философ... «Влюбленный в разум». Но я не влюблен в разум... Нет во мне глубины. Человек глубокий, полнокровный редко ошибается. Глупости делает лишь мелочь, подобная мне. Попробуй замутив широкую быструю реку — не сможешь. А мелкий ручеек всякий, кому не лень, перейдет, глину да песок взбаламутит... Почему?..

Гайни решительно встает и подает ему гитару.

— Знаешь что, давай пока оставим этот разговор. Многого еще не ясно тебе, да и я не все в жизни понимаю. Спой мне лучше ту песню... Помнишь? Нашу песню, — просит она.

— А ты не забыла? — Казбек радостно смотрит на нее и настраивает гитару. — Понимаешь, — говорит он. — Понимаешь, моя печаль проходит лишь тогда, когда я пою. Всем кажется, что я на кого-то зол, кем-то обижен... А я знаю, что во многом сам виноват... Беда моя в том, что я иной раз вижу... все свои ошибки вижу, и настоящие, и будущие вижу, а предотвратить их не могу. Понимаешь?

— Понимаю. — отвечает Гайни, и они долго смотрят друг на друга.

А в это время в доме Беген читает газету. К нему подходит Асия.

— Ты бы поговорил с нашим мальчиком, узнал, что он делать собирается,— тревожится она.— А то ведь сердце болит — не дай бог, еще что-нибудь выкинет. Ты бы видел его сейчас — вскочил словно ошпаренный, струны эти свои рванул да как завопит!.. Совсем одичал. С людьми не разговаривает. Или молчит все время, или что-нибудь себе под нос мурлычет да на гитаре тренькает.

Беген откладывает газету:

— Пусть уж лучше пока помолчит, подумает. Авось что-нибудь умное и придумает.

— Я с тобой серьезно говорю, а тебе лишь бы отшутиться,— раздражается Асия.

— И я серьезно... Всему свое время,— повторяет Беген.

— Да ну тебя!.. Ни о чем тебя попросить нельзя, ничего ты сделать не можешь,— сердится Асия, и тонкие брови ее прыгают от ярости.

Беген не выдерживает:

— Ты можешь меня хоть на минуту в покое оставить? От твоих криков уши вянут и молоко скисает. Чего тебе нужно, чего ты суетишься?

— А ты на меня голос не повышай! Не хватало еще, чтобы на меня на старости лет голос повышали!.. Разве я виновата, что твой жеребенок не стал скакуном? — заводится Асия, но Беген уже остыл и снова взял себя в руки:

— Если из саженца вырастает кривое дерево, кого винить? Ветер, дождь или садовода?

— Хватит мне загадки загадывать! — Асия все не может успокоиться.— Ишь ты как заговорил, будто с луны свалился. Ты б лучше мудрость свою да ученость на сына тратил, а не на меня. Ведь ты — отец. Узнай же, как он думает дальше жить. Ведь целый месяц без дела бродит. Или пусть в институт обратится или на работу устраивается. Одно из двух, а то людей стыдно...

— Он за это время и на людях-то раз или два всего показался,— неуклюже оправдывается Беген.

— Эй, вот и поговори с тобой...— Асия огорченно машет рукой и поворачивается.

— Ладно, не шуми, потолкую я с ним, всему свой час,— примирительно говорит Беген, почувствовав, что и он не совсем прав.

Асия молчит, и Бегену становится жалко ее.

— Эх, жена, пореже бы ты мне «эй» кричала да почаще говорила «миленький». Как раньше...— притворно-жалобно говорит он и обнимает Асию.

Асия оттаяла. Ее злость и обида на «никудышного» супруга прошли, и она улыбается ему в ответ:

— Ну, отец, ну, миленький, поговори, пожалуйста, с нашим сыном, ладно, айналайн?..

Казбек и Гайни продолжают свой разговор.

— Ты в институте хочешь восстановиться или заново будешь поступать?— интересуется Гайни.

— На стройку, поеду,— коротко отвечает Казбек, все еще перебирая струны гитары.

— Куда? — изумилась Гайни.

— На стройку,— Казбек усмехается.— Туда, где примут бедного уголовничка.

— Ты не уголовник. Зачем ты так говоришь? — укоряет его Гайни.

— Смотря для кого,— зло говорит Казбек.— Для одних мы — падшие ангелы, а для других просто коршуны.

— Зачем ты так со мной? — теряется Гайни.

Казбек встает.

— Ну, ладно. Спасибо, что навестила... Мы когда-нибудь еще встретимся...

— А ты хочешь со мной встречаться? — быстро спрашивает Гайни.

— Хочу...— помолчав, твердо говорит Казбек.

Они снова долго смотрят друг на друга, и Казбек, не выдержав, смущенно отводит глаза.

— Пойду отцу помогу...— говорит он.— Для него эта дача — такая радость.

— А можно я с тобой? — просит Гайни.

— Можно, если, конечно, у тебя есть время.

— Я ведь к тебе пришла, значит, у меня есть время,— улыбается Гайни.

Улыбнулся на этот раз и Казбек.

— А не было бы времени, не пришла бы, да? — шутиливо укоряет он ее.

— Ну и Казбек!.. Разве можно такое говорить девушке? — окончательно смущается Гайни.

Они смеются и уходят в глубь участка.

Появляется Беген. Он хмур, озабочен, в руках у него складной метр.

— Так... Прикинем...— бормочет он, размечая грядку.
— Казбек хотел здесь цветы посадить,—останавливает его Асия.

— Что? — сердито спрашивает Беген.

— Цветы... Астры, тюльпаны, гвоздики,— говорит Асия.

Появляются держащиеся за руки Казбек и Гайни.

— Папа, ты, наверное, забыл? — беспечно обращается Казбек к отцу.— Мы ведь договорились, что здесь будут цветы...

— Ничего я не забыл,— хмуро отвечает Беген.— Да только зачем они нам нужны, сынок?

— Как зачем? Для красоты. Красиво будет,— удивляется Казбек, не понимая, что это случилось с отцом.

— «Красота, красота»!.. У нас осталась много лишней помидорной рассады, и мы здесь посадим помидоры. Правильно Коген говорит, цветами сыт не будешь,—неожиданно жестко изрекает Беген, строго глядя на сына.

Казбек, помедлив секунду, круто разворачивается и уходит.

Беген, Асия и Гайни смотрят ему вслед.

— Вот и поговорили,— бормочет Беген.

Полдень

Двухэтажная дача Когена, огороженная плотным высоким забором. Чуть поодаль стоит красивая беседка, крытая шифером и увитая цветами. На столе в беседке — шахматы, на тумбочке — транзисторный магнитофон. В окне верхнего этажа дачи мы видим Когена, меняющего рубашку. Внизу, на кухне, Жанар готовит обед. Видно, что хозяйка дачи живут зажиточно; в гостиной — большая китайская ваза, пианино, кресла, журнальный столик, в кухне — холодильник, посудомоечная машина и еще множество дорогих и добротных вещей.

Коген спускается на кухню.

— Ну, мать, как дела? — спрашивает он Жанар, на ходу застегивая рукава рубашки.

— Как видишь,— сухо отвечает Жанар.

— Каким зверенышем стал сын нашего Бегена, а? — вдруг вспоминает Коген.

— Жеребенок от рождения не кусается, этому он позже учится,— отвечает Жанар, возясь у газовой плиты.

— Хорошее сравнение! — иронически говорит Беген.— Сразу видно, что я говорю с дочерью табунщика..

— Я думаю, что Казбек станет хорошим человеком,— ровно продолжает Жанар.

— Ага, уже стал... Глаза у него так и сверлят, так и сверлят. Так и кажется, что он тебя сейчас ножом пырнет,— злится Коген.

— А я считаю, он вырастет хорошим человеком,— упрямо повторяет Жанар.

— Тьфу, да что с тобой разговаривать!..— сплевывает Коген.— Сигареты мои не видела?

— В ящике стола,— говорит Жанар.

Коген достает сигареты и не спеша закуривает.

— Что-то ты мне давно о своей работе не рассказывала,— неожиданно начинает он.— Как себя чувствует твой больной? Этот, помнишь, ты говорила? Старик. Ученый...

— Максутов?

— Во-во, вроде бы Максутов,— вспоминает Коген.

— Умер он, мы не смогли ему помочь. Скончался... неделю назад,— горько говорит Жанар.

— Ай-я-яй! — Коген крутит головой.— Надо же! А жена, дети остались у него?

— Детей у него нет. А жена от него ушла, давно еще ушла... Он один жил...

— Это как же так мужчина может быть один? — то ли кривляется, то ли и в самом деле изумлен Коген.

— Оказывается, может,— говорит Жанар.— Я слышала, что он все свои книги завещал городской библиотеке.

— Ну, и сколько это может стоить? Книжонки эти на сколько примерно потянут? — пренебрежительно интересуется Коген.

— Говорят, там есть бесценные экземпляры...

— Бесценного ничего в жизни не бывает,— нравоучительно изрекает Коген.— Спички и то копейку стоят.

— Вроде бы его библиотеку оценили в сто тысяч. Точно я не знаю, это женщины у нас говорили...

— Сто тысяч! — Коген чуть не покачнулся от изумления.— Это же... Это десять машин можно на такие деньги купить!..— мгновенно подсчитывает он.

— Бывают и такие люди — ездят на «Волгах», ездят на «Жигулях», а головы — пустые,— пренебрежительно усмехается Жанар.

— Не скажи!..— Коген снова напускает на себя важность.— Если человек приобрел «Волгу», значит, в котелке у него кое-что есть... Да, жалко. Сто тысяч! Такие деньги пропали!

— Не пропали! — сердится Жанар. — Человек память о себе оставил! Человек умер, человек! Но какой же, спрашивается, подлец ухитрился воспользоваться его смертью?

— Это ты о чем говоришь? — не понимает Коген.

Жанар снимает передник и садится на стул.

— Слушай, я хочу с тобой посоветоваться, — решается она. — Там у нас произошла одна довольно странная история...

— Так, интересно, — перебивает ее Коген. — Люблю странные истории...

— У Максутова была с собой рукопись, над которой он работал — поправки, что ли, какие-то делал... Я видела ее много раз. Однажды он даже прочел мне две или три страницы, да я ничего не поняла...

— Известное дело, разве женщина может что-нибудь понять? — снисходительно улыбается Коген.

— Не перебивай. Медсестра мне потом рассказала, как все было. Он попросил ее выслать рукопись по почте. В Академию наук, что ли... И они договорились, что утром, после дежурства, она это сделает. Она помогла ему умыться, довела до постели, а он все твердил: «Уж ты, пожалуйста, доченька, не забудь утром ко мне зайти. Дело это очень важное. Это, можно сказать, дело всей моей жизни...» Девушка все успокаивала его, говорила: «Да вы не волнуйтесь, я еще никогда ничего не забывала». Он тогда засмеялся и сказал: «Молодец!» А утром... Ты меня слушаешь или нет?..

— Слушаю, почему не слушаю? Что утром?

— Утром он умер. Сестра зашла сделать ему укол, а он не проснулся. Она потрогала его за плечо, но веки его остались опущенными, и на лице застыла улыбка. Девушка так испугалась! Помню, вся бледная, бедняжка, к нам в процедурную прибежала, встала, стоит и сказать ничего не может... Мы все его очень любили, хороший он был человек, что называется — светлый, даже походка у него какая-то особенная была...

— Ну и зачем ты мне все это рассказываешь? Что я его, оживлю, что ли? — грубо острит Коген.

Жанар печально смотрит на мужа:

— Нет, больше его уже никто не оживит. А только я о другом. В полдень того же дня мы обнаружили, что рукопись, о которой я тебе говорила, пропала. Он лежал в отдельной палате, посетителей у него почти не было, нам

эта рукопись не нужна... А она как в воду канула — где мы только ее не искали, нигде не нашли...

— Я, что ли, вам ее найду? Я не милиционер... — отмахивается Коген.

— Посетителей у него почти не было, но два-три человека к нему все же заходили, — продолжает размышлять Жанар. — И мне... мне кажется, я догадываюсь, кто это мог сделать...

— Кто же? Я его знаю или нет? — зеваает Коген, у которого весь этот разговор почти не вызвал интереса.

— Знаешь ты этого человека, — говорит Жанар. — Как ты думаешь, может, мне в прокуратуру обратиться?

Она прямо смотрит на Когена, и тому становится не по себе от ее взгляда.

— Не связывайся ты с этим делом! — Он нервно гасит сигарету в пепельнице. — Дело темное, а доказательств у тебя нету. Мой тебе совет, не связывайся!.. Видишь, я даже не спрашиваю, кого ты подозреваешь... Не наше это дело...

— Но ведь получается, что обокрали человека, обокрали среди бела дня! — гневно говорит Жанар.

— А тебе-то что до этого? Хочешь, чтоб тебя по судам затаскали? А то еще сюда придут, вынюхивать начнут — откуда шифер, спросят, откуда доски, им до всего дело есть!..

— Зато тебя ничего на свете, кроме собственной персоны, не интересует, — брезгливо смотрит на него Жанар.

— Что ты болтаешь, женщина? — Коген вдруг снова развеселился. — Говоришь, бросила жена этого МаксUTOва? Поделом ему...

— Эх, Коген, если бы ты хоть изредка был таким, как тот человек, — Жанар задумчиво глядит на него.

— Нет уж, спасибо, — отрезал Коген и вдруг загрустил: — Вот такие вы, женщины. При живом муже так и норовите себе другого подыскать. Умру я — ты тоже себе другого найдешь. И будет он на моем «жигуленке» ездить...

— Коген, а может... может, ты не знаешь женщин? — внезапно говорит Жанар.

— Это я-то женщин не знаю? — хохочет Коген. — Ну уж в чем, в чем, а в этом меня обвинить нельзя...

Звенит звонок, и тут же слышен лай цепной собаки.

Коген выходит во двор и радостно идет навстречу своему другу Социалу, тому самому Социалу, которого он ставил в пример своему брату. Социал, маленький, толстень-

кий, с цепкими глазками, любопытно озирается по сторонам.

— Здравия желаем! — он протягивает Когену руку и тут же начинает острить: — В твоём доме первой здоровается с гостем собака. Злая, черт бы её побрал!..

— Пламенный салам! Заходи, дорогой! — радуется гостю Коген.

— Супруга дома? — интересуется Социал и тут же, заметив Жанар, церемонно кланяется ей: — Приветствую повелительницу моего друга.

— Здравствуйте, — сухо отвечает Жанар и уходит в дом.

Коген берет Социала под руку:

— Пошли, вдарим по шахматам, а потом пульку распишем, третий человек скоро подойдёт.

— Ох, и хорошая у тебя дача! — Социал завистливо оглядывается. — Участок какой, дом прекрасный.

— Это разве дача! — лукаво скромничает Коген. — Ты посмотри, как другие живут. Есть люди, которые ничего не боятся. Это мы привыкли друг другу подножки ставить.

— Ладно уж, не прибедряйся, — грубовато перебивает его Социал. — А вообще-то правильно ты живёшь, — говорит он, поразмыслив. — Широко!.. А мы, что мы видим? Днём и ночью гранит науки грызем.

— Когда у тебя защита? — спрашивает Коген.

— На осень перенесли, — вздыхает Социал.

Они устраиваются за столом в беседке, и Коген прячет за спину две шахматные фигурки.

— В какой руке? — подмигивает он Социалу.

— В левой, — говорит Социал.

Коген показывает Социалу чёрную пешку.

— Ну вот, опять не повезло бедному Социалу! Всю жизнь не везет простому ученому! — Социал подмигивает Когену, и Коген хохочет.

— Хожу Е-2, Е-4. Лучше не придумашь, — он нажимает магнитофонную клавишу, и становится слышна медленная джазовая мелодия. — А-ха-а... Вы, стало быть, сюда, а мы, стало быть, сюда. Ты где защищаться будешь, в Алма-Ате?

— Нет, здесь.

— А ведь ты кандидатскую в Алма-Ате защищал...

— Когда своя собака на тебя рычит, чужой волк милее кажется. Знаешь такую поговорку?

— Знаю,— смеется Коген.— Хотя волк — он и есть волк, так что набивай потуже бумажник... Жанар, принеси нам бутылочку сухого. Из холодильника, чтоб похолоднее было.

— А мы, сэр, ходим вот так,— Социал двигает фигуру.

— Ничего ходик. Надо подумать,— морщится Коген.

Жанар ставит перед ними бутылку рислинга и уходит.

— Благодарствую, Жанаржан,— говорит Коген вслед жене.

— Жена твоя что-то сегодня не в духе? — замечает Социал.

— Бабу разбалуешь, так она и на голову может сесть,— небрежно роняет Коген.

— Не думаю, чтоб твоей голове грозила такая опасность,— смеется Социал.— Жанар у тебя умная, точь-в-точь как моя женушка.

— Все они до поры до времени умные.— Коген двигает пешку.

Социал наливает себе вина.

— А-ха... Будем защищаться. Как твой братец поживает? Это я про Бегена спрашиваю.

— Ничего. Живет себе. Тихо, мирно. Что с него взять?

— Мы с ним и в школе, и в институте, и даже в аспирантуре вместе учились. Парень он талантливый был...

— Слушай, а почему он аспирантуру бросил? Я что-то никак не могу этого понять. Его спрашивал — молчит...

— С руководителем поцапался. Да и жена у него дура, по-моему,— снисходительно объясняет Социал.— Слушай, а сына-то освободили у него?

— Вышел,— бурчит Коген.

— Да, не повезло бедняге,— Социал на секунду даже забыл о шахматах.— Беген талантливый был. Талантливее всех нас.

— Толку мало от его талантов,— закуривая, небрежно роняет Коген.— Ты вот к осени доктором наук станешь...

— Ты знаешь, а я вот иногда думаю,— тихо говорит Социал,— пробивные пробиваются, а сколько способных остается на мели.

— О чем, о чем ты думаешь? — не расслышал Коген.

— О чем? — Социал смеется.— Да обо всем. Мало ли о чем может задуматься ученый отшельник.

— Ходи... отшельник,— посмеивается Коген.

— А что, теперь мой ход? Тогда мы двинемся вот так. Ты мне говорил по телефону, что у тебя ко мне есть какое-то дельце?

— Да, есть,— выдержав паузу, начинает Коген.— Работает у меня один хороший парень...

— Ну и что?..

— И мечтает поступить в ваш институт.

— Ну так и пускай поступает,— холодно говорит Социал.

— Он сегодня сюда придет...— Коген испытующе смотрит на Социала.

— Дьявольское дело, но можно подумать,— бормочет Социал, пряча глаза.

— А чего тут думать-то? — Коген разливает рислинг по бокалам.— Я его расколю на три тысячи. Две берешь себе, одну подкинешь мне.

— Посмотрим,— мнется Социал.

— Да брось ты!.. Смотреть он еще будет! — сердится Коген.— Ты сразу скажи — да или нет. С кем в прятки захотел играть? Да я за две тысячи дюжину таких, как ты, найду.

— Ты, герой, что-то, я вижу, разбушевался? — щурится Социал.

— Дело делать надо, а не болтать!..

— Успокойся ты, не ворчи...— Социал призадумался.— Так и быть, помогу тебе, ты мне тоже много помогал. А только цена моя — три тысячи, на две я не согласен.

— Вот это уже слово джигита,— облегченно вздыхает Коген.— Часть получишь сегодня, а остальное — после приказа о зачислении.

— Добро, годится.

Они протягивают друг другу руки.

Слышно, как за воротами дачи остановилась машина. Шаги. Звенит звонок, и вновь заходится лаем собака.

Открывается калитка, и по дорожке идет Токтар, двадцатипятилетний франтовато одетый парень.

— Это он и есть,— шепчет Коген.— Красавец, а? Все девушки по нему с ума сходят.

— Как бы он нас в дураках не оставил, твой красавец,— ворчит Социал.

— Да не бойся ты! Вот уж правду говорят — чем интеллигентнее человек, тем трусливее...— резюмирует Коген.

— Здравствуйте,— вежливо говорит Токтар и указывает на плотно набитую хозяйственную сумку: — Пойду отнесу тете Жанар.

— Захвати там лист бумаги — пульку распишем! — кричит ему вдогонку Коген.

— Правильно, ну их к шайтану, твои шахматы,— Социал смешивает фигуры.— Ничья, победила дружба...

Токтар расчерчивает лист бумаги и, вытащив из кармана новенькую колоду, тасует карты.

— По сколько будем ставить? — угодливо спрашивает он.

— По копейке,— живо откликается Социал.

— Брось жадничать. Скоро доктором станешь, а все за копейку дрожжишь. Давайте по гривеннику играть,— предлагает Коген.

— А не боишься, герой? Ну да ладно, пускай будет по-твоему,— соглашается Социал.— Но только тот еще не родился, кто меня в преферанс обдует,— вполголоса добавляет он.

— Смотри в оба, не зевай,— шепчет Коген Токтару.— Четыре тысячи просит. Пока он в наших руках, мы должны им воспользоваться.

— А что, если ему сотню проиграть? Может, добрее станет,— тоже шепчет Токтар.

— Где твоя гордость? Проигрывать какому-то буквоеду! — зло цыкнул на него Коген.

— Все-таки многовато четыре тысячи, боюсь, что не соберу я таких денег...

— Не болтай чего не надо. Соберешь, если захочешь,— обрывает его Коген и тут же обращается к Социалу: — Да, а ведь я забыл вас познакомить. Это — Токтар. А это — Социал. Для тебя, Токтар, конечно же Социал-ага.

— Очень приятно.

— Очень приятно.

Социал и Токтар пожимают друг другу руки.

И вновь звенит звонок, и вновь лает собака. Входит Асия. Мужчины, увлеченные игрой, не замечают ее, и она проходит в дом.

— А-а, пришли? Садитесь, тетушка,— радуется, увидев ее, Жанар.

— Спасибо, спасибо, милая,— Асия садится на стул и обмахивается платком.— Ну и собака у вас! У меня от страха чуть сердце в пятки не ушло. Мои мужчины все еще в саду возятся, а я пораньше решила прийти. Думаю, может, помогу чем?

— Зря вы беспокоились, я бы и сама справилась,— улыбается Жанар.— Отдохните пока, а то ведь, поди, весь день на ногах...

— Ничего, ничего,— суетливо отвечает Асия, повязывая передник.

Они готовят обед и разговаривают:

— Пить не хотите? У меня есть холодный томатный сок,— предлагает Жанар.

— С удовольствием,— откликается Асия.— Томатного сока что-то последнее время в магазине совсем нет — днем с огнем не отыщешь. Но ваш Коген — мужчина что надо... Что надо из-под земли достанет.

Жанар протягивает ей стакан.

— Да, уж это он умеет,— неопределенно говорит она.

— Счастливая ты, милая Жанар,— вздыхает Асия.— Такого мужа себе отхватила. За ним как за каменной стеной...

— Вот именно. Как за каменной стеной,— говорит Жанар.

В раскрытое окно слышны голоса мужчин.

Г о л о с С о ц и а л а . О б я з а л о в к а !

Г о л о с К о г е н а . Х о р о ш о , д а в а й т е е щ е р а з п р о к р у -
т и м . . .

— Все, кроме нашего хозяина, умеют жить,— жалуется Асия.— Все впереди, один он в хвосте плетется. Это кто там в беседке сидит, уж не Социал ли?

— Он самый,— кивает Жанар.

— Даже этот картавый нашего Бегена обогнал,— Асия глядит в окошко.— Говорят, скоро докторскую защищать будет. А ведь если по совести сказать, кандидатскую-то ему наш Беген написал. Он в то время из аспирантуры ушел, и мы сюда переехали. А теперь этот «кандидат» еле с нами здоровается...

— Чего в жизни не бывает, тетушка Асия,— утешает ее Жанар.

— Зла не хватает! У всех мужики как мужики, за любое дело засучив рукава берутся... А этот пентюх сидит да только и знает ныть: «Справедливость нужна! Честность нужна!» Единственное, в чем он себя мужчиной проявил, так это тогда, когда настрогал мне кучу детей. Да и тут, наверное, я была главная...

— Ну уж, вы скажете...— улыбается Жанар, и Асия тут же переходит на другую тему:

— Это платье у тебя вельветовое? Ты где его купила?

— Коген достал,— говорит Жанар.

— А мне он не может достать? Самой-то мне неудобно

к нему обращаться. Может, шепнешь ему как-нибудь на ушко?

— Хорошо, я попробую,— соглашается Жанар.

Она подходит к пианино, рассеянно открывает крышку. Звучит старинный романс о любви и разлуке. «Нет счастья на этом свете. Где ты, любовь моя? Я жду тебя».

Асия, пригорюнившись, слушает ее.

А у картежников игра идет полным ходом.

— Мизер,— Коген радостно мигает Токтару.

— Токтар, открой,— говорит Социал.

— Будем считать, что две пики сброшены. Вам удалось проскочить, Коген-ага,— подытоживает Токтар.

— Мизер. Открываю. Попробуйте поймать. Жанар, носи бутылочку. Холодненькую только! — кричит Коген.

— Давайте я схожу,— предлагает Токтар.

— Сиди, в этом доме есть женщина,— останавливает его Коген.

Жанар резко обрывает романс и несет мужчинам бутылку коньяка, ставит на стол закуску.

— Грустная песня! — Асия качает головой.— Такой счастливой женщине не к лицу печаль. Иной раз мы сами, женщины, можем накликать беду — слезами, нытьем своим. Может, и Беген стал бы большим человеком, кабы не мои проклятья. Конечно, и обидно ему, и больно, что ушла от него удача. Но ведь никому он об этом не расскажет, все в себе держит...

Жанар снова садится за пианино, и Асия продолжает:

— Гордость-то ведь у всякого есть, и неужели его не задевают успехи Социала или того же, к примеру, Когена?.. А, Жанар? Ведь я помню, Коген привел тебя в наш дом, и ты горько плакала. Зачем ты плакала? Одно ситцевое платьишко только и было у тебя, а сейчас ты вся в дорогих шелках, в городе у вас квартира четырехкомнатная, дача у вас шикарная, а ты снова грустишь. И чего тебе не хватает?

Жанар неприятен этот разговор, и она наигрывает на пианино припев той же песни.

— Мой Казбек рос хорошим мальчиком,— нарочито громко, чтобы слышала Жанар, говорит Асия.— И в институт он сам поступил, никто за него не хлопотал, а вот видишь, как все обернулось...

— Он и сейчас хороший парень,— резко говорит Жанар.

— Не знаю, мне кажется, он совершенно изменился. Боюсь я за него,— чуть не плачет Асия.

— Какая мать не волнуется за свое дитя? Но разве если человек попал в тюрьму, то сразу и кончается его жизнь? — возражает ей Жанар. — Нет. И потом, на воле тоже предостаточно существует мерзавцев, которым давным-давно место за решеткой...

Мужчины продолжают свою игру.

— Эй, балда, у тебя же девять взяток, — ругается Коген.

— В масть пошло, а то бы и я вылетел в трубу, — оправдывается Токтар.

— Ладно, наливай по рюмке и раздавай. Вах, я вижу, ты уже заканчиваешь? — удивленно говорит Коген Социалу.

— Везет вам, — поддерживает его Токтар, наполняя социаловскую рюмку. — Вы запишите свой вист.

— Мы это уже сделали, молодой человек, — важничает Социал.

— Кому в карты везет, тому в любви не везет, — глубокомысленно изрекает Коген. — Слушай, Токтар, ты бы по этому случаю уступил нашему Социалу какую-нибудь из своих красавиц. Послаще...

— Заметано! Завтра же будет! — соглашается Токтар.

— Ну что, друг, не откажешься? — подзуживает Социала Коген.

— Ты забыл, что я — ученый, а не монах, — самодовольно говорит Социал.

— Заметано, — повторяет Токтар и при этом тихо шепчет Когену: — Сколько ему сегодня дать?

— Тысячу пока дай, — тихо отвечает Коген.

— А остальное?

— Остальное частями, потом, — учит Коген и тут же громко обращается к Социалу: — Так что не теряйся, старик, пользуйся тем, что с тобой молодежь дружит. — Опасливо посмотрев в сторону дома, он понижает голос: — У меня вот в Сочи тоже в прошлом году был такой случай, пошел я на пляж... Смотрю, одна стоит в белых брюках... «Не меня ли ждете?» — спрашиваю я ее. Вах, и женщина! Мед, а не женщина потом она оказалась!..

— А вот у меня было один раз, — нетерпеливо перебивает его Социал, который и сам не прочь прихвастнуть. — Остановился я как-то в гостинице, и что-то мне не спалось. Ну, я, значит, вышел и...

Он манит Токтара и Когена пальцем и что-то шепчет им на ухо.

Коген весело хохочет.

— Ну уж это ты загнул!.. Не может такого быть!.. — не верит он.

— Клянусь, что все по правде говорю! — бьет себя в грудь Социал, которому ужасно хочется, чтобы все считали его лхой и неотразимой личностью.

— Да нет, врешь ты, — машет рукой Коген.

— А что, все может быть, — заступает за Социала Токтар, который ни на секунду не забывает о цели своего визита.

А Жанар все еще сидит за пианино.

— Печальная ты сегодня, Жанар, — говорит ей Асия. — Что с тобой сегодня?

— Да так... — Жанар не смотрит на нее. — Все думаю, думаю...

— Зачем женщине много думать, милая? Пускай за женщину муж думает, — учит ее Асия.

— Как без думы жить? — Жанар снова играет свою грустную мелодию. — Это Казбек мне помог задуматься, — неожиданно объявляет она.

— Казбек? Ну и что он тебе наговорил, мой шалопай? — тревожится Асия.

— Ничего особенного...

— Может, он тебе какие-нибудь неприятные слова сказал?

— Нет, что вы. Бывают в жизни моменты, когда и без слов все ясно, — говорит Жанар. — Ладно, пора на стол накрывать.

Она закрывает крышку пианино и встает. Асия глядит в окошко.

— Нынче мужчины хуже баб стали, — меланхолически констатирует она. — Гляди, как шепчутся...

Но мужчины уже перестали беседовать о своих амурных приключениях и вновь взялись за карты. Когену сегодня везет, как никогда.

— Мизер. Открываю! — кричит он.

— Потерпи, — недовольно говорит Социал.

— У нас с вами дела идут хуже, чем у «Кабельщика». — Токтару уже изрядно надоела игра, и он ломает голову, как бы половчее приступить к своему «делу».

— Ты прав. Так же паршиво играем, как и наша городская футбольная команда, — сплевывает Социал.

— А какой им стадион выстроили! На двадцать тысяч мест! — подхватывает Токтар, лишь бы что-нибудь сказать.

— Безобразие! Каждый год команду нанимают. Это разве дело? Своих ребят нужно готовить, тогда они и за честь города постоят. А то — из второй группы вылетели? Вылетели, — сердится Социал.

— Трудное разве дело найти пяток хороших игроков? За денежки кто играть не согласится? — вставляет свое словечко и Коген.

— Нет, теперь на стадионе можно только пиво пить. А смотреть там нечего, — говорит Токтар.

— Продулись, а тоже форс дают: зимой даже каток не разрешили заливать. — Коген и тут выступает как знаток всех городских проблем.

— Мой дядя, он директор совхоза, всегда говорит: «Хлев построили, а свиней нету», — смеется Токтар.

— Хорошо сказал, хоть и грубо, — поддерживает его Коген.

— На самом деле, черт знает во что превратили стадион! — горячится Социал.

Этот их почти бессмысленный разговор начинает иссякать, и собеседники стараются не смотреть друг на друга.

— Чья сейчас очередь сдавать? — лениво спрашивает Коген и внезапно обращается к Токтару: — Ну, парень, мы с Социалом-ага договорились насчет тебя. Будь спокоен, считай, что дело сделано.

Токтар встает и с достоинством кланяется Социалу.

— Большое вам спасибо, Саке. Мы — люди, умеющие платить за добро добром.

— Ничего, братцы, все будет о'кей! Не волнуйтесь! Первый экзамен я сам у тебя приму, а дальше все пойдет как по маслу. Давай, Токтар, раздавай, твоя очередь, и за судьбу свою больше не беспокойся.

Социал победоносно смотрит на Когена и Токтара. Он знает себе цену. Он беспредельно уверен в себе. Так пусть и эти люди знают, какая важная птица он, Социал.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Полдень

(продолжение)

Мужчины по-прежнему играют в карты. Асия и Жанар накрывают на стол.

Опять звенит звонок, опять громко лает собака, и в калитку заходят Беген, Казбек и Гайни.

— О, вот и гости наши,— Коген встает и выходит из беседки, вслед за ним идут Социал и Токтар.

Все здороваются. Токтар с ухмылкой смотрит на Гайни, и девушка отводит глаза.

— Как здоровье, Беген?— интересуется Социал.— Как самочувствие? Тысячу лет тебя не видел!

— Ничего... скрипим помаленьку,— сдержанно отвечает Беген.

— Ну, все друг друга знают, так что надобности знакомить вас нет,— говорит Коген.— Ах, да,— спохватывается он.— Этого джигита зовут Токтар. Он у меня работает. Это мой племянник — Казбек. А сестричку зовут...

— Гайни,— говорит Казбек.

— Я пойду помогу тете Жанар,— говорит Гайни и уходит в дом.

— Молодец! Хозяйственная! — хвалит ее Коген и обращается к брату: — Беке, мы доиграем, если вы не против, ладно?

— Играйте, играйте,— рассеянно говорит Беген и уходит куда-то в глубь дома, разглядывая солидную его обстановку.

Троица вновь устроилась в беседке, а Казбек стоит поодаль и молча наблюдает за игрой. Токтар, знакомясь, подошел к нему, но Казбек почему-то уклонился от рукопожатия.

— Когда вернулся, айналайын? — Социал поворачивается к Казбеку.

— Месяц назад,— говорит Казбек.

— В институте будешь восстанавливаться?

— А примете обратно?

— Пусть отец сходит к ректору. Я тоже поддержу.

— А что, без блата уже нельзя жить? — резко спрашивает Казбек.

— Ну знаешь ли! — ухмыляется Коген.— Ребенка не накормят, если он сам не попросит. Социал, не отвлекайся. Раз!

— Сейчас не ваша очередь. Сейчас Саке объявляет,— останавливает его Токтар.

— Разве? Прошу прощения,— говорит Коген.

— Я — пас,— Социал бросает карты.

— Два,— говорит Токтар.

— Два здесь,— бодрится Коген.

— Три,— не поддается Токтар.

— Чего ты на меня равняешься? — Когена начинает раздражать настырность подчиненного. — Семь первых.

— Пожалуйста, берите, — уступает Токтар, почувствовав перемену в настроении своего начальника.

— Так... подумать нужно, — Коген берет две карты, а Токтар, воспользовавшись этой паузой, пытается разговаривать с Казбеком.

— Ну и как там было, в тюрьме? Трудно, наверное? — он сочувственно смотрит на Казбека.

— Посиди, узнаешь. — Казбек круто поворачивается и уходит вслед за отцом.

— Ну и племянничек у вас, — покраснев, выдавливает из себя Токтар.

— А ты не суйся с ненужными расспросами. Он джигит! У нас в роду все такие гордые! — с насмешкой говорит Коген.

— Хороший мальчик был. Тюрьма, наверное, испортила, — меланхолично сообщает Социал.

Вдосталь нагулявшись по даче, к ним подходит Беген.

— Ну что, не идет карта? — обращается он к Социалу, встав за его спиной.

— Пока ничего не светит, — жалуется Социал.

— Слышал, ты докторскую написал? Когда у тебя защита? — спрашивает его Беген.

— На осень перенесли. Ничего, даст аллах, проскочим.

— Да, ты проскочишь. Ты везде проскочишь, — смиренно говорит Беген, и никто не замечает насмешки в его голосе.

— Коке, как она сюда попала? — шепотом спрашивает у Когена Токтар, показывая на Гайни, хлопчущую на кухне.

— А ты ее откуда знаешь? — удивляется Коген.

— Э-э, — кривится Токтар. — Разве есть в нашем городе красавица, которую я не знаю? Я всех хорошеньких девчонок к рукам прибрал, — подмигивает он.

— Трепись больше, — не верит Коген.

— Заяц трепаться не любит! И с этой мы немножко поиграли. Сначала в Ромео и Джульетту, а потом в кошки-мышки...

— Ты помнишь, чем у Ромео его любовные похождения кончились? — Коген мрачно глядит на Токтара, но тот продолжает беспечно:

— Помер. Так ведь это Ромео помер, а актер, который его играл, жив. У Гайни, знаете ли, есть одна особенность...— Он хотел было наклониться к Когену, но тот резко отталкивает его.

— Тише ты, расхвастался! Не дай бог этот... уголовник услышит...

— Плевать я на него хотел...— Токтар гордо вскидывает голову.

— Молчи, я тебе говорю! — в бешенстве шипит Коген.— Еще мне скандалов в доме не хватало. Так... Беру восемь.— Он кидает карты.— Все! Посчитаем!

— Пожалуйста, всех прошу к столу... Коген, приглашай гостей,— говорит вышедшая из дому Жанар.

— Сейчас, погоди,— нетерпеливо отвечает ей Коген, увлеченный подсчетами.

— Папа! — Казбек подходит к отцу и говорит вполголоса: — Папа, мы с Гайни, наверное, уйдем.

— Куда? Ты что такое говоришь? — теряется Беген.

— Не хочу я с этими... Не сердись на меня,— отворачивается Казбек.

— Да побудь хоть немного для приличия,— уговаривает его отец.— Пригласили ведь люди, неудобно...

— Ладно, только ради вас с мамой,— вздыхает Казбек и снова уходит в дом.

— Получается, один Токтар проиграл,— объявляет Коген, закончив подсчеты.— Нет, сэр, и вас коснулось лезвие бритвы,— обращается он к Социалу.— Так что гоните денежки, господа! И — все! Мойте руки, идем обедать. Беке, простите, что мы вас ждать заставили.

— Да нет, ничего. Я отдыхаю. Славная у тебя дача, давно я здесь не был,— говорит Беген.

— Дворец! Докторскую защитим, надо будет и мне что-нибудь в подобном роде придумать,— хвастается Социал.

— Очередная цель жизни? — спрашивает его Беген.

— Покупай готовую,— советует Социалу Коген.— Не связывайся ты с этим строительством — все жилы из тебя вытянет.

— Да, конечно,— соглашается Социал.— Буду готовую присматривать. А что мне? Жена кандидатскую защитила, у меня дело к докторской идет. Теперь заживем!.. А что твоя жена не защищается? — спрашивает он Когена.— Для этого у нее ума достаточно... да и красоты,— подмигивает он.

— Посмотрим, не всем же учеными быть,— почему-то обидевшись, хмуро отвечает Коген.

Коген и Беген направляются в дом, а Токтар с Социалом слегка отстали.

Токтар сует в карман Социалу пачку денег и говорит шепотом:

— Это — аванс. Остальное — как договорились.

— Добро! — Социал хлопает Токтара по плечу...

...Обед закончился. Гости разбрелись по даче. Коген в беседке громко распевает какую-то песню. За столом остались лишь Социал и Беген.

— Это ведь жизнь, Беген,— наставляет сверстника изрядно подвыпивший Социал.— Пока есть возможность, пока пускают, надо лезть вверх... Бог даст, стану я доктором наук, вот тогда я им покажу.

— Кому это «им»? — спрашивает Беген, но Социал не слушает его:

— Помяни мое слово, я еще и академиком буду. Вот давай посмотрим — через пять лет я стану ак-а-де-ми-ком! А жене докторскую сделаю. Вах, все это ерунда. Мне ничего не стоит это устроить, вот увидишь — всего, чего хочу, добьюсь!

— Добьешься, ты добьешься,— успокаивает Беген не в меру расходившегося хвастуна.

Социал толкает его в плечо:

— Эй, Беген! Беген! Ты не знаешь мою жену! Вот такая она у меня! — Он показывает большой палец.— Днем гуляю, ночью гуляю, пьяный приду — слова не скажет, спать уложит, ботинки снимет. Ласково снимет. Подчеркиваю: ласково! Грубо-то всякая снять может, а она — ласково. Зато утром как начнет меня честить! И правильно, за дело! Молодец! Умница у меня жена! Я ей докторскую сделаю! Обязательно сделаю!.. Эй, Беген.— Он снова толкает его.— Как так получилось, что мы потеряли друг друга в этой жизни? Мы же с тобой были друзьями, мы же с тобой земляки, Беген, мы ж с тобой детство вместе провели...

— В одном озере купались. Да-а,— вспоминает Беген. Социал растроганно смотрит на него:

— Люблю я тебя, Беген. Ты мой друг, и, по совести сказать, не нравится мне, что ты по земле растяпой ходишь. Да неужели ты не понимаешь, что сейчас — самое время защищаться? Что сейчас все защищаются. А у тебя, слава

богу, и ума, и таланта для этого достаточно. Хочешь, я тебе помогу? Защитишься, человеком станешь...

— Да что ты все — защищаться да защищаться! — вскипает молчаливый Беген. — Такое впечатление, что на вас на всех нападают, а вы все защищаетесь да защищаетесь... Наукой бы занимались, вместо того чтобы вот так... воевать...

Социал долго смотрит на него, и его лицо расплывается в пьяной ухмылке:

— А тебе палец в рот не клади! Ишь, сердитый какой! Ну, не сердчай, не сердчай. Садись, давай еще поговорим!..

В беседке устроились Коген и Токтар.

— Окосел ваш Социал, — тихо говорит Токтар.

— Ну и черт с ним. Тебе-то что? — удивляется Коген.

— Не наколол бы он нас. Денег-то мы ему сыпанули, а вдруг надует? — Токтар с сомнением глядит на Когена.

— С каких пор ты перестал мне верить? — сердито спрашивает Коген.

— Я вам верю, я верю вам, — теряется Токтар.

— Тогда выбирай слова... А то — «наколол», «надует»... Еще не родился тот, кто может нас надуть. Вот так-то!..

— Виноват, исправлюсь, — говорит повеселевший Токтар и искоса поглядывает на Гайни. — Эх, потолковать бы с красавицей часок-другой, а? Напомнить бы ей кой о чем...

— Эй, да ты и вправду имел с ней дело? А я думал, ты врешь... — изумляется Коген.

— С каких пор вы перестали мне верить?

Коген рассмеялся:

— Молодец, возвратил мне удар! Но сегодня чтоб — ни-ни! Понял?

— Понял, — говорит Токтар.

— А раз понял, то пошли искупаемся. Душно, черт! — встает Коген.

— Это мысль. Пойду машину заведу, — соглашается Токтар.

— Зачем машина? Тут до речки рукой подать. Идем так, — говорит Коген.

Они выходят за калитку.

Гайни зашла в дом, чтобы помочь Асии убрать посуду. На скамейке возле дома остались Жанар и Казбек.

— Простите, но я так и не могу понять, почему вы с ним живете, — тихо говорит Казбек, продолжая разговор.

— Если бы тогда, давно, когда меня насильно привезли в ваш дом и я кричала: «Нет, не останусь, отпустите меня»,

если б тогда они отпустили меня, то сейчас вопрос «почему» не возник бы ни у тебя, ни у меня. Жаль, твоего отца не было дома, он бы меня защитил...— помолчав, отвечает Жанар.

— «Почему?» — это самый важный вопрос. Он возник еще до знаменитого «быть или не быть?». Мы сначала спрашиваем «почему?», а уж потом решаем, «быть или не быть». Ведь так? — спрашивает Казбек.

— Жизнь иногда все с ног на голову ставит,— роняет Жанар.

— Но ведь бороться нужно, хотя бы за себя бороться! — горячится Казбек.

— Бороться? А способны ли мы к самопожертвованию? Мне иногда кажется, мы все устали. И тот, кто разглагольствует о борьбе, зачастую на нее не способен,— размышляет Жанар.

— Ваш дом полон дорогих вещей! — Казбек вдруг перестал заботиться о том, чтобы не обидеть Жанар.— Ваш дом полон дорогих вещей, и вы превратились в одну из них. Коген вас напоказ выставляет, когда ему нужно, или прячет — далеко и надежно...

— Не надо, не надо об этом, Казбек! Ты — умный мальчик и все говоришь правильно. Но жизнь есть жизнь! Все! Идем в дом! — решительно поднимается Жанар.

— Я лучше здесь посижу,— угрюмо отвечает Казбек.

А за столом продолжается нескончаемый разговор Социала и Бегена. Раскрасневшийся Социал машет руками и брызжет слюной от возбуждения, и Беген еле сдерживается, чтобы не взорваться.

— Значит, по-твоему, я потерял себя?— спрашивает он.

— Да, я так считаю, но ты не обижайся на друга. Ведь это правда.

— Слушай, Социал, а что сделал для людей ты, ты, который нашел себя?

— Я? — смеется Социал.— Ты хочешь сравнить себя со мной? Я — кандидат наук, раз; автор трех брошюр, два; участник всесоюзного симпозиума — считай, три; так... выпустил монографию — четыре... закончил докторскую — пять; скоро защищаюсь — шесть... Считай, считай!..

— Сам считай! Ты, я вижу, хорошо научился пальцы загибать,— говорит Беген.

— Друзей у меня нет, вот беда. Слышишь, Беген, нету у меня друзей, одинок я. Завистники кругом, и некому меня чуток выше подтолкнуть. Иначе давно бы я и ректором, и академиком стал...— Социал тянет руку к бутылке, но Беген останавливает его:

— Хватит пить, ты пьян.

— Нет, я никогда не пьянею! — Социал вырывает бутылку и вновь наполняет стаканы.— Выпьем! Я хочу, чтобы ты защитился. За твою защиту!..

В комнату заходит Жанар, но они не замечают ее.

— Социал, ты когда-нибудь думал или нет, есть ли польза, хоть какая-нибудь польза, от твоих трудов, от твоей кандидатской, от твоей монографии? — спрашивает Беген.

Социал, от удивления чуть не поперхнувшись, пьяно глядит на Бегена:

— Ну, ты даешь! Темный вы народ! Конечно, есть.

— И ты всерьез веришь своим словам?

— Чудак! А как же! — ухмыляется Социал.

— Врешь! Хоть раз в жизни правду скажи! — не выдерживает Беген.

— Ты не ори, нечего мне в душу лезть. Видать, тоже мне завидуешь? Брался бы лучше за ум, пока не поздно,— покровительственно изрекает Социал.— Ты ведь помнишь МаксUTOва? Неделю назад он умер, и кем умер? Старшим преподавателем. Не кандидатом, не доктором, а старшим преподавателем. А какие знания у него были! Сколько раз ему предлагали защищаться! Нет же, все откладывал, откладывал, вот и дооткладывался.

— Ты был на его похоронах? — спрашивает Беген.

— Нет, не был. Я в командировку ездил, не успел,— почему-то насторожился Социал.

— А когда возвратился, ходил к нему на могилу?

— Успею, схожу, куда она теперь денется, эта могила,— цинично отвечает Социал.

— Эх ты, а ведь тянул из старика как мог. Он умер старшим преподавателем, а ты защищаешься; вон в академки собрался;— горько произносит Беген.

— И буду академиком! — упрямо твердит пьяный Социал.

— Ты будешь занимать чужое место,— жестко говорит Беген.— А человек, который смог бы принести науке в тысячу раз больше пользы, останется в стороне. Признайся, хотя бы перед духом старика,— ведь ты не имеешь морального права быть ученым. Какой ты доктор? Ты с грехом

пополам институт закончил, ну это ладно, но ведь и потом ты...

— Чего я потом? Чего это ты распетушился? — вскидывается Социал.

— С чужого стола крошки подбирал, вот что потом. Ведь своих-то идей у тебя никогда не было.

— Замолчи! — Социал сжал кулаки, но Беген даже не посмотрел на него:

— Память тебя действительно подводит. Я не хотел тебе напоминать, но сейчас скажу. Ты забыл, с чьей помощью защитил кандидатскую? Когда твоя кандидатская висела на волоске, ты помнишь, к кому ты пришел? Ты помнишь, кто тебе писал автореферат? Кто дополнил, дописал твою диссертацию?..

— Ладно, оставим все это, зачем прошлое ворошить. Погорячились малость, и хватит, — примирительно говорит Социал.

— Нет, ты помнишь? — настаивает Беген.

— Ну, помню, — угрюмо отвечает Социал, избегая глядеть ему в глаза.

— Ты после защиты встал на колени, плакал и говорил мне: «Я твой должник на всю жизнь, я всем тебе обязан». Помнишь или забыл? Тогда ты расхваливал Асию, верещал, что нет на земле более доброй и умной женщины, а сейчас дурочкой ее считаешь?

— Ну, я ж тебе говорю, зачем прошлое ворошить?.. Ну, успокойся... Я знаю, что виноват перед тобой, что мне надо было помочь тебе... потом... — бормочет Социал.

— Да не в этом дело, ничего ты не понял! — устало говорит Беген.

— Ты прав, виноват я перед тобой. Но выслушай ты меня, выслушай хоть раз, — лепечет Социал.

— Вот те на! А кого же я весь вечер слушаю? — удивляется Беген.

— Не в том дело! — Социал машет рукой. — Беген, я тебе уже говорил, у меня нет верных друзей. Нет никого, с кем бы я мог говорить по душам. Ты прав, многие мои работы... э-э-э... может быть, и не заслуживают столь высокой оценки, которую они получили. Но сейчас, я хочу сказать тебе по секрету, сейчас я заканчиваю работу поважнее докторской. Я стал совсем другим человеком... Никому не говорил, а тебе скажу. Я книгу написал. Называется она, но это пока не для распространения... — Он что-то шепчет на ухо Бегену.

Жанар, услышав название книги, вздрагивает.

— Да, это стоящая тема,— вынужден признать Беген и вдруг, точно что-то вспомнив, поворачивается к Социалу:— Но ведь и старик Максutow лет десять назад об этом же поговаривал?

— Видишь ли, именно что ПОГОВАРИВАЛ, но потом эту тему забросил. А я работал, упорно работал... И вот результат,— торжествует Социал.

— Да, ты прав,— помолчав, соглашается Беген.— Это— настоящий труд, труд всей твоей жизни. Поздравляю тебя! Искренне поздравляю! За это стоит выпить!

Они поднимают стаканы. К ним вплотную подходит Жанар.

— Социал, когда вы в последний раз были у Максutowа? — резко спрашивает она.

— Месяц назад, а то и больше. А в чем, собственно, дело? — не понимает Социал.

— В том, что наша медсестра видела вас в тот день, когда скончался Максutow. Вы вышли из его палаты.

— Ну и что? То есть что это я говорю? Я на свою память не жалуюсь. И к тому же я лишь два дня назад из командировки вернулся. У меня документы есть — билеты, квитанции. — хорохорится Социал, растерявшийся лишь на секунду.

— Сестра не ошиблась, она узнала вас...

— Это провокация! — кричит Социал.

— И не стыдно вам лгать в лицо, а еще мужчина! — презрительно говорит Жанар.

— Клянусь! Вот хлеб держу! Хлебом клянусь! Это был не я! — вопит Социал.

— Вы! — Жанар в упор смотрит на него.— Вы были у него и вы унесли его рукопись! Вы обокрали его!

— Да ты в своем уме? Разве я похож на подлеца? — Социал защищается из последних сил.

— Сами решайте, на кого вы похожи,— устало говорит Жанар.— Но знайте — я буду свидетельствовать против вас...

— Ты будешь свидетельствовать против меня? — растерявшийся было Социал целиком овладел собой.— А что ты будешь свидетельствовать? Я к рукописи Максutowа не имею никакого отношения.

— Снова лжете,— не сдается Жанар.— Вы только что сказали дяде Бегену ее название. Так что решайте — или

вы возвращаете рукопись, или этим делом займется прокуратура.

Социал затравленно смотрит на нее, понимая, что он полностью разоблачен.

— А я-то, старый дурак, уши развесил! Тьфу, позор какой! — огорчается Беген.

— Ну что вы ко мне пристали! — плаксиво ноет Социал. — Ну, может, и был я в больнице. То есть не был, конечно, а рукопись мне сам Максutow передал. В общем, я ее отдам, мне чужого не надо... — Приосанившись, изрекает нравоучительно: — А людям, между прочим, доверять надо, запомните это!..

Жанар и Беген молча глядят на него, изумленные его наглостью, верткостью и способностью выскочить из любого затруднительного положения.

Громко лает собака. У скамейки стоит Токтар. Мимо него проходит Гайни, и он грубо хватает ее за руку.

— погоди, не спеша... Подождет он, твой любимый...

— Пусти, — чуть не плача говорит Гайни.

— А если не пущу? — издевается Токтар. — Совсем от рук отбилась. Забыла, что ли, как мы с тобой, а?..

Коген, стоящий поодаль, с любопытством наблюдает за этой сценой, и грязная ухмылка бродит по его лицу.

— Пусти же! — Гайни с силой отбивается от Токтара, но тот не выпускает ее.

— Завтра вечером приду к общежитию и вызову тебя. Попробуй только не выйти — всем про тебя расскажу, — шипит он.

Внезапно как из-под земли появляется Казбек и с силой бьет Токтара по руке.

— Уйди, пока беды не вышло, — стиснув зубы, говорит он.

— Тебе что, жить надоело? — Токтар, прищурившись и грозно выставив челюсть, надвигается на Казбека.

— Чтоб духу твоего здесь не было, подонок! — отталкивает его Казбек.

— Что, что? Повтори, как ты меня назвал? — нарывается Токтар.

— Что вы, милые, что вы, ребята, будет, пошумели, и хватит, — примирительно говорит Коген.

— Скажите ему, чтобы он убирался отсюда, а то я за себя не отвечаю, — просит Казбек Когена.

— А ты мне не угрожай, — вспыхив, говорит Коген. — Он, между прочим, мой гость, и ты — тоже.

— Гости! — презрительно усмехается Токтар. — Совсем обнаглел, уголовная шкура! Думаешь, испугался тебя?!

— На, получай! — Казбек бьет его в челюсть, и Токтар падает.

— Эй, ты что это себе позволяешь? Ты где находишься! Да я сейчас милицию вызову! — в гневе кричит Коген.

Казбек не обращает на его угрозы никакого внимания:

— Вызывай! Вы считаете меня уголовной шкурой? Да? А почему я попал в тюрьму? За что? Ну-ка скажи, Коген? Из-за какого подлеца я два с половиной года провел за решеткой? Кого я тогда защищал, а? — Он вдруг сильно бьет Когена.

— Казбек, родненький, ты что?.. — отступает тот.

— Я? Я ничего. Отвечай, из-за кого я сидел? Отвечай, я тебе говорю!

— Прости, Казбек, прости, милый! Хочешь, вот на колени перед тобой встану?.. Я виноват перед тобой. Ты тогда за меня вступился. За нас! Нас избивали, а ты нас защитил. Мы пьяные были...

— Я тебя спрашиваю, из-за кого я сидел?

— Из-за меня, из-за меня! — торопится Коген. — Я тогда скандал поднял, когда мы из ресторана вышли, а ты случайно шел мимо и заступился за нас. Спасибо тебе!

— Спасибо, говоришь? — недобро спрашивает Казбек.

— Спасибо! Выручил ты меня! Никому слова не сказал! На суде молчал! Спасибо тебе! Хочешь, я тебе денег дам?

— Почему ты не пошел к следователю и не рассказал, как было дело?

— Испугался. Прости меня, прости. Сколько хочешь денег, столько и дам.

— Почему не пришел ко мне на помощь? Я ведь один против шестерых остался?

— Струсил. Все от этой проклятой выпивки. Ты ведь и один с ними справился. Ты — здоровый. Ты тому рыжему руку сломал, я знаю.

— Что ты сказал, когда милиция меня задержала? Не меня, а нас с тобой вместе?

— Прости, прости, Казбек. Сколько денег надо?

— Отвечай, я тебя спрашиваю...

— Забыл, — хнычет Коген.

— Напомнить? — Казбек сжимает кулаки.

— Казбек! Прекрати! — Гайни в ужасе от этой сцены. Она пытается взять его за руку, но Казбек вырывается, и она опрометью бежит к дому.

— Сказал, что я ничего не знаю, из гостей иду. Я испугался, что меня тоже заберут,— потупясь, говорит Коген.

— Меня увезли в милицию, а ты на следующий день укатил в Крым. А этот тип был тогда среди твоей пьяной компании? — Казбек ткнул пальцем в Токтара.

— Был.. Ты прости нас, Казбек. А то люди увидят... Деньги хоть сейчас отдам. Чего между своими не бывает,— Коген тянет Токтара за брюки.— Вставай, щенок, на колени, проси прощенья. Видишь, я сам на колени становлюсь. Да вставай же, я тебе говорю! Зачем нам скандал!..

Из дома выбегают Жанар, Асия, Беген и Гайни.

— Что случилось? Что тут? — пугается Беген.

— Ты что это делаешь, бессовестный! — нападает Асия на Казбека.

И тот, как бы очнувшись, долго смотрит на родителей, на любимую девушку, на коленопреклоненных своих обидчиков.

— Простите меня. Все простите... — Он закрывает лицо руками и убегает. Гайни бежит за ним.

Токтар и Коген встают и молча стряхивают пыль с брюк.

— Да что случилось-то, объяснит кто-нибудь или нет? — сердится Беген.

— «Что, что!» В разбойники играли с твоим сыном, вот что! — злится Коген.

— Видишь, что он делает! Убьет он кого-нибудь, я тебе точно говорю!.. — набрасывается на Бегена Асия.

Но Беген, кажется, начинает что-то понимать.

— Ладно, хватит тебе,— останавливает он жену.— Пошли домой. До свидания. Спасибо вам за угощение.— Он кланяется Жанар и направляется к выходу.

— Спасибо, спасибо вам,— лепечет Асия и устремляется вслед за мужем.

— До свидания, простите нас,— чуть не плачет Жанар.

— Не за что. Это вы нас простите,— коротко отрезает Беген, и они уходят.

Токтар и Коген идут в дом и как ни в чем не бывало садятся за стол.

— Хотите, я ему устрою... хорошую жизнь? — заискивающе спрашивает Токтар.

— Помолчи уж лучше, джигит,— презрительно усмехается Коген.

Жанар стоит в задумчивости и печали. К ней подходит невесть откуда взявшийся Социал.

— Жанар,— заискивающе говорит он,— ты уж прости меня. Бес меня попутал, а рукопись я возвращу, ты не беспокойся...

Жанар непонимающе смотрит на него, и вдруг ее лицо загорается гневом.

— Ах, отстаньте вы все от меня!.. Пойдите прочь,— говорит она:

Вечер

Солнце уходит за горизонт, и деревья озарены багровым закатным светом. Шумит ручей. На мостике, свесив ноги, сидит Казбек. Гайни стоит, облокотившись на перила. В паузах между их разговорами слышно пение птиц. Вдали видны силуэты двух дач.

— Однажды в автобус зашел старик,— говорит Гайни.— Сел на заднее сиденье и вдруг заплакал. Я обернулась, да и все пассажиры смотрят, а он плачет, вздыхает. И ведь никто из нас к нему не подошел, никто не спросил, что случилось. Молчаливые, усталые, мы сидели на своих местах. В тот день я много думала об этом и никак не могла понять: если бы в автобусе, кроме меня и старика, никого не было, подошла бы я к нему или нет? Скорее всего, подошла. Так почему же я этого не сделала на людях? Постеснялась? Или подумала, что, не дай бог, он выпивши. Что это? Ложный стыд? Безразличие? Усталость? Бессилие или просто жестокость? Что это, Казбек? Как можно понять все это?

— А сама ты как считаешь? — помолчав, спрашивает Казбек.

— Мне кажется, я знаю, почему не подошла к нему, и догадываюсь, почему остальные так поступили. Потому что горе старика не тронуло наши сердца, его горе не стало нашим, мы намеренно отгородились от него...

— Не разделяем чужой радости,— вторит ей Казбек,— ибо она не наша. Не разделяем и чужого горя. Как говорится, сохрани аллах только меня, а на остальных — плевать...

— Но я мучаюсь, я думаю об этом,— возражает ему Гайни.— В следующий раз я так уже не сделаю.

— Я устал, Гайни. Устал от всего. Хочется куда-нибудь уйти. К тем высоким звездам, что чисто сияют в синем

небе. Узнать, есть ли там жизнь? Живут ли там люди? Хотя ученые говорят, что никто там не живет...

Гайни кладет голову на его плечо:

— Я люблю тебя, Казбек. Я люблю тебя и не стану спрашивать, любишь ли ты.

— А что бы ты хотела услышать — «да» или «нет»?

— Мне дорога твоя любовь, а не твой ответ...— Гайни встает и кусает губы.— Я... я должна была сказать тебе это. Сама сказать! Я несколько раз встречалась с одним парнем... Нет, я не любила его, это не было любовью... Но... но случилось непоправимое...— Она закрывает лицо ладонями.— Я... я изменила тебе...

— Гайни! — с болью шепчет Казбек.

— Нет, не тебе, я себе изменила. Растоптала себя... Боже ты мой!.. Вот ты говоришь, надо верить. Я ему тоже поверила, этому парню. Мы же люди, Казбек. Так почему мы бываем хуже зверей?.. Утром я пришла, чтобы рассказать тебе обо всем... Увидеть тебя хотела... Не могла не увидеть...

— Ты пришла, чтобы попросить прощения?

— Нет, Казбек, совесть выше пощады...

— Кто он? — спрашивает Казбек.

Гайни молчит.

— Кто? — повторяет Казбек.

Гайни отнимает ладони от лица:

— Ты и так наделал сегодня много глупостей. Я не хочу говорить, я боюсь за тебя...

— Этот парень — Токтар?..

— Да,— глухо отвечает Гайни.

Казбек встает и отходит в сторону. Они молчат, и в вечерней тишине слышны лишь голоса птиц и шум воды. Внезапно раздается песенка, мурлыканье пьяного человека. Вскоре появляется и сам певец. Это — Социал. Он останавливается у мостика.

— Черт! Куда автобусная остановка девалась? Тут, где-то рядом, должна быть,— ругается он и внезапно натывается на Казбека и Гайни.— А-а-а, Казбек! А это, кто это? — смотрит на Гайни.— А это — моя студентка. Правильно. Молодость. Любовь. Мечта. Правильно. Есть закурить?

— Пожалуйста,— Казбек протягивает ему пачку сигарет.

Социал закуривает и внезапно пускается в поучения.

— Будь самим собой,— наставляет он Казбека.— Самим собой, понял? Самим собой. Не подражай ни мне, ни своему отцу. Понял? Ты знаешь меня?

— Знаю,— отвечает Казбек.

— Молодец! А твой папаша не хочет знаться со мной. Ты передай ему, что я — умный человек. И еще скажи — пускай защитится, я серьезно говорю. Так и скажи ему...

— Идемте, я посажу вас на автобус,— говорит Казбек, которому надоели пьяные излияния Социала.

— Хорошо. Но — ступай вперед,— командует Социал.— Кто знает, может, ты меня сзади пристукнуть хочешь. Противников держу впереди.

— Вы меня считаете своим противником? — спрашивает Казбек.

— А черт тебя знает, кто ты такой,— простодушно объясняет Социал.— Вон, этих, одолел двух. А у меня друзей нет. У меня одни враги! Сволочи! Все сзади прицеливаются. И эти двое — тоже, правильно ты их отделал, плевать я хотел на их деньги! Я еще совесть не совсем потерял!

— Вы о чем это? — недоумевает Казбек, но Социал, хитро глянув на него, внезапно замолкает и снова мурлычет песню. Казбек крепко держит его под руку.

— Дай-ка огоньку,— просит Социал.— Ты меня, значит, знаешь?

— Знаю...

— Не знаешь ты меня, я тебе говорю. Меня никто не знает. Я сам себя не знаю. Ты понимаешь, кем я буду через три месяца? Как ты думаешь, стану я доктором наук? А? Док-то-ром! А как ты думаешь, буду я когда-нибудь академиком? А-а-к-к-к-а-дем-и-ко-оо-м? — еле выговаривает Социал.

— Так пить будете, никогда не станете,— говорит Казбек.

— Молод ты меня еще учить,— обижается Социал.— У тебя выпить есть?

— Нет.

— Ладно. Тогда — убери руки, я и сам куда мне нужно дойду... — И вдруг, непонятно для чего, заявляет: — А рукопись я отдам. Не вышло, значит, нужно отдавать, сорвалась рыбка, сорвалась золотая рыбка...

Уходит. Казбек садится рядом с Гайни, и они снова надолго замолкают. И снова лишь пение птиц и шум ручья нарушают эту томительную тишину.

— Я пойду. Я все тебе сказала,— внезапно встает Гайни.

— Подожди,— останавливает ее Казбек.— Ты знаешь, я не виню тебя, я себя виню, ведь я не писал тебе...

— Замолчи, прошу тебя, не говори ничего, не подыскивай мне оправдания,— кончиками пальцев она касается губ Казбека.— Не надо, не надо!..

Они снова молчат, и снова — пенье птиц, шум ручья...

— Теперь нам остается одно — думать. Молча думать,— говорит наконец Казбек.

— Да,— тихо роняет Гайни.

— Только о чем?— мучительно спрашивает Казбек.

— Обо всем,— помедлив, отвечает Гайни.— Обо всем, что с нами случилось. Я хочу начать все заново, я хочу заслужить твою любовь...

— Я... я завтра уезжаю, Гайни,— решается наконец Казбек после длительного молчания.

Гайни при этих словах съежилась, как от удара.

— Дай мне сигарету,— просит она.

— Не надо,— твердо говорит Казбек.— Слабость даже женщин не украшает. Выше голову!.. А теперь — улыбнись, улыбнись мне, милая...

— Не выйдет у меня улыбка,— грустно качает головой Гайни.

— Нет,— повелительно говорит Казбек.— Улыбнись и пойми, что я решил уехать гораздо раньше, чем ты мне сказала о себе. И я решил это твердо. Я стал совсем другим человеком и хочу, чтобы все поняли это. Институт от меня никуда не убежит. А пока я буду работать. Поеду на ГЭС, там рабочие руки ой как нужны, а я как-никак специальность каменщика имею. И бетонщиком могу работать...

Гайни грустно качает головой.

— И я... я буду думать о тебе и хочу, чтобы ты тоже думала обо мне,— признается Казбек.

— Ты напишешь мне? — спрашивает Гайни сквозь подступившие слезы.

— Обязательно. Мы будем с тобой переписываться. Потом мы встретимся. У нас еще все будет хорошо,— говорит Казбек.

Они долго смотрят друг на друга.

— А я думала, что никому нельзя верить. Никому. Нет в жизни чистоты, правды, нет любви. Все мы — несчаст-

ные актеры великого театра, называемого Жизнью, думала я...

— Видеть все в черном свете, не верить ничему на свете — легко. Просто и удобно...

— Я все понимаю, Казбек. Прощай, любимый мой!..

— До свидания, Гайни.

Гайни уходит, опустив голову, но вдруг, стремительно обернувшись, бежит к Казбеку.

— Если бы ты мог забыть, Казбек! — шепчет она. — Как бы я хотела, чтоб у нас все началось сначала... Береги себя, милый мой!..

Вечер

(продолжение)

Коген и Токтар стоят во дворе дачи и продолжают выяснять отношения. Жанар, положив голову на крышку пианино, застыла в молчании.

— Простите, Коке, — хнычет Токтар. — Разве я знал, что все так обернется...

— Идиот! — злобно ругается Коген. — Ни толком пить, ни толком жить не умеешь. Распустил лапы, а я из-за тебя на коленях стой? Пошел вон отсюда!..

— Ну, простите, пожалуйста, виноват я, виноват... — ноет Токтар.

— Я уже сказал тебе, убирайся! Ты что, оглох? Завтра будешь извиняться, а сейчас пошел вон с глаз моих...

Выталкивает Токтара за калитку.

Долго лает собака, слышен звук мотора. Токтар уезжает.

А Коген заходит в дом и внезапно останавливается: Жанар с ненавистью смотрит на него.

— Позор, какой позор, — повторяет она.

— Позор? Какого черта — позор? Совсем с ума сошла! — Он поднимается наверх, меняет рубашку и бормочет в окно: — Ишь ты, позор! Я тебе покажу, что такое позор...

— Вот, оказывается, кто сделал Казбека таким, каким он стал, — вслух размышляет Жанар.

— Что? Что ты там лепечешь? — кричит сверху Коген.

— Стыд и срам, я говорю! — громко отвечает ему Жанар.

— Ох, какая ты у нас стыдливая, какая ты у нас поря-

дочная! — Коген издевательски выделил это слово.— Может, расскажешь мне, как бегаешь к своему идиоту-любовнику?

— Он мне не любовник,— говорит Жанар.

— А кто он тебе?

— Для меня он — настоящий человек, не то что ты,— вспыхивает Жанар.

— У тебя глаза жиром заплыли,— дразнит ее Коген.— «Настоящий человек, настоящий человек...» Тьфу!.. Если еще раз услышу, что ты с ним встречалась, обоих зарежу...

— Кто — ты? — зло хохочет Жанар.— Если бы ты был способен на это, ты бы не был Когеном!..

— А ну, замолкни! Разговорилась, понимаешь! — Коген закуривает и уходит в глубь комнаты.

— Я тебя никогда... никогда не забуду...— Жанар достает маленькую фотографию и смотрит на нее.— Это выше моих сил, и я все еще люблю тебя. Иногда мы случайно встретимся на улице, кивнем друг другу, постоим минут-другую, поговорим о всяких мелочах. Я тараторю, тараторю, и кажется, стоит мне замолчать, ты уйдешь и тебя не будет. А мне так хочется быть рядом с тобой, вот я и говорю без умолку. У тебя печальные, тоскливые глаза, и ты словно умоляешь меня: «Отпусти, не мучай меня, Жанар, отпусти, все, прощай!» Но я несчастнее тебя, потому что не смогла вырваться, не нашла силы остаться с тобой. И если я все еще живу, то лишь благодаря твоему мужеству, твоей человечности, я живу благодаря тебе. Это ты сказал мне: «Неправда, что жизнь состоит из одних жестокостей, страданий и печали». Ты сказал, и я поверила тебе. Откуда ты взялся на земле? Откуда? Живет же на земле свет мой, человек, чистая душа...

Коген спускается вниз по лестнице.

— До сих пор не могу понять,— презрительно усмехается он.— Чем же этот лопух тебя купил?

— Тебе этого не понять. Отчисти сначала брюки на коленях,— говорит ему Жанар.

— Ты почишишь! Ты! — краснеет от злости Коген.— Разговорилась, понимаешь...

— А ты думал, я вечно буду молчать? Хватит. Ты насильно привез меня и обесчестил, а он наутро пришел за мной. Вы все бросились на него, избили по-зверски, негодяи. У него до сих пор на лице шрамы от встречи с вами, банда грязных скотов. Ты хотел поставить его на колени,

чтобы он просил пощады у тебя и твоих дружков. Меня вы заперли, заткнув мне рот, чтобы я не кричала, ты не забыл это? Он не встал на колени. Вам не удалось сломить его. Он плюнул тебе в лицо, ты помнишь это? И вы снова били его. На нем места живого не было. Стоило ему тогда пойти в милицию, вас бы тут же всех арестовали. Но он не сделал этого. Он думал обо мне. Он уехал. Он проиграл. Но он не встал на колени. Для него это было смертью. А тебе все равно... Ты делаешь подлости, а потом валяешься в ногах. Я казню себя за слабость, мне нужно было в тот же день убежать от тебя, что бы потом обо мне ни говорили...

— Ах ты, дрянь! — замахивается Коген, но Жанар властно останавливает его:

— Прочь руки!..

Коген так и не решается ударить ее: рука его повисла в воздухе, и сам он обмяк, растерялся. Он чувствует, что Жанар навсегда избавилась от его власти, и это бесит его, но он уже не в силах противодействовать ее освобождению.

— Пойми, мы живем в маленьком городе,— бормочет он.— Стоит в одном его конце запеть, в другом уже знают, что это за песня... Собаки!..— снова взрывается он.

— Пусть знают,— спокойно говорит Жанар.

— Разве я только о себе забочусь? — с болью говорит Коген.— Ты вспомни, кем мы были десять лет назад? А сейчас у нас не дом, а полная чаша. Нам люди завидуют...

— Завидуют? Чему завидовать? — восклицает Жанар.

— Нам. Нашему достатку. Я ведь ради семьи, ради тебя, ради детей. Может, скоро в столицу переедем, там нас никто не знает. Хорошую должность мне там обещает один человек. Продадим и дачу эту, гори она огнем, переедем, и все у нас пойдет по-иному...

— Хорошую должность нужно доверять хорошему человеку,— жестко говорит Жанар.— Не пойдет у нас по-иному. Я уйду от тебя. Заберу детей и уйду. И алименты твои мне не нужны. Ничего-ничего мне от тебя не нужно.

— Что с тобой, Жанартай? — испуганно подсказывает Коген.— Какая муха тебя укусила? Меня же из партии исключат, в должности понизят. Зачем тебе все это? Успокойся, милая. Все образуется.

— «Милая!» — горько повторяет Жанар.

— И если ты хочешь встречаться со своим... как его там назвать... другом, то я не против...

— Если бы он меня позвал, только слово сказал. Но он никогда не скажет этого слова. Да и зачем я ему? Все кончено. Он недосягаем для меня, как и счастье, навеки потерянное... — шепчет Жанар.

Коген не слушает ее.

— Я не против, но в разумных пределах, конечно. Встречайтесь, но так, чтобы люди не заметили. А потом в столицу переедем, — он искательно заглядывает ей в глаза. — Только не надо разводиться, милая. Ладно?

— Я никуда с тобой не поеду, — решительно говорит Жанар и опускается в кресло. Плечи ее сотрясаются от беззвучных рыданий.

Ночь

Дача Бегена. В доме — Беген и Асия. Во дворе на раскладушке лежит Казбек. По небу ползут густые серые облака, и звезд почти не видно.

— Дождь, что ли, собирается — вот и последние звезды скрылись, — сам себе говорит Казбек.

— Иди побеседуй с ним, — толкает Бегена Асия, услышавшая голос сына.

— О чем? — спрашивает Беген.

— Как так — о чем? — удивляется Асия. — Разве ты не видел, как он на людей бросается?

— Этих так называемых людей пушкой не прошибешь, — бормочет Беген.

— Ты что, пьян? Я тебе сказала: поговори с сыном! — сердится Асия.

— Тебе самой надо за дело взяться. Ты у нас мастерица языком чесать, — огрызается Беген.

— Отец ты ему или нет? Он тебе сын родной!

— Тебе сколько раз повторять — пока не время с ним говорить. Он к этому не готов. Да и я, по совести сказать, тоже... — терпеливо объясняет Беген — Душа у него рана, это ты понимаешь?

— О, горе ты мое луковое! — восклицает Асия. — Что же нам теперь делать? Что?

— Асия, сейчас не разговор важен, а отношение к парню. Для разговора слова нужны весомые, чтоб они и до

разума и до сердца доходили. А таких слов у меня пока нет, к сожалению.

— И долго нам ждать, пока ты родишь эти слова?

— Жди. Тебя губит твое нетерпение! — коротко бросает Беген.

Он встает и выходит во двор. Долго смотрит на небо. Подходит к Казбеку и молча опускается на раскладушку.

— Папа? — Казбек поднимает голову.

— Да, это я, сынок, — говорит Беген.

Они молчат, словно бы слушая музыку.

И вправду играет музыка. Звуки органа. Токката Баха. Это неожиданно заговорил единственный на весь дачный поселок радиодинамик.

— Казбек, дай сигарету, — просит Беген.

Казбек протягивает ему пачку и чиркает зажигалкой.

— Папа, ты помнишь Ригу? — вдруг говорит он. — Была такая же теплая летняя ночь. Дождик моросил. Мы шли по мокрой брусчатке, и вдруг послышалась музыка. Органист играл Баха. Ты взял меня за руку и сказал: «Слушай». И другие прохожие остановились, а орган все играл и играл. Я не понимал тогда, какая сила заставила людей мокнуть под дождем. Да по совести сказать, и сейчас не совсем понимаю. Но ты сказал тогда: «Бах лечит раны». Помнишь?

— Ты, оказывается, не забыл мои слова. Спасибо... — медленно говорит Беген.

— Не стою я твоей благодарности, папа...

— Сын, который не заслужил похвалы отца своего, плохой сын. А ты — хороший...

— Хороший?

— Да, хороший. И... не переживай... — Он ласково хлопает сына по плечу.

— Папа, я хочу посоветоваться с тобой, — начал было Казбек.

— Я тоже хочу с тобой посоветоваться, — перебивает его Беген. — Скажи, ты помнишь МаксUTOва?

— Помню, — Казбек кивает головой. — Я еще мальчишкой был, когда ты меня водил к нему. Я помню, у него все стены в книгах. Ни у кого я не видел столько книг.

— Он недавно умер, — говорит Беген. — Он умер, и я все время думаю о нем. И не могу понять, почему этот

мудрец так и не раскрылся перед людьми. Мне так больно за него становится...

— Ты боишься, что повторишь его путь? — осторожно спрашивает Казбек.

Беген с удивлением глядит на сына. Встает. Ходит. Думает. Вдали слышны раскаты грома...

— Неужели я должен избрать дорогу Социала? Или стать копией Когена? — скорее самому себе, чем Казбеку, говорит Беген.

— Папа! Человек хочет быть счастливым. Счастья все ждут. Но люди должны готовиться к смерти так же свято, как мать природа готовилась, когда хотела подарить им жизнь,— рассуждает Казбек.

— Возможно, ты и прав,— соглашается Беген.— Но коротка жизнь, отпущенная человеку, и в этой короткой, как молния, жизни мы допускаем непоправимые ошибки, а исправить их уже нет времени. Об этом думает человек в час смерти, и остается ему только одно — раскаяние.

— Какая польза слепому от того, что другие зрячие? — напряженно спрашивает Казбек.

— И зрячий иногда думает, что он ослеп. Вот так-то, сынок,— тихо отвечает Беген.

Они молчат. На горизонте несколько раз вспыхивает молния, и снова слышны отдаленные раскаты грома.

— Папа, мне кажется, что эта дача мало приносит тебе радости,— говорит Казбек.

— Почему? Я на даче отдыхаю. Хорошо отдыхаю,— неуверенно возражает Беген.

— Я уже месяц дома и все вижу,— Казбек качает головой.— Прости, папа, но мне кажется, ты стал совсем другим человеком. Ничего не пишешь, ничего не читаешь. Газеты, журналы и те лежат почти нетронутыми. Почему? Что с тобой случилось?..

— Что случилось? Мне трудно объяснить тебе это. Потом сам поймешь. Жизнь научит...

— Возможно, это и так,— соглашается Казбек.— Но я не понимаю — ведь это бегство. Ты бежишь. От себя бежишь.

— Все поймешь. Потом поймешь,— Беген делает паузу.— Поймешь и то, что, не было б этой дачи, я бы умер с тоски.

— Почему? Ведь раньше у тебя минутки свободной не было.

— Вот и схватил я инфаркт. А лопата, земля, вода — это чудо. Только это мне и помогает...

— Хорошо. У тебя сидячая работа, и тебе, допустим, необходимо побыть, поработать на свежем воздухе. Но ты же всегда гордился тем, что ты — педагог.

— Я и сейчас этим горжусь! — Беген вскидывает голову.

— Ты можешь потерять моральное право учить детей, — жестко говорит Казбек. — Чему ты можешь их научить, если кругом кипит жизнь, а ты лежишь на диване и смотришь в потолок?

— Почему это я лежу на диване? — по-детски обижается Беген. — Ты же видишь, я с утра на ногах. Копаю, поливаю.

— Не сердись на меня за резкость, — говорит Казбек, — но мне кажется, это примерно одно и то же.

— Да, возможно, ты и прав, — вздыхает Беген. — Прав! Нужно смотреть правде в глаза...

— Только не сердись на меня... — пугается Казбек.

— Нет, нет, — успокаивает его Беген. — Выкладывай, говори все, что думаешь. Но и я тебе скажу: понимаешь ли, какая штука, иногда мне хочется побыть наедине с самим собой, забыть обо всем на свете. Мне кажется, я здесь отдыхаю...

— Нет, ты тут не отдыхаешь и сам знаешь это не хуже меня. Ты растерялся и нашел здесь убежище. Окопался... Но я знаю тебя, ты долго так не выдержишь... Или... или погубишь себя...

Они снова молчат. Казбек не хочет и дальше тревожить отца, но ему так хочется высказаться.

— Ты не совсем прав, — внезапно говорит Беген. — Я давно собирался рассказать тебе о том, что здесь, вот именно здесь, на даче, в тишине и покое мне пришла в голову одна интересная тема. И я в ближайшие дни начинаю работать над большой статьей... Так что... не совсем уж я... как ты говоришь, растерялся, — усмехается он.

Казбек порывисто обнимает отца.

— Знал бы ты, как я рад за тебя, папа! Папа, не стей! Ты ведь у меня еще молодой!..

Долго стоят отец и сын, положив руки на плечи друг другу. Вновь загредел гром, вновь сверкают молнии. И вдруг заморосил мелкий теплый дождь, но они как будто и не замечают всего этого: отец понял сына, сын — отца. Наконец-то они поняли друг друга!..

Рассвет

Ночной дождь омыл листву, и она весело поблескивает в лучах восходящего солнца. Снова щебечут птицы в рассветной тиши. Отец и сын стоят, опираясь на лопаты.

— А здесь мы цветы посадим,— Беген показывает на открытое место.

Казбек улыбается:

— А вчера ты хотел посадить помидоры...

— В Древнем Риме жила одна странная старушка,— начинает Беген.— Она выращивала возле своего маленького домика цветы. Цветы и только цветы...

— И она не продавала их, а дарила прохожим,— подхватывает Казбек.

— Откуда ты знаешь? — удивляется Беген.

— Ты мне сам об этом рассказывал. Давно...— смеется Казбек.

— Да, о многом ты заставил меня сегодня вспомнить,— задумчиво говорит Беген.

— Прости меня, если я тебя обидел. Прости...— просит Казбек.

— Ничего, ничего,— смеется Беген.— Иногда и холодный душ бывает полезен...

— Папа, так я вновь возвращаюсь к нашему разговору,— помолчав, говорит Казбек.— Ты поддерживаешь мое решение?

— Поддерживаю, если ты все хорошенько обдумал...

— Я хочу все начать сначала,— твердо заявляет Казбек.

— Ну что я могу тебе сказать? — в раздумье произносит Беген.— Ты уж и сам взрослый. Может быть, все-таки подумаешь еще? — Он заглядывает сыну в глаза.— Может, все-таки сходить мне к ректору?

— Нет,— Казбек качает головой.— Нет...

— Ну, нет так нет,— решает Беген.

— А маме ты сам все объясни. Я не хочу ее расстраивать лишними разговорами. Договорились?..

— Договорились, договорились,— повторяет Беген.

Казбек на цыпочках идет в дом и возвращается оттуда с туго набитой спортивной сумкой. Беген внимательно смотрит на него. Слышен писк птенца.

— Ах, вот ты куда сирятался, маленький! — Казбек бе-

рет птенца в руки.— Прощай, мой птенчик, прощай! Я уезжаю. Ты побудешь здесь, пока не окрепнешь. И не бойся—здесь живут хорошие люди, и тебя никто не обидит. Никто. Ну, я пошел. Пожелаем друг другу здоровья и благополучия... И счастья — тоже. Не забывай меня. Я тоже тебя не забуду. Прощай, птенчик мой!..

Он подходит к Бегену.

— До свидания, отец,— тихо говорит он.

— До свидания, Казбек,— Беген еле сдерживает слезы.— Ты прав, сынок. Я чуть было не стал жертвой собственного бессилия. И ты прав, что сейчас уходишь. Мне горько, но ты прав.

Казбек открывает калитку и идет по дороге. Несколько раз оборачивается и машет отцу рукой. Сгорбившийся, внезапно постаревший, Беген стоит у калитки и провожает его взглядом до тех пор, пока сын не скрывается за поворотом.

— Ты уходишь, но уйти от самого себя невозможно,— шепчет Беген.— Я тебя понимаю. И верю, что ты станешь хорошим человеком. Но только не будь одиноким. Одинокий не достигнет цели. Пусть рядом с тобой всегда будут настоящие друзья. Одинокий не достигнет цели...

А день все разгорается и разгорается. Дачный поселок погрузился в свои дневные, будничные заботы.

Мы видим Бегена, поливающего цветы. Из дома выходит Асия. Беген заводит мотор, и Асия сердито машет рукой.

Идет важный Коген, размахивая портфелем. В окно глядит грустная Жанар. В белой сорочке и при галстукке торопится куда-то чинно-опрятный Социал. Бежит Гайни. Играя ключом от машины, проходит усмехающийся Токтар.

На секунду все они застывают и тревожно глядят на нас.

А день все разгорается и разгорается. Нарастает шум машин, звук голосов — каждодневное, привычное, знакомое кипение жизни...

Обыкновенные люди. Обыкновенная жизнь. Обыкновенная — спокойная и тревожная жизнь матушки-земли.

СВЕТ НА СЦЕНУ¹

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Театр. Зрительный зал пуст. Сцена.

Старый Кайдар, бывший грузчик мясокомбината, затем пенсионер, а с недавних пор еще и рабочий сцены, устанавливает декорации, таскает столы, стулья... Заметим, что делает он свое дело не только аккуратно и скрупулезно, но и с явным удовольствием.

Придирчиво оглядев декорации, старик уходит в боковую кулису и, примостившись на краешке роскошной бутафорской кровати, блаженно расслабляется, достает сигареты. Но тут же, как будто вспомнив что-то важное, быстро прячет сигареты в карман.

— Они сказали, что первая заповедь для театрального работника — никогда не курить на сцене и за кулисами. А я с сегодняшнего дня — театральный работник. Театральный работник! — громко и отдельно произносит он.

— А-а-а! — вдруг слышит он приглушенный вопль и вскакивает как ошпаренный.

На него изумленно смотрит человек, который, как выяснилось, лежал на этой кровати, прикрывшись одеялом. Мы узнаем в нем заслуженного артиста Куата.

— Ты что кричишь? — мирно спрашивает старик.

— А ты кто такой? — вода спросонок головой, задает ему вопрос Куат.

— Я — рабочий сцены. А ты почему кричишь?

— Задремал... И не я кричу, а ты. Раскричался, понимаешь... Разбудил меня, а я такой сон видел, — укоризненно говорит Куат.

— Все равно тебе пора вставать. Репетиция начинается, — утешает его Кайдар.

На сцену поднимаются актеры театра, вызванные на репетицию пьесы Дюрренмата «Великий Ромул», идущей в этом театре на казахском языке в переводе заведующего литературной частью молодого писателя Арыстана. Мы узнаем среди актеров: аксакала, народного артиста Атаная, заслуженных артистов Салмена, Тарпана, Малике, уже упомянутого Куата. Участвуют в репетиции и просто ак-

¹ В повести использованы отрывки из пьес «Великий Ромул» Ф. Дюрренмата, «Отелло» В. Шекспира, «Абай» и «Енлик и Кебек» М. Ауэзова. (Переводы Н. Оттена, Б. Пастернака, В. Шкловского.)

теры, пока еще не отягченные званиями и наградами — Онтай, Асия, юные выпускники театрального училища — красавица Куляш и длинноволосый Ултуган.

Завлит Арыстан проходит через сцену и, оглядев собравшихся острым, испытующим взглядом, спускается в зал, чтобы занять свое место рядом с главным режиссером.

Перед ними маленький столик с зеленой лампой. Микрофон. Пепельница. Графин с водой.

Гаснет верхний свет, и репетиция начинается.

Радиоголос. Вторая половина мартовского дня четверста семьдесят шестого года. Загородная вилла и сад императора. На стенах мелом написаны такие слова: «Да здравствует крепостное право! Да здравствует свобода!»

На сцене министр внутренних дел Италии Тулий Ротунд, которого играет Тарпан, Эмилиан (проснувшийся Куат), Цезарь Рупф (Салмен, актер по-своему замечательный, но иногда слишком уж хорошо знающий это).

Тарпан (то есть Тулий Ротунд). Одоакр согласился очистить Италию за десять миллионов. А этот тип, фабрикант штанов (*указывает на Цезаря Рупфа, Салмена, застывшего в гордой и, пожалуй, чуть-чуть «театральной» позе*), этот тип готов их заплатить.

Куат (Эмилиан). На каких условиях?

Тарпан. Он хочет жениться на принцессе Рее.

Куат. Позовите принцессу...

Тарпан. Вы полагаете...

Куат. И соберите придворных.

В дверях появляются Рея, Зенон, Марес и стража.

Асия (Рея). Ты звал меня, Эмилиан?

Куат. Да, я тебя звал. Иди сюда...

Рея медленно подходит к Эмилиану.

Ты ждала меня три года, дочь императора?

Асия. Три года. День за днем, час за часом.

Куат. Ты меня любишь?

Асия. Я люблю тебя.

Куат. Всей душой?

Асия. Всей душой.

Куат. Ты сделаешь все, что я скажу?

Асия. Все.

Куат. И возьмешь нож, если я скажу?

Асия. Возьму, если хочешь.

Куат. Так велика твоя любовь, дочь императора?

А с и я. Моя любовь к тебе безгранична. Я не узнаю тебя, но я люблю тебя. Я боюсь тебя, но я люблю тебя.

К у а т. Тогда бери в мужья этого роскошного шароподобного пузана и рожай ему детей!... (Указывает на Цезаря Рупфа.)

Общий ропот изумления.

О н т а й (он играет Зенона). Наконец-то у нас, на Западе, нашелся хоть один разумный человек!..

Т а р п а н (Тулий Ротунд). Принеси нашей любимой родине эту жертву, девочка!..

Все с надеждой смотрят на Рею.

А с и я (Рея). Я должна с тобой расстаться?

К у а т (Эмилиан). Ты должна со мной расстаться.

А с и я. Я должна полюбить другого?

К у а т. Ты должна полюбить того, кто спасет твою родину.

А с и я. Но я люблю тебя!

К у а т. Вот я и жертвую тобой, чтобы Рим не погиб.

А с и я. Ты хочешь опозорить меня, как опозорен сам?

К у а т. Мы должны подчиниться необходимости. Наш позор укрепит Италию, в нашем паденье она обретет новые силы.

А с и я. Если ты меня любишь, ты не можешь от меня этого требовать.

К у а т. Я могу требовать это только от тебя, потому что ты меня любишь.

Пауза.

Ты сделаешь, как я сказал, дочь императора. Твоя любовь безмерна.

А с и я. Я сделаю, как ты сказал.

К у а т. Ты станешь его женой.

А с и я. Я стану его женой.

К у а т. Поддай же руку этому прочно стоящему на земле фабриканту штанов.

Асия — Рея повинуется.

Ну, Цезарь Рупф, теперь ты получил руку единственной дочери императора:

Цезарь Рупф растреган.

С а л м е н (Цезарь Рупф). Принцесса, поверьте: мои слезы чисты, как золото самой высокой пробы. Благодаря нашему союзу международная фирма штанов достигнет такого уровня, какого наша промышленность еще не видела.

Д л и н н о в о л о с ы й У л т у г а н (Марес). Империя спасена!

Т а р п а н (Тулий Ротунд). Сейчас же прекратите жечь архивы!

Ч е й - т о г о л о с . Император!

Появляется Ромул со свитой.

Ромула играет аксакал

Атанай.

А с и я (Рея). Отец!

К у а т (Эмилиан). Добро пожаловать, повелитель хорошо накрытого стола.

Атанай—Ромул проходит по сцене.

Я убежал из германского плена, император Ромул. Перебил слуг, которые меня стерегли, задушил собак, которые меня преследовали. Я шел сюда пешком, государь. *(Пауза.)* Я шел мимо разоренных городов, через дымящиеся деревни, сквозь порубленные леса, по истоптанным пашням. Я видел твой народ, император Ромул, я видел изможденных детей, изнасилованных женщин, изувеченных мужчин. Я видел лес из виселиц, и тучи клекочущих коршунов, я слышал крики раненых.

А т а н а й (Ромул). То, что ты говоришь, для меня не тайна, но рассказывай дальше, Эмилиан.

К у а т. Для тебя это не тайна, а ты кормишь своих кур?

А т а н а й. Император отстранился от дел.

К у а т. Ты знаешь, как страдает твой народ, и спокойно садишься обедать?!

А т а н а й. Император отдал свое государство врагам.

К у а т. А знаешь ли ты своих врагов, император?

А т а н а й. Император знает свой народ.

К у а т. Я — римский офицер, желавший мира и веривший в разум человеческий, тайно отправился к твоим врагам, чтобы примирить Рим и Германию. А они содрали мне кожу с черепа, император.

А с и я (Рея). Эмилиан! *(Обнимает его.)*

А т а н а й. Император все видит, но он не дрогнет.

К у а т. Иди к тому, кому ты предназначена, дочь императора. Мне нет до тебя дела!

Рея медленно возвращается к Цезарю Рупфу.

Твоя дочь, император, стала женой фабриканта штанов, и твоя империя спасена ценой моего позора.

Император встает.

А т а н а й. Император не дает благословения на этот брак.

Все остолбенели.

С а л м е н (Цезарь Рупф). Папаша! Вы что!

А с и я (Рея). Я выйду за него замуж, отец. Ты не можешь помешать мне спасти отечество.

А т а н а й (Ромул). Моя дочь выполнит волю императора. Император знает, что делает, когда отдает свою империю огню, когда дает упасть тому, что должно разбиться, и попирает то, что принадлежит смерти.

Асия—Рея, опустив голову, входит в дом.

Выполняй свои обязанности, Пирам. Корми кур! Август! Тиберий! Троян! Адриан! Марк Аврелий! Одоакр!

Бросает курам зерно и, сопровождаемый свитой, удаляется. Все стоят неподвижно.

Т а р п а н (Тулий Ротунд). Сейчас же возобновить сожжение архивов.

К у а т (Эмилиан). Долой такого императора!..

По знаку режиссера включается свет в зале.

— Всем спасибо. Утренняя репетиция закончена. Отдыхайте,— говорит режиссер.

Задумчиво трет лоб, берет под руку Арыстана, и они уходят.

Актеры остаются одни.

— Кажется, сегодня неплохо сыграли? Главный нас ни разу не остановил,— радуется Тарпан.

— Что я мог сыграть, когда у меня одна реплика, не успел на сцену выйти, как репетиция кончилась,— огорченно машет рукой Ултуган и, повернувшись, сталкивается с Куатом.

— Эй, молодой человек, ты что, спишь? Надо смотреть по сторонам,— сердится Куат.

— Простите, Куат-ага, я нечаянно...— смущается юноша.

— Ладно,— смягчается Куат. И вдруг спрашивает с непонятным любопытством: — Скажи, вот когда ты на ходу спишь, ты сны, случайно, не видишь?

- Я?
- Ты.
- Сны?
- Сны.

— Во-первых, я не сплю на ходу,—обижается Ултуган.— А во-вторых, сны все видят. Вот вы, например, вы что, уже и снов не видите?

— Э-э, нет, так не пойдет,— смеется Куат.— Негоже отвечать вопросом на вопрос. Я первым спросил, видишь ли ты сны, так что будь добр отвечать. Тем более, что ведь я, можно сказать, твой спаситель. Если бы я не попался тебе на дороге, ты бы споткнулся и, глядишь, голову себе проломил. А так у тебя голова вроде бы пока целая.

— И вы теперь требуете плату за то, что попались мне на пути? — язвит Ултуган.

— Совершенно верно! Быстро парень говори, пока цел,— хитро улыбается Куат.

— Ну так слушайте. Я вижу сны, и сны я вижу исключительно про вас. И все гадаю во сне, Куат-ага, чего в вас больше, таланта или человечности? — серьезно глядя на Куата, говорит Ултуган.

— Эй, уж не вышучивать ли ты меня вздумал? — подозрительно спрашивает Куат.

— Ой, что вы! — почти искренне всплескивает руками Ултуган.

— Да он же смеется над тобой, за воротник тебя схватил, а ты и не видишь,— вмешивается в их разговор Тарпан, обращаясь к Куату.

Но в это время на сцене появляется переодевшийся Атанай. Он опирается на палку и никак не может закурить. Тарпан, оборвав фразу на полуслове, бросается к нему и услужливо подает зажженную спичку.

Атанай сердито гасит ее и прикуривает сам.

Смущенный Тарпан снова возвращается на свое место и кричит на Ултугана:

— Вот я тебе и говорю. Молокосос, понимаешь, молоко на губах не обсохло, из колыбели не успел выбраться, а уже заслуженных артистов за воротник хватаешь!..

Куат и Ултуган смеются, что приводит Тарпана в окончательную ярость.

— А ты что расхихикался! — набрасывается он на Куата.

— А ну прекрати! — негромко, но властно говорит Атанай, и все стихают.— Прекрати, не распыляй свой яд. И не

стыдно тебе склоку в театре разводите? Сам же и хватаешь других за воротник... за ворот... — Он долго кашляет. — Лучше бы делом занимался, чем по мелочам с молодежью тягаться... Болтаешь все, болтаешь — заслуженный, заслуженный... Высокое искусство! Запомни, там, где нет человечности, не может быть высокого искусства. И только большой человек способен на большое искусство... Суетиться нужно меньше.

Тарпан, Куат и Ултуган пристыженно молчат.

— Дал им нагоняй этот аксакал, — удовлетворенно бормочет про себя Кайдар, присутствующий при перепалке.

На сцене появляется режиссер и подходит к Атаная.

— Домой идете, Атанай-ага?

— Домой. Нам ведь по дороге. Идем вместе. Кстати, как ты считаешь, не слишком ли я поверхностно сыграл, а?

— По-моему, пока все идет хорошо, Атанай-ага, — медленно отвечает режиссер. — По-моему, неплохо вы сыграли...

— Да что там неплохо! Просто замечательно! Даже очень хорошо! Хорошо вы сыграли! Лучше всех! — не выдержав, вставляет Кайдар.

Атанай меряет его удивленным взглядом.

— Это кто еще такой? — спрашивает он режиссера.

— Это наш новый рабочий сцены, — рассеянно отвечает тот.

— Любишь театр? — спрашивает Атанай Кайдара.

— Люблю, — признается Кайдар.

Атанай подмигивает ему и в сопровождении режиссера спускается в зрительный зал. Там они и ведут свои дальнейшие беседы об искусстве и о жизни. Вернее, даже не ведут, а продолжают, ибо кажется, что разговор их составляет фрагмент одного необъятного диалога, диалога, который неизвестно когда начался и неизвестно когда закончится.

— Ты знаешь, и эта пьеса, я имею в виду «Ромула», и наш «Абай» — обе пьесы неплохо получаются. Я имею в виду — у тебя получаются, у режиссера, — уточняет Атанай. — Вот я и говорю, да я и всегда говорил, что, если театр хочет иметь будущее, он должен идти к проблемным темам.

— Наш театр? — спрашивает режиссер.

— И наш. И вообще... Театр. Театр с большой буквы.

— Ну, караван, куда бы он ни направлялся, все равно остается караваном, — примирительно говорит режиссер. — И не лучше ли пожелать ему доброго пути?..

— Не доброго, а верного... Верного пути,— подчеркивает Атанай.— Главное в искусстве — это не потерять направления, не заблудиться, не попасть в безводную пустыню, в солончаки, где нет ни корма, ни колодцев..

Режиссер внимательно смотрит на него.

— Мне кажется, ты думаешь, что можно сказать мне, старику, в ответ на мои бредни? Не трудись,— улыбается Атанай,—ибо в скромности и молчании иногда больше мудрости, чем в напоре и в слове. Ведь основа всему — истина. Истина и правда, дорогой... И что может быть сильнее самого главного повелителя — времени?.. Время все ставит на место и всем сестрам раздает по серьгам, как говорится... Жаль только, что театр в каком-то смысле самое безжалостное из искусств. Мы уходим. Уходим из театра, из жизни. И вместе с нами уходят наши роли, наша жизнь... Наверное, вечны только музыка и литература. Как ты смотришь на это?..

— Ну почему мы знаем и помним имена великих актеров? Гаррик. Кин. Сальвини. Элеонора Дузе. Комиссаржевская. Михаил Чехов...— говорит режиссер.

— Имена. Конечно, помним! Но ты сам сказал. Мы помним ИМЕНА. А КАК это было? Какова была модуляция, жест Михаила Чехова в его знаменитом Гамлете — мы можем только догадываться, потому что всякие объяснения, описания его игры — это уже другое искусство, практически не имеющее к актеру никакого отношения.

— Да, пожалуй, вы правы...

— Конечно, прав. Конечно! Но так и должно быть — ведь мы сами выбрали себе эту профессию, сами выбрали себе эту жизнь,— смеется Атанай.— Другое дело — писатели. Они остаются. Мухтар Ауэзов был великой личностью, не всякому дано быть таким, как он. И ведь он донес до нас то, о чем думал и чем страдал. А видел он то, чего не видели другие, и знал то, чего не знали другие, знал и видел то, что подвластно лишь подлинно великим людям...

Внезапно он заходится в кашле.

— Что с вами? — тревожится режиссер.— Может, что-нибудь с легкими?

— Пустое,— машет рукой Атанай.— Простуда, и только. Ладно, хватит философствовать, пошли домой.

Они уходят, и сцена окончательно пустеет. Лишь Кайдар потихоньку разбирает декорации, и снова видно, что работа приносит ему удовлетворение — он даже напевает какую-то песенку.

Показывается Салмен, и Кайдар здороваётся с ним.

— Здравствуй, здравствуй,— рассеянно кивает Салмен, проходя мимо. Но вдруг останавливается, удивленный, и круто разворачивается к Кайдару: — Так это ты?

— Да, это я, Кайдар,— обрадованно говорит Кайдар, довольный тем, что Салмен наконец-то его узнал.— Я, он самый, Кайдар, своею собственной персоной.

— Узнал, вот теперь я тебя узнал... Я-то думаю, что за рабочий у нас новый, лицо какое-то знакомое, а это, оказывается, ты!

— Я,— сияет Кайдар, и вдруг лицо его грустнеет.— Я все знаю,— тихо говорит он.

— Да, брат, да,— вздыхает Салмен.— Нет со мной больше моей Газизы, пусть земля ей будет пухом...

— Вы извините, но я раньше не знал об этом. Я об этом узнал, только когда устраивался на работу. Вы уж не обессудьте!

— Что «не обессудьте»? — удивляется Салмен.

— Что я раньше не знал...

— Кто тебя в этом винит, какой ты, право, чудак,— сквозь слезы улыбается Салмен.— У тебя есть закурить? — неожиданно спрашивает он.

— Есть! — Кайдар торопливо лезет в карман и вдруг вспоминает.— Но мне сказали, что курить на сцене нельзя.

— Ладно, кому нельзя, а кому и можно,— сердито машет рукой Салмен, и они, закурив, садятся.— Нелегко мне живется после смерти Газизы,— жалуется он.— Но ничего, все еще наладится, наладится. Какние, как говорится, мои годы.

— В нашем ауле давно не были? — спрашивает его Кайдар.

— Давно, ох давно, много лет уже прошло,— вздыхает Салмен.

— Съездите на родную землю — вмиг помолодеете. И мысли мрачные, может, отойдут. Для таких людей, как вы, родная земля — исцеляющий бальзам.

— Там никого не осталось из тех, кому я нужен,— сердито говорит Салмен.— И тех, кто мне нужен, тоже нет...

— Ругать свою родину — это значит себя не уважать,— не выдерживает Кайдар, обидевшийся за свой аул.

— А ты зачем к нам в театр явился? Меня учить? — неодобрительно глядит на него Салмен.

— Я работать сюда пришел. Я очень хотел в театре работать.

— Вот и работай. А с нравоучениями ко мне не лезь.

— Я и не лезу. Вы извините, если я что не так сказал. Я вам хочу рассказать... Я ведь сейчас на пенсии, а театр, искусство с детства люблю. Вы, наверное, помните, что еще там, у нас, в ауле, я был первым певцом... ну, в те годы, в молодые наши годы... Я был первым певцом, помните?

Салмен молчит.

— ...и с тех пор жизнь вон какую прожил, где только не побывал: и Турксиб строил, и войну прошел, но что делать, если тянет меня к искусству, даже на старости не отпускает меня искусство из своих тисков. Я дни до пенсии считал. У меня давно этот план созрел — в театр поступить. Кем угодно, хоть рабочим, хоть сторожем, кем угодно...

Салмен встает и говорит задумчиво и неопределенно:

— Да, правильно говорят, что первый враг человека — это он сам или, вернее, его неисполнимые, обманчивые желания...

— Почему — обманчивые? — не понимает Кайдар. — Я в театре. Я работаю в театре. Мне театр очень понравился. Мне в театре все нравится. В театре прекрасно. Настроение поднялось, чувствую себя хорошо...

Показывается Тарпан.

— Эй, Саке, иди сюда, у меня к тебе разговор есть, — говорит он Салмену.

— Ладно, пока, театральный работник, — не то всерьез, не то с насмешкой говорит Салмен и уходит вместе с Тарпаном.

Кайдар почтительно смотрит им вслед.

— Настоящие артисты! Уважаемые, ценные народом люди! — шепчет он и как замороженный идет вслед за ними.

Появляется Куат и Малике.

— И о чем это вы все время шепчетесь, интересно бы узнать, — шуточно обращается Малике к Тарпану и Салмену.

— Я думаю, наших коллег гложут заботы о будущем нашего искусства, — подхватывает ее шутку Куат.

— Хорошо б, если так, Куатжан, — вздыхает Малике. — Но мне сдается, что их заботят более реальные проблемы. Например, как будет режиссер распределять роли в «Отелло».

Тарпан неожиданно обижается.

— Не встречали бы вы в чужой разговор, — сердито говорит он. — Это в особенности тебя касается, Куат...

— А ты Куатжана не трогай. Не трогай! — вслыхивает Малике.— Он хороший актер, и он твердо идет по нашим стопам.

— Смотри, чтоб он тебе пятки не оттоптал,— вставляет Салмен.

Куат смеется.

— Оказывается, правду говорят, что кошка тоже из породы львов. Было время, когда Салмен мяукал, а теперь вот и рычать научился. Смотри-ка ты, как страшно! — иронизирует он.

— Тьфу, болван! — не выдерживает Салмен.

— Если хочешь увидеть болвана, подойди к зеркалу,— мгновенно находится Куат.

— Что-о?! — кричит Салмен.

— То-о-о! — в тон ему отвечает Куат.

Кайдар, невольно ставший свидетелем этой непонятной перепалки, изумленно шепчет:

— Вот так да! Вот так уважаемые люди! Ругаются как на базаре...

И, как бы в такт его мыслям, в разговор снова вмешивается Тарпан:

— Ну ладно, пошумели, и хватит. Услышит кто посторонний, так подумает, что вы закоренелые враги... А по моему, вы репетируете кусок из какой-то неведомой вам самим пьесы. Я не ошибаюсь?

Куат и Салмен смеются.

— О, уважаемый Тарпан-ага! Нет тебе равных в великом искусстве сглаживания острых углов! — снова дурачится Куат.

Куат, Салмен и Тарпан, посмеиваясь, уходят.

— Чисто как дети,— громко говорит Кайдар и тут же конфузится, заметив рядом с собой Малике.

— Что вы сказали? — рассеянно спрашивает Малике, ибо она прислушивается к громким голосам, доносящимся из фойе.

«Не знаешь меня, так узнаешь!», «А я тебе говорю — пропусти!», «Малике мне нужна, Малике!» — такие реплики слышим мы из фойе.

В зрительный зал врывается Гаухар, вдова актера Еркена, сверстника аксакала Атаная. За ней следует молодая артистка Куляш.

— Я-то думаю, кто это там шумит, а это, оказывается, моя женеше¹,— радуется Малике.

— Это ты, Малике? Здравствуй, милая! — близоруко щурясь, всматривается Гаухар, и женщины обнимаются.

— Откуда ты, женеше?— спрашивает Малике.— И зачем к нам?

— Мне нужен или директор, или режиссер, или хотя бы Атанай, а этот... на вахте... меня не пропускает. Это чтоб меня в театр не пускали — дожила я! — с досадой отвечает Гаухар.

— Новенький он — откуда ему тебя знать. А директор с режиссером обедать ушли. Ты лучше Расскажи, как поживаешь. Что-то давненько тебя не видно,— говорит ей Малике.

— А вот ты бы проведала меня, тогда и спрашивать бы не пришлось,— обиженно говорит Гаухар.— Ты почему ко мне никогда не заходишь?

— Да где ж время взять? То спектакль, то репетиция, то на гастроли недавно ездили...

— Конечно же сразу у вас ни у кого не стало времени, когда мой Ерекен умер,— неожиданно всхлипывает Гаухар.— Пока он жив был, так вы в моем доме и дневали и ночевали. А теперь я вам не нужна — зачем вам глупая старуха? О вероломная судьба, проклятое житье...

— Ладно, женеше, перестань. Разве кто-нибудь виноват, что Ерекен так рано отправился туда, откуда еще никто не возвращался...— говорит Малике.

— Вы виноваты. Театр ваш проклятый виноват! Душу вы из него вынули, а тело земле предали...— вскидывается Гаухар.

— Перестаньте, женеше. Он любил театр, и театр его любил...

— Да, а я, значит, его не любила? По-твоему, это я его в могилу свела? Может, и в этом ты меня обвинишь? А ну, отвечай!.. Может, ты и в том меня обвинишь, что я осталась одна-одинешенька на белом свете...

— Перестань, женеше!.. Ты забыла, что и я одна живу с тех пор, как родители умерли...

Гаухар, услышав эти слова, прекращает плач, но все же не желает сдаваться:

— Ты меня с собой не сравнивай! У тебя образование есть, и ты — всеми уважаемая актриса, даром что старая

¹ Жена старшего по возрасту человека.

-дева и замужем не была. А что у меня теперь есть? И что у меня было, кроме Ереке? И вот бесценный мой ушел, оставив меня, и осталась я, несчастная, сторожить пустой наш дом! И все-то черные эти ночки лежу я, не сомкнув глаз! А что было у Ерекена, кроме театра? И богом, и святыней был для него театр... Он театр больше, чем меня, любил... Больше...

Гаухар снова плачет.

— Но ведь Ерекен-агатай был великим актером! Мы, бывало, всем курсом в театр прорывались, когда он играл вместе с Атанаем-ага! Это был дуэт мирового класса! — вмешивается в разговор Куляш.

— Вот я и говорю, что наплевать ему на меня было... — всхлипывает Гаухар.

— Перестань, женеше! — недовольно говорит Малике. — Все знают, все помнят, как нежно относился к тебе Ерекен. И ты должна понимать, что у тебя есть Ерекен, которого ты можешь оплакать. А у Ерекена есть ты, которая хранит память о нем. А что у меня и кто у меня? Ничего и никого. Нет у меня ничего, нет никого, нет и не будет, кроме этого театра. Здесь я выросла, здесь я и умру. Старой девой, как ты изволила выразиться...

Гаухар молчит, а Малике продолжает:

— А твой Ерекен особенный был человек. Да, он любил театр, и театр его никогда не забудет.

— Перестань, Малике, — снова пускается в спор Гаухар. — Мне в глаза вы одно говорите, а стоит мне уйти — все забываете. Вот я поставила мраморный памятник на могиле Ерекена — ты сходила посмотреть на него?

— Нет, пока еще не сумела выбраться, — признается Малике, но ее перебивает Куляш:

— А наши мужчины уже были. Сказали, очень красивый памятник!..

— Вот видишь, — с укором говорит Гаухар. — Есть, оказывается, в театре люди, которые помнят моего Ерекена.

— Помнят они, помнят! — вспыхивает Малике. — Они портвейн на его могиле распивали. И руководил ими этот твой длинноволосый, Ултуган, — обращается она к Куляш.

— Ей, а что тут такого? — вдруг смягчается Гаухар. — Ну, выпили немного, на то они и мужчины. Мой Ерекен всю жизнь этот портвейн пил, на водку и глядеть не хотел...

Куляш и Малике смеются.

— Что я смешного сказала? — снова сердится Гаухар. — Вы лучше скажите, где Атанай. Неужели и его нету?

— Утром он был, — говорит Куляш. — Скоро, наверное, снова придет на вторую репетицию.

— А зачем он тебе?.. И чего это тебе вдруг сразу все запонадобились — и директор, и режиссер, и Атанай?

— Да потому что вот я и говорю, ни у кого из вас памяти нет, — печально говорит Гаухар. — Скоро годовщина смерти Ерекена, и никто из вас об этом не помнит.

Малике пристыженно молчит.

— Ладно, трудно вас винить, народ вы и на самом деле занятой, — машет рукой Гаухар. — Но ты все-таки зашла бы ко мне вечером, я хочу с тобой посоветоваться, как нам все хорошо устроить...

— Я сегодня не могу. Сегодня у меня спектакль, — говорит Малике.

— А завтра?

— А завтра репетиция... И вообще зачем я тебе нужна, ты же знаешь, что я хозяйка... не ахти какая! — Малике грустно улыбается. — Ты вон Асию пригласи. Или Куляш. Они и помоложе, и в этих делах больше соображают...

— Ты уж прямо скажи: раз Ерекена нет, то и ты, старая, ко мне не лезь. И в театр к нам больше не ходи — ты к нам не имеешь никакого отношения! — обижается Гаухар.

— Ну что ты все сердишься, кричишь и суетишься? Ты что такая нервная стала? Не могу прийти вечером, так приду утром. Завтра утром я к тебе приду. Годится?

— Годится! — Гаухар вытирает слезы. — И ты приходи. И заодно этого своего веди, длинноволосого... — обращается она к Куляш.

— Вы имеете в виду Ултугана? — спрашивает девушка.

— А кого же еще?.. Покойный Ереке любил его, любил с ним разговаривать. Говорил, что его ждет большое будущее...

— Надо же какой пророк! — иронически морщится Малике.

— Пророк не пророк, а я и сама вижу, что парень он хороший, — бормочет Гаухар, направляясь к двери, и тут же сердито обращается к Куляш, которая следует за ней: — А провожать меня не надо. Я не слепая, дверь на улицу найду. Да еще сейчас того молодчика отчитаю, который меня пускать не хотел...

Она уходит.

— Бесценная женеше! Ну прямо готовый персонаж для пьесы! — смеется Малике.

— Я ее очень люблю. Она — прекрасный человек. И про Ултугана так хорошо сказала, — вторит ей Куляш.

При упоминании имени Ултугана Малике хмурится.

— Ты, девушка, держись подальше от этого волостника, — осуждающе говорит она. — А если уж тебе сильно замуж хочется, то выходи лучше за режиссера, который тебя в кино снимал. Он, по-моему, к тебе неравнодушен...

— Эх, Малике-апай, вы такая смешная, — прыскает Куляш. — Вовсе я замуж не собираюсь. Да к тому же у кинорежиссера есть жена. И он в нее влюблен.

— Да? — смутившись, говорит Малике. — А ты откуда знаешь?

— Он сам мне говорил. Он хороший парень и талантливый человек, но я люблю другого.

— Это кого же? — спрашивает Малике.

— Ултугана, — тихо отвечает Куляш.

Малике осуждающе качает головой:

— Слишком много у него гордости и слишком мало здравого смысла. И потом... потом скажи вот, например, ты могла бы из-за него бросить сцену?..

Куляш задумалась.

— Не знаю, — говорит она. — Не знаю... Но ведь это и не нужно?..

— Конечно, не нужно, — смеется Малике. — Ну, а вдруг ты разочаруешься в нашей профессии?.. Ведь нет человека, который был бы так зависим от других, так хрупок и слаб, как актер. Ты поверь мне. Я жизнь прожила на сцене...

— Но и счастливее актера никого нет. Вы сами мне об этом говорили...

— Это не я говорила, это молодость моя говорила, — печально улыбается Малике. — Конечно же у нас лучшая в мире профессия. И все-таки помни мои слова — юная душа тянется к трудностям, но, изведав их, столкнувшись с жизнью, очень часто остывает, гаснет, покрывается пеплом. А что может быть ужасней этого?

— Ничего, — после долгого молчания отвечает Куляш.

Они уходят. В зале появляется заведующий литературной частью Арыстан, за ним следует человек, которого мы назовем драматургом. Ибо он пишет пьесы и очень хочет, чтобы их ставили.

Арыстан разматывает длинный шарф, садится и включает транзисторный магнитофон. Звучит поэма Скрябина «Экстаз».

— Ну все, это мой последний вариант, и уж теперь я не изменю больше ни слова, как бы вы с вашим режиссером на меня ни давили,— драматург бросает на стол увесистую папку с рукописью.

— Казахи говорят: словом и болтун дорожит. Мысли, идеи появились у тебя в этом варианте? — спрашивает Арыстан.

— Вот тебе раз — и ты, значит, Брут... При чем тут мысли, идеи? Да знаешь ли ты, что пять моих пьес уже идут по театрам Союза? — сердится драматург.

— Да? А я вот что-то ни одной из них не помню...

Драматург резко поворачивается и уходит.

— Нет ничего страшнее ущемленной посредственности,— бормочет Арыстан.

Драматург возвращается.

— Послушай, ты знаешь картину Ван Гога «Ночное кафе»? — с любопытством спрашивает его Арыстан.

— Ну, знаю, и что дальше? — напрягается драматург.

— Ничего. Каждый раз, когда я вижу «Ночное кафе», мне кажется, что на это место кто-то придет и застрелится...

— Чего? Что? К чему это ты?

— Да говорю же тебе, ни к чему. Просто-напросто поделился с тобой своими наблюдениями...

— Ты смеешься надо мной. Ты совершенно меня не уважаешь,— с горечью говорит драматург.

— Я не смеюсь над тобой. И я уважаю тебя, но еще больше я уважаю труд наших актеров. А ведь это им, им играть твою пьесу... Это они будут вынуждены бубнить твои невнятные диалоги, вытягивать халтурные сцены, от которых с души воротит...

— Да плевать я хотел на ваших актеров! Подумаешь, тоже гении нашлись. Сыграют, никуда не денутся...

Арыстан сбрасывает папку на пол.

— Возвращается на доработку,— говорит он.

— Что? Ну, смотри у меня!..

Взбешенный драматург устремляется к выходу и сталкивается с режиссером.

— А, это ты,— говорит он.— Вот ты-то мне и нужен. Послушай, что творится в вашем театре? И когда ты образумишь этого кафыра?

Он указывает на Арыстана, но режиссер, занятый своими мыслями, просто-напросто не замечает его.

— Старый Атанай сказал, что будущее искусства в наших руках, руках молодежи,— бормочет он.— И еще он говорил, что есть в искусстве труднодоступные и оттого ценные вещи, и нет искусства там, где нет постоянного обновления... Он высказал мне то, что, по-видимому, долго носил в себе. Почему? Что случилось? Почему он сказал мне это именно сегодня?

— Да ты слышишь меня или нет? — присматривается к нему драматург.

— Громче, громче кричи, пусть выйдет вся горечь забытой, тоскующей души. Громче,— декламирует режиссер, по-прежнему обращаясь к самому себе.

— И этот... того! — Пораженный драматург вертит пальцем у виска.— С ума они здесь все походили, что ли? — И вдруг задумывается: — А может, они все смеются надо мной?.. Ну да, точно смеются, ведь для них драматург — это прежде всего имя. Имя. И-М-Я!.. Правильно говорят, что нет пророков в своем отечестве...

Навстречу ему идет Куат, и драматург снова принимает важный вид.

— Как дела, браток? Исправил свою пьесу? — Куат пожимает ему руку.

— Не исправил. И править не собираюсь,— сердито отвечает драматург.

— Вот и правильно! — неизвестно чему радуется Куат.— Я считаю, что пьеса безупречна, и давно тебе об этом говорил. Истинная драма строится на характерах, а характеры в твоей пьесе яркие, выпуклые. Слова же — ерунда. Сказать все что угодно можно. А истинная цель искусства — это характер. Запомни!

— Я уж лучше запишу, а то, не дай бог, забуду,— язвительно говорит драматург.

— Правильно! — невозмутимо соглашается с ним Куат.— И еще запиши, что характер нужен и творцу характеров, то есть автору или актеру. Характер — потребность одаренного, так и запиши... Запишешь?

— Это надо обдумать...— Драматург, подозрительно глянув на Куата, уходит, а Куат, довольный сделанным нравоучением, подходит к режиссеру.— Здорово я его. А?— хвастается он, но режиссер не слушает его.

— «Отелло». Вот будем ставить «Отелло». А кому поручить главную роль? Актер, обладающий глубокими зна-

ниями хотя бы в одной области, являет собой большую ценность, нежели человек, который берется за все сразу. Но актеры наши зачастую живут не чувствами, а холодным рассудком. Надо им почаще напоминать, что самое главное у человека — сердце. Да и самому не след это забывать! Актер иногда не знает жизни, и тогда ему трудно сыграть и глубокое человеческое волнение, и душевные муки... Обессиленный, он падает на полдороге, так и не достигнув желанной цели. А цель у нас всегда одна — создать образ. Образ!.. Придумать мизансцены для «Отелло» не так уж трудно, труднее разыграть спектакль...

— «Отелло»? Когда мы приступим к «Отелло»? — спрашивает его обрадованный Куат.

— Кто же сыграет Отелло? — вслух размышляет режиссер.

— Я! Я сыграю! — бьет себя в грудь Куат.

— Кто? Кто? Кто? — повторяет режиссер, не обращая на него никакого внимания.

— Смеется он надо мной, что ли? Или это мне все снится, — раскрыв рот, говорит Куат.

— Сможет ли сыграть Атанай? А может быть, Куат? Куат? Нет... Но почему? Ведь актеру всегда трудно раскрыть свои внутренние возможности... Трудно... И я, я должен ему помочь... Актеру нужно доверие, актеру нужно верить... Отелло... Кто? Кто?

Куат, покачав головой, уходит.

А режиссер медленно направляется к Арыстану.

— Старик Атанай верно говорит... Надо подумать... Надо крепко подумать... Крепко...

Арыстан дергает его за рукав.

— Послушай, возвратись на землю, — говорит он. — Ты видел драматурга?

— Нет, — искренне отвечает режиссер.

— А Куата? Он искал тебя...

— Не видел я Куата, — сердится режиссер. — Я видел Атаная. Только с ним говорил...

— Вот тебе раз! — присвистнув, удивляется Арыстан. — Ты что, бредишь? Или спишь и видишь сны, как наш Куат?

— Я не сплю и не брежу. Я думаю, Думаю о том, что знаю, и о том, что еще узнаю. О том, что видел, и о том, что увижу. О прошлом, о настоящем, о будущем...

— Понятно. Ты, стало быть, олицетворенная метафора, — улыбается Арыстан.

Режиссер садится в кресло.

— А ты, Арыстан, не отчаивайся,— вдруг говорит он.— Ты человек наблюдательный, да и язвительности у тебя хоть отбавляй. Из тебя может выйти интересный драматург...

— Я теперь пишу только прозу,— хмурится Арыстан.

— Напрасно,— говорит режиссер после длительной паузы.— Напрасно ты ограничиваешь себя. Людям молодого искусства нужно уметь делать все. И если не умеешь, надо научиться. Я вот хочу сам написать пьесу. А если надо будет, то и музыку напишу. Ты веришь, что у меня получится?

— Я верю тому, что вижу, слышу или читаю,— говорит Арыстан.

Режиссер хмурится.

— Для начала прекрати опаздывать на работу, не то я тебе объявлю выговор в приказе,— неожиданно говорит он.

Арыстан хохочет.

— Довольно смелая сюжетная развязка,— ухмыляется он.— Ладно, пошли в кафе, я разрешаю тебе угостить меня.

— Некогда мне,— хмурится режиссер.

— Тогда я один пошел,— Арыстан поднимается и уходит.

— Не верит. А сам-то я верю себе или нет? — глядя ему вслед, говорит режиссер.

Сцена снова пуста. Из-за кулисы появляется Кайдар. Достает сигареты и чиркает спичкой.

И как из-под земли появляется Асия.

— Кайдар-ага, ведь мы договорились с вами — на сцене курить нельзя,— укоризненно говорит она.

— Ойбой, милая!.. Все... Все... Запутали меня совсем: одни говорят — можно, другие — нельзя... Все-все-все!..— Он гасит сигарету, растаптывает ее каблуком и тут же начинает собирать мусор.

— Вы такой смешной! — не выдержав, смеется Асия.

— Прости, прости, милая, надо же — опять забыл...— сокрушается Кайдар.

— Теперь не забывайте,— Асия, продолжая смеяться, уходит, и Кайдар остается на сцене один.

— Здесь все на свете можно забыть! — громко говорит он.— Ведь это же прекрасный, прекрасный мир! Какие странные, какие веселые, нарядные люди! Как мне хорошо с ними! И хоть старуха была против этого, как она называет, «киятра», но я правильно сделал, что настоял на

своим и устроился сюда работать. А старуха... да она просто меня ревнует к театру. И на склоне лет ревнует, старая. А чего ревновать-то?.. Театр — он и есть театр...

Действие нашего повествования переносится в театральное кафе. За одним из столиков беседует Куат и Онтай. За другим — скучает в одиночестве Арыстан.

— Ты мне однажды намекнул, что у тебя есть знакомые в мебельном магазине, помнишь? — говорит Онтай.

— Помню. Ну и что? — равнодушно говорит Куат.

— То, что мне нужен гарнитур. Хороший гарнитур. А за деньгами я не постою...

— Социальные накопления? Или от своих детей кусок сэкономил? — ехидно спрашивает Куат, и Онтай мгновенно обижается:

— Ты за кого меня принимаешь? Я же в фильме снялся...

— Ах, так? Я думал, что ты тот еще разгильдяй, а ты, оказывается, на ходу подметки режешь... Никто и не заметил, как ты стал киношником. Прошу прощения.

— Не тебе же одному в кино играть, — осмелев, говорит Онтай.

— Разве я говорю, что мне одному. Но сниматься надо в таком фильме, который премию получит, — наставляет его Куат.

— Ну уж это от меня не зависит. Это как критики про фильм напишут. И потом, разве угадаешь, какой фильм получит премию, какой нет? — недоумевает Онтай.

— Это зависит от того, кто ставит фильм, — встречается в разговор Арыстан. — И от того, кто играет. Если в фильме занят Куат — будь уверен, премия обеспечена...

Куат сердито отворачивается.

— И откуда взялся этот всезнайка? — цедит он сквозь зубы.

— Ты этого задиру не трогай, у него язык знаешь как подвешен, нарвемся, над нами же и смеяться будут, — останавливает его Онтай и вдруг улыбается: — Вон еще один такой же пришел! Грамотей! Они с Арыстаном — два сапога пара, так что пускай языками чешут, а у нас с тобой, браток, свои дела...

Вошедший парень в кожаной куртке, по виду сверстник Арыстана, подходит к его столику. Это — молодой кино-режиссер, мы так и будем его звать в дальнейшем.

— У тебя свободно? — спрашивает он Арыстана.

Арыстан молча кивает.

— Следующая стадия. Тебе и говорить уже лень, да?

Арыстан молча кивает.

— По-моему, ты вполне созрел для того, чтобы подарить литературе образ современного Обломова...

Арыстан кивает головой:

— Спасибо. Я готов. Я бы и подарил, но, ей-богу, — лень...

Кинорежиссер смеется и присаживается к Арыстану.

А у Онтай и Куата продолжается их деловой разговор.

— Ну, сможешь достать или мне другую достающую силу искать? — спрашивает Онтай.

— Достать-то можно, так ведь они доплату потребуют, — говорит Куат.

— Я тебе сказал — за деньгами не постою. Но конечно же в разумных пределах, а то они могут столько заломить, что никакие фильмы мне не помогут...

Входит Асия и присаживается к ним.

— Вот вы, оказывается, где? — Она присматривается к их бокалам и говорит разочарованным тоном: — Я-то думала, вы шампанским наслаждаетесь, а это всего-навсего газированная водичка...

— Хочешь шампанского — будет шампанское! — вскакивает Онтай.

— Да ты что, я пошутила! — пытается остановить его Асия.

— Женщины никогда не шутят! — парирует Онтай, направляясь к буфетной стойке.

— Истинный джигит этот Онтай, — говорит Асия.

— Да, джигит... — неопределенно хмыкает Куат. — Только вместо аргамака у него кресло, а вместо джайляу — телевизор...

— Вечно ты злословишь. И что за привычки? — укоряет его Асия, но тут возвращается Онтай с бутылкой шампанского.

— Пусть это будет началом доплаты! — подмигивает он Куату.

— Эй, Онтай, тебя к телефону зовут! — кричит кто-то из двери.

— Одну минутку. Я сейчас. Я сейчас приду, — заторопился Онтай, обращаясь к Асии и Куату.

— Ступай, но знай, что этим ты не отделаешься, — говорит ему вслед Куат. — Ты должен пригласить нас с Асией в ресторан «Коктебель».

— Асия не согласится пойти с тобой! — кричит Онтай уже из дверей.

— Почему? С Куатом я могла бы и на Тескентау взойти, — потупившись, говорит Асия.

Куат удивленно смотрит на нее.

— Взойти? Куда это еще взойти? Ты что-то не то говоришь.

— Это тебе так кажется. Потому что ты все забыл. А я, представь себе, помню...

— А... Вон ты о чем, — внезапно сообразил Куат. — Что ж, может, ты и права была...

— Вот и вспомнил, — печально улыбается Асия. — Я сказала тебе эту фразу еще тогда, в студенческие годы, но ты не поверил мне. Вернее, поверил, но это тебя не устраивало. Ты хотел, чтоб твоя жена была кандидатом наук, но никак не актрисой.

— Нет, почему же, разве я когда-нибудь так говорил? — мнется Куат.

— Конечно, нет. Ты не говорил, ты ДЕЛАЛ. Мне ты ничего не сказал, но я все видела, Куат. И я думала: да, он прав — ведь у меня действительно своя судьба, свои цели, свой мир. А сейчас — сейчас я чуть-чуть устала, Куат. Было время, когда казалось — стоит лишь руку протянуть, и все мне будет, и успех, и слава, и звание... Я всерьез думала, что когда-нибудь утром проснусь знаменитой. Теперь я вижу, какими наивными и смешными были мои мечты. Ведь для того чтобы добиться признания у зрителей, у режиссеров, у коллег, нужен труд, каждодневный, упорный труд. Но, ты знаешь, мне дорог этот изнуряющий путь искусства, и я вовсе не чураюсь этих страданий. И... ты можешь смеяться надо мной, но я до сих пор не утратила веру в то, что день восхождения моей актерской звезды еще впереди. Я верю, что настанет и мой час. Я жду этого часа, и я делаю все, чтобы его приблизить — работаю, читаю, думаю, учусь. А слава, звания... все это пустое, все это — мираж. Главное — работа. Ты знаешь, в жизни я не очень счастлива, но когда я выхожу на сцену, нет никого в мире счастливее меня. Ты понимаешь меня, Куат?

— Ну, думаю, что в общих чертах — да. Но вообще-то не знаю...

— Конечно, тебе трудно меня понять. Ты счастлив. У тебя есть все. И в жизни счастлив — у тебя прекрасная жена, хлебосольный веселый дом, и в театре ты играешь интересные роли...

— Не знаю, можно ли быть вполне счастливым,— вырывается у Куата.

— А ведь это тоже наша фраза! — смеется Асия.— Помнишь, мы говорили...

— ...еще на первом курсе! — подхватывает Куат.

Они, внезапно замолчав, тревожно глядят друг на друга. Появляется Онтай.

— Эй, вы что? — удивляется он, но Куат и Асия не слышат его.

— Асия, ты видишь сны? — тихонько спрашивает Куат. Асия молчит.

— Да видит, видит она! Только тебя и видит во сне! Каждый день! — не выдерживает грубоватый Онтай и залиvisto хохочет.

— Пошел к черту! — внезапно сердится Куат.

За другим столиком мирно беседуют Арыстан и кинорежиссер.

То есть беседуют — это, пожалуй, не то слово. Говорит в основном кинорежиссер, а Арыстан лишь молча посасывает трубочку, время от времени поглядывая на него умными серыми глазами.

— Вот я тебе и говорю. Напиши сценарий. Ведь ты можешь, я уверен. Сделаешь сценарий — поставлю фильм, обещаю тебе.

Арыстан помалкивает. К ним подходит драматург и с размаху плюхается в кресло, отирая лоб платком.

— Уж если ты такой добрый, то сначала займись моим сценарием,— говорит он, услышав последние слова кинорежиссера.— Два года он в вашей студии киснет...

— Ты не любишь работать. А там нужны исправления и переделки, я тебе не раз об этом говорил! — кипятится кинорежиссер.

— Исправляй сам и становись моим соавтором. Я тебе тоже не раз это предлагал,— сердится драматург.

— Мне нужен оригинальный сценарий. Оригинальный во всех смыслах этого слова! — упрямо твердит кинорежиссер.

— Ну, большому кораблю — большое плавание, как говорится,— ухмыляется драматург,— а только я слышал, что ты сейчас на мели. Так что пора тебе очнуться от грез...

Он отходит к другому столику.

— Боюсь, что тебе не одолеть моего материала,— вдруг говорит Арыстан.

— Ты напиши сценарий, а уж все остальное пусть будет на моей совести,— продолжает уговаривать кинорежиссер.

— А почему он сказал, что ты на мели? Ведь твой последний фильм получил премию?

— Получил. Но сейчас мне дали слабый сценарий, и я не знаю, что делать.

— Как «что делать»? Сказать, что сценарий слабый, и отказаться от фильма.

— Тебе легко говорить. А мне работать нужно...

— Ну так и работай, я здесь при чем?..— сердится Арыстан.

К ним снова подходит драматург.

— А что, правда, будто в вашем театре задумали ставить «Отелло»? — спрашивает он Арыстана.

Арыстан молчит.

— Все тайны, тайны, все секреты, секреты,— вздыхает драматург.— Ну уж тут-то вы без меня не обойдетесь. Текст «Отелло» в переводе Ауэзова явно устарел. Его надо подчистить, отшлифовать, местами заново перевести...

— Уж не ты ли собрался «чистить» и «шлифовать» Ауэзова? — бледнеет от гнева кинорежиссер.

— Да, я,— надменно отвечает драматург.— Ибо искусство — выше всего.

— И только ты, разумеется, выше искусства! Халтурщик! Не трогай Ауэзова!

— Я халтурщик? — драматург встает, и стул его с грохотом падает.— Выходи, выходи на поединок!

— Я не дерусь с мужчинами, которые носят очки! — кинорежиссер тоже встает.

Подбегают Куат и Онтай.

— А ну, сейчас же прекратите! — кричит Куат.

— И не стыдно вам! — вторит Онтай.

Они крепко держат драматурга и кинорежиссера.

— Если б не ваше вмешательство, я б ему показал,— тяжело дыша, говорит драматург.

— Да успокойтесь вы! Постыдитесь людей! — подошедшая Асия трогает драматурга за руку.

— Тебе не победить меня! — оглядываясь, кричит драматург.

— Такие, как ты, непобедимы, непробиваемы и непотопляемы,— это зло цедит кинорежиссер.— Ауэзов ему, видите ли, не нравится...

— Бы-ва-ет,— отчетливо, по слогам произносит Арыстан, который один во время всей этой бурной сцены сохранял спокойствие.

— Ну, я пошел. Чао! — говорит Онтай.

Куат и Асия, оставшись одни за столиком, внезапно замолкают и, потягивая шампанское, избегают глядеть друг на друга.

За соседний столик садятся Куляш и Ултуган.

— Ты знаешь, где я сегодня ночевал? — спрашивает Ултуган.— Я сегодня ночевал на сцене!

Асия, вздрогнув, прислушивается к его словам.

— Зачем? — удивляется Куляш.

— Я давно мечтал это сделать. Но все как-то не осмеливался. Ты знаешь, я вдруг почувствовал, что не смогу стать настоящим актером, не переночевав хотя бы разок на сцене. Я всю ночь не спал. Я лежал с открытыми глазами и мысленно играл все те роли, которые знаю наизусть.

— Счастливый ты,— вздыхает Куляш.—Тебе все ясно, и ты понял, как найти свой путь в искусстве. А я вот все плутаю, плутаю... Может, я вовсе и не актриса, Ултуган?

— Это мне-то все ясно? — изумляется Ултуган — Да у меня столько сомнений, столько неуверенности... Лишь в одном я не сомневаюсь. Знаешь в чем?

— В чем?

— В том, что я тебя люблю.

Куляш, вспыхнув, опускает голову.

— Куат, ты когда-нибудь ночевал на сцене? — спрашивает Асия.

— Я? Никогда. Что за блажь лезет тебе в голову? — удивляется Куат.

— А в училище ты говорил мне, что тайком остался на сцене драмтеатра после массовки и провел там всю ночь...

— И что ты сегодня копаешься в воспоминаниях?.. Ну, может, ночевал, не помню. Какое это имеет значение?..

— Ты конечно же прав. Никакого значения это не имеет... А что для тебя вообще имеет значение?.. И любишь ли ты театр?..

— Да что с тобой сегодня такое? Ну, конечно, люблю. Иначе зачем бы я здесь работал?..

— А тебе не кажется, что ты бы мог работать в любом другом месте, и от этого ничего не изменилось?

— Не кажется! — сердито говорит Куат.— Я люблю театр. Как умею, так и люблю. И нечего мне указывать, как я должен любить его!

— Ну, успокойся! — Асия гладит его по руке. — Извини, если я обидела тебя.

— Ничего, — смягчается Куат, а Асия украдкой поглядывает на замолкших Ултугана и Куляш.

— Хорошие ребята, я желаю им счастья. — Как-то у них все сложится... — говорит она Куату.

— Как-нибудь сложится! — смеется он. — Меня в данный момент другие мысли занимают. Я ломаю голову, как сделать, чтоб режиссер дал мне роль Отелло.

Асия поднимается из-за стола.

— А ты меняешься, Куат. И, знаешь ли, по-моему, не в лучшую сторону...

— Опять морали читаешь? — Куат сердито глядит ей вслед.

— Асия, подождите меня, я тоже иду! — говорит Куляш, и они уходят на репетицию.

— Меняюсь я. Почему я меняюсь? — бормочет Куат.

В кафе заходит рабочий сцены Кайдар.

— Кайдар-ага, садитесь ко мне, — зовет Ултуган.

— Да я... я стаканчик минеральной зашел выпить, — как бы оправдывается Кайдар.

— У меня есть минеральная. Пейте! — заливает Арыстан указывает на свободные стулья за своим столом.

Ултуган и Кайдар пересаживаются к нему. Арыстан, неотрывно глядя Кайдару в глаза, наливает ему полный стакан минеральной воды, и старику становится как-то не по себе от его назойливого, сверлящего взгляда.

— А ну, сознавайся, старый, в каком ауле пас овец? — вдруг резко спрашивает Арыстан, да так, что и понять невозможно — всерьез он или шутит.

Кайдар, опешив от такого обращения, быстро приходит в себя.

— Ты меня старым как смеешь называть?! — возмущается он. — И ничьих овец я не пас. Ты что, пастуха ищешь?

— Может, и ищу, — дерзко отвечает Арыстан.

— Вот и ищи в другом месте. А меня, будь добр, называй Кайдар-ага.

— Это за какие еще такие заслуги? Что вы сделали для нашего театра?

— Арыстан-ага, перестаньте, — вступается Ултуган. — Человек первый день у нас работает, а вы на него напали.

— Я работаю первый день, но я мечтал об этом всю жизнь! — громко говорит Кайдар, сердито глядя на Арыс-

тана.— Я люблю театр, я уважаю театр, я всю жизнь хотел работать в театре, и разве я виноват, что пришел сюда так поздно?

— Ну, раз вы в театре не случайный человек, то не сердитесь и простите меня,—говорит Арыстан потеплевшим голосом.— Я и сам люблю театр. Люблю больше всего на свете, так что я понимаю вас. А сначала я подумал, что вы из тех старичков, которые тепленькое местечко ищут и пекутся только о своем покое,

— Умный человек должен понимать, что все время думать о своем покое — это еще хуже, чем прожигать жизнь,— роняет старик.

— Правильно! — радуется Арыстан и торжественно встает, протягивая руку: — Давайте знакомиться. Арыстан.

— А я буду Кайдаром,— говорит Кайдар, не поднимаясь.

— Ну вот и получается, что мы с вами ровесники — курдас. Вы сами не прибавили это слово «ага», из-за которого состоялось наше историческое знакомство,— смеется Арыстан, и Кайдар улыбается ему в ответ.

— Эй! — кинорежиссер дергает Арыстана за рукав.— Ну, послушай, если не хочешь делать оригинальный сценарий, может быть, нам с тобой есть смысл подумать об экранизации «Дос-Бедел-Дос» Ауэзова?

— Не сердись на меня, но я думаю, что тебе еще рано ставить «Дос-Бедел-Дос». Для этого тебе еще нужно пожить на свете, поглядеть по сторонам, почитать книги, подумать. Бывают периоды, когда искусству требуется зрелый муж, а не юноша.

— Это я — юноша? — обижается кинорежиссер.— Да у меня вон седина в волосах уже появилась...

— Я не о том. Я хочу сказать, что ты должен ДОРАСТИ до Ауэзова, если задумал ставить «Дос-Бедел...». Ведь эта пьеса — шедевр, она достойна стать в ряд лучших драматических произведений мировой культуры. Ауэзова иногда называют великим талантом, но я считаю, что это — вранье...

— Ты такие мысли брось, дорогой,— испуганно останавливает его Кайдар.— Разве можно так говорить про Ауэзова?

— Не дорогой, а — курдас, мы же условились? — смеется Арыстан.— И не только можно, но и нужно. Он — не великий талант, а наш национальный гений. Нельзя назы-

вать талантом наше природное естество! Солнце, - река, горы — не талантливы, они просто есть. Так же есть у нас, казахов, Ауэзов, и кажется, что был он у нас всегда... И всегда будет...

— Да, Фолкнер говорил, что человека можно погубить... постой, я что-то забыл его фразу!— говорит кинорежиссер.

— «Человека можно погубить, но победить его невозможно»,— цитирует Арыстан.

— Ну, пошли книжники толковать! Теперь их до вечера не остановить! — Куат встает.— Ултуган, ты идешь?

— Просто беда, что у нас Арыстан-ага такой умный,— смеется Ултуган.— Даже страшно с ним говорить, такой он мастер на всякие замысловатые речи...

Он встает. Вслед за ним — Кайдар.

— А все-таки здорово говорит мой курдас! — радуется он.— Так и кажется, что он — настоящий мудрец, у которого книжка, как в народе говорится, за щекой спрятана...

— погоди, это еще начало... Он тебе и не такие чудеса покажет,— сулит ему Ултуган.

Они уходят. Кинорежиссер тоже встает.

— У меня сегодня в Доме кино просмотр. Придешь?— с надеждой спрашивает он.

— Не знаю, ближе к вечеру видно будет,— неопределенно отвечает Арыстан.

— Ты все-таки подумай о «Дос-Бедел-Дос», подумай,— напоследок говорит ему кинорежиссер.

— И ты подумай. Хорошенько подумай,— говорит ему Арыстан.

Кинорежиссер уходит. Рядом с Арыстаном садится Салмен и жадно пьет минеральную воду.

— Ох, хорошо,— радуется он.— Где б нам можно было водицы испить, если б не этот чудотворный источник, я имею в виду наше кафе. Привет, Арыстан, свет мой...

— Скажи лучше, где б мы тогда сплетничали и ссорились,— улыбается Арыстан.

— Ох и язычок у тебя, свет мой. Такой же точно, как характер. Зачем говоришь слово «сплетни»? Выражайся культурно — «мелкие незначительные кулуарные проблемы». Я слышал, что кафе закрывать собираются, ты не слышал?

— Нет, я слышал, что театр собираются закрывать, а нас всех, во главе с режиссером, отдадут в пастухи. На джайляу. Там, говорят, от нас больше будет пользы, да и на здоровье чистый воздух хорошо влияет...

— Д-да,— смеется Салмен.— Что-то ты сегодня мрачно настроен. Хочешь, принесу тебе немного средства для поднятия духа, а?

— Сначала давай решим вопрос, не будет ли это нарушением трудовой дисциплины,— смеется Арыстан.

А тем временем на сцене продолжается репетиция «Великого Ромула». Играют Атанай — Великий Ромул и Ултуган — Одоакр.

А т а н а й (Ромул). Всю жизнь я отдал на то, чтобы приблизить день, когда Римская империя рухнет. Я считал себя вправе судить Рим, раз я сам готов был умереть. Я требовал от моей страны неслыханных жертв, поскольку я жертвовал собой. Я спокойно смотрел, как льется кровь моего народа, который я обезоружил,— ведь я решил пролить свою собственную кровь. И вот я должен жить. Моя жертва не будет принята. Мне суждено быть тем единственным, кто уцелеет. Мало того. Перед твоим приходом мне сообщили, что моя дочь, которую я люблю, погибла вместе с женихом. Погибли моя жена и весь мой двор. Я принял эту весть с легкостью — ведь я думал, что сам умру, а теперь эта весть беспощадно меня разит, безжалостно меня опровергает. Все, что я делал, стало бессмыслицей. Убей меня, Одоакр.

У л т у г а н (Одоакр). Ты это говоришь от горя. Преодолей свою боль и прими меня в подданство.

А т а н а й. Ты боишься? Победи свой страх и убей меня.

У л т у г а н. Ты думал о своем народе, Ромул, подумай теперь о своих врагах. Если ты не примешь меня в подданство, если мы с тобой не будем действовать, мир достанется моему племяннику. Тогда возникнет новый Рим — германская империя, столь же брменная, как и Римская, и столь же кровавая. Если это случится, дело всей твоей жизни — гибель Рима — и впрямь станет бессмыслицей. Ты не вправе растоптать собственное величие, Ромул, ты — единственный человек, который умеет править этим миром.

А т а н а й. Я больше не могу, германец. Даже если бы и хотел. Ты выбил у меня из рук оправдание моих поступков.

У л т у г а н. Это твое последнее слово.

А т а н а й (преклоняя колени). Убей меня! На коленях тебя молю!

Ултуган. Я не могу тебя заставить помогать нам. Дело плохо. Но я не в силах тебя убить. Я ведь люблю тебя.

Голос режиссера. Все! Спасибо!

Атанай и Ултуган снимают костюмы и уходят со сцены.

А в кафе продолжается беседа Арыстана и Салмена.

— Ну, свет мой Арыстан,— говорит Салмен, поднимая бокал.— Давай!.. За твою гениальную пьесу!..

— За ее гениальных слушателей! — Арыстан тоже поднимает бокал.

— Признаться, ни один актер ничего в ней не понял,— вздыхает Салмен.

— Успокойся, режиссер тоже ничего не понял,— бросает Арыстан.

— Перестань, так нельзя говорить! — Салмен пугливо озирается по сторонам и заканчивает шепотом: — Считаю, что я этого не слышал. А тебе я одно скажу: твоя пьеса — шедевр.

— Что ж ты не выступил на худсовете? — внимательно смотрит на него Арыстан.

— Разве бы мне дали слово? — смущается Салмен.— И вообще... знаешь, я главную идею твоей пьесы понял лишь сегодня ночью, а до этого мне самому там многое было неясно. Так что нечего мне тогда было сказать...

— Понятно,— задумчиво произносит Арыстан и, видимо решив сменить тему разговора, осторожно спрашивает: — Ну как, ты на могилу Газекен до сих пор каждый день ходишь?

— А как же! — грустно отвечает Салмен.— Худо мне без нее, все время ее вспоминаю, о ней только и думаю...

— Я читал, что, когда Толстому приснилась мать, умершая много лет назад, он оросил слезами свою седую бороду и сказал: «Оказывается, в этом мире ты мне была единственной защитой и опорой!» А было ему тогда около восьмидесяти лет, представляешь?

В дверях появляется Онтай, и Салмен, не успев ответить, сердито отворачивается.

— Что случилось? — спрашивает его Арыстан.

— Не люблю я этого проходимца! — цедит сквозь зубы Салмен.— Как подумаю, что мне всю жизнь с ним на одной сцене играть, так повеситься хочется...

— Ну, уж это ты чересчур,— не соглашается Арыстан.— Онтай неплохой парень, а недостатки у всех есть.

— Это ты называешь недостатками? — сердится Салмен.— Да он же полная бездарь...

— Я вам не помешал? Салмен, я не помешал тебе, как ты говоришь, решать «мелкие незначительные кулуарные проблемы»? — поддевает Онтай Салмена.

— Ты это... ты брось свой шутовской тон,— сердится Салмен.— Ты, вместо того чтоб кривляться, лучше бы на сцене создал хоть один приличный образ.

— Приличный образ — это по твоей части, почтенный Салмен-ага,— смиренно отвечает Онтай.— А я уж дождусь лучших времен, не стану тебе на пятки наступать.

— Ну вот, только бы тебе трепаться,— снова огорчается Салмен.

— Ладно, пора на сцену,— говорит Арыстан, поднимаясь.

За ним идут Салмен и Онтай, продолжая на ходу свою беззлобную перебранку.

Мы вновь в зрительном зале. Труппа готовится репетировать пьесу Ауэзова «Абай». На сцену выходят Салмен и Тарпан, одетые в богатырские доспехи.

В ожидании знака режиссера они тихо переговариваются.

— Что-то ты совсем у нас старенький стал,— с сочувствием говорит Тарпан.

— Что ты сказал? — Салмен молодецки поводит плечами.— Да я еще тебе сто очков вперед дам...

— Как знать, как знать,— посмеивается Тарпан.— Ростом ты, конечно, вышел, а вот силой я бы с тобой померился.

— Да я тебя в порошок сотру! — грозно говорит Салмен.

Они бьются бутафорскими копьями, и Куат разнимает их.

— Эй, вы что не поделили, старики? — спрашивает он.

— Шутку не поделили. А ты отойди в сторону, не мешайся,— сердито говорит ему Тарпан.

— Прошу прощения, но я подумал, может быть, мои высокие коллеги всерьез сцепились, а раз в шутку, то — пожалуйста, продолжайте! — Куат, сделав царственный жест, уходит.

— Надо же, позволенья мы у него будем спрашивать,— бормочет Тарпан.— Не люблю я этого парня, посмеивается, посмеивается, а сам того только и хочет, чтобы мы или покалечились, или вообще с лица земли исчезли.

— Ну, это уж ты чересчур,— заступается за Куата Салмен.— Ему ведь, по совести сказать, нужно сделать еще одно усилие, и он может в народные артисты выйти...

— Какой из него народный артист?! — презрительно кривится Тарпан.— Ты вспомни, какие были у нас великие старики и как мы их уважали? Да вот хотя бы Ерекен покойный. А эти, молодежь, даже и сыграть-то толком не могут. Чуть что — выкатят глаза, бесстыдники, или орут, будто их грабят...

— Нет, в Куате все же что-то такое есть. Вот из Онтая, по-моему, толку никакого не выйдет,— говорит Салмен.

— А по мне, так из Куата. Онтай — вежливый и почтительный...

— Ладно, не будем о них спорить. Что нам на мелочи размениваться! — Тарпан хлопает себя по колену.— Ты мне вот что скажи: ты долго бобылем собираешься жить?

— Ты к чему это? — насторожился Салмен.

— А к тому, что женился бы ты на Малике. Она одинокая, и ты теперь одинокий. И знаете вы друг друга вон уже сколько лет...

— Но она близкая подруга Газизы,— возражает Салмен.

— Была! Была подругой! — безжалостно чеканит Тарпан.

— Убить ты меня хочешь, что ли? — тихо говорит Салмен.

— Вот дурачок! — Тарпан подмигивает Салмену.— Заодно узнаешь, что это такое — старая дева...

— Замолчи! Слушать тебя противно! — не выдерживает Салмен и отворачивается.

Но Тарпан не успевает на него рассердиться, ибо режиссер уже кричит из зала:

— Все! Приступаем! Кобыланды, Караман и Батыр-Карлыга.

С а л м е н (в роли Кобыланды). Эй, ты жив?

Т а р п а н (в роли Карамана). Лучше бы мне умереть, чем так жить.

С а л м е н. Не рыдай, как осиротевший ягненок. Лучше бы очи мои померкли, чем мне видеть такое. Я считал тебя храбрым другом, а ты ходишь как попрошайка...

М а л и к е (в роли Карлыги). Как попрошайка?..

— Стоп! — режиссер останавливает репетицию.— Малике, поймите, что это не праздный и не пустой вопрос. Про-

износить его скороговоркой нельзя. Вы должны передать тяжкие сомнения гордой девушки Батыр-Карлыги. Честь ее задета словом, Карлыга вспыхнула от гнева...

— Сейчас .. сейчас... Я снова начну,— говорит Малике.

— А вы должны точнее передавать интонацию, краски, одним словом, все оттенки речи Кобыланды. Ведь от его голоса камни с гор катились!..

— О чудо! И откуда он только все это знает? Говорит, будто сам был сарбазом Кобыланды,— удивленно шепчет Кайдар.— Вот что значит ученый человек, вот что значит умный человек...

— Начнем сначала? — предлагает Салмен.

— Нет... Потом. Сейчас продолжим. Тареке, теперь ваша очередь,— обращается режиссер к Тарпану.

— А может, лучше снова начать? — увлеченный зрелищем, невольно вмешивается Кайдар.

— Я сказал — продолжим. А вы, Кайдар-ага, пожалуй ста, не мешайте нам. Идите и работайте,— режиссер сердится и стучит по микрофону.— Почему не работает микрофон?..

— Сейчас, сейчас наладим,— слышен чей-то голос за кулисами.

— Прости, дорогой,— говорит Кайдар режиссеру.— Но работу я уже сделал. Ведь это не говьяжки туши на мясокомбинате таскать, ведь это искусство, я понимаю... Не знаю почему, но мне все время хочется тебя слушать. Уж больно прекрасно ты говоришь!

Все смеются над словами Кайдара.

— Хватит веселиться! Давайте работать! — останавливает актеров режиссер.— Тарпан, начинай!

Т а р п а н (Караман). Кобыланды, знай, что и твоя судьба, и ключи от зиндана, и вся сила охраны в руках Карлыги. Я пришел по ее приказанию.

С а л м е н (Кобыланды). Каковы ее требования?

Т а р п а н. Она говорит, пусть Кобыланды откажется от своих враждебных намерений.

С а л м е н. И что предлагает взамен?

Т а р п а н. Свое благорасположение. Говорит, я выпущу его из зиндана, но он будет от меня зависим.

С а л м е н. Я должен предать позору свой народ?

Т а р п а н. Ради них вы должны сначала освободиться...

С а л м е н. Приобрести свободу, отдав себя в рабство?

— Стоп, Салмен! — перебивает его режиссер.— Мы должны слышать голос своего героя, а не актерский голос.

С а л м е н (*повторяет*). Приобрести свободу, отдав себя в рабство?

— Стоп! Хорошо! Спасибо! Перерыв! — хлопает в ладоши режиссер.

Актеры расходятся по сцене, спускаются в зал. В глубине сцены задумчиво прохаживается аксакал Атанай в костюме Абая. На нем старый чапан и тюбетейка.

— Атанай, эй, Атанай! — слышит он чей-то голос и, оглянувшись, видит спешащую к нему Гаухар.

— Это ты? Откуда ты взялась? — удивляется Атанай.

— Вчера звонила тебе, говорят — болен. Сегодня звонила, сказали — ушел в театр. Ты мне нужен, я весь день тебя ищу.

— Тогда присядь, отдохни. У тебя ноги, наверное, устали. А у меня, знаешь ли, что-то все время сердце пошаливает. Иногда так сожмет, что думаешь — ну все, конец. Как у тебя дела, расскажи.

— Скоро годовщина смерти Ерекена, и я пришла напомнить тебе об этом. Лучше, думаю, сама тебе напомню, а то потом будешь обижаться.

— Не говори так. Когда ты собираешь гостей?

— Вот я и хотела с тобой посоветоваться.

— Из аула будет кто-нибудь?

— Назначим день, и я им сообщу. Только... только ведь мой Ереке не был большим начальником, так что придут лишь ближайшие родственники...

— Не говори так, — сердится Атанай. — Чтоб я таких слов никогда больше не слышал. С какой стати артист должен быть начальником. Твой Ереке был народным артистом республики, и это, на мой взгляд, бóльшая честь, чем быть начальником. Да о чем ты говоришь — ведь мы, актеры, не то что начальников, мы королей играем! Артист рождается для народа и умирает за народ. Пойми это и гордись своим покойным мужем!.. Поняла?

— Поняла, поняла, — отвечает Гаухар, слегка опешившая от его горячности. — Все, не буду тебя больше отвлекать, пошла я.

— Посиди немножко, у нас перерыв. Расскажи мне, ты в ауле-то хоть бываешь когда-нибудь?

— Ездил, пока Ерекен был жив, а теперь вряд ли туда попаду, — вздыхает Гаухар. — А уж так хочется.

— Вот-вот, я тоже скучаю по родным местам. Съездить бы в родной аул, а то и остаться там навсегда... Эх, род-

ные места!.. Придется ли еще там побывать, удастся ли вдохнуть их прохладу...

Гаухар поднимается.

— Атеке, я ухажу, не хочу тебе больше мешать. Я тебе лучше завтра позвоню...

— Хорошо, звони,— говорит Атанай, прощаясь с ней.

На сцене появляется Арыстан, и Атанай подзывает его к себе.

— Подойди сюда, сынок,— говорит он.— Я хочу тебе сказать несколько слов о твоей книге...

Арыстан напряженно смотрит в лицо аксакалу.

— Я прочел твою книгу,— задумчиво повторяет Атанай.— Хорошая книга. Ты считаешь, что искусство — это единоборство художника со всем миром, соперничество и одновременно единение его с миром. Мысль интересная, но смотри, чтоб тебя не занесло на путь звучных парадоксов и каламбуров. Будь справедлив и знай меру. Мне нравится твой орлиный полет, но смотри не превратись на лету в ворону, мой хороший брат. Работай, я верю в тебя...

Арыстан от волнения не может вымолвить ни слова. Атанай с доброй улыбкой глядит на него.

— Куат и Онтай! На сцену!— командует режиссер, и в зале снова гаснет свет. Репетируется отрывок из пьесы Ауэзова «Абай».

Куат (он играет Керима). О боже, я был невиновен!

Онтай (Магауйя). На языке у тебя аллах, а на руках — кровь, кровь друга, который поверил тебе. Кого ты можешь пощадить, черный дьявол с каменным сердцем? Кто не стонет от тебя? Продашь, не сегодня, так завтра, продашь еще многих. Вяжи! Держи! Бросай на шею аркан! Убей коварного!

У Магауйи, который рванулся к Кериму, внезапно хлынула изо рта кровь.

Онтай. Проклятие!

Атанай (Абай). Кровь, крови! Мой Магаш, что с тобой? (Обнимает его. Магаш сползает на пол.)

Асия (играет Айгерим). Вырастила щенка, а он теперь бросается на хозяина, так говорил Абай! (Указывает Кериму на дверь.) Ты и есть тот самый подлый? Так будь ты проклят! Убирайся вон! Надень на себя хомут проклятия! И сгинь! Если ты мужчина, то походи и умри! Вон!

Керима прогоняют. Люди молча окружают Магауйю.

А т а н а й. Эй, проклятое время, какое зло ты еще утаило от меня? Какого яду я еще не испил? Посмотри на мое сердце. Осталось ли там еще место без раны? За что мы переносим столько горя, в чем моя вина? Или завидуешь слабому дыханию моей многострадальной груди? Моим тоскливым ночам? Или дням моей жизни, которые темнее ночи? (*Обнимает Магаша. Вздыхает.*) Как? Как? Скажите мне, что все это? Кровь, кровь это? Кровь неостановившегося сердца?

Магаша уносят. Абай остается один.

Кто народ? Это вы народ? Они — это и есть народ? Было ли время у тебя, когда тебе было стыдно за прошлое и страшно за будущее? Айдар... Теперь — я... Ты пришел, чтобы бросить колючки в землю, которой прикроют мое лицо? Но яд опасен лишь без противоядия. Завтра родится новый день и придет повое поколение... И оно проклянет вас...

— Прекрасно играет Атеке,— шепчет Онтай Ултугану.

— Голос какой у него, боже! — шепчет Ултуган.

А т а н а й. Проклянет вас... (*Хватается за сердце.*)

— Стойте! Стоп! Поддержите его! — кричит режиссер.

А т а н а й. Это проклятие... постиг...ло...

— Да вы все остолбенели, что ли?! — кричит главный режиссер, выбегая на сцену.— «Скорую!» Немедленно вызовите «скорую!» Дайте воды!..

Все бегают, суетятся. Слышны голоса: «Приступ! Сердце! Давай! Быстрее!»

Раздается сирена «скорой помощи», и вскоре появляются санитары с носилками и врач.

— Осторожнее! Осторожнее, я вам говорю,— слышен голос режиссера.

Атаная уносят.

Сцена затемняется, и, когда свет включается вновь, мы видим лишь Кайдара, который молча носит за кулисы предметы реквизита. Утомившись, он присаживается на крайшек той роскошной бутафорской кровати, где когда-то спал Куат.

Да вот и сам Куат. Он почему-то возвратился и, тихо ступая, подходит к старику.

— Кайдеке! — окликает он Кайдара.

— Что? Это опять ты? — испуганно вскидывается Кайдар.

— А вы опять испугались?

— Чего мне, спрашивается, бояться? — недовольно отворачивается старик.

— Я вас хочу спросить, вы сны видите?

— Странный вопрос. Сны все видят, — отвечает Кайдар.

— А что вы видите во сне?

— А! — Кайдар машет рукой. — Какие могут быть сны у старика? Снятся одни смерти да несчастья!

— И я последнее время вижу себя во сне мертвым! — зловещим шепотом сообщает Куат.

Старик с удивлением смотрит на него.

В это время через авансцену идет режиссер.

— Кто же все-таки сыграет теперь Отелло? — печально спрашивает он сам себя.

— Я, я сыграю, — тянется к нему Куат.

Но режиссер проходит мимо, не обращая на него ровным счетом никакого внимания.

— Такое ощущение, что он тоже спит, — бормочет Куат.

— Это у него, наверное, от усталости, он много работает, — утешает его Кайдар.

Куат зевает и, не раздеваясь, падает на кровать.

— Что? А? Я немножко подремлю, — бормочет он, засыпая. — Я вам расскажу потом... свой сон... И вы мне расскажете... когда... увидите... сон...

Спит. А Кайдар все таскает и таскает предметы реквизита.

На авансцене появляется его старуха, и пройдет немного времени, прежде чем мы поймем, что этот примечательный диалог — воспоминание Кайдара.

Старуха. Ты бы поел...

Кайдар (*продолжая работать*). Режиссер велел прийти пораньше.

Старуха. Все этот киятр! Садись перекуси, чашку чая выпей, а то я одна остаюсь, и мне кусок в горло не идет.

Кайдар. Не «киятр», а театр. А поем я в нашем кафе.

Старуха. Что это за капе еще?

Кайдар. Место, где артисты кушают.

Старуха. Смотри не свихнись с ума на старости лет вместе со своими артистами.

Кайдар. Нету толку в старике, если он не выжил из ума.

Старуха. Э-э, что говоришь! Тебя погубили эти «каструли», на которые ты в прошлый отпуск записался.

К а й д а р. Во-первых, не «каструли», а гастроли. А во-вторых, вспомни, сколько денег я тогда заработал.

С т а р у х а. Будь они неладны, эти деньги.

К а й д а р. Чувствую, что твой подтекст — наш единственный сын, а сверхзадача — деньги.

С т а р у х а. Точно свихнулся! Ведь болтаешь невесть что!

Кайдар на секунду прекращает работу.

— Нужно было нашего сына Нурлана с самого начала отдать учиться в театральное училище. Был бы Нурлан сейчас режиссером, сидел бы за столиком с зеленой лампой,— мечтательно говорит он.

— Ты хотел бы и ему голову задурить среди этих сумасшедших! Нет уж, пусть лучше прорабом работает на строительстве. И если в каждом доме должен быть сумасшедший, то у нас уже один есть. Это — ты. Добился ты наконец своего на старости лет!

— Хватит! Прекрати! — сердится Кайдар.

— Молчу! Молчу!

Старуха исчезает, а Кайдар продолжает работать.

Он снова устанавливает декорации, снова таскает столы, стулья... И мы снова видим, что делает он свое дело, несмотря на усталость, аккуратно, скрупулезно, с заметным удовольствием.

И на этом заканчивается первая часть нашего правдивого повествования о жизни одного театра, но, прежде чем переходить ко второй его части, давайте попытаемся предположить, что все-таки видит во сне этот таинственный сневидец, заслуженный артист Куат.

СОН КУАТА

Кровать со спящим Куатом сама собой выдвигается в центр сцены.

К спящему Куату подходит его жена Тамара. Она почему-то вся в черном.

— Сегодня у меня консультация. Я вернусь поздно. Сможешь сам разогреть себе ужин? — тихим голосом спрашивает она.

— Могу,— отвечает спящий Куат, не поднимая головы.

— У меня на самом деле вечером консультация. Студент нынче совсем бестолковый пошел, совсем учиться не хочет... — жалуется Тамара.

— Мы в свое время такими же были,— утешает ее Куат.

— Вот и приходится допоздна сидеть на консультациях,— настаивает Тамара.

— Сегодня будут распределять роли. Кому же достанется роль Отелло? — тоскует Куат.

— Конечно, тебе! Тебе, мой милый! — уверенно говорит Тамара.— Ведь ты самый талантливый актер в театре. Ну, я пошла. Консультация! Консультация!

Она отходит на несколько шагов, и тут же, как из-под земли, вырастает элегантный мужчина и берет ее под руку.

— Поедем на дачу или посидим в ресторане? — спрашивает он.

— Вот так консультация! — вопит Куат.— О, я, кажется, умираю! Да! Да! Я умираю! Точно умираю! Я не могу двинуть ни рукой ни ногой. Я не в силах дышать. Челюсти мои сжаты, зубы стиснуты. Холодно! Холодно! Я хочу крикнуть, но голос мой пропал. Ай! Тело мое леденеет. Говорят, что Павлов, умирая, диктовал своим студентам, что он ощущает. Студенты плакали. Я читал об этом у Шукшина.

Торжественной поступью идут Ултуган, Онтай, Тарпан и Салмен.

Они ставят рядом с кроватью громадный гроб, кладут туда Куата и суют ему в руки газету.

— О ужас! — бормочет Куат.— Некролог. «Областной театр драмы сообщает о внезапной смерти актера Куата Кынышбаева и выражает соболезнование его родным и близким». Ужас! Всего шесть строк! Даже фотографии нету. И забыли написать, что я не просто артист, а заслуженный артист! Не рассказали о моем творческом пути, не подписались «группа товарищей». Это все интриги, интриги! А что еще в газете? «Вести с континентов», «На шести материках», «Программа телевидения»... А это еще что такое? «В гостях у Музы». Фотография Ултугана и его стихи. Так... Стихи... Отвратительные стихи, а фотографию его все-таки напечатали — вон как усы торчат!.. Тигр, а не поэт. И как он смеет называться актером, если даже сфотографироваться не умеет! Каким он может быть гражданином, если его физиономия так и дышит лицемерием и подхалимством! Ничего не понимаю... Можете меня воскресить, снова убить, и тогда я умру, снова ничего не поняв...

К нему подходят Ултуган, Онтай, Тарпан и Салмен.

— Нехорошо вы со мной поступили! — жалуется Куат.— Может, я и не великий актер, но ведь талантлив-то я несо-

мненно. И у меня есть пусть не великие, но все же большие возможности, а мой единственный недостаток — это то, что я никому не верю. Но кто же из нас без недостатков?

Актеры молча поднимают гроб.

— Эй, вы куда меня несете? — кричит Куат. — Не хотите меня на сцене оставить и выстроить вокруг меня почетный караул? Как вам не стыдно?..

Актеры начинают пререкаться между собой.

— Держи как следует! — ворчит Антай.

— Не командуй! Лучше сам за собой следи, — огрызается Ултуган.

В результате их манипуляций Куат вылетает из гроба и плюхается обратно на постель.

— Поосторожнее! — кричит он, но джигиты, не слушая его, уходят.

— Эй, вы меня забыли! — кричит им Куат, но похоронная процессия уже скрылась за кулисами, а перед Куатом раскинулся громадный киноэкран, глядя на который он имеет возможность любоваться собственными похоронами.

Гроб везут на открытой машине. Подле гроба сидят близкие Куата. В двух автобусах, желтом и синем, едут артисты театра.

— Смотри-ка ты! — бормочет Куат. — В синем автобусе все начальство. И директор, и режиссер, и народные, и заслуженные, а в желтом одна, как говорится, «творческая молодежь» плюс те, кто уже потерял надежду получить звание. Молодежь... Избасары, так сказать, идущие по следам. По нашим следам.

Крупным планом лицо Ултугана.

— Это по чьим еще следам мы идем? — сердито спрашивает он.

— По нашим, — отвечает Куат с кровати.

— А если я не хочу идти ни по чьим следам, что прикажешь мне делать?

— Парень, если ты слеп, то другие вовсе не обязаны щуриться, — холодно говорит Куат.

Ултуган оглядывается по сторонам и демонстративно становится на четвереньки, вглядываясь в землю.

— Где следы? Нет следов! А это значит, что ты слишком много на себя берешь. Правильно говорил Атанай-ага: преемничество — это не коллективное дело. Навыки один человек может передать другому, но талант передать невозможно...

— Вот еще Атаная зачем-то приплел,— недовольно ворчит Куат.

А процессия продолжает свое скорбное движение.

В СИНЕМ АВТОБУСЕ

— Эй, Тарпан, закурить есть?

Тарпан достает пачку дешевых папирос, но режиссер молча лезет к нему во внутренний карман и достает оттуда сигареты «Мальборо».

— Не старайся быть хитрее, чем ты есть на самом деле,— назидательно говорит он Тарпану.

— Да ты, я вижу, хват!— пряча глаза, говорит Тарпан.

— Что? Ты, никак, дерзить мне взялся? Смотри, Тарпан, до твоего юбилея осталось совсем немного, а от юбилея до пенсии еще меньше...

— Я не хочу на пенсию,— говорит Тарпан.

— Тогда научись уважать начальство. И давай то, что ему положено, не дожидаясь, когда оно, то есть начальство, унижится до просьб. Ты понял меня?

— Понял, понял, ох на своей шкуре понял,— угодливо хихикает Тарпан.

— То-то,— удовлетворенно резюмирует режиссер.

Другие артисты тоже закуривают, и постепенно автобус наполняется сизым табачным дымом.

— Дорогой Куатжан! — внезапно начинает всхлипывать Малике.— Ведь еще вчера ты был среди нас: ходил, смеялся... А сегодня тебя уже нет, и ты не смог до конца раскрыть свой незаурядный талант. И до звания народного не дожил — да будь земля тебе пухом...

— Какая умная! — уважительно говорит Куат.— Как она хорошо сказала: «незаурядный» — нужно запомнить.

— Это мы, мы во многом виноваты,— продолжает причитать Малике.— Не создали ему условия, не дали роль Отелло, смеялись над ним.

— Как над ним не смеяться, когда он был настоящим шутком гороховым. Все ходил да ко всем приставал со своими идиотскими снами,— грубит Онтай.

— Ах ты, пес! — приподнимается Куат.— Так ты меня благодаришь за то, что я тебе гарнитур достал.

— А гарнитур твой оказался бракованным! — отвечает ему Онтай.

В ЖЕЛТОМ АВТОБУСЕ

— Да, если бы Куат получил роль Отелло, то он был бы сейчас жив и здоров. Не выдержал он такой жестокости родного коллектива и умер, не сказав ни единого слова,— плачет Асия.

— Молодец, Асия! Добрая женщина!— хвалит ее Куат.

— Спасибо,— скромно отвечает Асия.

— Куат — Отелло? Ну, уж это слишком, я вам скажу. Я вам скажу, хоть мы и на похоронах, что Отелло — это такой образ, который нашему покойнику явно был не по зубам,— высокомерно цедит Ултуган.

— Не зазнавайся! И помни, что ты получил эту роль лишь благодаря тому, что Куат умер. Хотя бы за это будь ему благодарен! — останавливает расходившегося Ултугана Асия.

— Молодец, Асия! Здорово ты его! Молодец, право слово, молодец! — шепчет Куат.

— Эй, дети, нельзя об умершем говорить плохо, это большой грех, и он всю жизнь будет на вашей совести,— вмешивается в разговор рабочий сцены Кайдар.

— Это еще что тут за святоша нашелся? — удивляется Ултуган.— Ишь заладил — грех да грех, а сам, видать, по пояс в грехах увяз.

— Не говори мне худых слов, сынок,— обижается Кайдар.

— А что, разве я не прав? Ну, говори — водку пил?

Кайдар молчит.

— В карты играл?

Кайдар кашляет.

— На чужих жен засматривался?

Кайдар улыбается.

— Овец в колхозе воровал?

— Вот уж чего не было, того не было,— обижается Кайдар.

— Ты что напал на старика? У него сердце больное! — вступает за Кайдара Арыстан.

— А как он, по-твоему, жив остался в голодные годы? А? Пусть расскажет.

— Не слушай, Кайдар-курдас, этого дурачка,— обращается к опечаленному Кайдару Арыстан.— А с роли Отелло его снимут, уж я постараюсь...

— Bravo, Арыстан! — ликует Куат.

НА ОТКРЫТОЙ МАШИНЕ

На открытой машине — слезы и молчание. Жена Куата, Тамара, надвинув на глаза черный платок, скорбно глядит на гроб, но потом, скользнув рассеянным взглядом, подмигивает мужчине, сидящему за рулем легкового автомобиля. Мужчина посылает ей воздушный поцелуй, и Куат с огорчением узнает, что это тот самый «студент», с которым она отправилась на «консультацию».

— Вот те на! — шепчет Куат. — Как принц Гамлет выразался — башмаков износить не успела, мерзавка!..

В СИНЕМ АВТОБУСЕ

— Ну, избавились с божьей помощью еще от одного осла, — бормочет режиссер. — Думал, поседею, пока из него актера сделаю — каждую мизансцену ему нужно было по десять раз растолковывать!.. А ведь, нахал, претендовал на роль Отелло! Не наглость ли это! Теперь Тарпан Отелло будет играть. Он, правда, актер совсем никудышный, еще хуже, чем Куат, но зато уважает начальство, а это, может быть, самый большой талант на земле...

— Но ведь ты говорил, что лучше меня для этой роли нет актера! Бессовестный ты человек! — не выдерживает Куат.

Пораженный режиссер, раскрыв от удивления рот, оглядывается по сторонам, не видя Куата.

— Почудилось мне, что ли? — бормочет он.

— И вовсе не почудилось, хитрая лиса! — снова сердится Куат. — Ты говорил: «Без вас я ничего не стою, Куат-ага! Плох генерал без хорошего солдата, Куат-ага». Говорил или нет?

— Ну, говорил, — вынужден признаться режиссер.

— Ага! Признался! Наконец-то я заставил его признаться! Хотя... что стоит его признание, если он тут же снова может меня обругать... — горюет Куат.

Режиссер все еще вертит головой.

— Нет, все-таки почудилось, — решает он.

— По сколько будем для его семьи собирать? — спрашивает Онтай.

— Я предлагаю по пятерке, — говорит Тарпан.

— Да ты что? Ведь мы давно договорились — заслуженному артисту полагается десятка, народному — пятнадцать, простому — пять, — напоминает ему Салмен.

— Ну, не знаю,— ворчит Тарпан.

— Смотри,— говорит ему Салмен.— Есть пословица: бросишь в прошлое камешек — возвратится камень.

— И по лбу тебе! — добавляет Онтай.

Артисты громко смеются.

Куат от злости закрывает глаза.

— И этих людей я считал своими братьями по искусству. Мал комар, да жалит больно...— шепчет он.

А когда открывает глаза, то видит, что актеры уже снова садятся в автобусы.

— Почему вы меня так быстро закопали?! — кричит он.— И слова прощального не сказали.

— Какая тебе разница? Не помогут тебе больше никакие слова,— дерзко отвечает режиссер.

— Казахи вы мои, казахи! — Куат плачет, обхватив руками голову.— Почему вы даже мертвому шлете вслед проклятия? А ты, режиссер, почему ты так испорчен? Я все могу понять, только злоба людская — вечная для меня загадка.

Режиссер хлопает дверцей.

— Трогай! — говорит он шоферу синего автобуса.

Ултуган хлопает дверцей.

— Трогай! — говорит он шоферу желтого автобуса.

Жена Куата, Тамара, хлопает дверцей автомобиля.

— Трогай,— говорит она своему элегантному спутнику.

— Каким слепцом я был! На Асии! На Асии мне нужно было жениться, идиоту! — стонет Куат, колотя себя кулаками по голове.

Экран уплывает в театральное поднебесье, и на сцену выходит старик с громадной бородой и суковатой палкой:

— Я считал тебя высокой волной, а ты просто пена от схлынувшего вала! Кто ты? Росток ли, который сгнил, не успев распуститься, колодец ли, засыпанный песком, свеча ли, погасшая, прежде чем зажечься? Выбирай!..

— Боже мой, да это, никак, Атанай! Этот-то еще откуда взялся? Ты чего, дедушка, болтаешь?— развязно спрашивает Куат.

— Меня убивают твоя темнота и невежество! — гневно говорит старик.— В твоем сердце нет тепла. Твоей душой овладели демоны подозрительности и кровожадной коварности! Эти демоны, как стая волков, напали на тебя. Они грызут тебя и наслаждаются своей сытостью!.. И лишь теперь, когда ты сам стал жертвой, ты наконец понял, что это значит — терзать, рвать, глотать, убивать...

Куат вздымает руки.

— Сгинь! Пропади! Изыди! — кричит он.

Резко звонит будильник. Куат, вздрогнув, озирается по сторонам и радостно смеется.

— Опять я заснул. И опять мне снится черт знает что! Как бы и на самом деле богу душу не отдать, пока «Отелло» треклятого распределят. Вставай, Куат-ага, тебя ждут великие дела.

На сцене появляется Кайдар.

— Вас жена звала к телефону, а я сказал, что вы спите, — сообщает он.

— Жена? Что ей нужно? — рассеянно спрашивает Куат.

— Она просила передать, что вечером уходит на консультацию и придет очень поздно. Чтоб вы сами без нее ужинали.

Пораженный Куат в упор смотрит на него и встряхивает головой.

— Послушай, Кайдар-ага, скажи мне, только честно, — я сейчас сплю или нет? — спрашивает он.

— Да кто ж вас знает! — искренне отвечает Кайдар.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Снова зрительный зал. Снова сцена. Снова Кайдар устанавливает декорации и носит реквизит.

— Эй, курдас, запарился? — окликает его Арыстан. — Пошли ко мне, чешским пивом угощу.

— Нет, спасибо, не обижайся, но работы очень много, — отвечает на ходу Кайдар.

— Я вижу — ты несгибаемая личность. Ничем тебя не соблазнить, верно, — смеется Арыстан.

— Совершенно верно, — улыбается Кайдар.

По авансцене идет Куат и сталкивается с Ултуганом и Куляш.

— Здравствуйте, молодые люди, — говорит Куат и вдруг обращается к Ултугану: — Скажи, пожалуйста, браток, ты случайно не пишешь стихи?

— Так, все понятно. Наш агай опять видел недобрые сны, — улыбается Куляш.

— Угадала, черт бы их побрал! — сознается удрученный Куат и неожиданно хватается Ултугана за нос. — Чужой нос другим соблазн. Кто сказал?

— В данный момент — вы, — говорит Ултуган, отстраняясь от него.

— Козьма Прутков это сказал. Понял? Чтобы стать великим актером, нужно знать слова великих! — нравоучительно произносит Куат и смешивается с толпой актеров.

— Здравствуй, Кайдаржан, — останавливает Кайдара Салмен.

— Приветствую, — сдержанно отвечает Кайдар, не прекращая работы.

— Ловко у тебя получается, — хвалит его Салмен. — Великий Станиславский говорил, что театр начинается с вешалки, а я добавлю — и с рабочего сцены. Хотя конечно же главное лицо в театре — актер. И судьба театра в руках актера. Актер — это великая сила. Именно актер, а не режиссер, как многие думают. Здесь как на войне — генерал отдает приказ, а сражение выигрывает солдат. Ты согласен со мной, что актер — это великий человек?

— Согласен, если у этого актера есть свой, индивидуальный почерк, — отвечает Кайдар.

— Что, что ты сказал? Какое ты слово сказал? — Салмен не верит своим ушам.

— Почерк. Свой, индивидуальный почерк — он нужен и режиссеру, и актеру, и театру. Без своего взгляда на мир не существует искусства, — спокойно говорит Кайдар.

— Вот оно — влияние Арыстана, — сердится Салмен. — Нахватался у него всяких пустых слов и мелешь новость что!.. Подумал бы, прежде чем рассуждать о вещах, в которых ты ровным счетом ничего не смыслишь.

— Хорошо, я подумую и об этом, — смиренно отвечает Кайдар.

Салмен ворча удаляется. Кайдар заканчивает работу и спускается в зрительный зал.

— Здравствуйте, Кайдар-ага, — слышит он голос актера Онтая. — Как жизнь, чего нового?

— Э, чего там! — Кайдар машинально достает сигареты и тут же прячет их. — Живы-здоровы помаленьку. Ты лучше скажи, как дела у Атаная? Скоро его выписывают?

— Да, знаете, — мнется Онтай. — Я никак до больницы добраться не могу, все времени нет.

— Понятно! — Кайдар отворачивается.

— Что-то вы невеселы сегодня, Кайдар-ага, — Онтай садится рядом с ним. — Я, например, всегда голову высоко держу и виду не показываю, если даже у меня не все ладно.

— Что толку высоко держать голову, когда голова пустая? — сердится Қайдар. — Гремит, как пустое ведро, вот и всего толку с нее...

— А вы за словом в карман не полезете, Қайдар-ага! — хохочет Онтай. — Если б вы в свое время выучились, наверняка ходили бы сейчас в больших начальниках.

— Если б я выучился, эх, если б я выучился! — вздыхает Қайдар. — То я бы не начальником стал, а артистом или режиссером.

— Ну уж вы скажете, — говорит Онтай. — Вот я, например, артист, всю жизнь артист, а что толку? А начальник — это начальник.

— Ну, не все ж такие артисты, как ты, — говорит ему Қайдар.

— Что?.. Это вы, значит, ТАК обо мне думаете? — вскипает Онтай.

— При чем здесь я? Ты сам так о себе думаешь...

— Черт! Крепко вы мне врезали! — бормочет Онтай, вертя головой. — А вы знаете, ведь в ваших словах есть истина. Каким человек себя видит, таким и другие его начинают видеть. Черт! Стоит мне задуматься над вашими словами.

— Здорово, аксакалы! — приветствует их Куат, на ходу пожимая им руки.

Онтай обнимает его за плечи и говорит Қайдару:

— Вот человек, который, в отличие от других, слов на ветер не бросает. Слово его — закон. Как скажет, так и будет.

— А-а, — догадывается Куат. — Ты вон о чем? Значит, понравился гарнитур твоей байбише?

— Мировой гарнитур! Моя царица приглашает вас с Тamarой в гости.

— Что ж, обмоем покупку, погуляем, пока не приступили к «Отелло», — благодушно изрекает Куат.

— Ты не знаешь, кому дают главную роль? — любопытствует Онтай.

— Откуда мне знать, — якобы равнодушно отвечает Куат.

Вбегает кинорежиссер. Он суетлив и озабочен.

— Салют! Где ваш главный? — торопливо спрашивает он.

— Еще не пришел, — отвечает Онтай.

— Что делать? Он мне позарез нужен, — огорчается кинорежиссер.

— Ты лучше скажи, когда меня на кинопробу пригласишь? — пристает к нему Онтай.— А то скачет задравши нос... Подумаешь, киношник!..

— Кино, между прочим, это не ваша пыльная сцена,— кинорежиссер тут же принимает вызов и ввязывается в словесный бой.— Кино, во-первых, огромное хозяйство, но не это главное. Кино — будущее нашего национального искусства...

— ...а театр — весь в прошлом, да? — перебивает его Куат.— Слышали мы эту сказку, не раз слышали, но театр, слава богу, существует тысячелетия и никогда не умрет.

— Разве я сказал, что театр умрет? — оправдывается кинорежиссер и, словно осененный какой-то мыслью, оценивающе приглядывается к Куату.— Слушай, ты не можешь сейчас со мной поехать? Буквально на десять минут. Мне нужно снять один эпизод.

— Эпизод? Какой еще эпизод? — с любопытством спрашивает Куат.

— Да пустяковый эпизод. Там и слов-то нет. Наденешь тулуп, постоишь минутку с ружьем в руках. Понимаешь, там по сценарию... ну, в общем, долго объяснять. Короче, ты будешь сторожем...

— Сторожем?! — Куат вздымает руки.— Сгинь! Пропади! Изыди!

— Что с тобой? — пугается кинорежиссер.

— Да ты знаешь ли, что я — заслуженный артист! Тьфу! Глаза б мои тебя не видели!

Круто развернувшись, Куат уходит.

— Смотри, какая важная персона! — сердится кинорежиссер.— Сам ведь любит повторять, что нет маленьких ролей, а есть маленькие артисты. А сторожа, между прочим, сам Олег Ефремов играл...

— Эй, послушай, может, я у тебя снимусь? — предлагает Онтай.

Кинорежиссер разглядывает его.

— Нет, у тебя для сторожа слишком вид интеллигентный, — говорит он и вдруг обращает внимание на Кайдара, скромно стоящего в сторонке.— Аксакал... Аксакал, можно вас на минутку? — подходит он к Кайдару.

— Называй меня «агай». Кайдар-ага. Аксакал у нас в театре один. Это народный артист Атанай,— говорит Кайдар.

— Да что это такое? — бормочет кинорежиссер.— Или я заболел, или они все с ума посходили... Рабочий сцены

берется мне нравоучения читать, Куат сниматься отказывается... Кайдар-ага, вы не могли бы минуточку постоять в тулупе и с ружьем в руках?

— Можно, отчего не постоять.

— Тогда поехали, мне кажется, вы подходите...

— Куда это я поеду в рабочее время?

— Ну... ну, я договорюсь с режиссером. Потом. И это ведь буквально на десять минут. Я на машине. Снимемся, и вас тут же обратно привезут.

— Ладно, поехали,— соглашается Кайдар.— Пока то да се, глядишь, и успеем. Декорация-то установлена...

Они уходят. Онтай остается один.

— «Вид интеллигентный!» — иронически хмыкает он.— Вот и хорошо, что интеллигентный! Значит, пора фильмы интеллигентные снимать, а не про сторожей каких-то там.

Но ему не удается вдоволь порезонерствовать, ибо в зале появляется режиссер.

— Все готовы? — спрашивает он.— Хорошо... Начали...

Гаснет свет. Освещается рампа. Актеры разыгрывают эпизод из пьесы «Абай».

На сцену выходит Салмен, который играет Абая вместо заболевшего Атаная.

Т а р п а н (Орозбай). Эй, Абай, ты знаешь все на свете, ты знаешь, где черное, а где белое, но не лезь туда, куда и тебе нельзя лезть.

С а л м е н (Абай). Нет! Я вмешиваюсь! Я буду защищать их!

— Салмен-ага, не надо так кричать,— останавливает его режиссер.— Ответ Абая должен быть спокойным и холодным.

Т а р п а н. Кем тебе приходится Айдар?

С а л м е н. Он мне дороже сына и брата.

К у а т. Он обыкновенный смутьян, который баламутит народ.

С а л м е н. Кого ты считаешь народом? Уж не ты ли народ?

К у а т. А ты думаешь, что народ — эти голодранцы?

С а л м е н. Если б ты был с народом, в тебе была бы жалость к сыну народа...

К у а т. Нет уж, я сам по себе, а эти голодранцы сами по себе..

— Что за чертовщина — куда девался свет? — кричит режиссер.— Я же просил не уводить первый прожектор.

Свет падает на сцену, ярко освещая лицо Абая-Салмена.

С а л м е н. Крошечный алмаз ценнее громадного валуна. Что мне из того, что негодяев на свете тысячи, а этот парень — один. Да, он родился не в моей семье, а у других, но он родился, и он есть. И если у вас сохранилась хоть капля разума, вы поймете, что я говорю об Айдаре!

— Салмен, я же просил — не надо кричать. Создается впечатление, что вы только для этого выходите на сцену, — сердится режиссер.

— Кто же не кричит в решающий момент? — возражает Салмен.

— Достоинство Абая было спокойным и отнюдь не суетливым, поймите это...

— Верно говоришь, дорогой мой! — неожиданно раздаётся в темном зале голос Кайдара. — Наш предок Абай разил врагов словом, а не голосом. Одни его шутки и остроты доводили баев до бешенства.

Режиссер удивленно смотрит в сторону Кайдара.

— Кто это там? Не мешайте. Продолжаем. Онтай, твой текст, — говорит он.

О н т а й (Магауйя). Не унывай и не отчаивайся, Айдар.

У л т у г а н (Айдар). Да я-то ничего, у меня шея крепкая, и я не боюсь их налитых кровью глаз. Мне жаль Абая-ага: защищая меня, он нажил себе множество заклятых врагов...

— Как здорово играет наш Ултуган, — тихо говорит Кайдар Арыстану. — Смотришь на него и веришь, что именно таким и был поэт Айдар.

— Послушайте, кто это там шепчется? — снова сердится режиссер. — Я ведь, кажется, просил соблюдать тишину. Так! Продолжаем!

У л т у г а н. Мой бедный народ, эти клыкастые хищники терзают многих твоих достойных сыновей!

Тарпан-Орозбай подходит к Салману-Абаю и в упор глядит на него.

Т а р п а н. Ты думаешь, что кого-нибудь спас своими словами?

— Свет! — кричит режиссер.

Т а р п а н. Не спас и никогда не спасешь!

С а л м е н. Выпусти не одну, а тысячу своих злых пуль, я все равно выстою.

Т а р п а н. Ты отрекся от предков, ты отрекся от родственников, и отныне ты мой враг.

К у а т. Ты сам этого хотел. Ты сам желал этой вражды...

— Музыка! — командует режиссер.

Звучит музыка.

Т а р п а н. Если это правда, что существуют духи предков, то я еще обрежу тебе и хвост и крылья.

С а л м е н. Подумай, что ты говоришь? В твоей бороде седина, но я никогда не слышал, чтоб ты призывал к хорошему. Эй, проклятое время, если уж суждено мне остаток жизни провести в борьбе, то пусть даст мне аллах врагов, хоть чуть-чуть похожих на людей...

— Абай никогда не размахивал руками, а ты машешь руками, как курица крыльями! — вдруг громко говорит Кайдар.

— Что? Это что еще такое? Это вы, Кайдар-ага? — приглядывается к нему режиссер.

— Можно подумать, что ты стоял с Абаем рядом, — не выдержав, отвечает Салмен Кайдару.

— Это было бы счастьем для меня, но я родился слишком поздно. И я хочу тебе сказать, что наш предок Абай был человеком деликатным. Если ему говорили то, что он и сам давно знал, то он не смеялся над простыми людьми. «Ойпырмай, как ты хорошо сказал, а? Как ты здорово сказал, а? Вот как, оказывается, бывает на белом свете...» — так он говорил, — увлекшись, фантазирует Кайдар.

— Прекратите, Кайдар-ага, у нас репетиция, — останавливает его режиссер.

— Как говорится, стоит рабу получить власть, как он тут же забывает о своем происхождении, — злится Салмен. — Интересно, откуда ты набрался такой ерунды?

— Мне это мать рассказала. Каждому казаху про Абая мать рассказывала. А тебе, видать, забыла, — отвечает Кайдар под громкий хохот актеров.

— Ну, хватит, все, продолжаем, — режиссер пытается урезонить труппу, но Салмен уже не в силах остановиться:

— Кто принял его в театр? Кто позволяет ему кричать на нас, людей, которые вот уже сорок лет верой и правдой служат сцене? Понимает ли он, кого учить взялся?.. А если не понимает, то кто-то специально подучивает его болтать на репетиции всякий вздор. И в конце концов, кто хозяин в театре — этот грузчик с мясокомбината или мы, актеры?.. Да знает ли он, что в годы войны мы дневали и ночевали в театре, бревна из лесу таскали, чтобы в зале было тепло,

что мы театр спасли! Знает или нет?.. И гоните его в шею отсюда...

— Салмен, не надо так меня позорить на людях,— спокойно отвечает Кайдар.— Я не сказал тебе ничего дурного, кроме того, что ты неправдоподобно размахиваешь руками. Так ведь? Так. Была бы жива покойница Газиза, и она бы тебе сказала, что ты не прав.

— Прав он или не прав, но Салмен-ага верно говорит. Не мешайте нам работать. Вы — рабочий сцены и выполняйте свои прямые обязанности, а мы уж как-нибудь и без вас разберемся,— говорит режиссер.

— Это верно... Я — простой рабочий, и ты знаешь, что я аккуратно выполняю свою работу. Но ведь я еще и зритель, а разве не ты сам говорил на профсоюзном собрании, что мы в долгу у зрителя и что нам, театральным работникам, зачастую должно быть стыдно перед ним? Так ведь? Так.

Слышны голоса актеров:

— Правильно говорит Кайдар-ага...

— В его словах есть логика...

— Правда глаза колет...

— Когда Атанай играл Абая, он руками не махал и нос не задирал...

— А, вон вы как заговорили? — от волнения Салмен еще больше замахал руками.— Значит, я верно сказал, что его кто-то подучивает. Это все интриги! Вы мне завидуете! Вам посмеяться надо мной охота!

— Вот видите,— говорит Кайдар режиссеру.— Он и сам всю руками машет и Абая заставляет махать, а разве это правильно? Нет, неправильно. Так ведь? Так.

— Эй, знаешь что! Убирайся отсюда, а потом придешь и подметешь сцену! — в бешенстве кричит Салмен.

— Ладно, не заводитесь! Кайдар-курдас верные слова говорит. Мелкий человек может так руками размахивать, а наш Абай был великим человеком и никогда бы не позволил себе таких суетливых движений,— вмешивается в спор Арыстан.

— Совершенно верно, Арыстанжан. Я только это и хотел сказать. Так ведь? Так,— соглашается сам с собой Кайдар.

— Ну погоди, Арыстан, я и тобой займусь вместе с твоим, как ты выражаешься, курдасом,— мечется по сцене Салмен.

— Да прекратите вы, в конце концов! — злится режиссер. Кардас-ага! Прекратите! Не лезьте в наши дела. И ты, Арыстан, тоже хорошо! Зачем подзуживаешь Салмена?

— Непонятно, почему его вообще пускают на репетиции! — кричит Салмен.

— А декорации ты будешь таскать? — не выдерживает Кайдар.

— Знаете, вы, в конце концов, за это деньги получаете! А мы как-нибудь и без вас обойдемся. Асия, этого человека больше не пускайте на репетиции. И — готовьте приказ об увольнении. Пожалуйста, покиньте репетицию, — обращается режиссер к Кайдару.

— Акебас я не могу, когда что-нибудь делают «как-нибудь». И в жизни мне это не нравится, а уж в искусстве — тем более. В искусстве ничего не делается как-нибудь. Искусство или есть, или его совсем нет. Одно из двух. Так ведь? Так. И если ты будешь работать как-нибудь, а людей, которые говорят тебе об этом, станешь прогонять из зала, то вместе с ними ты прогонишь и искусство, — Кайдар с волнением смотрит на режиссера.

— Я вам сказал, покиньте репетицию. И, пожалуйста, побыстрее, — повторяет режиссер ледяным голосом.

— Правильно. Гнать его! Из театра вообще гнать надо, — радуется Салмен.

— Мы ждем, — говорит режиссер, и Кайдар, опустив голову, выходит из зала.

— А ведь Кайдар-ага прав, — громко говорит Арыстан.

— Арыстан, помолчи, пожалуйста. Хватит ерничать, — обрывает его режиссер. — Саке, начните монолог сначала. Музыка!..

Тихо звучит музыка.

Салмен (Абай). Ей, проклятое время, если уж суждено мне остаток жизни провести в борьбе, то пусть даст мне аллах врагов, чуть-чуть похожих на людей, а не на злых хищников... *(Ежится, делает паузу, не в силах справиться с текстом)*. Вы? Кого вы обрадовали добрыми делами? И кого вы хотите удивить своей злобой? В тлении и дымном чаду проведете вы жизнь! А я не боюсь жизни, я жду и приму любое решение судьбы.

— Повторите еще раз последние фразы, — говорит режиссер.

Салмен. Кого вы обрадовали добрыми делами? И кого вы хотите удивить своей злобой? *(Пауза)*. А я не боюсь...

Нет, не то, не получается! Сбил меня этот проклятый старик...

— Хорошо, давайте остановим репетицию,— устало говорит режиссер.

Светлая больничная палата. На кровати, закрыв глаза, лежит Атанай. Медсестра, сделавшая ему укол, заботливо поправляет одеяло и ухаживает. Атанай, глянув на дверь, достает из-под подушки книгу, листает ее, находит нужную страницу и читает вслух:

«Умоляю, ответьте на мои вопросы:

У нас, у казахов, нет грешников среди мертвых и нет праведников среди живых. Почему?

Молодые не спорят со стариками, но старики, потеряв своих ровесников, не приходят к согласию с теми, кто жив. Почему?

Увидев в чужом роду достойного, мы поклоняемся ему, как святому, а встретив такого в своем роду, мы обижаем его и чуждаемся его. Почему?

Двум хорошим людям, живущим в одном ауле, уже тесно. А два подлеца так дружны, что их и водой не разольешь! Почему? Почему?»

В дверях появляется режиссер и, не желая мешать Атанай, нерешительно останавливается.

«Почему никто не желает своему ближнему благоденствия и возвышения? И если ближний твой случайно возвысится, ты становишься непримиримым его врагом. Почему?»

— Здравствуйте, Атанай-ага. Как вы себя чувствуете?— тихо спрашивает режиссер.

— А, это ты! — радуется Атанай.— Иди, иди, садись сюда. Что там мое самочувствие, я пока еще жив, слава аллаху, а ты вот лучше послушай эти замечательные слова нашего Абая. Какое могущество! Какая правда! С какой прямоотой он говорит! «Мало быть сыном своего отца, нужно быть сыном народа». Иногда я казню себя — ведь я в своей жизни столько раз осторожничал, приглядывался, робел. И тогда мне кажется, что я так и уйду из жизни, не сумев начать ни одного великого дела, созвучного имени Абая, уйду, так и не совершив ничего, что было бы достойно нашего великого предка... Иногда я думаю, что жизнь моя прожита зря...

— Атанай-ага, вы возводите на себя напраслину,— уверенно возражает режиссер.

— Я все понимаю, дорогой,— печально улыбается Атанай.— Зря ты меня утешаешь... Я понимаю, что прожил хорошую, яркую жизнь, но временами мне отчего-то становится так печально...

Он снова берет в руки книгу.

— «Без власти и подарков наставить казахов на путь истины советами и увещаниями невозможно. Невежество впиталось в мясо и кости народа вместе с материнским молоком и выело из него человечность. Как станешь говорить с ними, если они не понимают слов? Есть у них смешки, шепот, окрики, рычание, и они полагают, что нет ничего интереснее этих звуков. Как же с ними говорить, если они даже слушать не умеют, а все время озираются, смотрят в сторону и думают о чем-то другом? Люди гордятся не богатством, не умом, не честью — они гордятся уменьем надуть и уменьем донести».

Он откладывает книгу.

— Жестокие слова! Но назови мне казаха, который любит бы свой народ больше, чем Абай.

— Да и который говорил бы о его слабостях с такой же горечью, как Абай...

— Судить, злословить, смеяться над ошибками другого многие умеют, но Абай не судит и не злословит. Он отрекается от зла, пропитанного кровью, и мыслит о прошлом, настоящем и будущем своего народа. Он видит завтрашний день и зовет свой народ к знаниям, добру, свету. Этот смуглый старик из Чингистау опередил свое время на много десятилетий, и его по праву следует считать одним из великих мыслителей Востока...

Утомленный долгой речью, Атанай закрывает глаза.

— Атанай-ага, когда вас думают выписывать? — осторожно спрашивает режиссер.

Атанай живо приподнимается в постели.

— Тебе не терпится снова запрячь меня в работу? — улыбается он.

— Да нет, что вы,— смущается режиссер.— Я вообще спрашиваю... Хотя, конечно,— вдруг вырывается у него.— Без вас у меня многое не ладится. Не на кого опереться. И «Абай» разваливается, и вот до сих пор не знаю, кому дать роль Отелло.

— Дней двадцать меня еще точно продержат,— вздыхает Атанай.— Мне и самому здесь уже до чертиков надое-

ло. Хочу в театр, хочу на сцену, хочу к НАМ... А твои затруднения, ну что ж, это — дело временное, и на мне свет клином не сошелся. Я бы на твоём месте больше доверял молодежи. Ултуган, Куляш — вполне подходящая пара на главные роли в «Отелло», ведь мы уже старики, а они даже и по физическим своим данным подходят. Актерское мастерство — дело наживное, для этого и проживает свою жизнь актер, чтобы стать мастером.

— Я думал, может быть, Куат... Это его амплуа,— не решительно говорит режиссер.

— Понимаешь, Куат конечно же талантливый и зрелый актер, но последнее время в его игре появилось много, как бы это поточнее сказать, спеси, что ли? Или заштампованности... Так и кажется, что он спит с открытыми глазами или грезит о чем-то весьма далеко от искусства... Ты спросишь меня о старой гвардии, о Салмене, Тарпане, Малике, ты будешь жаловаться, что они отстали от нынешних веяний, но я тебе скажу: театр должен любить человека, который любит театр, а все они по-своему одержимы нашим искусством. И пускай иногда они смешны, мелочны, завистливы, неумны, но они — рыцари театра, и за это им должны зачесться все их грехи. Ведь мы, актеры, одна большая семья, а в семье всякое бывает... Семья — она и есть семья, так же и театр. Театр — он и есть театр...

— Я понимаю, понимаю, Атанай-ага,— говорит режиссер.— Но жизнь, как говорится, весьма часто вносит свои коррективы.

— На то она и жизнь,— соглашается Атанай и вдруг вспоминает: — Да, ко мне вчера приходил этот старик рабочий... Кайдар, кажется, да, Кайдар... Слушай, взял бы ты его обратно на работу. Ведь он тоже из породы рыцарей театра, как ни парадоксально звучат мои слова в отношении человека, который долгие годы проработал грузчиком на мясокомбинате. Он обожает театр, живет, дышит театром, и мне очень жалко, что ты не смог этого оценить. Да, он вступил в конфликт с Салменом, да, он сорвал репетицию, но он — человек театра, и без таких людей театр не может существовать. И если тебе нужно было продемонстрировать свою силу и власть, то начать следовало с людей, равнодушных к своей работе, а таких в нашем театре тоже достаточно, что ты знаешь не хуже меня. Скажи, ты когда-нибудь разговаривал с этим стариком? Все, поди, некогда было? А ведь он — человек с большим сердцем. И прекрасный рассказчик... Спокойный, умный рассказ-

чик... Правда, и его иногда заносит — утверждал, например, что тебе не хватает индивидуальности, что тебе нужно вырабатывать свой почерк, а не идти на поводу авторитетов. Здорово он тебя пропесочил...

— Он и таких высоких материй коснулся? — улыбается режиссер. — Занятный старик...

— Я же говорю, он одержим театром, — Атаная радуется добрая улыбка собеседника. — И он из того поколения, которое не умеет и не любит скрывать свои мысли. Эти люди умеют держать данное слово, умеют слушать человека, не таят ни любви своей, ни ненависти, преклоняются перед дружбой и настоящей работой. Вот какие это бесценные люди... Он рассказал мне одну притчу...

Атанай закрывает глаза, и в больничной палате появляется Кайдар.

— В былые времена в Чингистау жил знаменитый охотник и кюйши по имени Байторе, — слышим мы его неторопливый голос. — И был у него конь Кокмоншак, сильный и быстрый, как ветер, и коня этого он любил пуще жизни. Однажды в гости к нему наведалься каркаралинский музыкант Темир, его друг. Байторе всячески ублажал Темира — возил его по своему краю, они вместе пели на свадьбах и других празднествах, вместе охотились. И от этого они еще сильнее сдружились, так как Байторе был очень доволен искусством молодого джигита, его учтивым обращением. И вот, наконец, пришло время Темиру отправляться домой, и Байторе спросил его напоследок, что он желает взять у него в подарок. А Темир, подумав, вдруг попросил Кокмоншака...

Байторе от неожиданности и растерянности не мог сдвинуться с места. Кокмоншак был для него и радостью, и любовью, и всем, что есть на земле, — ведь жил Байторе одиноко, и не было у него ни семьи, ни детей... Однако слово гостя — закон. Отдал он коня Темиру, проводил его, а сам как упал в своей юрте, так и пролежал там целую неделю, не взяв в рот ни крошки. Пожелтело его красивое лицо, налились кровью глаза, опустились могучие плечи, и все думали, что конец его уже близок, — так переживал он.

Но на восьмой день дверь его юрты распахнулась, и он увидел Темира. И сказал Темир: «Я пришел к тебе как младший брат, но ты принял меня как равного. Бес попутал меня, и я взялся испытать твою доброту, но ты дал мне такой урок достоинства и доблести, что отныне я считаю твой род великим, а тебя — одним из лучших сынов его.

Аллах дал тебе и твоему роду щедроту и милосердие, верность, честь и святость. Возвращаю тебе твоего Кокмоншака, и прости меня, если сможешь, брат мой...»

Так сказал молодой певец и склонился перед измученным Байторе. И Байторе простил его, простил его гордыню, простил его сомнения — он все ему простил, видя его добрую душу и его любовь к народу Байторе...

Атанай открывает глаза. Кайдар исчезает.

— Да,— задумчиво говорит режиссер.— Действительно, он очень интересный человек. Мне трудно это сформулировать, но я чувствую, что его притча имеет прямое отношение и ко мне, и к вам, и к нашему театру, и ко всем людям,— ведь она говорит о самом главном — о доброте, милосердии, чести...

— Я рад, что ты именно так понял ее смысл,— тихо отвечает Атанай.— Действительно, в этой жизни нет ничего ценнее человека... Так что — люби людей своего театра, цени их, уважай их...

Уже знакомое нам кафе. За столом в одиночестве сидит, покуривая трубочку, Арыстан. Перед ним — раскрытая книга.

— «Я пригласил вас, господа,— читает он,— с тем, чтобы сообщить пренеприятное известие: к нам едет ревизор... Я как будто предчувствовал: сегодня мне всю ночь снились какие-то необыкновенные крысы. Право, этаких я никогда не видывал: черные, неестественной величины! пришли, понюхали — и пошли прочь: Вот я вам прочту письмо, которое получил я от Андрея Ивановича Чмыхова, которого вы, Артемий Филиппович, знаете. Вот что он пишет: «Любезный друг, кум и благодетель... и уведомишь тебя». А! Вот: «Спешу, между прочим, уведомить тебя, что приехал чиновник с предписанием осмотреть всю губернию и особенно наш уезд. Я узнал это от самых достоверных людей, хотя он представляет себя частным лицом. Так как я знаю, что за тобою, как за всяким, водятся грешки, потому что ты человек умный и не любишь пропускать того, что плывет в руки...»

— Эн Вэ Гоголь,— говорит вошедший кинорежиссер.— Что-то ты частенько стал его перечитывать...

— А что, нельзя? — спрашивает Арыстан.

— Можно, можно, не ершишься,— успокаивает его кинорежиссер.— Я просто намекаю, что не худо бы и тебе са-

мому что-нибудь сочинить, а то я что-то уже давненько ничего твоего не читал. Впрочем, молчу, молчу, знаю, как ты не любишь такие разговоры...

Арыстан неожиданно улыбается.

— Почему? Иногда люблю. Я тут кое-что сейчас делаю... кропаю, как говорится, понемножку..

— Пьеса или сценарий? — быстро спрашивает кинорежиссер.

— Не знаю. Пьеса, сценарий, повесть, а может быть, все вместе. Сюжет: в театр поступает рабочим сцены один старик, бывший грузчик мясокомбината. Он обожает театр, но многое в театре кажется ему непонятным и даже враждебным. У него острое зрение, он наблюдателен, и через него мы как-то по-новому узнаем привычных нам людей...

— А-а, понимаю! Вот почему у тебя на столе «Ревизор»? Это будет сатирическая комедия из жизни так называемых людей искусства! — радуется своей догадке кинорежиссер.

— Почему сатирическая комедия? Почему «так называемых», когда эти люди и на самом деле — люди искусства! — сердится Арыстан.— И «Ревизор» здесь ни при чем, и будут это сценки из жизни театра. Без претензий на что-либо и без глобальных обобщений... Хотя...— он задумывается.— Хотя... Кайдар, то есть не Кайдар, а мой персонаж, действительно в каком-то смысле ревизор... Он ревизует наш быт.

— Ты сказал — Кайдар? — встрепенулся режиссер.— Это не тот ли рабочий, которого я недавно возил снимать?

— Он самый,— подтверждает Арыстан.

— Черт, неудобно мне перед ним. Снять-то я его снял, но, просматривая материал, вдруг увидел, что и он ИНТЕЛЛИГЕНТЕН, понимаешь меня? А мне нужен был так называемый простой человек...

— Он и есть так называемый простой человек. И он разрушил твой штамп, который ты сам же себе навязал...

— Слушай, неужели ты прав? — волнуется кинорежиссер.

— А ты, я вижу, до сих пор мне не веришь?

К ним подходит драматург с бутылкой воды.

— Да он вообще никому не верит,— по своему обыкновению, стрекочет он.— Лучший способ доказать ему свое существование — это умереть. Застрелиться ли, повесить-

ся — все равно. А что будет, если лучшие из казахов начнут умирать ради этого оболтуса, который наверняка еще не прочитал мой последний сценарий?

— Времени нет, — жестко говорит кинорежиссер. — И потом, ты слишком легко их печешь. К сожалению, это не моцартовская легкость...

— А чья же, чья? — наскакивает на него драматург.

— Твоя! И не заставляй меня опять произносить слово «халтура»! — сердится кинорежиссер.

— Вот так мы и живем! — вздыхает драматург. — Только казахи могут рукопись в шестьдесят страниц читать шесть месяцев. Ох, не видать нам добра, коли искусство целого народа доверили таким типам...

Он горестно глядит на кинорежиссера и живо поворачивается к Арыстану:

— А пьесу для вашего театра я уже переписал. Кажется, режиссер кое в чем прав. И ты, по совести сказать, тоже...

— Вот тебе и на! — удивляется Арыстан. — Я вижу, скромности в тебе прибавляется не по дням и по часам, а по минутам и секундам.

— Я один экземпляр пьесы дал читать старику Атанаю. Да, пока не забыл, он просил вас обоих зайти к нему...

— Как он себя чувствует? — спрашивает кинорежиссер.

— Твоими молитвами! — язвительно отвечает драматург. — Вместо того чтобы спрашивать, давно бы навестил его. Вставать ему врачи пока не разрешают, но посетителей к нему уже пускают... Ладно, я пошел, некогда мне тут с вами...

Он уходит, а кинорежиссер грустно говорит Арыстану:

— Он прав, мне нужно навестить старика. И еще у меня есть перед ним долг. В моих фильмах он играет только эпизоды, а нужно сделать фильм с ним в главной роли. Ведь он и на самом деле наш великий актер.

— Наконец-то и ты это понял, — говорит Арыстан.

— Я всегда это знал, но так уж получилось, — виновато отвечает кинорежиссер. — Хорошо. Я бегу. Созвонимся...

— Будь здоров, — отвечает Арыстан.

В дверях появляется Кайдар.

— Арыстан, здравствуй, дорогой, — смущенно говорит он. — Я видел, что ты занят, и не хотел беспокоить тебя. Я хотел с тобой поговорить с глазу на глаз.

— Иди, иди сюда, Кайдар-курдас, — радуется Арыстан его появлению.

— Ты читал приказ? — спрашивает его Кайдар, осторожно присаживаясь на краешек стула.

— Читал... Стало быть, «по собственному желанию», Кайдар-курдас?

— Такая вышла штука! — Кайдар озадаченно чешет в затылке. — Я всю жизнь работаю, и мне ни один начальник слова худого не сказал, хоть я их немало видел. А тут не успел поступить, как меня и выгнали, будто я пьяница какой или хулиган. Этот позор на старости лет прямо до костей меня пронял! Что мне теперь делать, посоветуй, Арыстанжан...

— Да что ты так убиваешься? — посмеивается Арыстан. — Будто тебя не с работы, а с трона сняли... Пошли ко мне, кюй послушаем... Единственное лечение против твоего недуга — это послушать хороший кюй. И еще учти — на свете нет безвыходных ситуаций...

Они идут через зрительный зал. Новый рабочий, высокий испитой детина, нехотя таскает декорации к спектаклю. Останавливается, вытирает пот, закуривает и сплевывает прямо на сцену.

— Эй, ты где находишься? — спрашивает его Арыстан.

— Я — здесь. А ты что, на мое место хочешь? Иди, посмотрим, как ты за сто рублей ишачить будешь, — мгновенно отвечает рабочий и как ни в чем не бывало продолжает свою работу.

Кайдар с завистью глядит на него.

— Какая польза им от того, что они меня из театра выгнали, — чуть не плачет он. — Я им говорю: я буду молчать, если хотите, я стану и глухим и немым, а они ни в какую.

— У нас в театре немых да глухих и без тебя достаточно, — с намеком роняет Арыстан.

— Эй, Арыстан-курдас, я, кажется, нашел выход, — неожиданно веселеет Кайдар. — А что, если я им скажу, что нам со старухой пенсии хватает и я эту работу буду делать бесплатно, ну, как говорится, на общественных началах? Может, тогда оставят меня, как ты думаешь?

— Чтобы им тебя оставить, кое-кому в нашем театре нужно иметь две головы. Одну он отдаст заслуженным артистам, чтобы их умилостивить, а другой будет сам время от времени пользоваться, — загадочно говорит Арыстан.

Кайдар, поняв его, отчаянно машет рукой.

— А ведь это была мечта всей моей жизни... Думал, только уйду на пенсию, наймусь в театр работать. Вот и пришел. И театр мне понравился, и вы все, даже Салмен,

черт с ним... Даже и не то слово, что понравился! Театр был для меня счастьем. Я сам себе стал казаться другим — помолодел, расцвел с вами... А теперь... как мне жить дальше без театра? От тоски я, может быть, и не умру, но жить мне без театра будет очень худо. Тут меня директор снова на мясокомбинат зовет, подработать к пенсии, а каково мне это после театра?..

— Я понимаю, я все понимаю, — бормочет Арыстан.

К ним подходит Ултуган.

— Айналайын, Кайдар-ага. Извините, но мы ничем не смогли вам помочь. Директор и режиссер нас даже слушать отказались, — сокрушенно говорит он.

— Ладно, что делать. Пойду снова на мясокомбинат... — Кайдар вдруг хлопает себя по лбу. — Ба, да я совсем забыл! Я же хотел вас угостить напоследок. Так что идемте в кафе, а твой кюй, — обращается он к Арыстану, — мы в следующий раз послушаем...

Они возвращаются в кафе. Кайдар достает из сумки заранее припасенные бутылки, хлеб, закуски.

— Ладно, — задумчиво говорит он, поднимая стакан. — Старики говорили: хоть свадьба — овце беда, хоть поминки — овце беда. Как случилось, так и случилось. А на режиссера я обиду не таю. Но только если он во всем будет потакать Салмену, то вскорости ему и самому худо придется.

— Ладно, успокойся, эту зиму проведи, как говорится, зализывая раны, а к весне мы обязательно что-нибудь придумаем, — Арыстан тоже поднимает стакан.

— Да? Ну, спасибо, Арыстанжан, утешил ты меня своими словами, — обрадованно говорит Кайдар и вдруг обращается к Ултугану: — Сынок, а где же твоя подружка? Приятели где? Пускай придут попрощаться со стариком.

Ултуган смотрит на часы.

— Да, сейчас как раз будет перерыв в репетиции, и я приведу их...

Он уходит. Кайдар наливает себе второй стакан.

— Не горюй, курдас, — говорит ему Арыстан. — Есть люди, которые и во сне кулак показать бояться, а ты наяву сказал людям все, что о них думал... Так что давай выпьем за тебя, батыр-курдас... И я говорю тебе — все будет хорошо. Тебя примут в театр, и ты не будешь больше нарушать трудовую дисциплину. Верно?

Они смеются.

— Арыстанжан, а кто такой Отелло? — вдруг спрашивает Кайдар.

— Отелло — это и что и кто. Это — великая пьеса о великом мавре.

— А почему все хотят его играть? Вот Салмен говорит, что он запросто с этой ролью справится. И Куат спит и видит, чтоб ему эту роль дали.

— Понимаешь, в театре есть такие пьесы, которые являются самой высокой пробой истинности актера. — Тут даже, скорее, не важно, КОГО играть. КАК и ДЛЯ ЧЕГО играть — вот главное! Ты меня понимаешь?

— По совести сказать, ты слишком замысловато для меня говоришь...

— Я и сам себя до конца не понимаю, — смеется Арыстан. — Действительно, сейчас объясняющих больше, чем понимающих, и я, наверное, тоже из этого большинства. Ты лучше мне расскажи, ты Салмена давно знаешь?

— А зачем тебе? — спрашивает Кайдар.

— Так, — неопределенно отвечает Арыстан.

— Ну, мы с ним из одного аула, — нехотя начинает Кайдар. — Великая женщина была его покойная Газиза, и я, что уж тут скрывать, я сильно был в нее влюблен. Да и она ко мне была равнодушна — ведь я красивый был, высокий, статный да еще и считался лучшим певцом в нашем ауле. В тридцатые годы собирали по аулам молодежь на учебу, а я не мог оставить мать и сестренку одних, кормить-то их некому было, отец у нас умер рано. Вот и случилось — наши ребята, кто поспособнее да посмышленнее, сели на арбу и укатили в город, а я остался. Салмен тоже уехал. И Газиза уехала. «Приезжай во что бы то ни стало! Я буду ждать тебя», — плакала она, и я поклялся, что обязательно приеду. Ну, а потом — что там говорить? Мать умерла, сестренку поднимать нужно было, замуж выдавать, потом — война. Так все и рассыпалось... Газиза за Салмена вышла, но мне кажется, не состоялось у них счастье, хоть и была она великой женщиной! И я думаю, что не было еще у казахов такой замечательной актрисы, как Газиза. А я... что ж, выучился бы я в свое время, может, и я смог бы сыграть этого самого мавра...

— Кайдар-ага, для этого большой талант нужен. И образование здесь практически ни при чем, — мягко поправляет его Арыстан.

— Видишь, какой ты безжалостный, Арыстан-курдас? Ну, не был бы я выдающимся актером, так был бы просто актером. Исполнительным. Трудолюбивым...

— А может, это худо — глотать пыль за великими и все время глядеть им в рот?

— А что же тогда ты сам, Арыстанжан?

— Что я? — вскидывается Арыстан.

— Всяких писателей знаешь и слова всякие любишь повторять, а сам ничего не делаешь, и получается, что тоже как бы в рот им глядишь?..

— Вот это да! — смеется Арыстан. — В боксе это называется нокаут. Нокаутировал ты меня, Кайдар-курдас!..

В кафе заходит шумная актерская компания.

— Вот наша молодежь, Кайдар-ага! — улыбается Ултуган. — Они пришли прощаться с вами.

— И просить у вас благословения, — добавляет Куляш.

— Что такое говоришь? Какое благословение? Был бы я каким-нибудь святым, другое дело, — в смущении бормочет Кайдар.

— Ну, тогда просто скажите нам что-нибудь, какой-нибудь тост, — смеется Куляш.

Кайдар, хитро улыбаясь, поднимает свой стакан:

— Это я могу. Я вам так скажу — среди людей будьте людьми, среди собак — волками. Так и наши старики говорили. Аминь!

Снова больничная палата, где лежит Атанай. У его постели — Салмен и Малике.

— Помнишь, Атанай, в конце войны мы ездили с гастролями по аулам Кокчетава? — спрашивает она. — Помнишь, в каком-то глухом месте мы готовились играть спектакль, но пошел ливень с градом, и никто, кроме семьи чабана, не пришел смотреть нашу игру. Мы и не знали, стоит ли вообще затевать представление.

— А потом подошли еще двое из соседнего аула, — напоминает Салмен.

— Верно, — вспоминает Малике. — И зрителей набралось человек десять. А в сарае, где мы играли, холодина, крыша протекает...

— Да, была как раз поздняя осень. Но мы все-таки сыграли спектакль. Может, это была наша благодарность простым людям, презревшим непогоду ради искусства?

— А как мы играли! — Атанай тоже увлечен воспоминаниями. — Выкладывали себя! Какой же это спектакль был? По-моему, «Енлик и Кебек».

— Да, «Енлик и Кебек», — хором подтверждают Салмен и Малике.

— Помните, с темнотой дождь прекратился, — говорит Атанай. — Измученные, мы легли спать, но нас разбудили новые зрители. Ночью, на арбах, они собрались со всей округи, и нам пришлось снова играть этот же спектакль... При свете одной-единственной керосиновой лампы... Я и сейчас помню, как звенели тогда ваши голоса...

Атанай закрывает глаза.

М а л и к е (в роли Енлика). Ей, азаматы! Я хочу, чтобы вы исполнили три мои желания. Слушайте меня!..

Г р у б ы е г о л о с а. Не нужно! Не будем! Не хотим слушать!

Т а р п а н (в роли Еспенбета). Стой, говори свои желания!

М а л и к е. Во-первых, дайте попрощаться с Кебеком. Во-вторых, похороните нас вместе. И последнее — у моих родителей нет наследников, а теперь вот и меня не станет. Так отдайте же им малыша. Пусть осиротевший ягненок найдет себе приют в их доме. Вот и все мои желания...

С а л м е н (в роли Кебека). Енликжан, бесценная моя, любимая моя, прости меня... О жизнь, жизнь, я считал тебя широкой, как река, но вот ты оказывается, какая...

М а л и к е. Единственный мой, любимый мой, и ты меня прости...

Атанай открывает глаза.

— А как нам аплодировали зрители! За всю свою сценическую жизнь я не помню ничего подобного... — говорит Салмен.

— Кончился керосин, и лампа погасла. Но тогда мы думали, что это от аплодисментов, — смеется Малике.

— Как давно это было, — вздыхает Атанай.

— Вернулись бы те денечки, когда мы могли не спать сутками. Нет, никогда не вернуться им, — грустно качает головой Малике.

— Товарищи, простите, но ваше зремя истекло. Пожалуйста, дайте больному отдохнуть, — мягко, но настойчиво говорит медсестра, обращаясь к Малике и Салмену.

Салмен и Малике прощаются с Атанаем и уходят.

Атанай, оставшись один, в изнеможении вытягивается

и снова закрывает глаза. Медсестра, заглянув в дверь, с тревогой наблюдает за ним.

...А Кайдар Камсызов, бывший грузчик мясокомбината, бывший работник областного театра, пенсионер, спит и видит чудный сон. Ему кажется, будто он играет роль Лодовико в паре с самим великим Атанаем. Остальные роли спектакля «Отелло» исполняют уже знакомые нам артисты театра.

— Свет на сцену! — командует режиссер.

К а й д а р (*Лодовико, к Яго*).

Спартанская собака,
Что буря, мор и голод пред тобою?
Взгляни на страшный груз постели этой.
Твоя работа. Силы нет смотреть.
Укройте их. Займите дом, Грацияно.
Вступите во владенье всем добром,
Оставшимся от мавра. Вы наследник.
Вам, господин правитель, отдаю
Судить злодея. Выберите кару,
Назначьте день и совершите казнь.
А я про эту горькую утрату
С тяжелым сердцем доложу сенату.

— Bravo, Кайдар-ага! — актеры театра обступают Кайдара, но не проходит и секунды, как снова разражается ожесточенный спор, единственное отличие которого от всех предыдущих, что он происходит во сне и спорщики, подающие реплики, не слишком-то заботятся о логике.

Режиссер. Человеку театра необходим избыток фантазии. Каждый должен найти свой стиль, свой почерк.

А т а н а й. Это верно. Но фантазия должна быть направлена на какую-то конкретность. Она не должна расплываться. Для одного актера сцена — это место, где стоят декорации и какие-то люди произносят какие-то слова, для другого — это целый мир. У любого человека театра есть свое решение трех главных тайн — тайны слова, тайны движения и тайны освоения этого мира...

А р ы с т а н. Вы же сами говорили, что театр должен постоянно обновляться. Атеке, это же ваши слова...

Режиссер. Я люблю сложные решения, я стремлюсь к ним. Суть искусства — в воссоздании сложности мира.

Арыстан. Самое сложное в искусстве — простота.

Атанай. ...И скромность.

Голос. Ваше время истекло.

Атанай. Нет, наше время — это вечность. Мы — актеры, мы — дети театра, мы — ветви вечнозеленого дерева, имя которому — театр.

— Репетиция продолжается! Свет на сцену! — снова командует режиссер.

«А я про эту горькую утрату
С тяжелым сердцем доложу сенату»,—

снова декламирует Кайдар.

— О чем ты бормочешь? О какой такой утрате? — тормошит Кайдара его старуха.— Ты разве не идешь сегодня на работу?

— Что? Что случилось? Где? — испуганно просыпается Кайдар.

— Ничего не случилось. Директор вчера звонил. Ты пойдешь на работу?

— Куда на работу? Какой директор?

— Директор мясокомбината. Он просит тебя выйти на несколько дней. Ты разве забыл?

— А-а, вот оно что...— Кайдар трет лицо.— Конечно, пойду, куда он денется, этот мясокомбинат, и я куда денусь...

Он нехотя умывается, нехотя завтракает. Надевает кирзовые сапоги, натягивает ватник.

И тут звонит телефон.

— Да, это я,— говорит Кайдар в трубку.— Арыстан-курдас? Рад слышать твой голос... Что? Не может быть...

Он опускается на стул.

— Что? Что случилось? — пугается старуха, глядя на его побелевшее лицо.

— Атанай-аксакал умер. И я иду в театр,— коротко говорит Кайдар.

В театре вновь идет репетиция.

— Свет на сцену! — командует режиссер.— Куат, продолжай...

Куат (в гриме Отелло).

Пускай я чем-то бога прогневил.

Над непокрытой головой моею

Он мог излить несчастье и позор,

По горло утопить меня в лишениях,
Сгноить в бездействии...

— Стоп! Давайте сначала,— говорит режиссер.

— Сейчас! Секунду! — Куат отворачивается и готовится повторить монолог.

— Тебе повезло, девочка. Тебе досталась замечательная роль. А помнишь, как ты заколебалась, когда я спросила, согласна ли ты бросить театр ради своего Ултугана? — шепчет Малике юной Куляш, играющей Дездемону.

— Я люблю его. Но театр я никогда не брошу,— тихо отвечает Куляш.

— Так! Начали! Свет на сцену! — снова командует режиссер.

К у а т.

Над непокрытой головой моею
Он мог излить несчастье и позор...

— Остановите репетицию! — на сцену выбегает Арыстан.

— Что случилось? — сердито встает режиссер.

Арыстан не может вымолвить ни слова.

— Ты скажешь или нет?! — кричит режиссер.

— Атанай-аксакал... — тихо говорит Арыстан.

...В медленном, скорбном молчании, объединенные общим горем, поднимаются на сцену и близко подходят к рампе они, люди театра: актеры, режиссеры, драматург, вдова Гаухар, рабочий Кайдар.

— Правда народа и правда искусства неотделимы,— говорит Кайдар.

— Правда всегда пишется кровью,— говорит Арыстан.

1981

ЗАЖИВЕМ ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Ему снился чудный сон, и в этом нет ничего удивительного, ибо каждый видит такие сны, каждый, улыбаясь, вспоминает о них, каждый томится и радуется, лишь придет к нему весть из далекой нежной юности.

Итак, это был сон, чудесный волшебный сон — гвардии ефрейтору Шигинсызу Ерболсанову снова семнадцать лет,

и он бежит по изумрудному лугу, жадно и счастливо вдыхая воздух полей своей обильной родины. Да что там бежит! Легко оторвавшись от земли, он ныряет в пенную, кипящую белыми бурунами реку. «Иртыш, мой Иртыш, я часто думал о тебе, милый моему сердцу, быстрый, шумный, темноводный Иртыш... Иа алла, говорил я, удастся ли мне возвратиться на широкий иртышский простор, смогу ли я окунуться в твои ласковые воды, сброшу ли я на твоём берегу свою постылую, напитавшуюся потом и кровью гимнастерку?» И вот он перед ним, его Иртыш,— два тополя на крутом обрыве, два тополя, упирающиеся в небо своими макушками. Два тополя, и их двое. «Я не один, я не один. Но кто рядом со мной? Кто рядом со мной? Кто это? — шептал он.— Кто же это?» И даже тогда, когда девичьи губы коснулись его воспаленного жаждущего рта, даже тогда, когда он пристально, трепетно глядел на это ангельское создание, он до конца еще ничего не мог понять, он боялся ошибки: «Кто рядом со мной? Кто? Кто рядом со мной?»

«КТО ЖЕ ЭТО?»

Ему — семнадцать, ей — шестнадцать. Шестнадцатилетняя, прекрасная, она нежными руками обвивает крепкую шею джигита; в сладком затяжном поцелуе расслабилось тело, и все крепче обнимаются они, семнадцатилетний и шестнадцатилетняя, и он никогда не закончится, этот волшебный поцелуй. Косы, черные длинные косы с запахом степного солнца,— он не узнает ее, прекрасное тело, пахнущее степной полынью,— он не узнает ее, он целует ее в мягкие губы, и губы пахнут свежестью степного летнего озера, и запахи эти кружат вокруг него, дразнят, будоражат,— о потаенная мечта, сладкая мечта, о аромат любимой, ведь это она. ОНА! ОНА! ОНА! — внезапно понимает он. О аллах! Это ОНА, ОНА, ОНА!.. Теперь не выпускай ее из своих объятий, крепче, крепче обними ее, обними ее, целуй и моли аллаха, чтобы он помог тебе, пожалел тебя, вернул тебе ЛЮБОВЬ твою и МОЛОДОСТЬ твою, молись, Шигинсыз! О, какой день сегодня! Какое чистое небо! Какой справедливый мир вокруг! И — ОНА! Теперь не выпускай ее из своих объятий. Целуй ее, как тогда, тридцать три года назад, ТРИДЦАТЬ ТРИ ГОДА, обнимай ее, ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНЮЮ, как тогда, тридцать три года назад, и да пусть поддержит тебя сила твоя и смелость твоя, как тогда, тридцать три года назад, когда тебе было семнадцать, а ей шестнадцать, и вы любили друг друга. И вы лю-

били друг друга, и два тела мчались по темному звездному небу, и яркие крупные звезды ласково улыбались, подмигивали вам, радовались за вас. Какая ночь и какое небо! Мать-природа, пусть будет по-твоему, мы не станем завидовать тебе, ревновать тебя, мы склоняемся перед твоей силой. Но и ты не завидуй нам, не презирай, не ревнуй нас к нашему счастью — сбереги нас, сохрани нас, помоги нам! Ведь ты всемогуща, ты все можешь, все в твоих силах — ведь человек слаб перед тобой, и его разум склоняется перед твоей мудростью... ТРИДЦАТЬ ТРИ ГОДА НАЗАД рядом плыли звезды, и летели два лебедя по черному небу, и, о боже, какое взаимообожание, какое слияние душ, какой простор! ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНЯЯ И СЕМНАДЦАТИЛЕТНИЙ. ТРИДЦАТЬ ТРИ ГОДА НАЗАД!.. ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНЯЯ И СЕМНАДЦАТИЛЕТНИЙ. Адам и Ева. Наверное, даже они никогда не испытывали такой вот безмятежной свободы, такой бескорыстной доброты и безумного счастья. О мать-природа, айналайын, — люблю тебя, склоняюсь перед тобой — тридцать три года проклинал тебя, и это правда, и это правда, но теперь я беру все свои гневные слова обратно, и я не буду мстить тебе, не буду соперничать с тобой, показывая всемогущую силу человека, наоборот — отныне всю свою жизнь я буду преклоняться перед тобой.

Но взбунтовалось иссиня-черное небо — то ли гневало на шестнадцатилетнюю и семнадцатилетнего, безмятежно предававшихся ласкам, то ли не верило, что тридцать три года исхудавший человек каждой клеточкой своего больного израненного тела ожидал этой небесной встречи, то ли это сама мать-природа спасовала перед мирской суетой, обманом и подлостью, — он лихорадочно думал об этом и ничего не мог понять. А может, мать-природа не хотела обманывать человека, не желала греха, ибо самый великий грех не убийство, а обман, мираж, когда человек слепо верит во что-то, закрыв глаза, стремится неизвестно куда? Но и тут не права мать-природа, ведь, утешая себя, надеясь, мечтая, выжил человек на земле. Святая ложь всегда облегчала жизнь людей, и об этом всегда знали люди. Так что не будем винить мать-природу, ведь человек живет на земле между виной и грехом, — не будем забывать об этом...

Иссиня-черное небо вмиг взбунтовалось — гремел гром, сверкали молнии. Яркий огонь вырвал из его объятий шестнадцатилетнюю, и она исчезла, растворилась в грозovém

небе. Плача и рыдая, обожженный и ослепший от вспышек молний, оглохший от шума бури, он мчался за ней. Он искал ее и плакал горькими слезами, и слезы полились на землю ураганным дождем... Плача и рыдая, он искал ее, но не было ее в горних высях, и он плавно, устало опустился все ниже и ниже. Иссиня-черное небо и звезды остались позади, а ее все нет и нет — вот уж и земля видна: силуэты высоких гор, очертания извилистых рек, темные блестящие пятна озер, а ее все нет и нет. И тогда семнадцатилетний, собрав остатки сил, вновь ринулся в высоту, ибо был ему голос: «Ты — человек, и ты не должен сдаваться! Собери в кулак всю свою волю, все свое мужество, человек. Ведь ты — ЧЕЛОВЕК, и ты не должен оставить ее! Найди ее, защити, береги ее, мужайся, человек». И семнадцатилетний легко вознес свое тело, скользя, паря между светом и тьмой, и внезапно увидел ее — на пушистом белом облаке лежала она, и тело ее, красивое зовущее молодое тело, фосфоресцировало под светом ночных звезд. Но ее прекрасное, утонченное лицо вдруг уплыло от него. Миг, только миг видел он ее глаза, черные, влажные, скорбные, миг — и страшная плеть молнии обрушилась на него. Черное, обгоревшее, безжизненное тело камнем падало вниз. Тело, что только сейчас свободно и радостно парило в небе, рухнуло на землю и обратилось в черный скорбный камень...

— Боже мой, боже мой! — Шигинсыз очнулся и, вытерев взмокший лоб, огляделся по сторонам. Комната. Окно. Телевизор. Шкаф. Стол. Кровать. Тумбочка. Книга. Очки. Ни легких воздушных облаков, ни ярких звезд, ни белых нежных рук, которые только что обнимали его, — ничего этого нет. Все та же постылая комната, все та же постылая кровать, на которой вот уже который год лежит с раздробленным позвоночником он, Шигинсыз Ерболсанов, лежит с полными слез глазами, не в силах забыть своего чудного видения.

От злости и отчаяния он стал колотить руками по железной спинке кровати, но потом стих, успокоился, долго смотрел в окно на синее небо. Небо и только небо, кусочек синего неба, — это все, что мог увидеть Шигинсыз в свое окно: ни домов, ни прохожих, ни дымоходных труб — небо, только небо, кусочек синего неба. Редкие гости навещают его, а в последнее время и сестра что-то стала плохо слышать, старость подходит, за шестьдесят уже старушке. Громко ему что-нибудь объясняет, горячится.

Иногда со стороны порта доносились пароходные гудки, иногда голоса грузчиков, и это все, чем последнее время радовал Шигинсыза внешний мир. Да и что видел он в жизни? Речной порт, где несколько месяцев успел поработать грузчиком, да войну, которая началась тридцать три года назад и которую он, простой пехотинец, вел с проклятым Гитлером до того памятного дня, когда взрывной волной швырнуло его на скалы, до того дня, когда в сорок пятом привезли его из киевского госпиталя и положили на эту кровать. С тех пор он лежит здесь. Лежит, лежит, лежит... Тридцатилетний, сорокалетний, теперь уже — пятидесятилетний. Инвалид. Навсегда.

Кусочек синего неба, и нет в нем ни единого облачка. «Хорошее небо,— подумал Шигинсыз,— как в том сне, лишь тогда белобокие облака плыли над вершинами белоснежных гор и весь мир был таким чистым. Чистая река, чистое небо, чистые помыслы, чистая юная красота девушки...»

— Боже мой,— вздохнул Шигинсыз. Ему вмиг расхотелось о чем-либо думать, и он невидящим взором уставился в давно небеленный потолок.

Обрывки сна не давали ему покоя, и он понял, что этот сон не пройдет бесследно. Что нельзя убежать от этого сна, как нельзя убежать от судьбы. Он повернул голову к окну и стал искать глазами белого голубя, который прилетал к нему каждое утро. Но хлебные крошки, кусочки сахара в его миске так и лежали нетронутыми. «Значит, не прилетал сегодня,— подумал Шигинсыз.— Уж не случилось ли с ним чего?»

Эта мысль испугала его — ведь белый голубь был единственным существом, которому он мог рассказать о своем одиночестве. Их встреча произошла зимой, и с тех пор они были неразлучны. Голубь, усталый, мертвеющий, с подбитым крылом, упал на балкон, и сестра подобрала его и принесла Шигинсызу. Целый месяц Шигинсыз выхаживал голубя. Кормил с ложечки, бинтовал поломанное крыло, уговаривал его, рассказывал ему о своей жизни. Но вот прошел месяц, голубь набрался сил, и ему надоели бесконечные рассказы инвалида. Все чаще он нетерпеливо взмахивал крылом, летал по комнате и садился на подоконник. Подолгу смотрел в окно, стучал клювом в стекло и все чаще и чаще, все дольше и дольше кружил по комнате. Затем, не найдя выхода, усталый и нахохлившийся, садился на прикроватную тумбочку и смотрел на Шигинсыза.

И Шигинсыз понимал, что означает этот взгляд, он гладил голубя шершавыми ладонями и вел с ним воображаемый разговор.

«Ты хочешь покинуть меня?»

«Да».

«Но я привык к тебе. Иногда мне кажется, что ты стал моим братом. Я говорил тебе о своих печалях, я рассказывал тебе все о себе. Как ты можешь оставить меня одного?»

«Я привык к тебе, но я должен летать. Всякий, живущий на земле, одинок. Не горюй...»

«Я буду тосковать по тебе».

«Вся жизнь — тоска и ожидание».

«Белый голубь, не улетай, не покидай меня».

«Но мне нужен голубой простор, синее небо нужно мне».

«А мне? Разве я не мечтаю об этом?»

«Но ведь ты человек, человек... Ты рожден быть человеком, а большей свободы нет на земле, чем родиться на ней человеком».

«Но я несчастлив. Я не могу подняться с кровати. И разве это счастье, разве это свобода?»

«Эй, человек, да разве я виновен в этом? Вы, люди, сами виноваты во всем. Вы — свободны, но всегда готовы уничтожать друг друга, и только вы, вы сами виноваты во всем...»

Шигинсыз все гладил и гладил крылья голубя — никак не мог справиться со своим волнением. Наконец, решившись, он позвал сестру и велел ей выпустить голубя на волю. В балконную дверь ворвался холодный воздух, и взбодрившаяся птица громко захлопала крыльями. Шигинсыз закрыл глаза и отвернулся к стене.

Несколько раз приходила приемщица из магазина народных промыслов, — Шигинсыз подрабатывал к пенсии, вырезая из дерева маленькие фигурки людей, зверей, птиц, они шли нарасхват. Но огорченная женщина уходила с пустыми руками: мастер вот уже целую неделю, с тех пор как улетел голубь, не мог взяться за дело. Директор магазина навестил его. Он был недоволен, потом смягчился, заговорил о плане и просил Шигинсыза выручить их. Шигинсызу стало стыдно, что он подводит этого хорошего человека, и он, пряча глаза, пообещал закончить партию изделий к завтрашнему вечеру. Но резец падал из его рук, он перебирал заготовки с едва намеченными контурами будущей фигурки и ничего не мог с собой сделать. Так прошел день.

К вечеру он порезал руку и, рассердившись, швырнул на пол и нож и дерево. Он забылся тяжелым нервным сном, но внезапно его разбудила Жамал, старшая сестра.

— Голубь, голубь прилетел! — громко сказала она.

— Мой голубь, голубь мой! — шепотом откликнулся Шигинсыз.

Жамал открыла балкон, голубь, цокая коготками, подошел к кровати и взлетел на тумбочку.

«Ты скучал без меня?» — спросил голубь.

«Оказывается, можно заболеть от тоски».

«И я соскучился по тебе».

«Ведь ты теперь никуда не улетишь?»

«Улечу... Это выше моих сил».

«Но я не могу без тебя! Приходил директор магазина и ругал меня. Мне стыдно, но я ничего не могу делать без тебя».

«А ты сделай себе деревянного голубя. Ты будешь смотреть на него, когда заскучаешь, и тебе станет легче».

«Но ведь это дерево. А ты не смог бы навещать меня, пускай ненадолго?»

Голубь встряхнул крыльями и задумался.

«Мы бы завтракали вместе», — предложил Шигинсыз.

«Надо подумать», — важно сказал голубь.

«Значит, договорились», — улыбнулся Шигинсыз.

«Договорились», — сказал голубь.

В ту ночь Шигинсыз так и не заснул. Как будто какая-то невидимая сила водила его рукой, и к утру он вырезал около дюжины голубиных фигурок, одна другой краше. А голубь, живой голубь, с тех пор каждое утро прилетал к его окну. Жамал впускала его, он садился на тумбочку, Шигинсыз кормил его, и они разговаривали.

И вот сегодня его опять нет. Уж не заболел ли его пернатый друг? Или, может быть, стал добычей хищников?

— Как ты сладко спал сегодня, брат! Тебе, видать, сон хороший снился — ты так хорошо во сне улыбался, когда я заходила. — Это сестра, добрая и заботливая Жамал-апа пришла, чтобы умыть Шигинсыза. Он лишь сполоснул лицо и, взяв из ее рук полотенце, стал вытираться.

— Голубь не прилетал, апа? — спросил он.

— А? — сестра, не расслышав, поставила ладонь чашечкой к уху.

— Голубь, говорю, не прилетал? — крикнул Шигинсыз. Жамал кивнула головой.

— Прилетал, да я его не пустила — ты так спал хорошо...

— Надо было разбудить меня, — огорчился Шигинсыз. Старая женщина опять не расслышала его:

— Сейчас, сейчас, я чаю тебе принесу...

Шигинсыз улыбнулся и взялся за работу. Он уже несколько дней возился с фигуркой Ерстотика. «Такому батыру нельзя делать маленькие глаза, — приговаривал он. — У такого могучего батыра должны быть большие, ясные, бесстрашные глаза...»

После обеда к нему заглянул друг его детства и однополчанин Бериш.

— Ну, живой еще? Лежишь? Лежи, пока лежится. В постели лучше лежать, чем на кладбище, — зачастил и затараторил он.

— Пусть аллах да услышит твои слова, — Шигинсыз обрадовался его приходу и ничуть не обиделся, услышав бесцеремонные слова друга. Да и как можно обижаться на Бериша, на остролова и вруна, шального Бериша, который, как русские говорят, ради красного словца не пожалеет ни мать, ни отца: разнесется молва, что Бериш не ест мяса, и он к баранине не притронется; скажут, что Бериш воду не пьет, и он лучше от жажды помрет, но свою репутацию весельчака поддержит, — как можно обижаться на такого человека?

До войны они вместе работали на пристани, но Бериш тогда был бригадиром, и Шигинсыз до сих пор удивляется, как мог он, маленький и тщедушный, не отставать в работе от таких богатырей, как он, Шигинсыз, как Бериккали, Сейдахмет, — оба они так и не вернулись с войны: Сейдахмет пропал без вести, а Бериккали прикрыл своим телом амбразуру, и ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Эти здоровенные ребята делали все, что прикажет им Бериш, маленький, подвижный, как волчок, слушались и уважали его, безоговорочно признавали его бригадирскую власть.

И это именно он, Бериш, привез Шигинсыза из киевского госпиталя, где они лежали в одной палате. Бериш вез его в родной город через всю разоренную войной страну, через горы и долины, села и города, степи и перелески. Ах, как давно это было...

Их теплушку сопровождала медсестра Катя, — ведь Бериш еле-еле передвигался на костылях, а Шигинсыз и вовсе был недвижим. На всех станциях, где подолгу стоял

поезд, неунывающий Бериш, ковыляя на своих костылях, отправлялся добывать еду. Все, что ему удавалось достать, он отдавал Кате, и она делила съестное поровну.

— Что бы вы делали без меня? — подмигивал он.

— Умерли бы голодной смертью, Бериш, — смеялась в ответ Катя.

— Эх, Катерина, хорошо, что хоть ты это понимаешь, — нравоучительно говорил ей Бериш, но глаза его смеялись. — Может, поцелуешь бойца за его продовольственные подвиги? — он подсаживался к Кате и обнимал ее.

— Перебьешься! — Катя, улыбаясь, отбрасывала его настойчивую руку и подходила к раскрытой двери теплушки. Девушка глядела на бесконечные леса, тянущиеся вдоль полотна железной дороги, и ее голубые смешливые глаза темнели. Может, эти зеленые леса и луга напоминали ей родную Украину, и сердце ее наполнялось горечью, что поезд уносит ее все дальше и дальше от родимых мест. Кто знает, кто поймет девушку? А Шигинсыз и этого ничего не видел. Все сливалось в его сознании — гул голосов, стоны, предсмертный бред раненых, шутки-прибаутки выздоравливающего Бериша, мягкий говор Кати, крики торговка на станциях и бесконечный перестук колес. Как-то раз он очнулся и увидел Катю. Она глядела на него, подперев круглое лицо ладонью, рядом с ней топтался Бериш.

— Лето скоро начнется, весна уже проходит. Цыган шубу продал, — сказал он Шигинсызу вместо приветствия.

— Потерпите, потерпите, миленькие, — вздохнула Катя. — Скоро уже приедем, и скоро конец этой проклятой войне, чтоб ей пусто было.

Шигинсыз крепко стиснул зубы и закрыл глаза. «Ну, приедем, доедем, — думал он. — А что я дальше буду делать? Всю жизнь лежать пластом и не шевелиться? Да не лучше ли было умереть сразу и навсегда, чем остаться таким вот живым трупом? Ах, почему я не умер тогда, почему не погиб, зачем оставлен мучиться на этой земле!» — казнил себя он.

— Шигинсыз, — окликнул его младший лейтенант Токай Ибрагимов. Высокий, красивый, с едва пробивающимися усиками, он сидел рядом с Шигинсызом и водил тонкой палочкой по полу.

— Что, Токай? — мягко отозвался Шигинсыз. Он знал о трагедии парня: не успев оказаться на фронте, тут же попал под артобстрел и, на второй день своего пребывания на войне, лишился обоих глаз.

— Ты видел когда-нибудь живого немца?

— Видел, видел, будь они прокляты! Я в разведке был...

— Повезло тебе, — вздохнул Токай. — Видеть своего врага, живого врага, победить его — какое это счастье...

...Очнулся Токай от страшной тяжести, навалившейся на грудь. Разгребая руками стылую землю, он выбрался из воронки, но дальше двигаться не мог, темнота окружала его. «Неужели бывает такая темень, когда ничего, ни проблеска, ни тени не видно?» — удивился он и, вдруг пораженный страшной мыслью, принялся ощупывать лицо, оно было залеплено — то ли кровью, то ли грязью. Он дотронулся до пустых своих мягких глазниц и с криком ужаса побежал по изрытому снарядами полю. Нет... Глаз нет... Слепой! Он спотыкался о трупы, ящики со снарядами, падал, вставал и снова бежал. Ослеп! Навсегда! Черная, непроглядная ночь кругом — это навсегда! Навсегда!

— Я их не только видел, я их этими вот руками душил, будь они прокляты! Чего только я не навидался за четыре года!

Но Токай уже умолк и снова принялся ощупывать пол тросточкой. К ним подошла Катя.

— Ну, чего приуныл, Токай? — грубовато-ласково сказала она. — Завтра будем в твоём Свердловске. Мать пир устроит, девушки к тебе придут...

— Какие мне теперь девушки, — сморщился Токай.

— Какие такие? Да ты ж парень хоть куда, чего прибедняешься? — притворно рассердилась Катя и, потрепав его по жестким волосам, ушла делать кому-то перевязку.

— Не вспоминай, не надо, сам себя травишь, — сказал Токаю Шигинсыз.

— Да мне не это обидно, что я глаза потерял. Мне обидно, что я всего два дня воевал и никакого подвига не успел совершить. Что толку от того, что я на войне был, вот скажи мне, прав я или нет?

— Ничего не поделаешь, судьба, — вздохнул Шигинсыз. — Ты вот глаза потерял — зато ходишь. А мне врачи сулят, что я всю жизнь на животе пролежу. Ну, может, на спину когда-нибудь перевернут, — болезненно улыбнулся он. — Нам в госпитале один майор говорил, что наш главный подвиг еще впереди, что мы, тяжелораненые инвалиды, должны достойно жизнь прожить, не сдаваться, не уступать недугам, найти себе в жизни такое занятие, чтобы счастливыми быть. А я... мне, если сказать правду, мне больше всего умереть хочется...

— Главный подвиг впереди? — прошептал Токай и вдруг встрепенулся: — Правильно говорит майор, нельзя умирать. Ты знаешь наши стихи:

Не кланяйся горю, не бойся невзгод —
У всех ли безоблачны юные годы?

— Ну и при чем здесь это? — с раздражением перебил Шигинсыз, но теперь уже Токай утешал его:

— Я знаю, Шигинсыз, что война была в твоей жизни звездным часом. Ты ведь до войны только-только на ноги встал, а на войне был героем. Так пусть твое мужество будет светлым лучом всей твоей жизни, помни о войне, будь достоин себя...

— Умный ты парень, Токай, — смягчился Шигинсыз. — И толковый. Таких в наших краях пророками зовут. Правда, по возрасту ты не очень подходишь, — засмеялся он. — Скажи, у тебя девушка-то есть? Ждет тебя, поди?

— Нет у меня девушки, не успел завести, — виновато сказал Токай. — А стихотворение заканчивается так, слушай:

Ярится тигрицею жизнь-кровопийца.
Но храброго льва устрашит ли тигрица?

Вася Ермолаев из Барнаула взял в руки трофейный аккордеон и широко растянул мехи.

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой.

Пел весь вагон. А неугомонный Бериш при последних словах песни так подмигнул Кате и такую ей состроил гримасу, что она не выдержала и рассмеялась.

...Идет война народная,
Священная война...

Берущая за душу мелодия песни-призыва не могла оставить Шигинсыза равнодушным, и он хотел запеть во весь голос, как другие, но тут же закашлялся и стих. А песня захватила бойцов. Те, кто в силах был встать, обнялись, раскачиваясь в такт песне, поддерживали друг друга. На руку Шигинсыза упала слезинка. Он протянул ладонь и коснулся ею лица слепого. Токай, вздрогнув от прикосновения, быстро вытерся рукавом.

— Разве ты не храбрый лев?— спросил Шигинсыз, крепко взяв его за плечо.

Токай промолчал.

— Человек не должен сам себя убивать, но жить мне теперь будет неинтересно,— наконец выдавил он.

— Что ты такое болтаешь! У него еще и девушки не было, а он ерунду несет... «Сам себя убивать». Ты мысли такие выбрось из головы, тебе еще жить да жить...— прикрикнул на него Шигинсыз.

— Ладно, Шигинсыз, будем жить,— усмехнулся в ответ Токай.

— Эй, Василий, дай-ка мне эту немецкую бандуру!— вдруг разошелся Бериш.

— Зачем она тебе?— недовольно сказал Василий, который уже прятал аккордеон в чехол.

— Петь буду.

— Отдохнуть надо,— скупое сказал Вася.

— Кому надо отдохнуть?— прищурился Бериш.

— Всем надо отдохнуть. И мне, и тебе, и инструменту.

— Ты отдыхай, я потом отдохну, а за инструмент ты не беспокойся— все равно ты его в карты на барнаульском базаре проиграешь, так что давай его скорей сюда, не ломайся,— нашелся Бериш под дружный хохот остальных бойцов.

— Земляк за словом в карман не лезет,— хмыкнул Токай.

— Да, уж он такой, с детства такой,— улыбнулся Шигинсыз, а Вася, смущенный общим смехом, махнул рукой и передал аккордеон Беришу, но не удержался и сказал напоследок:

— Ты смотри осторожнее. Трофейная штука, тонкая...

— Не бойся. Что останется от него и от меня— все твое,— снова срезал его Бериш, и Вася, не желая связываться с острословом, махнул рукой и стал слушать песню Бериша.

— Я вам нашу песню спою, такую, в которой говорится о нашей родной сторонке, о тоске, о любимой девушке,— сказал Бериш и запел по-казахски:

Речка Шили в камышах.
Думай и о нас, родной.

Шигинсыз еще раньше, когда работали грузчиками, слышал, как поет Бериш. Но сейчас он волновался, как бы не сорвался у друга голос. Но Бериш пел сильно, ровно,

спокойно... Катя не отрываясь смотрела на певца, и Шигинсыз, наконец-то понял, с чего это распелся его старый приятель — он хотел покорить сердце девушки. «Ох и ловкач же ты, беркут ты мой степной», — с незлобивой усмешкой подумал он.

А Бериш все пел и пел. Перед каждой песней он объяснял бойцам смысл ее, и русские, украинцы, сибиряки-чалдоны — все они долго слушали казахские мелодии, которые дарил им влюбленный их товарищ...

Токай вышел в Свердловске, расцеловавшись со всеми на прощание. Поезд приближался к Барнаулу, и теперь не находил себе места Вася Ермолаев. Курил, все курил без конца да с нетерпением поглядывал в окошко.

— Ты, Вася, что-то на свой аккордеон внимания не обращаешь. Гляди, не дойдешь до базара, как его у тебя сопрут, — смеялся над ним Бериш, и Вася, отчаянно махнув рукой, присаживался к Шигинсызу.

— Твоего земляка не переговоришь. Лучше б посерьезнее был, о ноге своей, например, подумал...

— А чего мне все время об одном и том же думать? Разве я сумасшедший? Катя, разве я сумасшедший? — изображая испуг, принимался спрашивать Бериш.

Катя смеялась.

— Конечно, не сумасшедший, — нежно говорила она.

— Подумать только, и к этой дивчине успел уже подмазаться наш Бериш, — притворно сердился Вася. — Ну, смотри, Кать, через такого ухажера ты и Украину свою забудешь, окрутит он тебя, хромой черт!..

— Так это ж моя мечта, Василий Игнатьевич! Мы решили в день Победы свадьбу устроить, — весело смеялась Катя.

— Клянусь! — божился Бериш.

— Да ну вас, — сдавался Вася Ермолаев.

И опять говорили и говорили о чем-то между собой Бериш и Катя. «Красивее города нет, чем Семипалатинск. Он весь зеленый-зеленый. Через него великий Иртыш протекает, и на этом Иртыше есть остров, замечательный остров», — убеждал Катю Бериш, и Шигинсыз, слушая его рассказы, сам начинал верить, что Семипалатинск — это самый замечательный город на земле.

— Эй, Бериш, ты бы врал поменьше. Уж не такой он и зеленый, наш город. Приедем домой, какими глазами бу-

дешь смотреть на Катю? — выговаривал он другу, когда они оставались наедине.

— А если не врать, как можно уговорить девушку? Скажи — и я не буду врать, — смеялся в ответ Бериш, и у Шигинсыза почему-то легко становилось на сердце.

Непонятым шумом и весельем встретил их барнаульский вокзал. Играли гармошки, пританцовывали женщины, какой-то здоровенный сибиряк лихо пустился вприсядку. Поезд еще не успел остановиться, как Вася выпрыгнул из вагона и устремился вперед.

— Чего это он? — удивился Шигинсыз.

— Не знаю, — сказала Катя. — Ой, смотрите! Вася своих встретил! — В голосе ее послышались слезы.

Какая-то старушка подошла к вагону.

— Дети мои, родные мои, возьмите, покушайте, — она подала в вагон ведро. — Берите, здесь картошечка горячая, хлеб, сало.

— У нас денег нет, — сказал Бериш, отстраняя ведро.

— Не надо денег. Ничего теперь не надо, — старушка вытерла глаза уголком платка и отошла от вагона.

Бериш так и застыл с открытым ртом, а Вася, одной рукой обняв жену, а другой прижимая к себе детей, плакал, не стыдясь своих слез.

— Вася, Васюня, истосковались мы по тебе. Дети, дети наши сколько уж месяцев спрашивают: когда батя приедет, а я им и ответить ничего не могу, — негромко приговаривала жена.

— Эй, земляк, выпьешь чарочку? — кто-то с размаху хлопнул его по спине.

Вася сердито обернулся.

— Что это с народом? Мы там кровь проливаем, а здесь, в тылу, они водку жрут, пляшут да веселятся! — крикнул он.

— Ты что, земляк? Или не знаешь, что война вчера кончилась? — на него удивленно глядел пожилой старшина с седыми усами.

— Как так... кончилась? — опешил Вася.

— Кончилась, кончилась, Васенька, — плача, сказала жена.

— Что?.. Война... Кончилась? Вера!.. Веруня ты моя!..

Он подбежал к вагону и закричал что было сил:

— Да вы что же сидите тут! Война ведь, война кончилась!.. Вчера! Вчера война кончилась!..

Толкая друг друга и шумя, выпрыгивали из вагонов раненые — они только теперь поняли, какая великая, радостная весть обошла их стороной.

Обнимались, целовались знакомые и незнакомые, солдаты в серых шинелях и женщины в заскорузлых телогрейках, девушки в весенних беретиках и парни, опаленные пожарами войны, — все смешалось в едином праздничном круговороте. Бериш тоже вертелся в этом потоке целующихся и обнимающихся, хитрец действовал с большим разбором, предпочитая иметь дело с красавицами и юными девушками, а не с какими-нибудь там старухами и стариками. Встав на цыпочки, он хотел поцеловать какую-то высокую и привлекательную женщину, но Катя дернула его за рукав.

— Как тебе не стыдно? — прошептала она.

— Смотри какая ревнивая! — неожиданно рассмеялась высокая женщина. — Ну, сегодня ревность не в счет. Будь здоров, дорогой!..

Обхватив щуплого Бериша, подняла его в воздух и трижды смачно поцеловала, после чего лукаво подмигнула Кате.

Катя отвернулась, и Бериш смущенно посмотрел на нее.

— А со мной не хочешь поцеловаться? — вдруг спросила Катя, не глядя в его сторону.

— Не знаю... — промямлил он. — Ты же не разрешаешь?

— Что? — не расслышала Катя.

— Хочу, — твердо сказал Бериш.

— Тогда поцелуй, если хочешь, — тихо сказала Катя, и Бериш обнял ее.

— Не плачь, Катя... Кончилась война, кончилась!..

— О боже, неужели конец всему этому аду, — плакала Катя.

— Кончилась война, кончилась, — шептал Бериш, целуя ее полные слез глаза.

Начальник станции объявил, что отправление поезда задерживается на четыре часа. Солдаты встретили эту весть дружным «ура».

Ах, как хотелось бы и Шигинсызу выйти на улицу — ведь он остался в теплушке один, и когда он почувствовал, что по лицу его текут слезы, то не сдержался и заплакал

навзрыд, радуясь счастьем народа и одновременно злясь на свое бессилие.

— Есть тут казахи? — услышал он чей-то голос. Он поднял голову, вытер слезы и увидел рослого старика в теплом бешмете, опоясанном кожаным ремнем, в тяжелых сапогах — саптама.

— Ассалумагалейкум, аксакал, — сказал он.

— О, пале, ты казах? — обрадовался старик. — Уагалейкумассалам! Хорошо, что встретил тебя, свет мой! Кумыс будешь пить? — он опустил на пол большой торсык и присел к Шигинсызу.

— Да, я казах, аксакал, — гордо сказал Шигинсыз.

— О, барекелды! Душа родная! — старик развязал торсык и налил кумысу. — Пей, пей, милый. Вся хворь пройдет...

— Вот уж не думал, что встречу сегодня аксакала из аула, вот уж не думал, — бормотал Шигинсыз, протягивая руки к тостагану.

— Слава аллаху за то, что он нам дарует, — старик поддержал его голову. — Пей, пей, сынок...

— Спасибо, аксакал...

— Пей, пей, сынок, не торопись... Поезд четыре часа стоять будет, начальник сказал...

— Как там на улице, аксакал? Радуетесь народ, да?

— Так а как же ему не радоваться? — старик, сощурившись, поглядел в окно. — Поднялся дух народный. Что и говорить! Заживем теперь, заживет теперь народ, — мечтательно сказал он.

— Заживем, — как эхо повторил Шигинсыз его слова.

— Родные-то есть у тебя? — спросил его старик.

— Есть... Сестра в Семипалатинске, старшая, племянник — Ербол, теперь уже джигит, наверное. А муж ее погиб в Белоруссии.

— А отец, мать?

— Отца я не помню, а мать померла в голодный год. Меня сестра воспитала, — сказал Шигинсыз.

Старик молча глядел на него, положив под язык насыбай, с жалостью смотрел на исхудавшее лицо молодого парня, на его ввалившиеся щеки, покрасневшие от слез глаза.

«Много же пришлось тебе хлебнуть горя, милый ты мой, — думал он. — Не нравится мне, что лежишь ты здесь один. Не нравится, у тебя открытый высокий лоб и лицо —

ясное, доброе. Толковый, видать... Аллах да поможет тебе...»

— И у меня было четверо сыновей,— вздохнул он.— Ни один из них домой не вернулся, а ведь здоровые парни, все в меня...

— Всем похоронкам тоже верить нельзя, бывает, что и похоронки ошибаются...

— Да нет, тут уж точно, наверное... Двое погибли на войне с белофиннами, один на Халхин-Голе, когда с японцами дрались, а самый младший из-под Москвы не вернулся, еще тогда, в сорок первом... Что делать, такова воля аллаха. Аллах все видит...

— А старушка ваша здорова? — спросил Шигинсыз.

— Эх, батыр, и старушку я не сберег. Не вынесла, покойница, такого горя,— и густые брови нависли над глазами старика, и усы зашевелились.

С улицы вновь неслись радостные крики.

— Наконец-то дождались мы нашего дня,— сказал старик.— А то ведь совсем, бывало, ни смеха, ни шуток не слышно. Печаль да страдание все веселье отбили.

— Один живете?

— Нет. Дочка у меня есть, зять. С ними и живу. В Барнауле да в Бийске казахов-то ведь много, мы еще в тридцатые годы — как сюда приехали, когда Турксиб строили,— так здесь и прижились.

— Почему в наши края не возвращаетесь?

— Почему? — задумался старик.— Был такой разговор перед войной, да молодежь не захотела. Теперь поздно, всех своих детей отсюда на фронт проводили, думаем, а вдруг придет от них какая весточка?..

— А есть, которые возвратились с фронта?

— Нет,— помолчав, сказал старик. И поправился: — Пока нет. Ничего пока нет, кроме похоронок. Согнула спину казаха черная бумага, милый ты мой...

В пустом вагоне воцарилась тишина. Шигинсыз с уважением и любопытством смотрел на крепкого старика, мужественно перенесшего все удары судьбы, и корил себя за минутное малодушие. Прямой нос, большой лоб, жесткое лицо, мощные плечи. «В свое время, наверное, видный ты был джигит,— подумал он.— Крайне редко в наше время умлов был, наверное, по душе и сейчас. Но как же вы, старик, смогли перенести столько горя?..»

— Как же вы, старик, смогли перенести столько горя?.. Как нужно обладать, чтобы выстоять все эти годы, не опус-

тяться? Только хорошим людям дано сберечь человеческое тепло и доброту, аксакал, наверное, из их числа...»

— Многое приходится пережить джигиту, а щедрая душа все отдает другим. Ведь так говорим мы, казахи, аксакал?

Старик молча кивнул головой, и тут в вагон ворвался шумливый Бериш.

— Ну, молодец, аксакал,— засуетился он, увидев торсык с кумысом.— Угодил такому батыру, как наш Шигинсыз!

— А сам-то будешь пить? — спросил гость, наполняя тостаган.

— Да кто же его будет пить, если не я, чистокровный казах! — Бериш гулко стукнул себя в грудь и опорожнил тостаган.

Старик, улыбаясь, следил за ним.

— И девочкам дай, пусть тоже попробуют,— сказал он.

— Это что, самогонка? Я не буду,— решительно отказалась Катя.

— Какая такая самогонка! — обиделся Бериш.— Кумыс. Кобылье молоко. Наш напиток...

— Ой, кислый какой! — Катя, сделав несколько глотков, возвратила тостаган Беришу.

— В первый раз пьешь, потому и кислый. А привыкнешь, будешь пить с удовольствием, до ста лет доживешь — и все такая же красивая будешь!

Катя зарделась, а Бериш подмигнул старику.

— Не беспокойтесь, аксакал. Научим еще, научим,— снова зачастил он.— Вы лучше еще нашему батыру налейте, Шигинсызу.

— Пейте, пейте, дети,— бормотал старый казах.— Неделю кумыс собирал, все этого дня ждал. Специально на станцию пошел, русские не пьют кумыс, вот я и пошел искать земляков...

— Знакомьтесь. Вера — моя жена, а вот мои пацаны! — в теплушке появился Василий, дети облепили его, лицо Веры сияло от счастья.

— О, вот и хорошо!.. Василий Ермолаев и его семья выпьют кумысу за всех русских, которые никогда не пили его! — засмеялся Бериш.

— На здоровье, светик! — старик протянул Василию тостаган.

— Спасибо, отец.— Василий выпил кумысу, вытер губы рукавом и вдруг подмигнул Беришу.— Ну, а ты что же молчишь?

— Как так я молчу? Я все время говорю,— даже растерялся тот.— Ты лучше скажи, чего ты здесь околачиваешься, если до дому доехал? Может, жена в дом не пускает? — принялся подтрунивать он.

— Дорогие мои, а может, мы все сейчас ко мне? Арба готова. Будете гостями, да и люди на вас, фронтовиков, пускай посмотрят — полюбуются...

— Спасибо, аксакал,— сказал Шигинсыз.— Но они шутят. Василий домой пойдет, а нам дальше ехать.

— Шутить-то мы шутим,— задумчиво проговорил Вася.— Только у русских есть пословица. Ну-ка, Бериш, переведи аксакалу: «Давши слово — держись, а не давши — крепись».

— Э-э, таких пословиц и у нас хватает, милый. Вот, например: «Джигит, который клянется дважды, это не джигит...»

— Хорошо, хорошо сказано, аксакал,— одобрил Вася.— Тут у нас один джигит клялся, что в день Победы будет его свадьба, а теперь что-то об этом молчит...

Катя и Бериш переглянулись. Бериш, улыбаясь до ушей, поднялся и взял Катю за руку.

— Вся моя оставшаяся жизнь принадлежит Кате, а смерть — мне самому. Аминь! — он провел ладонью по лицу и, в свою очередь, подмигнул Василию, что, дескать, хотел поймать меня, да не вышло.

— Милые мои, да поедемте же все ко мне в аул. Там и свадьбу сыграем. Кто же на вокзале свадьбы справляет! — взмолился старик.

— Спасибо, аксакал! Я вижу, душа у вас как наша степь,— растрогался Бериш.— Но мы люди пока военные, так что сами на́с поймите.

Поезд задержался еще на два часа, и до позднего вечера гулял эшелон раненых на свадьбе солдата Бериша и медсестры Кати. Вера где-то достала белое платье. На перроне танцевали, угощали друг друга вином. Вася, расщедрившись, подарил Беришу аккордеон, который вез из самой Германии.

— Выздоровливайте, скорей поправляйтесь, сынки! — Старик на прощанье поцеловал Шигинсыза в лоб и, расстегнув бешмет, протянул ему платок из верблюжьей шерсти, которым был опоясан: — Носи, сынок, тебе это нуж-

нее. И торсык я вам оставляю... Будет чем в дороге утолить жажду...

— Горько! Г-о-р-ь-к-о!!! — кричали с перрона, когда поезд тронулся.

Вскоре эшелон прибыл в Семипалатинск, и Катя увидела, что город, о котором ее муж говорил как о лучшем месте в мире, — маленький, с пыльными улочками, но она, вопреки ожиданию многих, ничуть не огорчилась, а только сказала:

— Что ж это за Бериш, если он не приврет?

С тех пор среди друзей и бытует поговорка: «Разве это Бериш, если он не приврет?»

Старина Бериш. Высокий, прихрамывающий, — неужели это твои глаза сияли молодым веселым блеском тогда... тогда, тогда... там... на барнаульском вокзале, в тот далекий год, в тот далекий день?..

— Как поживает твоя Катюша? — спросил Шигинсыз Бериша.

— Живет-поживает, — сварливо ответил Бериш, сделав строгое лицо. — Чего это ты такой любопытный стал? Когда спрашивал, как поживает моя молодуха, я терпел; когда спрашивал, как женка моя поживает, я терпел; а теперь вон уж мы и стариками стали, а ты все мне покоя не даешь?

— Ох, пискун ты мой, пискун! — засмеялся Шигинсыз, подражая тоненькому голоску товарища.

— Жаль, что тебя немцы подбили, а то прямая была бы тебе дорога в артисты, — шутливо огрызнулся Бериш и показал на увесистый сверток. — Вот тебе передала та, которой интересуешься!

— Что это?

— Мясо. Она и сама хотела прийти, чтоб приготовить, да слегла, поясницу у нее ломит...

— Отнеси сестре, она сделает...

Бериш открыл дверь на кухню.

— Здравствуйте, апа! — крикнул он.

Старуха вздрогнула от неожиданности, повернулась и недовольно посмотрела на Бериша.

— Мясо?

— Да. Шигинсыз просил, может, приготовите нам?

Она махнула рукой, как бы прогоняя его, и насмешливо поклонилась:

— Слушаюсь, таксыр, повелитель мой!..

Бериш удалился в некотором смущении, знал, что Жамал не очень-то жалуется ему. Ну, во-первых, он хоть и инвалид, но ходит же, прыгает на своей деревяшке, а Шигинсыз и этого лишен. Во-вторых, она никак не может ему простить, что тот перед войной уговорился с одной девушкой, ее подругой, клялся, просил ждать его. А сам возвратился с русской женой, к девушке даже не зашел, и та, которая души в нем не чаяла, осталась ни с чем, многие ночи проплакала в одиночестве от горя и обиды.

Но все это было и быльем поросло. К ним в дом, кроме Бериша, мало кто заходит, поэтому смирилась старуха, частенько встречает его благосклонно, поит густым ароматным чаем; ведет с ним длинные задушевные разговоры — о детях, о внуках, только не о жене. Но когда Катя у них появляется, встречает ее любезно, но с холодком.

— Апа, перестаньте дуться на Бериша и Катю, — иногда просит ее Шигинсыз.

— С чего ты взял? — старуха обиженно поджимает губы. — Что я, из ума выжила, чтобы дуться на друзей моего единственного?..

— А что же вы такая мрачная были, когда они вчера к нам в гости пришли?

— Я беспокоюсь — опять от Ербола писем нету. Уж не случилось ли чего? — оправдывается сестра.

— Как нету — на прошлой неделе получили, — вдруг вспоминает Шигинсыз.

— Ну и что? — сердится старуха. — За неделю знаешь сколько всего может случиться? Вдруг Ораз заболел. Сноха тоже хороша, только и умеет что ногти свои красить в этой Алма-Ате. Нет чтобы приехать, навестить нас. Е-е, что и говорить!..

Шигинсыз улыбается. Разворчалась сестра, до безумия любит она своего единственного маленького внука, Ораза. Вот и сестра уже бабушка... Пойдите! Да ведь это значит, и он, Шигинсыз, — дед, пускай двоюродный, но все же дед. Дедушка! Как быстро летит время, как безжалостно оно!.. **ВРЕМЯ! ТРИДЦАТЬ ТРИ ГОДА НАЗАД!**

ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНЯЯ. Как мне расстаться с тобой, как? Там война, там страшно. Я боюсь потерять тебя. Лучше умереть вместе...

СЕМНАДЦАТИЛЕТНИЙ. Умереть просто, труднее жить. И жить достойно. Я должен идти воевать — ради нас, ради отечества, ради нашей любви. Вот увидишь, как заживем мы после войны, Разгромим врага и заживем

славно, долго будем жить мы после войны. Люди будут завидовать нашей любви и нашему счастью. Ты веришь в это? Прошу тебя, верь, верь...

ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНЯЯ. Верю. Кому же верить, если не тебе, любимый? Не вставай, еще рано... Дай обниму тебя, и ты обними меня... Крепче, крепче...

СЕМНАДЦАТИЛЕТНИЙ. Уже утро, радость моя. Через два часа в дорогу...

ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНЯЯ. Милый! Ты сказал, что мы заживем на радость людям?

СЕМНАДЦАТИЛЕТНИЙ. После войны, айналайн, заживем после войны, заживем, заживем...

Они продирались сквозь толпу к вагонам, ища среди людской круговерти сестру и зятя. Рыдали женщины, хмурились мужчины... Кто из них останется лежать на поле брани в чужой далекой земле, кто возвратится с победой домой, кто всю жизнь будет страдать от болезней, чувствуя стыд и унижение от своей беспомощности — кому это известно?

Семнадцатилетний юноша и его зять сели в поезд...

Шестнадцатилетняя девушка и его сестра остались стоять на перроне...

Семнадцатилетний — это он, Шигинсыз, гвардии сержант Ерболсанов...

Шестнадцатилетняя — это она, Камиля, его Камиля...

Шигинсыз сначала хотел рассказать о своем сне Беришу, но потом передумал — к чему заново терзать сердце?

Они с наслаждением принялись пить крепкий чай.

— Да, чаек у твоей апа что надо, — проговорил Бериш, вытирая вспотевший лоб носовым платком.

— Называем ее «апа», а ведь и сами незаметно состарились, Беке, — сказал Шигинсыз. — Я — лежу в постели, ты — ковыляя на одной ноге.

— Ты, может, и состарился, а я еще вполне молодой джигит, — заявил Бериш и расхохотался.

— Чего смеешься? — вдруг рассердилась Жамал. — Лучше бы в военкомат сходил до похлопотал за нас.

— Что он может, сам в деревянном доме живет. — Шигинсыз хитро подмигнул Беришу.

— Что говоришь? — старуха прижала ладонь к уху.

— Ничего, так, — сказал Шигинсыз.

— Тебе все ничего, нам что, квартира благоустроенная не нужна? Ты имеешь на нее полное право, и я — вдова фронтовика. Я, кстати, так военкому и сказала, я сама к нему пошла, и он обещал помочь.

— Зачем вы это сделали, апа? Что мы, лучше всех? — с горечью в голосе сказал Шигинсыз.

— Э-э, ничего-то ты в жизни не понимаешь, даром что поседел уже! — Старуха собрала грязную посуду и сердито удалилась на кухню.

— Все-то она знает, — пробормотал Шигинсыз.

— Ты моли аллаха, чтоб она подольше жила, — печально ответил Бериш. — Ведь помрет, что с тобой будет? В инвалидный дом пойдешь. — И добавил тихо: — Да, ты слышал, мне сказали, что Камиля умерла. В Алма-Ате. Она в Алма-Ате жила последнее время.

«ЧТО БУДЕТ С ТОБОЙ?»

— Как? — ахнул Шигинсыз. — Камиля?

— Камиля, — опустив голову, подтвердил Бериш.

«ЧТО С ТОБОЙ БУДЕТ?» Именно эти слова стояли у него в ушах последние тридцать три года, как только вернулся он с войны инвалидом. «Что будет с тобой, Камиля?» — шептал он, кусая по ночам подушку. Да уж не потому ли приснился ему сегодня этот странный сон? Камиля... Ка-ми-ля!.. Камиля, здоровая, веселая, ушла из этой жизни, а я, инвалид, калека, еще жив. Почему? Почему я еще жив?

Тогда, тридцать три года назад, Жамал, прижимая к себе восьмилетнего сынишку, плакала, не скрывая от них слез, и столько горя, столько отчаяния было в ее хрупкой фигурке, изнуренной непосильной работой и печалью, что у Шигинсыза сжало сердце.

Ш и г и н с ы з. Я лишь одной милости просил у бога — просил уберечь от унижения, я хотел, чтобы ты никогда не увидела меня таким беспомощным, таким слабым...

Он пытался приподняться, но Камиля, положив ему на грудь голову, гладила его плечи шершавыми от тяжелой работы ладонями.

К а м и л я. О каком унижении ты говоришь? Я — твоя. Я готова на все. Я навсегда с тобой.

Ш и г и н с ы з. Нет, нет и нет! Апа, зачем вы впустили ее? Зачем?..

В его голосе слышалось отчаяние. Он легко переносил свой физический недуг, но душевные муки были сильнее его, и он, не таясь, громко и навзрыд заплакал. И тогда

Жамал решила. Ее нежное, когда-то белое лицо, исполо-
сованное морщинами, потемнело от гнева.

— Эй ты, слабак! — крикнула она. — Посмотри на себя, разве тебе не стыдно, что ты позоришь весь наш род? Твой дед Кареке с рассеченной головой доскакал до аула, лег, завернувшись в кошку, и не издал ни звука. Твоего отца пытали басмачи, но он смеялся убийцам в лицо. В кого же ты такой пошел? Мало быть героем на фронте. Ты — жив и веди себя как живой. Говори с девушкой как полагается.

— Апа, я хочу умереть, умереть! Не нужна мне такая жизнь. Дай, дай мне нож, я зарежу себя!

Камиля хотела спрятать нож, который лежал на столе, но Жамал не дала ей этого сделать.

— Дай ему нож, — мертвенным шепотом сказала она. — Пускай делает что хочет, если он мужчина.

И, хлопнув дверью, выбежала из комнаты, увлекая за собой Ербола. Влюбленные остались наедине.

К а м и л я. Что ты надумал, Шигинсыз? Ведь я люблю тебя.

Ш и г и н с ы з. Любила когда-то. Сейчас ты жалеешь меня.

К а м и л я. Не жалею, а люблю. Я никогда не смогу забыть тебя...

Ш и г и н с ы з. Если ты действительно любишь меня, то исполнишь мое желание, одно-единственное желание?

К а м и л я. Опять скажешь, не жалею меня?

Ш и г и н с ы з. Нет, помнишь, я тебе рассказывал, как мы заживем после войны?

К а м и л я. Помню, я все помню...

Ш и г и н с ы з. Много потерял я в этой жизни, Камиля. Многого лишен. И мы с тобой ни в чем не виноваты, мы чисты перед нашей любовью. Поэтому единственное мое желание, чтобы ты получила в этой жизни, чего не смог получить я. Учись. Поступи в институт. Набирайся знаний. И помни, Камиля, ты не только за себя, ты и за меня будешь жить. И если любишь ты меня, исполни это мое желание, единственное мое желание...

К а м и л я. Но как я буду жить, зная, что ты останешься здесь. Что будет с тобой?..

«ЧТО БУДЕТ С ТОБОЙ?» Старые стены комнаты уже слышали этот вопрос и видели слезы девушки, девушки, которая хотела быть счастливой. Старые стены, недобрые

стены. Теперь, не дрогнув, слушают они страшные слова о ее смерти, и Шигинсыз замер, скорчился от горя, услышав эту скорбную весть.

А вскоре им дали новую квартиру — светлую, сухую, теплую, с ванной и паровым отоплением, неподалеку от железнодорожного вокзала. Казалось бы, живи да радуйся. Но Шигинсыз никак не мог привыкнуть к новому месту. Гудки тепловозов, перестук вагонов, громкие голоса диспетчеров — все мешало ему. На старой квартире, у пристани, тоже было шумновато, но там шум был родной, привычный, здесь все по-другому.

Старуха, которая привыкла вставать рано утром, бранила его:

— И чего тебе не спится? Ни свет ни заря, а он уж строгаёт свои деревяшки.

Шигинсыз только улыбался ей в ответ, и она подходила к его постели:

— Может, тебе не нравится здесь? Так давай переждем назад, будем снова печку топить. Хочешь, а?

— Да ладно тебе! — Шигинсыз качал головой, и на душе у него было печально. Сестра слышит все хуже и хуже, жалко ее. Правда, теперь им не так одиноко. На лето Ербол с женой привезли к ним Ораза — сами они работали геологами и уехали в экспедицию. Мальчик рос смышленным и веселым. В четвертый класс уже перешел. учился на «отлично», что вызывало гордость у Шигинсыза и Жамал — не угасает их род, вон какой славный озорник растёт.

— Голубь твой, наверное, ищет нас и найти не может, — сказала Жамал, накрывая маленький столик на колесиках.

— Да, жалко птицу, — согласился Шигинсыз.

— Как в рай попали, до чего хороша квартира, — расхвасталась старуха. — И Катерина молодец — помогла при переезде. Дай бог здоровья ее детям, хорошая женщина...

— Да и Бериш тоже, — заикнулся было Шигинсыз, но сестра тут же перебила его:

— Хвали, хвали своего хромого. Два гвоздя забил и две бутылки выпил...

Шигинсыз засмеялся:

— Апа, какой же это будет Бериш, если не соврет, а тем более не выпьет задарма...

— Сказал, на следующий день приду доделаю, а самого целую неделю нету...

— Тут для этих стен особые гвозди нужны, простые не лезут...

— Ну, я ему покажу особые гвозди! — сердилась старуха. — Пусть только явится...

Но Шигинсыз знал, что она «покажет». Чай заварит, приметя над дастарханом хлопотать, может, и бутылочку поставит... Или нет — нальет стакан, а остатки спрячет в шкафчик. Но какой же это Бериш, если не добьется своего? Он начинает громко расхваливать старуху.

— Нету больше водки, нет, кончилась, — говорит она.

— На нет и суда нет, — кричит Бериш ей в ухо. — А только такой почтенной женщине не пристало говорить «нет». Говорите «есть», даже когда нет.

— О чем он? — поворачивается старуха к Шигинсызу.

— Говорит, что еще сто грамм в бутылке осталось.

— Иди тогда сам налей, — разрешает она.

Бериш, прихрамывая, отправляется на кухню и, наполнив стакан, торжественно произносит:

— Ну, как говорится, не будем зла на дне оставлять...

Шигинсыз заливается смехом, а старуха, заподозрив, что смеются над ее глухотой, встает и уходит на кухню.

...Когда они переезжали на новую квартиру, он впервые за последние тридцать лет увидел свой родной город. Как похорошел и разросся Семипалатинск — нет того песка, в котором раньше прохожие утопали по щиколотку, везде асфальт, улицы прямые как стрелы, дома высокие, деревья зеленые, и люди как-то изменились, веселые стали, надели красивые модные одежды...

«Как время летит, боже мой! — думал Шигинсыз. — И только я все лежу да лежу в своей постели. И никогда не смогу даже навестить могилку Камили. Говорят, она попросила перед смертью перевезти ее прах на родину, в Семипалатинск, и дети исполнили ее желание. Спасибо им! Может, хотела быть поближе ко мне, хоть на том свете, коли в этой жизни не удалось нам оказаться вместе?»

Он тронул Бериша за плечо и сказал виноватым шепотом:

— Ты не можешь попросить шофера, чтобы он заехал на кладбище?

— Могилу Камили хочешь посмотреть? — сразу же догадался друг.

— Да, — тихо ответил Шигинсыз.

Машину они остановили у самого забора, Шигинсыз повернул голову и увидел огромное казахское кладбище.

Бериш, прихрамывая, подошел к одной из могил и припал на колено. У Шигинсыза дрогнуло сердце — он понял, чья это могила, и не отрываясь следил за движениями Бериша. Когда тот провел ладонями по лицу, он поспешно сделал тот же жест. Слезы душили его, но он сдержался и не заплакал. Пристально смотрел он на белый мраморный памятник, поставленный на могиле... Белый памятник, белая пирамидка... Неужели это все, что осталось от Камили?..

— Тише ты! — шикнула на него старуха. — Внука разбудишь.

Бедная! Она и не знала, что громче ее самой никто в этом доме уже не говорит.

— А я проснулся, — сказал Ораз, который спал с Шигинсызом в одной комнате. — Доброе утро!

— Надо же, какой озорник! — проворчала Жамал-апа. — Ну, быстро иди умывайся, а потом чай пить будем...

С приездом Ораза в жизни Шигинсыза произошли приятные изменения, он стал чувствовать себя бодрее, а все потому, что внук оказался пареньком смышленным и внимательным. Он часами не отходил от постели Шигинсыза.

— Вы меня научите вырезать из дерева? — однажды не выдержал мальчик.

— А ты очень хочешь? — испытующе поглядел на него Шигинсыз.

— Очень, — признался внук.

— Тогда будем учиться, — сказал Шигинсыз, сделал важную паузу.

И вот сейчас Ораз самостоятельно вырезает фигурку Алпамыса. Жамал-апа рассказала ему сказку об этом отважном батыре, и Ораз тут же решил приняться за работу.

В этот день Шигинсыз ожидал приемщицу из магазина, но, к его удивлению, вместо приемщицы к нему в комнату вошли двое парней, художников.

— Шаке, от имени коллектива наших мастеров поздравляем вас. По итогам полугодия вы оказались победителем соцсоревнования. Позвольте вручить переходящий Красный вымпел и денежную премию, — сказал один из них.

— А завтра к вам зайдет директор. Он собирается заказать вам цикл «Казахские батыры» для выставки в Лейпциге, наверное, слышали об этом?

— Нет, не слыхал. Спасибо, спасибо, ребята, — волнуясь, сказал Шигинсыз и тут же спохватился. — Да вы при-

саживайтесь, присаживайтесь. Чего стоять — в ногах правды нет, как говорится...

Старуха засуетилась, забегала, принялась накрывать на стол.

Раздался звонок, и на пороге появился Бериш. Он довольным взглядом отметил белую скатерть, появившуюся на столе, и тут же зачистил по привычке:

— Сдается, что в этом доме какой-то праздник. Не иначе, как медаль к тридцатилетию Победы получил, а, признавайся!

— Да я ее уже давным-давно получил. Ассалаумага-лейкум, Бериш...— сказал Шигинсыз.

— Угалейкумассалам. Медаль получил и лежит себе втихомолку. Нехорошо,— пожурил его Бериш.

— Сам виноват, совсем нас забыл,— сказал ему Шигинсыз.

— Нет, а все-таки, что за праздник? — допытывался Бериш.

— Шака оказался победителем соцсоревнования, и мы пришли его поздравить,— объяснили ему художники.

— Эхе-хе,— притворно огорчился Бериш.— Тех, что еще ползают потихонечку, никто не замечает, а этот хитрец, лежа в постели, всех обгоняет...

Он бы долго еще разглагольствовал, но старуха помянула его:

— Эй, хватит тебе, Бериш, попусту языком болтать, иди-ка лучше в магазин.

— Вот и деньги,— Шигинсыз показал на конверт, который вручили ему посетители.

— Никуда ходить не надо. Вы не сердитесь, но мы с собой прихватили... Не возражаете? — спросил один из парней.

— Вот молодцы какие! Да кто же будет возражать? О, дети этого века — особенные дети, все наперед обдумают, я всегда говорил!— и довольный Бериш зашпешил на кухню помочь старухе.

— Спасибо вам, ребята,— сказал Шигинсыз.— Возьмите деньги за вино отсюда, из конверта.

— Как вам не стыдно, Шаке! — возмутился один из художников, но второй наступил ему на ногу и сказал:— Сочтемся, потом сочтемся. Апа, мы теперь к вам часто будем приходить, авось и вы нам когда-нибудь бутылочку поставите....

— А ведь в этой квартире еще один мастер живет,— произнес Шигинсыз.— Из самой столицы приехал, Ораз!— позвал он внука.

— Что, ага? — в дверях появился мальчик. К рубашке его прилипли древесные стружки, за ухом торчал карандаш.

— Покажи дядям своего Алпамыса. Может, понравится, и они его заберут на выставку в Лейпциг.

— Нет,— серьезно сказал мальчик.— Еще не готово... Вот закончу, тогда покажу.

— И то верно,— поддержал его Шигинсыз.— Как только закончишь, сдадим в магазин, да?

— Нет, нет, ага,— поспешно проговорил Ораз.— Я его хочу вам подарить. Я хочу еще что-нибудь вырезать.

— Молодец, парень, умница,— похвалили художники.— Работай, авось и выйдет из тебя такой же славный резчик, как и твой дедушка.

Шигинсыз, сияя от счастья, глядел на Ораза.

Осень в этом году выдалась сухая и солнечная. Иду по вызолоченному солнцем лесу. Дует легкий ветерок, и с деревьев падают, кружа, желтые листья. Когда меня одолевает тоска по родной земле, по Чингистау, я сажусь в электричку и уезжаю за город, в Подмосковье. Гуляя по лесу, в блаженном этом осеннем одиночестве, пытаюсь сбросить с плеч все невзгоды, все печали, все тревоги. Радио сообщило, что такой теплой осени не было в Москве около ста лет. Я вспомнил прошлую зиму — морозы, вьюги, и тогда радио тоже говорило, что такой суровой зимы не было в Москве сто лет.

Сто лет и тридцать три года...

Иногда хочется закинуть авторучку в угол, встать со стула и уйти прочь от моего белого листа. Хочется удалиться и от друзей, и от врагов, я мечтаю поселиться в глуши, куда не доносится ни хвальба, ни ругань,— я устаю от пустого окололитературного звона, и мне кажется, что лишь в одиночестве, вдалеке от шума и борьбы я могу достигнуть чего-то, что делает жизнь человека на земле осмысленной и разумной.

Вот в такие грустные минуты и является ко мне он, Шигинсыз-ага, человек, который тридцать с лишним лет лежит в постели, но живет, волнуется, думает; пускай и

у него бывают черные дни, пускай и ему отчаяние порою застилает глаза и теснит разум.

Мне становится легче жить, и я возвращаюсь к моему белому листу, вместе с неоконченной фразой встречаю за столом рассвет и провожаю последние ночные звезды. Наступает утро, я засыпаю, браня себя за малодушие, за попытку удалиться, уйти от борьбы, от работы, от жизни, наконец. Ты ведь человек, говорю я себе, и если ты человек, то твердо стой на земле, делай, если можешь, добрые дела. Только ради этого ты появился на свет: так оправдай же надежды своих земляков, держи сердце открытым, и пусть чистый воздух родного края освежает его. Не ищи легких путей, ты ведь уже знаешь, что цена добрых дел измеряется невзгодами, порою — отчаянием, порой — мучением. Но другой дороги — нет. Все другие дороги ведут в тупик. За честь, доброту и правду надо бороться, надо бороться с младых ногтей и до глубокой старости. Всегда знай об этом. А если забудешь, то вспомни, что говорил тебе Шигинсыз-ага...

— Ну, жив-здоров, Роллан, карагым?

— Спасибо, как сами-то поживаете? — спросил я.

— Грех жаловаться. Жив еще...

— А где Ораз, что-то не вижу вашего ученика?

— Увезли его, увезли от нас, занятия в школе начались. Скучаем мы без него...

И тогда тоже была осень. Последние солнечные лучи щедрым светом полонили просторную комнату Шигинсыза.

— Славная осень выдалась, — переменял он тему разговора. — Можно будет вовремя хлеб убрать.

— Больше миллиарда, верно, в этом году ожидаем, слышали?

— Слышал. У меня ведь и радио есть, да и газеты я читаю. Самое главное — мир был бы на земле, а то ведь, не дай бог, снова все повторится — огонь, пожарища, снаряды... Ты помнишь, друг у меня был в Барнауле? Я тебе про него рассказывал?

— Вася Ермолаев?

— Он самый. Прошлой весной приезжали к нам с женой. А сегодня получил письмо, внучка его пишет. Не стало Васи, доконали старые раны. Эх ты, жизнь, злая ты красавица!..

Шигинсыз закрыл глаза и тяжело вздохнул.

В окне вдруг показался белый голубь.

— Брат!— крикнула Жамал-апа.— Твой голубь прилетел!

— Где? Где? — он повернул голову к окну.— Только не спугните!.. Апа, открой окно, апа!..

Старуха от удивления не могла встать с места. Птица сильными крыльями билась в оконное стекло, и я распахнул форточку.

Голубь влетел в комнату, приземлился на тумбочке.

— Голубь мой, спасибо, что нашел меня, милый,— бормотал Шигинсыз.

«Я скучал без тебя все лето»,— сказал голубь.

«Ты искал меня?»

«Искал, у меня крылья от тоски опускались...»

«Я тебе и раньше говорил, живое тоскует по живому, но ты не верил...»

«Просто не знал, что так бывает на земле...»

Старуха прямо на полу накрошила хлеба и налила в блюдо свежего молока.

— О аллах! Как он мог разыскать нас в таком большом городе?— не переставала удивляться она.

— Это ж мой друг,— Шигинсыз опустил голубя на пол.— Я слышал, ты в дальнюю дорогу собрался? — повернулся он ко мне.

— Да,— сказал я.

— Как говорится, мир посмотреть и себя показать?

Я пожал плечами, что тут ответишь?

— Так пусть будет благословенным твой путь, карагым,— торжественно сказал Шигинсыз.— Нам, старикам, осталось одно — достойно умереть. Жизнь, она теперь ваша... Будь честным, не давай врагам зубоскалить над собой. Будь честным — ведь наш народ гордится своими честными сыновьями. А будет время — напиши мне: в чужом городе среди чужих людей тебе будет непросто, но не поддавайся одиночеству. Помни, что в Семипалатинске живет один старик, который думает о тебе...

— Спасибо, ага,— сказал я, сглотнув комок, застрявший в горле.

— Есть такие слова у Абая, ты помнишь их?

Разум не дружит с богатством.
Богатство не льнет к красоте.
Хитрый, коварный обманщик
По виду добр, но душой он враг,
Нет от него пользы народу.

...Теплый осенний подмосковный лес... Я подумал о том, что давно пора написать Шигинсызу. Пора написать Шигинсызу и пора написать о Шигинсызе, кто, как не он, достоин этого? Но меня тут же охватило волнение — смогу ли я рассказать вам всю правду о Шигинсызе, о родном крае, о моем отце, о его соратниках, прошедших в этой жизни огонь и воду. Сумею ли, хватит ли моих сил поведать о том, чего натерпелись они, наши отцы и матери, победившие фашистов и выигравшие войну?

А сегодня мне приснился сон.

На белом коне восседает во всем белом мой старший друг Шигинсыз-ага. Он машет мне рукой и ясно-ясно улыбается. На его плече голубь, белый-белый... Голубь дрожит от порывов влажного утреннего ветра... В синем небе высоко плывут журавли, и печально курлычет одинокая птица, то ли отбившаяся от стаи, то ли потерявшая своего спутника в одном из камышовых болот моей милой Родины.

1979

СОДЕРЖАНИЕ

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ЖИТЬ. *Роман* 8

ПОВЕСТИ

ДНИ ДЕКАБРЯ 222

ВОЗВРАЩЕНИЕ КАЗБЕКА 293

СВЕТ НА СЦЕНУ 348

ЗАЖИВЕМ ПОСЛЕ ВОЙНЫ 415

Роллан Шакенович Сейсенбаев

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ЖИТЬ

М., «Советский писатель», 1983, 448 стр.
План выпуска 1983 г. № 293

Редактор Н. И. Голосовская
Худож. редактор Е. М. Дробязин
Техн. редактор Г. В. Климушкина
Корректор Т. М. Павлюченко

ИБ № 3413

Сдано в набор 16.09.82. Подписано к печати
25.03.83. А 07762. Формат 84×108¹/₂. Бумага тип.
№ 3. Литературная гарнитура. Высокая печать.
Усл. печ. л. 23,52. Уч.-изд. л. 25,75. Тираж
30 000 экз. Заказ № 3-145. Цена 1 р. 80 к.

Издательство «Советский писатель», 121069,

Москва, ул. Воровского, 11

Отпечатано с матриц типографии издательства
«Соціалістична Харківщина». Харьков, Москов-
ский просп., 247 на книжной фабрике «Комму-
нист», 310012, Харьков-12, ул. Энгельса, 11.